

АНАТОЛИЙ
МАРЧЕНКО

*История
школы*

Ж И В И К А К В С Е

Ж И В И К А К В С Е

АНАТОЛИЙ
МАРЧЕНКО



ЖИВИ КАК ВСЕ



АНАТОЛИЙ МАРЧЕНКО

МОИ ПОКАЗАНИЯ
•
ОТ ТАРУСЫ ДО ЧУНЫ
•
ЖИВИ КАК ВСЕ

Москва
Весть—ВИМО
1993

ББК 84.3Р7.
М 30

Составитель Л.И.Богораз

Редактор Л.С.Еремина

На фронтисписе — фотография Анатолия Марченко
с семьей. Подмосковье. 1977 г.

*Издание осуществлено при содействии фонда
Анатолия Якобсона и Харьковской правозащитной
группы*

Марченко А. Т.

Показания Анатолия Марченко / Худож.-ил. Е. Герчук.
Москва: Весть—ВИМО, 1993.— 448 с.

М 4702010201 Без объявл.
6Т2(03)-93

ISBN 5-89944-254-5

©А.Т. Марченко, 1993 г.

©Художественное оформление
Е.Ю. Герчук, 1993 г.

©Вступительное слово
Ю.Я. Герчук, 1993 г.

Анатолий Марченко о себе все рассказал сам.

Рассказал ясно и жестко, с присущим ему предметно-точным восприятием каждой ситуации, но в то же время с бескомпромиссным выявлением ее внутреннего нравственного смысла, подлинной цены всего им описанного. Впрочем, книги его — не о себе, они о нас всех: о стране, о мире, в котором мы, каждый по-своему, приспособились существовать. А биография автора, тюремная и лагерная, ссылочная и поднадзорная, — не смысл его рассказа, только цепь наглядных примеров, достоверное сообщение очевидца и жертвы. Вот почему в сегодняшнем потоке «лагерной» литературы, уже переживающей в читательском восприятии некоторую инфляцию (мол, мы уже «про это» достаточно прочитали, хватит...), эти три небольшие книжки не должны — и не могут, я думаю — затеряться и раствориться. У них есть, кроме безусловной ценности каждого правдивого свидетельства о закулисных трагических сторонах нашего недавнего бытия, еще иное, только им принадлежащее значение и достоинства.

Достоинства эти, конечно же, не литературного свойства. Не из-за каких бы то ни было недостатков — это лаконичная, строгая и очень емкая проза, — но потому, что целью автора вообще не было сотворение самоценных текстов. То, что он писал, не было ни литературой, ни историей и вовсе не было (как это вполне могло бы показаться) мемуарами. Книги Марченко написаны не о прошлом, хотя бы и близком. Они о временах после Сталина, после Хрущева, о происходившем теперь, только что, о еще продолжавшемся и в самый момент писания, о том, что и дальше неизбежно будет происходить, кто знал тогда — сколько времени вперед. Это были книги-поступки, героические действия одиночки, противостоящего всем карательным силам Государства.

В политических лагерях 1960–1970-х годов вместе с Марченко, рядом с ним были люди, казалось бы, гораздо лучше подготовленные к этой миссии, привычные к литературному труду. Были уже сложившиеся публицисты, были профессиональные писатели. Некоторые из них тоже о своем трудном

опыте не молчали. Однако вот для этих книг оказались более нужными какие-то иные качества, чем их литературский профессионализм.

— Писатель! Восемь классов образования! — язвил прокурор... «Рабочий» — характеризовали автора предисловия к зарубежным изданиям его книг. Именно это давало основания вступаться за него американским профсоюзам. Но это же придавало его сочинениям некоторый оттенок экзотики: вот книги, написанные человеком «из низов», «простым», «без образования»

Однако книги Марченко подобной «простотой» не грешат. В них есть дисциплина мысли, последовательная цельность мировосприятия. А некоторая прямолинейность его суждений — вовсе не от недостатка душевной тонкости или культуры. Она от устойчивой прямоты моральной позиции. Это родственная, пожалуй, Толстому непреклонная последовательность в неприятии зла и жестокости, равнодушия, двоемыслия и фальши: «Не могу молчать!» Его книги — голос здравого разума, не отягощенного демагогическим мусором, не боящегося видеть и оценивать все, что происходит вокруг, называющего все вещи своими именами, не приемлющего выборочного восприятия реальности («один пишем, два в уме»).

Пафос правды чуждается публицистического красноречия. Слишком часто словесная патетика выступает орудием всяческой демагогии. В наши дни подлинное правдолюбие скорее склонно к иронии. Однако и хорошо знакомая друзьям Марченко его насмешливость большей частью спрятана в его книгах за строгой простотой прямого рассказа. Она лишь просвечивает сквозь эпическую объективность «показаний», придавая индивидуальную, живую окраску авторским интонациям.

Все это свидетельствует о подлинной интеллигентности автора, не унаследованной от семейной традиции и не дарованной ему систематическим образованием. Он добывал свою культуру, свое осознание и твердое владение и мыслью, и словом в силу внутренней в этом необходимости, постоянным целенаправленным трудом и притом большей частью в нечеловеческих, полностью враждебных условиях.

Труд этот продолжался всю жизнь. Три книги Марченко — это уже заключительные этапы его духовного становления. Первая, при всей четкости ее цели и нравственной

позиции автора, остается в первую очередь свидетельством. В ее заглавии — очень точное выражение жанра и сути. Автор лишь свидетель на грядущем Суде, готовый на жертвы, чтобы огласить свои показания. В третьей книге он уже судит и сам, несет читателю не одни только тревожащие душу факты, но и ход собственных размышлений, сопоставленные «за» и «против», выработанное отношение и к факту, и к тому, что за ним может быть скрыто. Не переставая свидетельствовать, он превращается в нашего собеседника.

Та естественная свобода мысли и слова, что была ему необходима как воздух, обходилась дорого. Грубая слежка, обыски, задержания и угрозы. Лицемерные обвинения в «нарушениях паспортного режима» — не в том, за что на самом деле карали. Тенденциозное, построенное на прямых лжесвидетельствах следствие. Суд, в упор не видящий явные подтасовки. И снова суд, уже в лагере, по столь же ложным обвинениям и грубо состряпанным «доказательствам». Но каждая новая демонстрация его бесправия, любая официальная ложь и тупая жестокость лишь усиливали бескомпромиссную потребность Анатолия Марченко в справедливости и правде. За них он платил любую цену.

Несколько раз ему с угрозами предлагали убраться из страны. Однажды, не видя лучшего выхода, он согласился. Но не захотел оформлять выезд в Израиль, куда не собирался, настаивал на прямом разрешении ехать в США. Эмиграция не состоялась. Вместо этого были новые аресты и суды. Начав писать, он уже хорошо знал, на что идет, и был с самого начала готов ко всему.

А между тем в недолгие просветы своей «свободной» (хотя и поднадзорной) жизни он пытался, вопреки всему, жить нормально. Работал, читал и думал. Любил жену и маленького сына — сын вырос уже без него. Азартно строил для себя и семьи дом в поселке Карабаново, под Александровом. За этой работой в последний раз видели его друзья. Но недостроенный дом разнесли бульдозером после его нового ареста.

Анатолий Тихонович Марченко погиб сорока восьми лет в Чистопольской тюрьме 8 декабря 1986 года. С августа он держал отчаянную, смертную голодовку, требуя освобождения всех политических заключенных. Такое освобождение уже приблизилось и вскоре

началось: в ноябре были освобождены политзаключенные—женщины, отправлен из ссылки за границу известный правозащитник Ю. Орлов. Видимо, в конце ноября Марченко прекратил голодовку: от него пришло внеочередное письмо с просьбой о продуктовой посылке, не предусмотренной тюремными правилами. Может быть, он узнал о первых освобождениях. В ноябре же Ларисе Богораз, жене Марченко, был предложен выезд вместе с мужем в Израиль. Не решая за него, она настаивала на свидании.

А 9 декабря пришла телеграмма о его смерти. Может быть, эта гибель на пороге свободы облегчила и ускорила путь на волю другим...

Ю. Я. Герчук

МОИ ПОКАЗАНИЯ

ОТ АВТОРА

Когда я сидел во Владимирской тюрьме, меня не раз охватывало отчаяние. Голод, болезнь и, главное, бессилие, невозможность бороться со злом доводили до того, что я готов был кинуться на своих тюремщиков с единственной целью — погибнуть. Или другим способом покончить с собой. Или искалечить себя, как делали другие у меня на глазах.

Меня останавливало одно, одно давало мне силы жить в этом кошмаре — надежда, что я выйду и расскажу всем о том, что видел и пережил. Я дал себе слово ради этой цели вынести и вытерпеть все. Я обещал это своим товарищам, которые еще на годы оставались за решеткой, за колючей проволокой.

Я думал о том, как выполнить эту задачу. Мне казалось, что в нашей стране, в условиях жестокой цензуры и контроля КГБ за каждым сказанным словом это невозможно. Да и бесцельно: до того все задавлены страхом и поработаны тяжким бытом, что никто и не хочет знать правду. Поэтому, считал я, мне придется бежать за границу, чтобы оставить свое свидетельство хотя бы как документ, как материал для истории.

Год назад мой срок окончился. Я вышел на свободу. И понял, что был не прав, что мои показания нужны моему народу. Люди хотят знать правду.

Главная цель этих записок — рассказать правду о сегодняшних лагерях и тюрьмах для политзаключенных, рассказать ее тем, кто хочет услышать. Я убежден, что гласность — единственное действенное средство борьбы с творящимся сегодня злом и беззаконием.

За последние годы в печати появилось несколько художественных и документальных произведений о лагерях. Во многих других произведениях говорится об этом то между прочим, то намеком. Кроме того, эта тема полно и сильно освещается в произведениях, распространяющихся через Самиздат. Так что сталинские лагеря разоблачены. Разоблачение не дошло еще пока до всех читателей, но, конечно, дойдет.

Это очень хорошо. Но это и опасно: невольно возникает впечатление, что все описанное относится только к

прошлому, что сейчас ничего подобного нет и быть не может. Раз уже даже в журналах об этом пишут, то наверняка сейчас у нас все иначе, все как надо и все участники страшных злодеяний наказаны, а жертвы вознаграждены.

Неправда! Сколько жертв «вознаграждено» посмертно, сколько забытых и сейчас в лагерях, сколько новых туда попадает; и сколько тех, кто сажал, допрашивал, мучил, и сейчас занимают свои посты или мирно живут на пенсии, не понеся никакой — даже моральной — ответственности за свои дела. Когда я еду в подмосковной электричке, вагоны наполнены благостными, умиротворенными старичками-пенсионерами. Один читает газету, другой везет корзину клубники, третий нянчит внука... Может, это врач, рабочий, инженер, получивший пенсию после многих лет тяжелого труда; может, этот старик со стальными зубами потерял их на следствии «с применением физических методов» или на колымских приисках. Но мне в каждом мирном пенсионере чудится следователь, который сам выбивал людям зубы.

Потому что я их достаточно видел, *тех самых*, в лагерях. Потому что сегодняшние советские лагеря для политзаключенных так же ужасны, как сталинские. Кое в чем лучше. А кое в чем хуже.

Надо, чтобы об этом знали все.

И те, кто хочет знать правду, а вместо этого получает лживые, благополучные газетные статьи, усыпляющие общественную совесть.

И те, кто правду не хочет знать, закрывает глаза и затыкает уши, чтобы потом когда-нибудь иметь возможность оправдаться и снова выйти чистеньким из грязи: «Боже мой, а мы и не знали...»

Если у них есть сколько-нибудь гражданской совести и истинной любви к родине, они должны выступить в ее защиту, как это всегда делали настоящие сыны России.

Я хотел бы, чтобы это мое свидетельство о советских лагерях и тюрьмах для политзаключенных стало известно гуманистам и прогрессивным людям других стран — тем, кто выступает в защиту политзаключенных Греции и Португалии, Южно-Африканской Республики и Испании. Пусть они спросят у своих советских коллег по борьбе с антигуманизмом: «Что вы сделали для того, чтобы у вас, в вашей собственной стране, политзаключенных хотя бы не воспитывали голодом?»

Я не считаю себя писателем, эти записки не художественное произведение. Все шесть лет я старался только видеть и запоминать.

Здесь, в этих записках, нет ни одного вымышленного лица, ни одной придуманной истории. Там, где есть опасность причинить вред другим людям, я не называю имен, умалчиваю о некоторых обстоятельствах и событиях. Но я готов отвечать за истинность любой рассказанной здесь детали. Каждый случай, каждый факт могут подтвердить десятки, а иногда и сотни, и тысячи свидетелей — моих товарищей по заключению. Они могли бы, конечно, привести и еще множество подобных и даже еще более чудовищных фактов, чем те, о которых я рассказал.

Легко можно предположить, что мне попытаются отомстить и разделаться с правдой, которую я сказал на этих страницах, бездоказательно обвинив в «клевете». Так вот, я заявляю, что готов отвечать на публичном процессе, с приглашением необходимых свидетелей, в присутствии заинтересованных представителей общественности и прессы.

Если же будет сделана еще одна инсценировка «публичного процесса», когда у входа в суд представители КГБ отталкивают граждан, пользуясь вместо публики переодетыми кагебистами в штатском, когда корреспонденты иностранных газет (в том числе и коммунистических) топчутся у входа и не могут получить никакой информации — как было на процессах писателей Синявского и Даниэля, Хастова, Буковского и других, — то это лишь подтвердит мою правоту.

... Однажды начальник отряда капитан Усов сказал мне:

— Вот вы, Марченко, всем недовольны, все вам не нравится. А что вы сделали для того, чтобы было лучше? Убежать хотели, и все!

Если я после этих моих записок попаду под начало к капитану Усову, я смогу ему ответить:

— Я сделал все, что было в моих силах. И вот я опять у вас.

НАЧАЛО

«Неужели к нам не присоединятся все свободные умы, все горячие сердца?

Пускай они соединятся вместе, пускай они пишут и говорят! Пускай они с нами заодно стараются просвещать общественное мнение, всех тех маленьких и скромных людей, которых теперь отравляют и сводят с ума! Дух отечества, его энергия, его величие заключаются лишь в справедливости и великодушии.

Я забочусь только об одном, а именно, чтобы свет истины распространился как можно шире и скорее. Суд при закрытых дверях, после секретного следствия, ничего не докажет. Тогда-то и начнется настоящее дело. Придется заговорить, так как молчание вышло бы доказательством сообщничества.

Какое безумие воображать, что можно уничтожить историю! Нет, она будет написана, и тогда каждая вина, как бы она ни была мала, получит свое возмездие».

Эмиль Золя. Письма к Франции

Меня зовут Анатолий. Фамилия Марченко. Я родился в небольшом сибирском городке Барабинске. Мой отец, Тихон Акимович Марченко, всю жизнь проработал на железной дороге помощником машиниста. Мать, Елена Васильевна, работала уборщицей на вокзале. Оба они совершенно неграмотны, и письма от матери всегда написаны чужой рукой.

Я, проучившись восемь лет, бросил школу и уехал по комсомольской путевке на строительство Новосибирской ГЭС. С этого началась моя самостоятельная жизнь. Я получил специальность сменного бурового мастера, ездил по всем новостройкам ГЭС в Сибири, работал на рудниках, в геологоразведке. Последняя моя командировка была на Карагандинскую ГРЭС.

Здесь я попал под суд. Мы, молодые рабочие, жили в общежитии, ходили в клуб на танцы. В этом же поселке жили сосланные с Кавказа чеченцы. Они были страшно озлоблены — ведь их выселили из родных мест в чужую Сибирь, к чужим и чуждым им людям. Между чеченской молодежью и нашей все время возникали потасовки, драки, иногда с поножовщиной. Однажды произошла большая драка в нашем общежитии. Когда она как-то сама собой кончилась, явилась милиция; похватила всех, кто был в общежитии (большинство участников успело убежать и

скрыться). Среди арестованных оказался и я. Нас увезли из поселка, где все знали, как было дело. Судили всех в один день, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Так я попал в страшные карагандинские лагеря — Карлаг.

Дальше обстоятельства моей жизни сложились так, что я решил бежать за границу. Я просто не видел для себя другого выхода. Со мной вместе бежал молодой парень Анатолий Будровский. Мы пытались перейти иранскую границу, но нас обнаружили. Взяли в сорока метрах от границы.

Это было 29 октября 1960 года.

Пять месяцев меня держали в следственной тюрьме ашхабадского КГБ. Все это время я сидел в одиночке, без посылок, без передач, без единой весточки от родных. Каждый день меня допрашивал следователь Сафарян (а потом Цукин): почему я хотел бежать? КГБ предъявило мне обвинение в измене родине, и поэтому следователя мои ответы не устраивали. Он добивался от меня необходимых показаний, изматывая меня на допросах, угрожая, что следствие будет длиться до тех пор, пока я не скажу то, что от меня требуется, обещая за «хорошие» показания и раскаяние добавку к двухразовому тюремному питанию. Он не добился своего и не получил ни от меня, ни от сорока свидетелей никаких материалов, подтверждающих обвинение. Но меня все-таки судили за измену.

2-3 марта 1961 года Верховный суд Туркменской ССР рассматривал наше дело. Суд был закрытым: в огромном зале не было ни одного человека, кроме состава суда, двух автоматчиков за нашими спинами и начальника конвоя у дверей. Два дня мне задавали те же вопросы, что и на следствии, и я отвечал так же, отвергая обвинение. Мой товарищ по побегу Анатолий Будровский не выдержал следствия и одиночки, уступил давлению следователя. Он дал показания против меня, выгораживая и спасая себя. Показания же сорока человек свидетельствовали в мою пользу. Я спросил, почему суд не обращает на них внимания, и получил ответ: «Суд сам решает, каким показаниям верить».

Я отказался от защитников, но мой адвокат присутствовал на суде и произнес речь. Он говорил, что у суда нет оснований судить меня за измену родине: свидетельству Будровского нельзя доверять, поскольку он заинтересованное лицо, тоже подсудимый по тому же делу; суд должен был принять во внимание показания остальных допрошенных до суда; Марченко можно судить за попытку нелегально перейти границу, а не за измену.

От последнего слова я отказался: я не признал себя виновным в измене, а к моим показаниям мне нечего было добавить.

3 марта суд вынес приговор: Будровскому за попытку нелегально перейти границу два года лагерей (меньше максимального срока по этой статье, трех лет), мне — шесть лет по статье за измену родине (тоже значительно меньше предусмотренной максимальной меры, «вышки» — расстрела).

Мне было тогда двадцать три года.

Меня снова привезли в тюрьму, в мою камеру.

Честное слово, на меня не произвел впечатления срок. Это потом каждый год заключения растягивается на дни, на часы и кажется, что шесть лет никогда не кончатся. Значительно позже я понял, что словами «изменник родины» мне искалечили не шесть лет, а всю жизнь. Тогда же у меня было только одно ощущение: совершена несправедливость, узаконенное беззаконие, и я бессилён, я могу только собирать, копить в себе обиду, отчаяние, копить, пока меня не взорвет, как перегретый котел.

Я вспомнил пустые ряды кресел в зале, равнодушный тон судьи, прокурора, секретаря суда (она все время жевала баранку), молчаливых истуканов-конвоиров. Почему на суд никого не пустили, хотя бы мать? Почему не вызвали свидетелей? Почему мне не дали копию приговора? Что это значило: «Приговор вам не дадут, он секретный»?

Через несколько минут мне в кормушку камеры протянули синюю бумажку:

— Распишитесь, что приговор вам объявлен.

Я расписался. Все! Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.

Я объявил голодовку. Написал заявление — протест против суда и приговора, подал его в кормушку и перестал брать пищу. Несколько дней ничего не брал в рот, кроме холодной воды. Никто не обращал на это внимания. Надзиратели, выслушав мой отказ, спокойно уносили мою пайку и миску с супом, а в обед приносили снова. Я снова отказывался. Дня через три в камеру вошли надзиратели и врач. Приступили к операции под названием «принудительно-искусственное питание». Меня скрутили, надели наручники, воткнули в рот распиратель, ввели шланг в пищевод и стали лить через воронку питательную смесь, что-то жирное, сладкое. Надзиратели говорили:

— Снимай голодовку, все равно ничего не добьешься — мы тебе даже похудеть не дадим.

Та же процедура повторилась на другой день.

Я снял голодовку. Ответа на заявление я так и не получил.

Через несколько дней за мной пришел надзиратель. Он повел меня по лестницам и коридорам на первый этаж и впустил в обитую черной клеенкой дверь. На табличке надпись: «Начальник тюрьмы». В кабинете за столом, под большим портретом Дзержинского, сидел сам начальник тюрьмы. На диване — знакомые мне по следствию прокурор по надзору и начальник следственного отдела. Четвертым был незнакомец, глянув на которого я вздрогнул: так неестественна и отвратительна была его внешность. Маленькое, шарообразное тельце, коротенькие ножки еле достают до пола, тоненькая, тоненькая шейка. А на ней огромный сплюснутый шар — голова. Щелки глаз, еле заметный носик, тонкий улыбающийся рот — тонули в желтом, тугом, лоснящемся тесте. Как эта шейка не переломится под таким грузом?

Мне сказали, что это заместитель прокурора Туркменской ССР. Предложили сесть. Разговор вели в дружески-фамильярном тоне. Спросили, как я себя чувствую, снял ли голодовку. Я поблагодарил за трогательную чуткость и внимание, сказал, что голодовку снял, и тоже спросил:

— Скажите, пожалуйста, когда меня отправят? Куда?

— Поедешь на комсомольская стройка. Будешь комсомолец, — ответило чудище, так и расплывшись в улыбке, радуясь собственной шутке.

Мне стало невыносимо противно. Мне, осужденному ими за измену родине, было как-то неловко слышать от них эти слова здесь, в этом кабинете, видеть их циничные ухмылки. Они все отлично понимают! Я тоже понимал.

Вернувшись в свою камеру, я вспомнил стройки, на которых работал. Около каждой — лагерь, колючая проволока, вышки, часовые, «комсомольцы в бушлатах». Я вспомнил, как меня, девятнадцатилетнего парня, послали в двухмесячную командировку на Бухтарминскую ГЭС. Поселок Серебрянка, где жили мы, вольные строители, находился довольно далеко от стройки. Там же, в Серебрянке, был и лагерь. И нас, и заключенных каждую смену возили поездом на работу и обратно. «Вольный» поезд — пять-шесть двухосных вагончиков. Он останавливался метров за пятьдесят от вахты, мы предьявляли свои пропуска вахтеру-солдату и шли через проходную. Потом открывались ворота и прямо на территорию стройки вкатывался длиннющий состав с эсками. Он состоял не из несчастных двухосных вагончиков, а из здоровенных четырехосных пульманов, и в каждом эски, как сельди в бочке. На каждой тормозной площадке — по два автоматчика, а в хвосте поезда — открытая плат-

форма с солдатами. Солдаты открывали двери энкам, отгоняли их от вагонов и строили в колонну по пяти. Потом начался счет по пятеркам: первая, вторая, третья, пятнадцатая, пятьдесят вторая, сто пятая... Счет-пересчет, сбились. Считают заново. Окрики, мат, опять считают. После проверки энки идут по своим рабочим местам. После смены то же самое, но в обратном порядке.

Я работал вместе с ними, с «комсомольцами в бушлатах». Получал зарплату, ходил в выходной на танцы и ни о чем особенно не задумывался. Один только случай запал в память.

В начале августа, днем, вдруг стрельба с вышек в сторону Иртыша. Все побросали работу, побежали к берегу, столпились у самой запретки * — вперемешку энки и вольные. Нас отгоняли, но мы, конечно, не уходили, глазели. Уже за серединой реки, близко к противоположному берегу, плыл человек. Нам было хорошо видно, что он плывет с трудом и старается двигаться побыстрее. Это был энк; он, оказывается, подкараулил момент, когда земснаряд не работал, пробрался по его трубе и вынырнул на Иртыше далеко от берега. Увидели его не сразу, а когда увидели и стали стрелять, он уже был довольно далеко. За ним в погоню пошел сторожевой катер. Сейчас он как раз нагонял беглеца, был от него всего в десятке метров, но офицер с пистолетом в руке почему-то не стрелял.

— Ну да, он выстрелит и убьет, а энк утонет — поди потом, докажи, что не убежал! — объясняли энки в толпе. — Он обязан представить или живого, или труп.

Между тем беглец доплыл до берега, поднялся и, шатаясь, сделал несколько шагов. А катер уже ткнулся носом в камни, офицер спрыгнул и очутился в двух шагах от энка. Я видел, как он поднял пистолет и выстрелил в ноги. Энк упал. Подбежали автоматчики, и офицер при них и на глазах толпы на другом берегу выстрелил несколько раз в лежащего человека. В толпе ахнули. Кто-то матерно выругался.

Тело потащили по камням и, как мешок, бросили в катер. Катер ушел по направлению к лагерю.

Я невольно вспомнил и Бухтарму, и этот случай, и другие стройки. Куда бы меня ни повезли, я теперь везде буду вот таким «комсомольцем», буду мокнуть и мерзнуть при проверках, жить за колючей проволокой, меня будет охранять вооруженная охрана с овчарками, а если я не выдержу и попытаюсь бежать, меня так же подстрелят, как того парня на Иртыше.

* Запретная зона.

ЭТАПЫ

На другой день меня отправили. Отдали одежду, отобранную при аресте, только ботинки не вернули — их изорвали на мелкие куски, искали «советского завода план». Велели одеться-обуться и вывели из тюрьмы. «Воронок» стоял вплотную к двери. Меня сунули в бокс, заперли. Машина тронулась. Моя клетушка — без окон, ничего не видеть, только чувствуется движение. Вот машина замедлила ход, развернулась, пятится задом. Значит, подъезжаем к вагону. Из машины — скорей, опять скорей, через две плотные шеренги солдат, прямо в вагон.

Вагонзак — его еще называют «столыпин» — устроен так же, как обычные купированные вагоны. Вдоль стен с одной стороны узкий проход, по другую сторону — отдельные кабины-купе. Только двери купе не сплошные, а с решеткой. Одна сторона вагона глухая, а окна в коридоре забраны решетками, только снаружи этого не видно — решетки закрыты шторами. Снаружи смотреть — вагон как вагон, никто не догадается, что в нем везут арестантов. Правда, все окна наглухо закрыты и зашторены, никто не выглядывает, не машет рукой провожающим. Угрюмые и нелюбопытные пассажиры, видно, собрались в этом вагоне. Внутри купе полки, по три одна над другой с каждой стороны. Между средними полками можно перекинуть щит — получаются сплошные нары. В общем, лежачих мест здесь — семь, если потесниться — восемь; а набивают в каждую кабину-клетку обычно человек двенадцать-пятнадцать, а то и больше. Вдобавок — вещи заключенных.

И все закупорено, свежему воздуху и попасть неоткуда, разве когда на остановке откроют дверь, чтобы кого-то ввести или вывести.

В коридоре ходят солдаты с пистолетами. Если попадется неплохой парень, он откроет на ходу окно в коридоре и через дверь-решетку ненадолго потянет свежестью. Но есть такие конвоиры, что проси не проси — не проветрят. И эски задыхаются в своей клетке, как рыба на песке.

От Ашхабада до Ташкента меня везли, как принца, — одного в клетке! В других клетках было битком, я спросил соседей через стенку — сколько их, и мне ответили: «Семнадцать». Оказывается, предоставленный мне комфорт объяснялся не особой заботой о политических, а тем, что боятся соединить с бытовиками: как бы не разагитировали

дорогой. Так что от тесноты я не страдал, как другие. Зато в остальном мне было так же скверно, как и всем.

В ашхабадской тюрьме мне выдали харчей на дорогу: буханку черного хлеба, граммов 50 сахару и одну селедку. Сколько бы ни пришлось ехать до следующей пере-сылки, больше ничего не дадут: в вагонзаке не кормят. Но хуже, чем голод, заключенных мучит в пути жажда. Утром и вечером дают по кружке кипятку, а воды — какой солдат попадетсЯ. Если подороже, так раз или два принесет, а надоело ему бегать с чайником — хоть умирай от жажды.

Под вечер я решил поужинать. Развернул свой ашхабадский паек, оторвал руками полселедки, съел с хлебом. Попросил у солдата воды или кипятку — не дает: «Когда всем — тогда и тебе». Жду. Минут через двадцать начали раздавать кипяток. Солдат с чайником ходит по коридору, наливает кипяток в протянутые сквозь решетки кружки. Подходит к моей клетке.

— Давай кружку!

А у меня кружки нету, не запасаЯ, сидя под следствием. Я прошу:

— Может, у вас найдется, из чего сами пьете...

— Ишь чего! Кружку ему дай! А х... не хочешь?

И отошел. Я стал макать хлеб в сахар, есть всухомЯтку. А пить хочется невыносимо. Давно не пил, во рту пересохло, а тут еще селедки поел. Почему-то во всех этапах заключенным дают именно селедку — нарочно, что ли? И потом, сколько меня ни возили, — всегда селедка. Старые эзки тоже говорят: селедку жрали, а пить нам не давали.

Соседи за стеной, услышав, что у меня нечего и не из чего пить, стали просить передать мне их кружку с кипятком. Конвоир ругался, но все-таки передал. Я выпил кипятку с сахаром.

— Оставь кружку себе, пригодится!

Я ее все шесть лет с собой возил: и в Мордовию, и во Владимир, и снова в Мордовию.

Потом новое мучительство. Прошу солдата выпустить меня в уборную. Отвечает:

— Потерпишь!

Конечно, потерпишь, куда же денешься?

Уборная в вагонзаке одна: один унитаз, один умывальник. Водят по одному: открывают дверь-решетку, ставят в коридоре против своей двери лицом к стенке, руки за спину; дверь за тобой запирают, ведут чуть не бегом по коридору. Пока ты делаешь свое дело, дверь уборной открыта настежь, солдат стоит и наблюдает. Торопит: скорей — скорей!

кончил — штаны не дадут застегнуть, все так же бегом, с руками за спиной, в свою клетку. Народу в вагоне битком, пока так всех переводишь, начинай сначала. А солдатам лень, не хочется, что ж, так вот с этими дармоедами и бегать по коридору целый день туда-сюда! Ну, и кричат: «Потерпишь!» — и не выводят, сколько ни проси, хоть плачь; жди, пока всех начнут водить, пока дойдет очередь до тебя.

Самая что ни на есть пытка и с питьем, и с оправкой. Ее давно изобрели, говорят. И до сих пор она держится и будет держаться, наверное, до тех пор, пока возят по России арестантов.

Всю дорогу до Ташкента я спал, как бог, мучился от жажды, есть тоже хотелось. Наслаждался человеческими голосами за стенкой: там шла непрерывная ругань — то с конвоиром, то между собой, то с дальними соседями. Отборный мат казался мне музыкой — пять месяцев я не слышал человеческой речи, только следователей КГБ да судейских.

На другой день поезд прибыл в Ташкент. Нас по одному вывели из вагона, прогнали по узкому коридору между двумя шеренгами солдат и стали набивать в машины.

Когда я поднимался по ступенькам, зэки уже кричали из машины, что больше некуда. Но конвоир заорал на них, и меня втокнули внутрь, прямо на людей. Потом еще нескольких. «Черный ворон», «воронок» — крытый грузовик, кузов внутри переделен дверью-решеткой. По одну сторону решетки зэки, по другую — два конвоира. Здесь же, где конвоиры, находятся «боксы» — железные ящики для одиночников, в них можно сидеть, только скорчившись в три погибели. Но в общем отделении еще хуже. Там вдоль стен идут скамейки, середина пустая. Места человек на десять — и сидячих и стоячих — не больше. А нас набили около тридцати или все тридцать. Первые садятся на скамейки плотно друг к другу. Следующие к ним на колени. Остальные стоят. Это бы еще ничего, но как стоят! Потолок такой, что стоять можно только согнувшись, голова и плечи упираются в железный верх. А народу набивается столько, что даже пошелухнуться невозможно, не то что переменить положение. Впили тебя — как удалось стать, так и стой всю дорогу. Спина, плечи, шея затекают, все тело начинает ломить от неестественной позы. Но даже если у тебя подогнуться ноги, ты не упадешь — некуда, тебя подпирают тела твоих товарищей.

Последний зэк уже никак не мог поместиться. Тогда два солдата уперлись в него, приналегли и вдавили в человеческую массу, а потом стали вжимать дверью. Дверь кое-как закрыли, заперли на замок. Наша машина готова.

Но другие еще не набиты, поэтому ждем. Теперь снаружи нипочем не узнаешь, что это за машина и что в ней творится. Крытый кузов без окон, единственное окошко над дверью, где конвоиры, и то задернуто занавеской.

Люди начинают задыхаться. Кто-то кроет матом:

— ... ваш род-позарод, думаете отправлять?

— Отсидишь свое, тогда на «Волге» будешь раскатывать, — слышен насмешливый голос солдата. — А это тебе не «Волга», а «ворон».

Зэк уже и говорить не может, только хрипит:

— Тебе ли, о «Волге» заботиться? Ты и «Москвича» только издали видел! Сам всю жизнь десятый х... без соли доедаешь, а дали тебе автомат, ты и рад над нами поиздеваться.

— Поговори, поговори! Приедем, посмотрим, какой ты разговорчивый в наручниках.

Вмешиваются другие:

— Только тем и держитесь, что наружниками!

— Фашисты е...! В душегубку загнали!

— С автоматами командуют. А без автомата, небось, в ... целовал бы — тебе не привыкать!

Слышно было, как к машине подошел офицер. Зэки притихли, прислушиваясь. Солдаты называли его «товарищ старший лейтенант», но самого разговора мы не слышали, только слово: «Подождут».

Опять зэки стали кричать:

— Начальник! Отправляй.

— Над людьми издеваются!

— Фашисты с красными книжками!

Людям здесь нечего терять, они доведены до отчаяния этими муками, вот и кричат все что попало. Впрочем, уголовник может заработать политическую статью, новую судимость и дополнительный срок до семи лет за антисоветскую агитацию. Но в этих условиях никто уже ни о чем не думает, ничего не соображает. Кто их придумал, эти душегубки — эти «воронки», селедку в дорогу и все остальное? Его бы сюда, этого изобретателя!

Машина задрожала — завели мотор. Поехали. Нас трясло и кидало, но упасть было некуда. Здесь мертвый — и тот стоял бы стоймя, подпираемый со всех сторон.

Сколько времени ехали, неизвестно. Здесь смещены всякие представления о времени и минута кажется вечностью.

Когда машина замедлила ход и сделала несколько поворотов, мы поняли, что подъезжаем. Скорей бы! Хоть выйти, разогнуться, вздохнуть. Но вот машина остано-

лась, а нас и не думали выпускать. Уже не было сил ни просить, ни ругаться. Наконец, солдат начал открывать. Сначала он выпустил из боксов одиночников, и те вышли согнувшись, — видно, не сразу могли выпрямиться. Потом открыли нашу дверь-решетку:

— Выходи!

Это оказалось не просто. Люди так спрессовались и переплелись дорогой, что никто не мог выпутаться, не мог вырваться из общей массы. Пока первый сумел выбраться, он буквально разделся, телогрейка его осталась в машине. И только после того, как из машины вышли почти все, первому вынесли его телогрейку.

Вышли. Я, как и все, не мог разогнуться, не мог шагу ступить — ныло и болело все тело.

Мы прибыли в ташкентскую пересыльную тюрьму. Над входом — огромный лозунг, белым по кумачу: «В условиях социализма каждый выбившийся из трудовой колеи человек может вернуться к полезной деятельности».

Сначала нас сунули в карантинную камеру — большое мрачное помещение с двухъярусными нарами вдоль стен и маленьким зарешеченным окошком. Накормили обычным тюремным обедом и повели в баню.

При бане парикмахерская. Даже удивительно было, что на свете существуют чистые комнаты, белые занавески на окнах. Парикмахеры-зэки в белых халатах. На стенах зеркала. Что за чудо? Оказалось, что в этой же парикмахерской стрижется и бреется вся тюремная администрация, от надзирателей до высшего начальства. Здесь остригли и меня.

Обычно всех стригут наголо сразу же после ареста. Но в тюрьмах КГБ такого правила нет, там арестованным оставляют волосы. Но это до первой пересылки. На зависть своим сокамерникам я еще носил шевелюру. Я объяснил:

— У нас с вами крестные разные: у вас МВД, а у меня КГБ.

В бане, заметив мою прическу, надзиратель схватил меня за рукав и потащил в парикмахерскую. В два счета меня оболванили, и теперь я больше ничем не отличался от других зэков.

Баня в ташкентской пересылке — ад крошечный, особенно после чистенькой парикмахерской с зеркалами. В раздевалке две лавки, а загоняют туда человек сто. Под ногами чавкает мокрая каша из обвалившейся, осыпавшейся штукатурки, уличной грязи и воды. Разделся, сдал белье в прожарку — стой голый и жди, пока разделнутся другие. А в раздевалке холодно, кожа на голых синяя, в пупырышках.

Все орут, ругают матом и надзирателей, и тех, кто задерживает остальных. Только когда все готовы, надзиратель отпирает дверь в моечную. Каждому выдают крошечный ломтик мыла. Но где там намылиться! Не все и воду набрать успели: «Выходи. Нечего тут размываться, не дома!» Кое-как окатились и вышли. Вышли — а белье еще из прожарки не вернули, жди голый и мокрый на этом холоде. Наконец принесли большие обручи, на которые каждый из нас нанизал свое белье перед баней. Его должны были прожарить, чтоб уничтожить вшей, а оно даже нагреться не успело, только теплое. Лишь бы формальность выполнить, галочку поставить: заключенные вымыты, вещи обработаны.

Да разве успеть сделать все как надо, когда столько народу, каждый день гонят и гонят!

Я получил белье и стал одеваться. И уж, кажется, не избалован, а тошно становилось, как подумаю, что придется натягивать штаны через вывоженные в грязи ноги. Полотенцем вытереть — а чем завтра лицо вытирать? Я вытащил из своих вещей единственную майку, обтер ею ноги и, расстелив на полу, встал на нее. Кое-как оделся. Вокруг меня, толкаясь, задевая друг друга, одевались другие эски, приспособившись кто как мог. Ругань, крики надзирателей: «Быстрой, быстрой!»

Нас снова привели в ту же камеру. Мы разместились кое-как, надолго никто не устраивался: скоро будут разводить по этапным. А пока что каждый развлекался как мог. На нижних нарах началась картежная игра, на верхних — несколько мастеров своего дела клеили новую колоду. Кого-то уже успели избить. Кто-то встретил земляков, у них свои разговоры.

Часа через два явился дежурный офицер с двумя надзирателями, по списку выкликнул человек двадцать пять, их увели. Потом увели следующую партию. И еще одну. Я оказался в четвертой.

Нас привели в этапную камеру, в точности такую же, как карантинная. Такая же грязь, духотища, света от оконца никакого, круглые сутки горит лампочка. Нары изрезаны буквами-инициалами. На стенах надписи — все больше похабщина, но попадаются и надписи-весточки, надписи-письма: «Иван и Муся из Бухары ушли за 114-й. Привет бухарским!»

В камере человек восемьдесят. Одни сидят день-два, другие — неделю, третьи ждут этапа и по месяцу. Все это время — на голых нарах, без постелей. Все это время — без прогулки. Вместо прогулки оправка два раза в день по полчаса. В углу камеры ржавая параша, одна на всех, от нее по камере зловоние.

Принесли ужин. Раздали плохо вымытые, липнущие к рукам ложки, стали разливать баланду. К кормушке выстроилась очередь, те, кто еще не получил, ругались между собой, крыли раздатчиков; кто получил и отходил с миской от кормушки, крыл баланду: «Синюха, помои».

Некоторым, мне в том числе, баланды не хватило: произошла какая-то путаница со списком. Пока выясняли, прошло минут сорок. Нам досталась уже какая-то совсем остывшая бурда. Сесть поесть негде. Кто пристраивается на нары, кто выпивает свою баланду стоя, через край — «через борт». Кто-то кого-то толкнул, — немудрено в такой тесноте, — баланда пролилась, а второй раз не дадут — скандал, драка. Кто-то полез хлебать на верхние нары и пролил, юшка закапала сквозь щели на тех, кто внизу, — опять скандал, драка. И так каждый день.

Я просидел в этой камере дней двадцать. Обжился, нашел себе местечко на верхних нарах. Кое с кем познакомился. Люди здесь все время менялись: одних забирали в этап, на их место пригоняли новых. Появление новых в камере — событие: других-то событий нет. Все отрываются от своих занятий, разглядывают новичков, окликают знакомых. Я не рассчитывал встретить здесь знакомого, но тоже, как и все, свешивался со своих нар — поглазеть.

Но вот однажды вводят новеньких, я смотрю, а среди них — Будровский. Толя Будровский, мой поделщик, который закопал меня, чтобы выкарабкаться самому! Я откинулся на нары и смотрю из темноты, чтоб он не мог меня видеть. Войдя в камеру, Будровский быстро окинул взглядом нары эков и прошел мимо меня. Дверь за новенькими закрыли и заперли. Тогда я слез с нар и сел внизу, глядя прямо на Будровского. Рожа у него была сытая, отъевшаяся. Наконец он увидел меня. Моментально переменялся в лице. Забился в дальний угол камеры, следит за мной, но не подходит. Он, конечно, боялся, что я расскажу о его предательстве и тогда его изобьют до полусмерти, а могут и убить. В камере уголовники, а у них закон простой: продал товарища — получай свое!

Пришло время идти на оправку. Будровский не идет, отказывается. Я его успокоил:

— Иди, не бойся. Я никому не скажу, а поговорить с тобой мне хочется.

Вышли вместе. И тут мой поделщик расплакался:

— Толик, прости меня. Я не мог, я боялся. Мне следователь сказал, что ты дал показания, какие надо, и если

я не подтверждаю их, значит, я виноватее тебя. Тогда все равно обоим вышка...

— Тебе что, показали эти «мои» показания?

— Нет, Толик, но все равно я не мог, следовательно требовал, грозил расстрелом — сам знаешь, измена родине...

— Что ж от тебя требовали?

— Чтоб я сказал, что у тебя были враждебные намерения, что ты хотел предать...

— Дурак, что я мог предать?! А ты, значит, — самому спасти, а меня под дуло?

— Толик, но ведь не расстрел, шесть лет всего. Тебе все равно дали бы больше, ты старше, и мы же договорились, что ты большую часть вины возьмешь на себя. Толик, прости!..

— Что с тобой говорить?!

Вернулись в камеру. Когда принесли кипяток, я достал свои припасы — остаток сегодняшней пайки, щепотку сахара. Будровский подсел ко мне со своими. Он развернул пакет, и я ахнул: конфеты, печенье!

— Откуда у тебя?

— Еще из Ашхабада, из тюрьмы.

— А там откуда? Из каких денег?

— Мне следователь выписывал. Он говорил, у них есть фонд для подсудимых, и выписывал на ларек два раза в месяц рублей по семь-восемь. А папиросы так приносили, даром. Я первое время не знал, покупал из выписанных.

— Что-то мне ни копейки не выписали...

— Так, Толик, он говорил, кто хорошо себя ведет.

— Ну-ну, за папиросы, за семь рублей на ларек!..

— Толик, прости! Возьми, ешь!

Мне стало противно смотреть на него, на его сытое, желтое, заплаканное лицо.

Через несколько дней Будровского взяли в этап куда-то на Вахш, на стройку ГЭС. А я остался.

Один сокамерник, тертый мужик Володя, объяснил мне, что меня здесь держат неправильно, что, раз я политический, меня не могут держать вместе с уголовниками. Очевидно, в суматохе перепутали, не разобрались. Но я помалкивал: боялся снова оказаться один. После пяти месяцев одиночки мне здесь было интересно с людьми. А когда эта грязная, мрачная камера мне надоела, я на проверке спросил дежурного офицера, долго ли меня здесь будут мариновать?

— Сколько надо, столько и будут. Жди.

— Но мне нельзя здесь находиться.

— Это почему? За что сидишь? Какая статья?

— А вы посмотрите мое дело, узнаете.

Офицер выскочил из камеры, а через несколько минут пришел еще с одним.

— Марченко, быстро с вещами. Как вы попали в эту камеру?

— Я себе камеру не выбирал.

Меня перевели в пустую камеру, а через два дня отравили этапом в Алма-Ату.

Райская жизнь кончилась, больше меня не сажали в отдельную клетку. Из Ташкента отправляли столько заключенных и сосланных, что было не до правил. Все клетки-купе вагонзакон были забиты до отказа. Восемь человек сидят внизу, четверо на втором этаже, двое лежат на самой верхотуре. Там, наверху, адская жара и духота, и они мокрые, как мыши, пот с них прямо капает. Впрочем, внизу тоже все взмокли.

Из Ташкента отправляли в ссылку «тунеядцев».

В одной из клеток едут женщины, у них немного просторнее, их всего тринадцать. Но у одной грудной ребенок. На весь вагон слышен плач младенца, женщина о чем-то просит конвоира, а он грубо отказывает. Женщина начинает рыдать, ее соседки кричат, ругаются с конвоиром. В это время в коридор входит начальник вагона, капитан:

— Кончай базар! Наручников захотелось?

Женщина, плача, объясняет: ребенок обмарал пеленки, а у нее всего две смены, она просит, чтоб ее вывели в уборную постирать.

— Ничего не случится, подождешь!

— Да у меня ребенка завернуть не во что, что же делать?

— Рожала — меня не спрашивала, — отвечает капитан и уходит.

Когда женщин стали водить на opravку, первой пошла мать ребенка. Она кое-как замыла пеленки в раковине и оставила их там. Следующая тоже постирала сколько успела, и тоже оставила. И следующая. Пока сводили всех женщин, пеленки были постираны и последняя захватила их в клетку. Там их и сушили.

Хорошо, что люди и за решеткой остаются людьми.

Всю дорогу идут бесконечные проверки. Входишь в вагонзакон — обыск, даже только что выданный в тюрьме хлеб и тот весь перетыкали. Потом проверка — фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, конец срока... Сверяют тебя с фотокарточкой на деле. Выходишь из вагона — проверка... На пересылке — обыск, проверка опрос по делу. И так каждый день по несколько раз.

Сколько же мне ехать? Куда? Наверняка до Новосибирска — через Алма-Ату, Семипалатинск. А из Новосибирска куда — на Урал? На Север? На Восток? Везде есть комсомольские стройки...

В Алма-Ате после «воронка»-душегубки нас, как полагаются, выстроили в колонну по пяти, стали считать пятерками, проверять по фамилиям, чтобы вести в корпус. В конце колонны — те самые женщины, из нашего вагона. Уголовники, едва очухавшись после «воронка», стали заводить знакомства. Надзиратели, офицеры орут на зэков, гоняют от женщин, угрожают: разговаривать вообще нельзя, с женщинами тем более.

— А катись ты, начальник, со своим карцером вместе. Хоть погляжу на бабу, а там сажай. Мне теперь пять лет баб не видать, только на картинках ваших ... комсомолок, — отвечает зэк.

Пока нас вели по тюремному двору к корпусу, один зэк стал пробираться в хвост колонны, ближе к женщинам. Надзиратель это заметил, остановил колонну, выудил нарушителя и потащил его в первую пятерку. Зэк вопил:

— Козел, гедераст, чтобы у тебя на лбу ... вырос!

Надзиратель зайкнулся было, что он обязан оберегать женщин от таких, как этот. Тогда взвились женщины:

— Благодетель нашелся!

— Веврки на вас нет, на благодетелей!

На галдеж набежали еще надзиратели. Упиравшегося зэка стали крутить, надели наручники. А он орал:

— Если тебе этих баб жалко, так приведи свою! Или сам подставь, вон какое с... отъел на дармовых харчах!..

Скандалиста стали избивать, колонна зашумела, слышались возмущенные крики. Тогда из колонны выхватили еще одного наугад, тоже надели наручники и тоже стали бить — сапогами по ногам. Обоих уволокли, а колонну повели в корпус.

Алма-атинская пересылка отличается от ташкентской разве что облием клопов. Их здесь столько, что в камерах все стены красные. То же и в Семипалатинске, хотя здесь вместо деревянных нар железные двухъярусные койки. Ни матрацев, ни подушек не дают ни в одной пересылке, валяйся от прибытия до этапа на голых досках или на металлической решетке. А в вагоне тоже голые полки, к тому же негде ни лечь, ни встать; и снова селедка, снова не дают пить, снова не водят на opravку.

В Новосибирской пересылке полно крыс. Они бегают по полу под ногами, бегают между спящими на полу,

влезают на них. Здесь я встретил в коридоре группу заключенных, которые стояли не как все, а прислонившись к стене. Их было человек восемь, и у них были страшно изможденные лица. Нас поместили в одну общую камеру. Я узнал, что это «религиозники», верующие. Они отказывались принимать участие в выборах, и вот их арестовали, судили закрытым судом и приговорили к ссылке как «тунеядцев». С самого дня ареста все они объявили голодовку, и их, голодающих, отправили по этапам в Сибирь. На каждой пересылке им насильно вливают питательную смесь и отправляют дальше.

— Мы страдаем за веру, — говорили они.

Из Новосибирска меня отправили в Тайшет, там были огромные лагеря для 58-й статьи. Но когда я туда приехал, оказалось, что там уже не осталось ни одного политического лагеря. Три дня назад ушел последний спецэшелон в Мордовию. Свято место пусто не бывает: тайшетские лагеря сразу же стали заполняться бытовиками-уголовниками. Из везли сюда со всего Союза — надо было валить тайгу, очищать дно будущего Братского водохранилища. Кто же еще будет здесь «трудиться с комсомольским огоньком», если не зэки?

На пересылке в Тайшете я впервые попал в камеру с политическими — несколько человек еще застряли здесь, их по разным причинам не успели отправить со всеми. До сих пор я все гадал: что это за люди, за что сидят, как держатся, о чем думают?

Народу в камере было немного. Два деда: оба двадцатипятилетники; один поволжский немец, старик с большой седой бородой, фамилии его не помню; другой был бодрый, подтянутый, чувствовалась военная выправка. Он и был военный — сначала капитан Красной Армии, а потом офицер в армии генерала Власова. Фамилия его Иванов. Иванов был на год старше немца и звал его не иначе, как «кислей». Был еще один двадцатипятилетник, Иван Третьяков, хороший дядька.

Еще с нами сидел дядя Саша, крикливый мужик, офицер-фронтовик, всю войну провоевавший в Советской Армии, много раз раненый. Из молодежи нас было трое: ленинградский студент, я и душевнобольной парень. Жили мы в камере дружно, без ссор, наши старики опекали нас, вводили в курс лагерного житья-бытья — они были опытные каторжане, за плечами у каждого десять-пятнадцать лет самых страшных лагерей.

В конце апреля в нашу камеру кинули какого-то афганца. Он почти не говорил по-русски, и мы с трудом добились от него, что с ним было. Оказалось, он несколько лет назад перешел границу — захотел в Советский Союз: ему плохо жилось у себя в Афганистане, он служил пастухом у какого-то богача. Его, конечно, сразу же посадили в тюрьму. Но скоро разобрались, что он не шпион и не диверсант, выпустили и разрешили жить в Советском Союзе, как он хотел. Его отправили в колхоз, тоже в пастухи. Но в колхозе афганцу не понравилось. Он стал проситься обратно в Афганистан, да не тут-то было: не пускают. Он долго думать не стал и пошел тем же путем, как и явился. Его поймали, судили, дали три года за попытку нелегально перейти границу. Три года он отсидел и вот должен был на днях освободиться. Афганец ходил по камере, был себя по голове и приговаривал:

— Турак, ох турак!

— Куда же ты теперь? Опять в колхоз?

— Нет, нет! — мотал головой афганец. В колхоз он не хотел. — Афганистан пошел.

— Так тебя же не пустят! Поймают — десятку дадут, теперь уже за измену родине.

— Афганистан пошел, — твердил афганец. — Колхоз нет.

Перед освобождением ему выдали новую телогрейку и черные лагерные брюки. Он так разозлился, что затолкал и брюки, и телогрейку в парашу и вышел на волю в том рванье, в каком был. Что стало с ним дальше, не знаю. «С тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде», — как поется в песне.

4 мая нас всех посадили в вагонзак. Снова этапы. Опять через Новосибирск, а оттуда на запад: Свердловск, Казань, Рузаевка.

По дороге к нам подсаживали новых попутчиков. Где-то на пересылке добавили несколько украинцев — «националистов». Тоже двадцатипятилетники. Из них мне особенно запомнился Михаил Сорока, очень спокойный, доброжелательный, душевно крепкий человек. Потом посадили парня родом из Польши. Его отец был польский офицер, расстрелянный в Катинском лесу. Мать арестовали, и она тоже погибла. Его самого отдали в детдом, там он рос до шестнадцати лет, а когда получил паспорт, его записали русским. Он все требовал, чтобы ему разрешили уехать в Польшу, но ведь он «русский», вот и не пускают. Он писал в МИД и в польское посольство — дело кончилось сроком.

В Казани нашего «деда» Иванова вызвали в спец-часть. Он как раз кончил пятнадцать лет, и ему объявили, что по прибытии на место его представят на суд. Ведь у нас больше нет двадцатипятилетнего срока, осужденным раньше на двадцать пять лет суд снижает срок до нынешнего максимума, до пятнадцати.

Я очень обрадовался за Иванова и за остальных двадцатипятилетников:

— Теперь вам уже совсем недолго осталось. Вот доберемся — и сразу на волю! Вас я тоже буду провожать из лагеря, — говорил я старику немцу.

— Нет, Толя, мне свободы не видать. — отвечал он. — Я так и умру за колючей проволокой.

ДЕСЯТЫЙ ЛАГЕРЬ — 1961 ГОД

...Сверят стрелки вахта и конвой,
Втянется в ворота хвост колонн.
Ровно в десять лагерный отбой
Прогремит над проволокой зон.
Рельс о рельс колотится: отбой!
Зэк в барак торопится: отбой!
Рельсовый, простуженный, стальной
Благовест плывет над Колымой.
Вам вступать, Игарка и Тайшет!
Завернись в бушлат, Караганда!
Рельсовый заржавленный брежет
Вызвонит недели и года.
Тень до середины доползла,
Тень перевалила за Урал...
В свой черед вступает Дубровлаг
В колыбельный лагерный хорал.
Песням неродившимся — отбой!
Звездам закатившимся — отбой!
Я не сплю в московской тишине:
Через час — подъем на Колыме

*Песня о часовых поясах,
1967 г.*

В конце мая мы прибыли в Потьму. После пяти месяцев следствия, после так называемого суда, после этапов и пересыльных тюрем я добрался наконец до знаменитых мордовских лагерей.

Весь юго-западный угол Мордовии перекрещен колючей проволокой, заборами особой конструкции, утыкан вышками, залит по ночам светом спаренных прожекторов. Здесь повсюду развешены таблички: «Стоять! Запретная зона!» и по-мордовски: «Тят сувся! Запретная зонась».

Здесь чаще, чем мордвина, встретишь солдата, конвоира, охранника. Здесь полным-полно офицеров. Здесь на душу населения их приходится больше, чем овец на ду-

шу на Кавказе. Здесь вообще встала на дыбы вся статистика: и соотношение мужчин и женщин, и возрастной, и национальный состав населения. Русские, украинцы, латыши, эстонцы и «отдельные представители других национальностей» живут здесь за проволокой столько лет, что давно перекрыли всякий ценз оседлости. Отцы и старшие братья нынешних заключенных остались навсегда в мордовской земле — в виде скелетов или в виде разрозненных, перемешанных с песком костей. Дети нынешних заключенных приезжают сюда «на свиданку» со всех концов необъятной многонациональной страны.

Вот и я прибыл сюда, после всех предварительных мытарств, чтобы еще чуть-чуть накренить ошалевшую мордовскую статистику...

С потьминской пересылки меня направили в десятый лагерь.

Как всякий новичок, я настороженно присматривался к людям и обстановке, а заодно, не теряя времени, устраивался на новом месте. Казалось бы, чего уж там зэку устраиваться, какое у него имущество, подвижность и недвижимость? Однако у новичка в лагере хлопот полон рот: надо найти место в бараке, получить койку, тюфяк, подушку, одеяло, постельные принадлежности, форменную спецовку для работы, за все расписаться, все пристроить к месту...

Мне показали завхоза моего отряда — тоже зэка. Он повел меня за койкой, по дороге расспрашивая о том, о сем: откуда родом, за что попал, какой срок. Узнав, что шесть лет, он ухмыльнулся: «Срок детский!» Многие потом тоже улыбались, услышав, что мне осталось сидеть пять лет с небольшим довеском.

За углом барака, куда меня привел завхоз, валялось несколько ржавых железных рам от коек. Мы выбрали, какая получше, и я потащил ее в барак. Там все было плотно забито «спальными местами»; койки стояли одна на другой в два этажа, попарно сдвинутые вплотную. Мне нашлось местечко во втором ярусе. Я закрепил свою раму на нижней койке, и мы вдвоем отправились искать деревянный щит (сбитые вместе четыре узкие доски, их кладут на раму вместо сетки). Облазили всю зону — наконец нашли подходящий.

Тумбочки в бараке — одна на четверых. Завхоз показал мне мою половину полочки, но мне еще нечего было туда класть — у меня не было даже своей ложки.

Пока я устраивался, наступило время обеда. Зэки потянулись к большому бараку-столовой, я пошел за всеми. Внутри барака-столовой очень тесно стоят длинные столы из гру-

бых, кое-как окрашенных красной краской досок; вдоль столов такие же скамейки. Столовая набита битком. Одни, найдя себе местечко за столом, хлебают свою баланду. Другие едят стоя — кто где пристроился. К раздаточным окнам тянутся длинные очереди. Я стал в хвост к первому окну. Но как я буду есть без ложки? Заметив мою растерянность, ко мне подошел один из ребят нашего отряда и предложил мне ложку, — он уже пообедал. Очередь продвигалась быстро. Я не успел и моргнуть, как раздатчик, схватив из высокой стойки перед собой мятую алюминиевую миску, плеснул в нее черпак щей и сунул мне в руки. Я отошел и глянул вокруг: все места заняты, «приземлиться» нигде. Вон у окна какой-то ээк, стоя, заканчивает обед — облизывает ложку. Я пробрался к нему как раз, когда он кончил и отошел от окна; занял его место: поставил миску на подоконник и начал хлебать бурду, которую кто-то торжественно назвал щами. Потом, оставив на окне кепку и ложку, отправился в очередь за вторым. Так же ловко раздатчик во втором окне выхватил миску у меня из рук, стукнул по ней черпаком, и миска вылетела на обитый жестью подоконник... По дороге к своему месту я заглянул в нее: по дну растекалась пшенная размазня, приблизительно три столовые ложки. Справиться со вторым было недолго; я облизал ложку («отшлифовал», как говорят ээки) и вышел из столовой.

Мне повезло: каптерка оказалась случайно открытой во внеурочное время, и я смог получить лагерное имущество сразу после обеда. Мне выдали матрац, одеяло, подушку — все такое древнее, как будто служило еще моему дедушке: серые застиранные бязевые простыни, наволочку, два вафельных полотенца, алюминиевую кружку и ложку. Можно было сразу получить и спецовку, но с этим я не спешил: она мне еще осточертеет за пять с лишним лет.

На сегодня обзаведение и устройство закончены, можно осмотреться. Но, оказывается, в этот день мне предстояло еще высокое знакомство: пришел завхоз и сказал, что меня вызывает к себе отрядный.

Постучавшись в дверь с табличкой «Начальник отряда», я вошел. Кабинет был небольшой, чистенький, аккуратный. Офицер — начальник отряда — сидел за письменным столом против двери и рылся в ящике. На одной стороне висел портрет Ленина, а под ним — отрывной календарь и список дежурств членов СВП (секции внутреннего порядка). На противоположной стене, точно против портрета Ленина, глаза в глаза, — портрет Хрущева и большая карта СССР. Большой

шкаф и ряды стульев вдоль стен — вот и все. Услышав, что я вошел, офицер задвинул ящик, запер его и поднял голову:

— Снимите головной убор! Заключенный при разговоре с представителями лагерной администрации обязан снимать головной убор. Понятно?

Я снял кепку.

— Новенький? Сегодня прибыл? Садитесь.

Я сел, а отрядный, листая мое дело, стал задавать вопросы: фамилия, имя, отчество, статья, срок — обычные формальные сведения о заключенном. Покончив с этим он откинулся на спинку стула и коротко приказал:

— Ну, рассказывайте.

Я удивился — что я должен рассказывать? Тогда отрядный пояснил: он хочет, чтобы я рассказал о своем преступлении. Я отказался:

— Я не на следствии и не на суде. Здесь моя тюрьма, и я не обязан и не хочу объясняться с тюремщиками на эту тему.

Отрядному мое заявление не понравилось, он поморщился, но промолчал. Потом коротко и сухо вычитал мне обязанности заключенного и правила внутреннего распорядка: «заключенный обязан... обязан... обязан... Выходить на работу в форменной лагерной одежде... Посещать политзанятия...»

Я спросил, кто ведет политзанятия. Оказалось, он сам, отрядный, раз в неделю по вторникам. Тут же он мне объяснил, какие кары меня ждут за непосещение политзанятий, а также за другие нарушения правил: я могу, по его усмотрению и распоряжению, лишиться свидания, ларька, посылки, права переписки — короче, всего немного, на что я имею право в лагере. Кроме того, могу угодить в штрафной изолятор... И так далее — перечень наказаний, не менее длинный, чем перечень обязанностей. Все учтено, каждое движение строго регламентировано.

— Идите в каптерку и получите форменную одежду, — закончил отрядный. — Завтра выходите на работу. Вы зачислены в полеводческую бригаду. Можете идти!

Я вышел. В бараке меня окружили зэки из нашего отряда.

— Ну как, познакомился с капитаном Васяевым? Как он тебе понравился? А ты ему? Плачь, плачь, скоро расстанетесь: он на пенсию собирается...

Кто-то с досадой сказал:

— Живучи, сволочи; еще и на пенсии — на дармовых народных денежках — сколько протянет. А заработал пенсию не трудом — нашими муками.

Спросили, в какой я бригаде; рассказали, что полеводческая бригада работает за зоной, на работу гоняют под конвоем.

— Ты не вздумай на работу в своем. выйти: прямо с вахты в карцер суток на пятнадцать!

Потом меня спрашивали про суд: какой был, открытый или закрытый? А приговор на руки дали? И на каждый мой ответ понимающе кивали головами, ну да, здесь почти все осуждены закрытым судом; и приговора, как и я, большинство в глаза не видело. Расписались, что им его зачитали, как неграмотным. Есть в лагере, правда, несколько десятков человек, осужденным открытыми судами, — это полицейские, каратели, военные преступники, за которыми числятся кровавые преступления, преступления против человечности. Этих-то судили открыто, в клубах, парках, сообщали о судах по радио и в газетах. А статья у них та же, что у тебя или у меня: вот народ и думает, что здесь, в лагерях, все такие же предатели и изменники...

Стали спрашивать про свободу: как там сейчас, как жизнь, лучше ли? По газетам-то не узнаешь, есть ли сахар и масло в магазинах. Тут кто-то сжалился надо мной:

— Отпустите парня, в каптерку опоздает, а завтра на работу.

Зэки неохотно разбрелись, а я пошел и получил одежду: бумажные брюки и куртку, фуражку-«сталинку», телогрейку, две пары нижнего белья, портянки, кирзовые ботинки. Сколько придется работать, чтобы расплатиться за все это! Пока долг отдашь, ботинки снесятся...

На ужин дали какой-то жиденький суп и маленький кусочек отварной трески. Суп был такой пустой, что не к чему было работать ложкой, и я, глядя на других зэков, выпил его через борт. После ужина, скорее голодный, чем сытый, пошел бродить по зоне до отбоя. Познакомиться с кем-нибудь поближе успею потом, когда присмотрюсь к людям.

Был теплый вечер, весна, зеленела трава. Медленно наступали сумерки. Зэки разбрелись кто куда: на одной скамейке около стола забивали козла, в другом месте играли в шахматы. Многие устроились на свежем воздухе с книгой или журналом. Кое-где шли оживленные разговоры, споры. Мне навстречу попадались такие же прогуливающиеся, как

я — по одному и по двое-трое. Большинство — молодежь, люди среднего возраста. Но я заметил, что здесь есть и старики, некоторые совсем дряхлые. Мимо меня, стуча по дорожке палкой, шаря ею перед собой, прошел парень лет двадцати пяти — двадцати восьми. Когда он оказался рядом со мной, я увидел, что вместо глаз у него какие-то синие шрамы, из-под которых непрерывно текут слезы.

— Куда идешь, Саня? — окликнули его.

— Посол в санцасть, с зелудком замуцился, — невнятно ответил слепой. Я долго смотрел ему вслед, а потом зашагал в ту же сторону. Барак санчасти стоял ближе к вахте. Я обошел его кругом: в одном крыле жили заключенные-инвалиды, и я увидел на скамейке около барака калек: слепых, безногих, безруких, паралитиков. Поскорее отошел в сторону.

— Что, земляк, свежий, только с воли? — обратился ко мне проходивший зэк, на вид лет сорока, невысокий, с заметной лысиной.

Я сказал:

— Совсем свеженький — полгода следствия, одиночки.

Мы познакомились, а позднее сошлись довольно близко. Он оказался действительно моим земляком, к тому же тезкой: звали его Анатолий Павлович Буров.

Вечером, еще засветло, вокруг всего лагеря вспыхнули огни: зажгли фонари и прожекторы над запреткой. Я пошел в свой барак, чтобы постелить еще до отбоя, — после отбоя в секциях гасят свет. Постелил и снова вышел, не сиделось на месте. Дошел до красного кирпичного здания: здесь меня и застиг отбой. Десять часов. Десять звонких ударов по рельсу разнеслись над нашей зоной. Когда умолк последний удар, я ясно услышал, как вдали тоже бьют отбой. А потом донеслись еще более далекие, еле слышные удары. И мне представилось, что такой перезвон идет сейчас по всей стране, от лагеря к лагерю, удары о рельсы отзываются на бой часов на Спасской башне...

Однако после отбоя нельзя шататься по зоне. Надо идти к себе — «домой». В коридоре нашего барака еще толпились зэки: в одном нижнем белье докуривали по последней перед сном, продолжали недоконченные споры. Человека четыре торопились дописать письма. Вдруг кто-то от двери крикнул:

— Мусор!

И все кинулись по секциям, на ходу бросая свои самокрутки. Писавшие вскочили из-за стола, подхватили ли-

стки, ручки — и по местам. Я тоже зашпешил к своей койке. Разделся при свете синей лампочки над дверью, покрутился-покрутился со своим барахлом, не зная куда его пристроить, потом догадался, сунул под матрац в ноги и полез на свой второй этаж. Зэки вполголоса договаривали свои дневные разговоры. Но понемногу все стихло. Сосед, старик лет шестидесяти-семидесяти, шепотом спросил:

— Ну, сынок, как тебе на новом месте?

— Ничего... Рай по сравнению с вагонзаками и пересылками.

Я почувствовал, что старик смеется: моя койка, вплотную придвинутая к его, задрожала. Немного погодя он сказал:

— Человек хуже скотины. Помотают его по пересылкам, потом сунут в лагерь, а он и рад. Определился. Ты еще увидишь, какой этой рай. Ну, спи, спокойной тебе ночи.

Старик отвернулся и замолчал. А мне не спалось, я долго-долго думал. Нет, я не вспоминал новых знакомых, беседу с начальником. Наконец-то я в лагере — пора подумать о побеге. Я давно решил, что не буду сидеть за проволокой, как бы распрекрасно здесь ни было. Я просто не могу примириться с заключением. Убегу, пусть даже рискуя жизнью. Мне и в голову не приходило прикидывать, хуже здесь, чем я ожидал, или ничего еще, можно жить. Убегу. Надо только хорошо продумать, как это сделать. И с кем — не найдется ли напарник? Вот тут я стал вспоминать сегодняшних случайных знакомых. Я их еще совсем не знаю. Может, кто-то из них сейчас думает о том же?..

Уснул я под утро. Проснулся от качки, моя койка тряслась и прыгала, как лодка: это слезал со своего второго этажа сосед-старик, а нижние уже заправляли свои койки. Все четыре койки — две внизу и две верхние — связаны между собой для прочности веревками, и стоит кому-то одному из четырех пошевелиться, как все остальные начинают дрожать и качаться. Старик, увидев, что я проснулся, спросил:

— Сынок, что видел во сне на новом месте?

— Прокурора, конечно. Или, может, судью, — ответил за меня сосед снизу. — Угадал?

— Нет, не угадал. Я на новом месте сны не смотрю, чтоб потом не думать, к добру или к худу.

— Как же это ты ухитришься — не смотреть, если снится?

— А я, как только начинают показывать сон, зажимаюсь крепче. Попробуйте сами — и у вас получится.

Молодой парень запротестовал:

— Я не согласен, мне нравятся сны. Интересно, а кроме того, все больше воля снится. Хоть во сне поживешь...

— Э, посиди с наше, сынку, так и во сне про волю забудешь, а побачишь только те же самые хари надзирателей, — заметил пожилой украинец с пышными усами. — Я, конечно, тебе того не желаю, чтоб ты столько сидел. Так, к слову сказано.

Старики согласились, что им воля давно уж и во сне не снится.

Вместе со всеми я умылся, наскоро проглотил утренний «суп» и вернулся в барак, ожидать развода. Соседи по бараку сели пить чай. Это только называется «чай», а на самом деле кипяток, чуть подкрашенный суррогатом кофе. Его «заваривают» в многоведерных котлах на весь лагерь, а дневальные разносят в бачках по баракам... У меня к чаю ничего не было, кроме пайки хлеба. Соседи пригласили меня к себе, угостили сахаром, маргарином. Тогда, в 1961 году, в лагерях еще разрешены были продовольственные посылки, в ларьке продавали продуктов на десять рублей в месяц, и не только из заработанных денег, а можно было и от родных получить. Правда, всех этих благ могли лишиться за любой пустяк; но все-таки у многих были тогда свои продукты.

Пока мы гоняли чай, наступило время развода — половина восьмого утра. Зэки начали по-маленьку собираться у вахты. Вот появились нарядчик и надзиратель. Нарядчик выкликает бригаду, а зэки этой бригады выходят из толпы ближе к воротам. Надзиратель берет из ящика стопку картонных карточек — для каждой бригады в ящике особое отделение — и начинает вызывать по фамилиям. Карточка заведена на каждого зэка (это только для вывода на работу, а в спецчасти хранится на каждого целая папка), здесь и фамилия, и статья, и срок, и фотография. Назвали твою фамилию — иди к воротам, мимо надзирателя (он тебя оглядит с ног до головы, ты ли это, по форме ли одет, острижен), в предзонник, отделенный от зоны колючей проволокой. Пока идет переключка, подбегают опоздавшие, на ходу дожевывая кусок, застегивая свои форменные куртки. Их могут наказать за опоздание. А карточки тех, кто совсем не откликнулся, не вышел на работу, надзиратель кладет обратно в ящик. После разво-

да ими займутся отдельно, уже не надзиратели, а офицеры-отрядные.

В предзоннике обыск, потом открываются ворота и вся бригада выходит за зону. По ту сторону еще один предзонник, снова такая же проверка-перекличка, и мы поступаем в распоряжение вооруженного конвоя с собаками (в зоне надзиратели без оружия: предосторожность, чтобы зэки не отняли и не вооружились сами). Нам велят построиться в колонну по пяти, пересчитывают по пятеркам, предупреждают, что в случае неподчинения конвой применяет оружие, и — шагом марш!

Наша бригада работает в поле. Привели на место, расставили красные флажки, отметив запретную черту, за которой стреляет конвой без предупреждения, за флажком — это уже попытка к побегу. Участок весь на ладони, семь конвоиров следят за каждым твоим шагом — нет, с работы не убежишь, бесполезно!

Мы высаживали рассаду капусты, помидоров, сажали картошку, морковь. Обыкновенная крестьянская работа, только принудительная, из-под палки. Крестьянин работает, надеясь на урожай, а мы знали, что не увидим ни одной моркови. Нас и на уборку не пошлют, разве что картошку копать — ее сырой не съешь.

А норма такая, что работаешь целый день, не разгибаешься, и все равно еле-еле выполняешь. Кто не выполняет, плохо работает, тех лишают посылок, ларька, переводят на штрафной, голодный паек — это все меры воспитательного характера. — они должны привить зэкам любовь к труду!

Я работал очень усердно — и после всех вычетов у меня на лицевом счете осталось от месячного заработка 48 копеек. Даже на ларек не заработал! За второй месяц вообще ничего не получил.

Я бы плюнул к черту на каторжную работу — пусть карцер, пусть БУР, один черт. Но я решил непременно бежать, а для этого надо осмотреться и познакомиться поближе с зэками. Может, среди них найдутся напарники.

В одной бригаде со мной работал Анатолий Буров, тот самый, который в первый день окликнул меня: «Земляк!»

БУРОВ

На самом деле Бурову оказалось не сорок, а едва за тридцать лет. Он был еще совсем маленьким, лет двух-трех, когда их семью раскулачили. Он только помнил, как их, ребяташек, вместе с отцом, матерью и слепой бабуш-

кой выгнали зимой на мороз в чем стояли. До весны они кое-как прожили в хлеву у кого-то из деревенских, а весной семьи раскулаченных собрали, погрузили на пароход и повезли вниз по Оби. Высадили где-то на пустом берегу, за сотни километров от жилья: живите, как сумеете. И пароход ушел.

Сначала вырыли землянки, потом стали валить лес, ставить дома, корчевать пни. С великим трудом обжились на новом месте, обрастали хозяйством. Мужики, собравшись по пять-шесть человек, тайком уходили «на материк». Подработают и ведут домой скотину, тащат утварь. Года через три-четыре снова пришло пароходик с начальством. Пристани у села не было, подъехали на лодке, ходили от дома к дому, осмотрели и хозяйства, и пахоту. Удивлялись: здесь же должны быть одни могилы. Вот кулачье проклятое! Мироеды — и здесь живут! Власть села в лодку, отчалила, пароход ушел, а через месяц подошли два: тот, первый, и еще один, побольше. Высадилось много военных с оружием, снова стали раскулачивать: выбрасывали всех из домов, не дали взять ни ложки, ни плошки, согнали на пароход и повезли еще дальше. Чего им сделается, они и на болоте не сдохнут; а сдохнут, туда и дорога, трупы комары сожрут. Кулаки и кулацкое семя — чего их жалеть!

На новом месте обжились труднее, жили голодно. Кое-кто потихоньку перебрался «на материк». Отец Бурова умер, семья пропадала. Как раз началась война, стало совсем худо. В конце войны подошел год Анатолия Бурова, его призвали в армию. Направили было на фронт, но с полдороги направили в Омск, в танковое училище. А он вообще не хотел служить, ни в тылу, ни на фронте, из училища сбежал. Его поймали, судили как дезертира, дали всего пять лет. Но он узнал, что отправят в Норильск, на каторгу, а оттуда не возвращаются. И бежать оттуда невозможно, все равно что с Луны. И вот Буров договорился еще с тремя зэками: решили бежать из тюрьмы, пока не поздно, пока не отправили. Лучше уж здесь погибнуть от пули, чем там, в Норильске, умирать медленной смертью. Когда их вечером повели на оправку, они напали на надзирателей. Рассчитывали связать их, заткнуть им рты и бросить: вчетвером-то они справятся с двумя надзирателями. Но один из четверых в последнюю минуту струсил, а троим с двумя не справиться, особенно, чтобы без шума. Пока двое зэков вязали «своего», третий схватился с надзирателем один на

один, тот вырвался и кинулся бежать. Весь план рушился. Зэк схватил тяжелую крышку от параша и ударил надзирателя по затылку. Убил! Ну, теперь все равно. Они вызвали звонком вахтера, убили и его, взяли пистолет и сумели выбраться из тюрьмы. Им удалось скрыться. Они пробирались в Монголию. Шли ночами, днем отсыпались. А когда добрались до Монголии, до монгольского поселка, их поймали и, конечно, передали советским властям. Приговор они знали заранее: за убийство надзирателя и вахтера всем троим вышла вышка.

Семь месяцев Буров и двое других просидели в камере смертников, каждый день ожидая расстрела. Через семь месяцев вызвали одного. С вещами. Значит, не расстрел. Потом так же увели второго. Буров ждал еще несколько дней один. Настала и его очередь. Его повели по коридору, в самом конце коридора велели остановиться и стать лицом к стене. Он ждал — вот сейчас конец. Он настолько был не в себе, что даже не подумал: не станут же расстреливать вот здесь, прямо в коридоре. Ему велели повернуться лицом к надзирателям, и он увидел перед собой офицера с какой-то бумагой. Буров был уверен, что ему зачитывают приговор перед тем, как привести его в исполнение. Смысл прочитанного не доходил до него. Ему повторили еще раз: «... смертную казнь заменить двадцатью годами каторги».

Только когда его повели в баню, он поверил, что не расстреляют: смертников в баню не водят.

Вскоре Бурова отправили на Амур, а лагеря под Комсомольском.

Там он встретил заключенных, которые сидели еще с тридцатых годов. Они строили этот город, а теперь строили вокруг него заводы и дороги. Город называли Комсомольском, в честь комсомольцев-добровольцев, но их было раз-два и обчелся. Строили его зэки, и вокруг него были лагеря, лагеря, лагеря...

Буров бежал из лагеря. На этот раз он пробыл на свободе три дня. В городе его задержала милиция. Новый суд, новый срок, добавок к двадцати годам каторги. На этот раз Норильск. К 1961 году у него за плечами было уже шестнадцать лет лагерей и тюрем. Из Норильска его перевели в какой-то сибирский лагерь, потом в другой, третий. Когда он в 1959 году сидел в Тобольской тюрьме, надзиратели избили его и еще троих зэков до потери сознания. Бурову при этом сломали руку, и, чтобы отделаться от него, его сплывили в Мордовию.

Буров мне понравился — отчаянный парень. Мы с ним подружились и стали вместе обдумывать план побега.

РАССКАЗ РИЧАРДАСА

Мы с Буровым присматривались к людям. Кто из них составит нам компанию? Осторожно прощупывали в разговоре, знакомились поближе и только потом прямо спрашивали: «Рискнешь бежать?» Так нас собралось несколько человек: Анатолий Озеров, Анатолий Буров, я и еще другие — я не хочу их называть. Мы решили копать подкоп — другого пути из лагеря нет. Решили, что мы, три Анатолия, займемся разведкой, выясним, где лучше копать, а тогда уже скажем остальным.

Мы все хорошо знали, на что идем. Знали, что если политических ловят при побеге, то в живых они могут остаться только чудом. Чаще всего их сначала изобьют, исколечат, затравят собаками, а только потом пристрелят.

Здесь же, на десятом, сидел литовец Ричардас К. Он участвовал в побеге и рассказывал мне, как их поймали. Они втроем, три литовца, как-то сумели уйти от конвоя в поле. Их заметили, когда они были уже около леса. По ним открыли стрельбу, но было поздно. Тогда вызвали автоматчиков из дивизиона, оцепили лес, и солдаты с собаками стали искать беглецов. Собаки быстро взяли след, и скоро Ричардас и его товарищи услышали погоню чуть ли не за спиной. Они понимали, что им все равно не уйти, но все-таки попытались спрятаться — а вдруг конвой с собаками проскочит мимо. Те двое полезли на дуб и спрятались в листве, а Ричардас закопался в опавшие листья под кустом, — дело было осенью. Дальше все произошло буквально у него на глазах. Он даже не успел как следует прикрыться листьями, когда появились два автоматчика с собаками. Собаки закружились около дуба, рвали передними лапами кору. Прибежали еще шестеро автоматчиков и офицер с пистолетом. Беглецов на дереве обнаружили сразу. Офицер закричал:

— Свободы захотели ... вашу мать?! А ну, слезай!

Первый сук был метрах в двух над землей. Ричардас видел, как один из беглецов сначала стал ногой на этот сук, потом опустил на корточки, свесил ноги и повис на животе и на руках, готовясь спрыгнуть. В это время раздалось сразу несколько автоматных очередей, и парень, как мешок, свалился на землю. Но он был жив, извивался и корчился от боли. Офицер ударил его еще раз и велел спустить собак. А тот не мог даже защи-

щаться. Когда собак оттащили, он остался лежать неподвижно. Офицер приказал поднять его и отвести в сторону. Его били сапогами, но он не вставал. Тогда офицер сказал:

— Что вы ноги об него обиваете? Оружие у вас на что?

Солдаты стали колоть раненого штыками, приговаривая:

— Давай, давай, поднимайся, нечего прикидываться!

Раненый с трудом начал подниматься на ноги. Перебитые автоматными очередями руки болтались, как пустые рукава. Изорванная одежда сползла до пояса. Он был весь в крови. Подкалывая по дороге штыками, его повели к соседнему дереву. Офицер скомандовал:

— Хорош, стой!

Около дерева первый беглец свалился. Его остались стеречь два солдата с собакой, а остальные занялись следующим. Второму тоже было приказано слезать с дерева. Он, видно, решил схитрить и, добравшись до нижних сучьев, свалился на землю прямо под ноги автоматчикам. Никто не успел выстрелить. К нему, лежащему, подскочил офицер и выстрелил несколько раз из пистолета по ногам. Потом с ним было то же, что с первым: его колотили сапогами, рвала собака, кололи штыками. Наконец офицер велел прекратить избиение, подошел к парню и спросил:

— Ну, свободная и независимая Литва, говори, где третий?

Парень молчал. Офицер ударил его сапогом и повторил вопрос. Ричардас слышал, как его товарищ прохрипел:

— Назвал бы я тебя фашистом, только ты хуже!

Офицер обиделся:

— Я сам воевал на фронте с фашистами! И с такими, как ты, тоже. Мало вы наших у себя в Литве постреляли?!

На раненого снова накинлись и снова стали избивать. Потом офицер приказал ему ползти ползком к тому дереву, где лежал первый:

— Не хочешь идти, ползи! — И раненый с перебитыми ногами пополз, а его, как и первого, подбадривали штыками. Офицер шел рядом и приговаривал:

— Свободная Литва! Ползи, сейчас получишь свою независимость! — Ричардас говорил мне, что этот парень был студент из Вильнюса и получил семь лет за листовки.

Когда оба беглеца были рядом, их снова стали избивать и колоть, теперь уже насмерть. Наконец не стало слышно стонов и криков. Офицер убедился, что они мертвы, и послал в поселок за подводой. Он, видно, рассчи-

тывал разделаться и с третьим до тех пор, пока приедет подвода. Но Ричардаса искали довольно долго. То ли собаки уже устали, то ли запах прелой листвы перебивал их чутье, только они никак не могли его найти. Солдаты бегали по лесу, чуть не наступая на него, офицер стоял в двух шагах от его куста. Ричардас говорил, что несколько раз готов был вскочить и бежать. И только когда Ричардас уже слышал, как стучат по дороге колеса подвода, офицер подошел к куче листьев, пнул их ногой и тут же закричал:

— Вот он, сволочь! Вставай!

В это время подъехала подвода:

— Товарищ майор, где беглецы?

Ричардас встал. Прямо на него был направлен пистолет майора. Ричардас инстинктивно дернулся как раз в ту минуту, когда раздался выстрел, почувствовал, как обожгло ему плечо и грудь, и упал. Он не потерял сознания, но лежал неподвижно, стараясь не шевелиться и не стонать. Вокруг собрались еще люди, кто-то спросил:

— Товарищ майор, а может, он еще жив?

Майор ответил:

— Где там жив! Стрелял в упор прямо в грудь, — он, наверное, не успел заметить, что Ричардас отклонился.

Ричардаса бросили на дно телеги, — он и тут сумел не застонать, — а сверху на него бросили два трупа. Подвода двинулась к лагерю. Ричардас слышал, как кто-то подходил к ней и майор объяснял:

— Убиты во время преследования.

По тону было слышно, что и спрашивающие, и майор отлично понимают, что это значит. Потом подвода остановилась — наверное, подъехали к вахте. Кто-то приказал сбросить трупы около вахты.

Когда потащили Ричардаса, он застонал. Сказали: «Смотри, живой еще». Он открыл глаза. Было еще светло, даже не горели огни на запретке. От группы офицеров к нему двинулся тот самый майор, на ходу вытаскивая пистолет. И Ричардас понял: сейчас пристрелит. Но за майором пошел начальник режима, схватил его руку:

— Поздно, нельзя! Смотрят же все.

Около вахты, действительно, толпилось много народу, военные и гражданские, — сбежались посмотреть, как привезут беглецов.

Ричардаса сбросили с телеги. Кто-то из начальства отдал распоряжение солдатам. К нему подошли и спросили, может ли он идти. Он сказал, что может. Его повели

к вахте, а в зоне надзиратели сразу же препроводили его в карцер.

Там он в первые дни сидел один, к нему никто не заходил, хотя он просил сделать перевязку. Только на четвертый или пятый день пришел фельдшер-зэк — перевязал рану. А на следующий день пришла врач, осмотрела его и сказала, что надо отправлять в больничную зону. Он был в жару, и рука сильно болела.

В больнице ему отняли руку по самое плечо — лечить уже было поздно.

Потом его судили, добавили срок и отправили во Владимирскую тюрьму. Это было года за три до меня, и многие еще помнили эту историю.

Но суд судом, а убивают беглецов при поимке специально, чтобы другим неповадно было бегать. И раненых или избитых нарочно не лечат. Увидев вот такого безрукого Ричардаса, многие задумаются — стоит ли рисковать? А суд, срок — это никого не остановило бы при тех условиях, какие существуют у нас в лагерях.

Но и без рассказа Ричардаса я хорошо помнил случай на Бухтарминской ГЭС. Там офицер стрелял почти в упор в безоружного беглеца. Я сам это видел.

И я, и все остальные знали, что если мы попадемся, то вряд ли останемся в живых. Но все-таки мы решили рискнуть.

ПОДКОП

Первым делом мы втроем разведали почву.

У нас в лагере рыли траншеи под барак, и в них всегда стояла вода. Но, может, так не везде в лагере? Мы достали железную полосу (в лагере нет ни лопат, ни какого другого инструмента) и в ночь, после отбоя, часов в одиннадцать, вышли поодиночке из барака, будто по нужде. Пролезли под крыльцо и очутились под нашим баракком. Все бараки в лагере строятся на высоком фундаменте, и каждую неделю надзиратели проверяют крючьями, металлическими штырями, нет ли подкопа. Мы с Буровым пробрались подальше и стали копать, а Озеров нас караулил. Сняли верхний слой — щепки, камни; дальше шел песок, копать стало легко. Но на глубине полуметра оказалась вода. Дальше бесполезно. Мы засыпали яму, сверху снова положили мусор, чтобы надзиратели при проверке ничего не заметили, и поползли к Озерову. Знаками показали ему: ничего не вышло, вода! Теперь надо скорей

по местам. Часа в два ночи обход барачков, надзиратели входят, зажигают свет и считают спящих. Если кого-нибудь нет в это время на койке, то это вызывает подозрение, что зэк готовится к побегу. За это строго наказывают, сажают в карцер, могут даже отправить в тюрьму. Но мы успели вовремя. Все сошло благополучно.

Следующей ночью мы облазили остальные бараки, даже дальние запретки. Везде было то же: вода. В жилой зоне мы так и не нашли места для подкопа. Тогда мы решили проверить и рабочую зону.

Рабочая зона в десятом маленькая: пекарня, гараж на три машины, пилорама, небольшой токарный цех и крольчатник. Там же, вблизи крольчатника, шло строительство нового цеха. Рабочая зона вплотную примыкает к жилой, отделена от нее только двумя рядами колючей проволоки, причем эта запретка без постоянного освещения. Только часовые с вышек наводят на нее время от времени свои прожекторы. Так что проникнуть в рабочую зону можно. Но когда? До часу ночи там работает вторая смена, а в два проверка в бараках. Ничего не поделаешь, придется после двух и до света, хотя это очень опасно. А вдруг кто-нибудь в бараке не спит? Что он подумает, увидев, как зэк одевается, одетый уходит из секции и пропадает не десять минут, а несколько часов? В каждом бараке есть стукачи. Вышел во двор — ночью здесь ходят надзиратели, ночные сторожа, зэки-повязочники из секции внутреннего порядка. И ведь нас трое, а достаточно, чтобы заметили одного...

Несмотря на все эти опасения, нам как-то везло, ни разу не засекли. Мы заранее решили, где будем копать. Пекарня отпадает: там работают круглые сутки. В гараже-автомастерской — бетонный пол. Остановились на токарном цехе — он ближе к наружной запретке, так что если почва окажется сухой, то копать будет недалеко.

Договорились встретиться после ночного обхода около крольчатника. Нам удалось благополучно пробраться в рабочую зону, миновать ночного сторожа, прокрасться к цеху. Дверь, заперта всяким замком, но мы его легко открыли гвоздем. Озеров снова остался караулить, а мы с Бутовым вошли в цех. Свет выключен, но в цехе светло: свет от запретки проникает в окна. Самый цех не подходит, в нем высокий деревянный пол. Мы обошли складские помещения. Одна кладовая нам показалась подходящей: пол выложен кирпичом, но без цемента, а

прямо по песку. Вынимай кирпичи из любого угла и копай. К тому же кладовая завалена деревянными чурками, заготовками, так что после работы можно забросать все снова и ничего не будет заметно. Если только почва хорошая, без воды, — какое удачное место! Всего метра четыре от запретки, да запретки по обе стороны забора еще метров двадцать, да еще сколько-нибудь от запретки на волю — достаточно хода в тридцать метров. Это ничего, это можно выкопать. А яму в кладовой можно закрывать деревянным щитом (материала здесь хватит), сверху присыпать песком, уложить кирпичи, замаскировать, — и до следующей рабочей ночи.

Мы с Буровым размечтались. Но пока пора уходить, скоро рассветет. Договорились копать в следующий раз. Выбрали подходящую ночь, пробрались в цех, в кладовую и стали копать. Опять неудача! Как и в жилой зоне, через полметра в яме показалась вода. Пришлось ее засыпать, утрамбовать, замаскировать место разведки кирпичом и заготовками.

До сих пор одни сплошные неудачи, кроме разве того, что нас пока не поймали. Видно, надо придумывать новый план. Может, придется даже отказаться от подкопа, хотя еще не все места проверены. Но пока не придумали ничего лучшего, надо искать место без воды. Не отказываться же вообще от побега. Не хотелось верить, что весь лагерь стоит на воде.

Между тем силы у нас троих кончились. Шутка ли, столько ночей не спать, копать, а днем ходить на работу! Да на лагерном пайке. Буров к тому же инвалид, рука перебита. А меня перевели в строительную бригаду, это еще тяжелее, чем в полевой.

В июне я заболел.

ШИЗО

Я простудился еще в карагандинских лагерях, а медицинской помощи не было. С тех пор у меня хроническое воспаление обеих ушей и время от времени бывает обострение. В этот раз тоже разболелись уши. Голова раскалывается, в ушах стреляет, ночью трудно уснуть, за обедом больно рот раскрыть. К тому же мутит и кружится голова.

Я пошел в лагерную санчасть. Пошел, хотя лагерные старожилы говорили мне, что бесполезно, ушник приезжает раз в год, вызывает сразу всех, кто жаловался на уши в течение этого года. Таких набирается много. «Что болит?» —

«Уши». Не глядя, запишет в журнал и выпишет перекись водорода. Ни обследования, ни настоящего осмотра: освобождения от работы не дадут, не жди. Вот если высокая температура, тогда могут освободить от работы на несколько дней.

Я обращался к врачу несколько раз и каждый раз слышал только оскорбительные утверждения, что, раз у меня нет температуры, значит, я здоров и просто отлыниваю от работы. А в конце июня за невыполнение нормы меня посадили на семь суток в ШИЗО — штрафной изолятор, иначе — карцер. Ничего неожиданного для меня в этом не было: норму не выполняю — карцера не миновать. Сначала вызовут к начальнику отряда: изволь выслушать внушение, что каждый зэк должен честным трудом испустить перед народом свою вину.

— Почему норму не выполнил? — спрашивает отрядный под конец своей проповеди. Спрашивает, хоть и видит, что человек перед ним еле на ногах стоит. — Болен? Но ведь температуры нет! Нехорошо обманывать, симулировать, отлынивать от работы.

И чтоб тебе это было понятней — дает несколько суток карцера.

Что представлял собой штрафной изолятор в 1961 году? Обыкновенный лагерный барак, разделенный на камеры. Камеры разные: и одиночки, и на двоих, и на пятерых, есть и на двадцать человек. а набить туда могут, по мере надобности, и тридцать, и сорок. Карцер находится в зоне особого режима, в полукилометре от десятого. Для прогулок был отгорожен крохотный, выбитый, вытоптаный дворик, на котором и летом ни травинки; любую зеленую стрелочку съест изголодавшийся в карцере зэк.

В самом карцере голые нары из толстых досок, никакого тюфяка, ничего даже похожего на подстилку не полагается. Нары короткие — спи согнувшись; когда я пытался вытянуться во весь рост, ноги у меня свисали. Посредине нар, поперек их, набита толстая нелепая полоса, скрепляющая доски. Ну что бы набить ее снизу? Или уж сделать желобок, если надо, чтобы она шла поверху? Нет, эта железная полоса шириной пальца в три и толщиной в палец возвышается поверх досок посредине нар, чтобы, как ни ляжешь, она врезалась бы в твоё тело, ничем от нее не защищенное.

На окне толстая решетка, в двери глазок. В углу неизменная спутница заключенного — параша; ржавая посудина ведра на четыре, крышка к ней приварена толстой

цепью. К стенке параша приварен длинный железный штырь, с резьбой на конце. Его вставляют в специальное отверстие в стене, и на его конец, выходящий сквозь стену в коридор, надзиратель навинчивает большую гайку. Таким образом параша намертво прикрепляется к каменной стене. Во время оправки гайку свинчивают, чтобы зэки могли вынести и опорожнить парашу. Эта процедура происходит один раз в день, утром. Все остальное время параша стоит на своем законном месте, распространяя по камере страшную вонь...

В шесть утра раздается стук во все двери:

— Подъем! Подъем на opravку! — Ведут умываться. Доходит очередь и до нашей камеры. Однако это только так называется — умываться. Не успел руки обмыть, тебя уже гонят в шею:

— Быстрее, быстрее, на воле будешь размываться! — На умывание одного зэка приходится меньше минуты. Кто не успеет умыться — ополоснет лицо в камере над парашей.

И вот мы в камере, ждем завтрака. Это тоже — одно название. Кружка кипятка и пайка хлеба — 450 граммов на весь день. В обед дадут миску постных щей — почти одна вода, в которой выварена вонючая квашеная капуста, да и той в миске почти нет. Наверное, и скотина не стала бы их есть, эти щи. А зэк в карцере выпьет их через край, еще и миску корочкой оботрет, — и будет с нетерпением ждать ужина. На ужин — кусочек отварной трески со спичечный коробок, скользкой и несвежей. Ни грамма сахара, ни грамма жиру в карцере не полагается.

Жутко вспомнить, до чего доходит в карцере человек от голода. Выхода в зону ждешь больше, чем конца срока. Даже общая лагерная полуголодная норма кажется в карцере небывалым пиром.

Жутко вспомнить, как сам голодал. Еще страшнее сознавать, что вот сейчас, когда я пишу об этом, в карцерах голодают мои товарищи...

Томительно ползет время между завтраком и обедом, между обедом и ужином. Ни книг, ни газет, ни писем, ни шахмат. Два раза в день проверка, до и после обеда получасовая прогулка по голому дворику за колючей проволокой — вот и все развлечения. Во время проверки надзиратели не торопятся: считают заключенных в каждой камере, пересчитывают, сверяются с числом, поставленным на доске. Потом начинается тщательный осмотр камеры. Надзиратели большими деревянными молотками выстукивают стены, нары, пол, решетку на

окне — не подпилены ли прутья, нет ли подкопа, не готовят ли эки побег из карцера. Проверяют, нет ли каких надписей на стенах. Во время проверки все мы должны стоять, сняв головные уборы, — я еще расскажу, для чего это нужно.

Во время тридцатиминутной прогулки можно сходить в уборную. Однако, если в камере человек двадцать, успеть трудно: уборная на двоих. Выстраивается очередь, снова тебя торопят:

— Скорей, скорей, время кончается, нечего расслаиваться. — Не успел — в камере есть параша. А в уборную больше не выпускают, будь ты хоть старик, хоть больной. Днем в камере духотища, вонь. Ночью даже летом холодно: барак каменный, пол залит цементом, строят карцер специально так, чтобы там было холодно и сыро. Нечем накрыться, нечего подстелить, кроме бушлата, — его, как и все теплое из одежды, отбирают перед тем, как посадить в карцер, и выдают только на ночь.

Нечего и думать взять с собой в карцер что-нибудь из продуктов или курева хоть на ползатяжки, бумагу, грифель от карандаша — все отберут при обыске. Тебя самого, скинутое тобой белье, брюки, куртку прощупают насквозь.

Ночью, с десяти вечера до шести утра, лежишь скорчившись на нарах. В бок впивается железная полоса, сквозь щели между досками тянет от пола сыростью, холодом. И хотел бы уснуть, чтобы хоть во сне забыть о сегодняшних мучениях, о том, что завтра повторится то же самое, — но никак не успеешь. А встать, побегать по камере нельзя — надзиратель в глазок увидит. Промаешься, ворочаясь с боку на бок, чуть не до света, только задремлешь — стук в дверь, крики:

— Подъем! Подъем! На opravку!

Срок в карцере ограничен — не более пятнадцати суток. Но это правило начальнику легко обойти. Вечером выпустят в зону, а на другой день снова посадят, еще на пятнадцать суток. За что? Всегда найдется за что: стоял в камере, загоразживал глазок; подобрал на прогулке окуроч на две затяжки (кто-нибудь из друзей перебросил из зоны через запретку); грубо ответил надзирателю. Да новые пятнадцать суток просто так, ни за что дадут. Потому что если на самом деле возмутишься, если дашь себя спровоцировать на протест, — то получишь уже не пятнадцать суток карцера, а новую судимость по указу.

В Караганде меня однажды продержали в карцере сорок восемь дней, выпуская только для того, чтобы зачитать новое постановление о «водворении в штрафной изо-

лятор». Писателю Юлию Даниэлю в Дубровлаге дали два карцерных срока подряд за то, что он «грубил часовому». Это было совсем недавно, в 1966 году.

Некоторые не выдерживают нечеловеческих условий, голода и калечат сами себя: авось, положат в больницу и хоть на неделю избавишься от голых нар, от вонючей камеры, получишь более человеческое питание. Пока я сидел в камере, двое эзков проделали следующее: отломали от своих ложек черенки и проглотили; потом, остаться. И кормят не питательной смесью, как меня в Ашхабаде, а той же лагерной баландой, только пожиже, чтобы шланг не засорить. В камере дают баланду чуть теплую, а при искусственном питании стараются дать погорячее. Знают, что это верный способ погубить желудок.

Мало кто в состоянии долго выдерживать голодовку, добываясь своего; однако я знаю несколько случаев, когда заключенные голодали по два-три месяца. Главное же, что это все равно бесполезно. На заявление о голодовке в любую инстанцию ответ такой же, как на прочие жалобы. Только что к голодающему начальник сам придет в камеру, поскольку ослабевший эзк ходить не может.

— Ваш протест не обоснован. Снимайте голодовку, умереть мы вам все равно не дадим: смерть избавляет от наказания, а ваш срок еще не кончился. Вот выйдете на волю — пожалуйста, умирайте. Вы жалуйтесь, жалуйтесь на нас в вышестоящие органы! Пишите — это ваше право. Разбирать вашу жалобу все равно будем мы...

Вот в такой «санаторий» я попал из-за болезни. Отсидел семь суток и вышел, как говорится, держась за стены, — приморили.

Но, несмотря на слабость, пришлось на другой же день идти на работу, чтобы не заработать новой отсидки в ШИЗО.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА

Пока я отсиживал свои семь суток, Буров и Озеров отчаялись, потеряли надежду на подкоп. Не то чтобы как раз я был заводилой в этом деле, а просто двое теряют надежду скорее, чем трое. Один засомневался: мол, как же копать, когда везде вода? Другой с ним поневоле соглашается. И нет третьего, чтобы сказать:

— Братцы, да что же делать, не сидеть же сложа руки, давайте пытаться бежать любым способом, пока живы...

Словом, когда я вышел из карцера и чуть оправился, мы снова стали договариваться о побеге. Решили еще раз

попытаться копать в рабочей зоне — из строящегося барака. Решение на этот раз подкреплялось преимуществами нового места подкопа: подведенные под крышу стены будут загораживать нас от часовых и охраны, кучи свежей земли вокруг барака помогут скрывать следы подкопа, туда легко попасть через оконный проем, не надо с замком возиться...

Мне сейчас трудно судить, но думаю, что, если бы пришлось искать новый план, и еще, и еще, мы каждый раз находили бы преимущества в каждом последующем варианте — так невыносима была для нас мысль о том, что в неволе придется остаться надолго.

Мы договорились на следующую ночь пробраться в недостроенный барак — посмотрим: глубоко ли там вода. Как раз на условленный вечер было объявлено кино. Летом кино показывают на улице около столовок. Начинают после ужина, когда стемнеет, заканчивают поздно, после времени отбоя. Так что летом дважды в месяц эски допоздна шатаются по зоне, дышат свежим ночным воздухом — кино мало кто смотрит, после журнала помаленьку разбредаются по одному, по двое-трое, стараясь, конечно, не попасться на глаза надзирателям. Вот как раз на такой удачный вечер мы и договорились: идем в кино, садимся в разных местах, а после журнала сматываемся — и в рабочую зону. Обсудили, конечно, и какие опасности подстерегают нас в новом месте. Ближе вышка — надо очень осторожно пробираться в барак, работать бесшумно. От ночных сторожей решили выставить охрану — Бурова, а Озеров и я будем копать. Буров, работавший рядом с «нашим» баракком, в крольчатнике, сказал, что строительная бригада оставляет на ночь носилки — хорошо, пригодятся; что весь инструмент, как обычно, уносят и сдают, — ничего, рядом много строительного мусора, попытаемся копать палками, щепками.

В условленный вечер я ходил по зоне, дожидался начала сеанса. Вдруг слышу голос начальника моего отряда, капитана Васяева. Вернее, не голос, а крик:

— Мало ты в ШИЗО сидел, тунеядец! — орал он на какого-то беднягу, как и я, только что вышедшего из карцера. — Опять норму не выполняешь! Даром, что ли, тебя государство будет кормить? Вон вас сколько здесь, дармоедов!

— Я сюда на дармовые харчи не просился, — ответил эск. — Я на заводе работал. Худо-бедно, а себя и свою семью сам кормил. Какой же я тунеядец?

Вокруг них собралась кучка зэков и слушала эту дискуссию, явно сочувствуя своему товарищу. Это еще больше злило капитана.

— Не знаю, как ты там зарабатывал, а здесь даром хлеб ешь, — продолжал он воспитательную работу.

Зэк тоже разозлился и не смолчал, хоть и знал, что ему за это будет:

— Сколько я зарабатывал, не тебе считать, капитан. Мне хоть за мой труд платили, а тебе за что платят вдвое больше, чем рабочему? За то, что над нами, работягами, с палкой стоишь?

— Я служу родине!

— Служишь? Гордишься? Это здесь; а небось в отпуск поедешь — так никому не скажешь, где служишь! Постесняешься перед людьми признаться, за что тебе большие деньги платят!

В это время я заметил позади толпы зэков двух наблюдателей:

— Взять его! — показал капитан на своего оппонента. — На вахту!

А сам пошел выписывать постановление на пятнадцать суток.

Дискуссия кончилась на этот раз сравнительно благополучно: нередко такого язвчатого заключенного отдадут под суд «за антисоветскую агитацию» и дело кончается новым сроком, спецрежимом или тюрьмой.

— Надо же было ему лезть в этот спор! — тихо говорили зэки, расходясь после этой сцены. — Нашел, кому доказывать, кого воспитывать! Да разве их проймешь?

— Так что же, молчать, что ли? Молчать, что бы тебе ни говорили, как бы с тобой ни поступали?! — вырвался кто-то, наверное, из молодых. К счастью, нельзя было разглядеть, кто: хотя капитан Васяев ушел, но и среди своих, зэков, могли быть стукачи; донесли бы — и с этим парнем расправились бы так же, как со спорщиком.

Бежать, как угодно, пусть любой риск, только бежать! Здесь мы не люди, даже от оскорбления нельзя защищаться...

Стемнело. Подойдя к столовой, около которой уже висел экран, я стал вглядываться в толпу. Оба здесь — и Буров, и Озеров. Они тоже нашли меня и друг друга глазами — и мы сразу же перестали глядеть друг на друга. Даже молчаливое переглядывание может показаться подозрительным какому-нибудь стукачу, только и ждущему, чем бы выслужиться перед начальством.

После журналов, как мы и рассчитывали, нам удалось незаметно улизнуть. Через три ряда колючей проволоки и невысокий заборчик, отделявший жилую зону от рабочей, тоже перебрались благополучно: здесь темно, прожектора освещают только наружную запретку. Около крольчатника надо двигаться совсем бесшумно: ночные сторожа бдительно стерегут кроликов от голодных зэков.

Наконец мы в нашем недостроенном бараке; можно вздохнуть свободнее, стены загораживают нас. Огляделись. Вот и стенка, ближняя к общей запретке, — копать будем здесь. Только бы почва оказалась подходящей, без воды! Тогда мы замаскируем яму досками, их здесь много; присыплем сверху землей и в следующие ночи продолжим подкоп. Мы молча, даже не перешептываясь, заняли свои места: Буров выполз из барака следить за сторожами, мы с Озеровым стали копать. У Озерова оказалась железная полоса — та самая, с которой мы лазали под жилой барак; он сумел прятать ее до сих пор. Дело пошло. Копаем, а по бараку время от времени скользит яркий луч света — это часовой на вышке водит прожектором по зоне и в бараке становится светло, как днем. Прижимаешься к земле. Луч скользнул над нами, мимо — и мы снова копаем, стараясь не стукнуть, не звякнуть. Выкопали яму сантиметров в 50 — песок стал влажным. Еще сантиметров через 20 дно ямы покрылось водой. Снова неудача! Мы еще не успели осознать, что наш план провалился, как в барак вошел Буров:

— Только что мимо этого окна прошел сторож.

Слышал ли он нашу возню? Он мог даже увидеть нас, если заглянул в окно.

— Куда он прошел?

— Вон туда, — Буров показывает в сторону, противоположную вахте.

Если слышал, если хочет сообщить вахтерам, тогда он должен еще раз пройти мимо нас к вахте. Мы решили поскорее засыпать яму, пока сторож не прошел к вахте, и только тогда убежать. Ведь если обнаружат следы нашей работы, всю зону перевернут, будут искать, кто готовит побег. Ну пусть даже до нас не докопаются — все равно охрана будет начеку, будет следить за каждым зэком — куда пошел, что понес, с кем перешептывается... Придется надолго, а может, и насовсем распрощаться с мыслями о побеге. Нет, мы этого ни за что не хотели. Подкоп безнадежен — будем думать и придумаем какой-нибудь другой способ убежать.

Поскорее, поскорее засыпать яму! Буров снова выполз за сторожем: как только он пройдет к вахте, мы бросаем работу и кидаемся к запретке. В жилой зоне, может, удастся смешаться с другими заключенными. Если нас поймают — убить не убьют, в зону надзиратели с оружием не заходят, — но уж изобьют до полусмерти, может, совсем искалечат.

Мы с Озеровым сбрасываем землю в яму, уже не заботясь о тишине. Через несколько минут снова появляется Буров:

— Сюда бегут надзиратели!

Потом мы поняли, что сторож, услышав нас, пошел не на вахту, а к другим сторожам, а те уже сообщили охране.

Мы выскочили из барака. Все вокруг было залито светом: часовой направил прожектор прямо на барак, на нас. Ослепленные прожектором, мы кинулись в сторону жилой зоны. Я почти не помню, как очутился в крольчатнике, вскочил на невысокий заборчик около запретки — вдоль всей запретки уже стоят надзиратели! Я спрыгнул обратно в крольчатник, пополз под клетками. Где-то здесь мои друзья: я видел Бурова рядом с собой несколько секунд назад.

В крольчатник вбежали надзиратели. У каждого в руках заостренный березовый кол и зажженный фонарь.

— Окружить, ни одного не выпускать! — услышал я голос майора Агеева, руководившего охотой.

Надзиратели стали тыкать кольями под клетки. Первым обнаружили Озерова.

— Вылезай, — скомандовали ему.

Но когда он попытался выползти, его стали так подбадривать кольями, что он забился еще глубже. Все-таки его выгнали из-под клетки, и я видел и слышал, как несколько надзирателей начали колотить его сапогами и колоть кольями. Остальные тем временем продолжали поиски. Бурова и меня нашли почти одновременно — мы оказались под соседними клетками. С нами сделали то же, что с Озеровым. Не знаю, долго ли продолжалось избивание. Наверное, недолго, раз мы остались целы.

На шум и крики сбежали заключенные, столпились по ту сторону запретки в жилой зоне. Их пытались разогнать, но они не расходились. Из толпы раздавались крики:

— Убийцы! Палачи!

Часовые с вышек дали несколько автоматных очередей над головами эков — это не помогло. Майор Агеев подбежал к проволоке:

— Что, сроки маленькие? Добавим! Места в тюрьме и в БУРе хватит! Расходитесь!

Но толпа не расходилась. Тогда нас троих подняли и погнали от запретки к вахте в рабочей зоне. Гнали, избивали на ходу. Сзади подгоняли острыми кольями. То и дело кто-нибудь из надзирателей, разбежавшись, бил нас по ногам коваными сапогами. Или метил сапогом повыше — с разбегу по ребрам или еще куда-нибудь, куда достанет; лишь бы побольнее. Я шел, низко пригнув голову, согнувшись, как только мог, сцепив руки на затылке; кистями старался защитить от ударов голову, локтями прикрывал ребра. Рук я не чувствовал, да и все тело давно перестало ощущать боль от ударов.

На вахте избивание продолжалось. Потом майор Агеев провел короткий допрос:

— Кто еще хотел бежать с вами?

Каждый из нас отвечал, что, кроме нас троих, никто. После допроса нас должны были с вахты отправить в карцер. Карцер, как я уже говорил, находился в другой зоне. И вот мы все трое думали об одном, наденут на нас наручники или нет? Если не наденут — значит, решили застрелить по дороге. Выстрелят в спину, а потом напишут: «убиты при попытке бежать от конвоя по дороге в карцер», — сколько таких случаев было! Мы машинально отвечали на вопросы Агеева, а сами ждали, что сейчас будет — наручники или сразу команда «выходи»!

Но вот вошли еще надзиратели, с наручниками, мы переглянулись, и я понял, что Буров и Озеров почувствовали в эту минуту то же, что и я.

Одной парой наручников соединили меня с Буровым, другой с Озеровым. На Бурова и меня надевал наручники сам майор, другую пару затягивал старшина. Майор старался на совесть, забивал наручники рукояткой пистолета. Руку заломило так, что я чуть не взвыл. Лицо Бурова перекошилось.

— Потуже, потуже, чтоб всю жизнь помнили, — приказал майор старшине, и Озеров скривился и застонал.

Нас протолкнули сквозь несколько узких дверей и повели через полотно в соседнюю зону. Я все же боялся: не пристрелят ли по пути — ведь здесь, за зоной, и конвой вооружен автоматами, и у майора Агеева пистолет в руке. Но нет, и для этого беззакония, видно, писаны свои законы: зэка в наручниках нельзя застрелить. Майор только бил нас рукояткой под ребра.

Оставив свое оружие на вахте, майор и конвоиры повели нас в дежурку. Здесь нам велели стать у стенки — и снова стали избивать. Мы, скованные наручниками, не

могли даже заслонить лица от ударов. Потом нас свалили на пол и стали топтать сапогами.

— Так их, так, ... рот-позарот, — приговаривал Агеев. — Пусть помнят и другим расскажут, как бегать.

Наконец с нас сняли наручники, поволокли по коридору и бросили в камеру.

Суток трое-четверо мы лежали, не поднимаясь. Откроется дверь, позовет раздатчик брать пайку или обед — а мы встать не можем. Раздатчик зовет надзирателя, тот от двери, не заходя, глянет на нас — велит закрыть камеру. Только дня через три начали мы подниматься за обедом и хлебом. Однажды утром нам зачитали постановление о том, что нам выписано по пятнадцать суток карцера. Это от администрации. А потом нас ждет суд: приговорят к двум-трем годам тюрьмы по закону. Кончатся пятнадцать суток карцера, и мы останемся ждать суда в той же камере, только на общем режиме: лагерное питание, постель на нары, книги, прогулка час в день, разрешается курить. Чтобы неудавшиеся беглецы не очень радовались всей этой роскоши, сначала и дают полмесяца карцера — такая уж традиция.

Наша камера была маленькая, на троих, зато на бойком месте: расположенная в углу барака, она зарешеченным окном выходила на два прогулочных дворика, к уборной; из окна можно было увидеть и вахту. Так что в последние несколько суток карцера, когда мы оправились настолько, что могли ходить по камере, мы только и делали, что толклись у окна, глазели на зеков на прогулке, — а они на нас, — на новичков, которых вели от вахты к бараку. Иногда удавалось незаметно перекинуться и несколькими словами с гуляющими.

Это была зона общего режима, иначе — специально. И лагерь называется «спец»; «был на спецу», — говорят зеки.

НА СПЕЦУ

В первую свою отсидку я не видел толком ни зоны, ни людей, — никого, кроме сокамерников. Теперь же, за то время, что мы сидели в карцере, а затем под следствием, ожидая суда, мы не только пригляделись к спецрежиму, но и познакомились с некоторыми зеками со спеца. Впоследствии в лагерях, где я побывал, и в больничной зоне я встречал много заключенных, побывавших на спецу. Так что я хорошо знаю, что это такое.

В жилой зоне спецрежима стоят бараки метров семьдесят в длину, двадцать-двадцать пять в ширину. Вдоль барака, посередине, идет длинный коридор, делит барак поперек; в обоих концах каждого коридора двери, замкнутые на несколько замков и запоров. Из длинного коридора ряд дверей ведет в камеры, такие же, как и в карцере: нары, решетки на окнах, параша в углу, в двери глазок под заслонкой (заслонка снаружи, и отодвинуть ее может только надзиратель — чтобы зэки в коридор не заглядывали). Дверь в камеру двойная: со стороны коридора — массивная, обитая железом, запертая на внутренний и висячий замки; вторая дверь, со стороны камеры, тоже постоянно запертая, решетки из тяжелых железных прутьев на тяжелой железной раме, как в зверинце. В двери-решетке окошко-кормушка, оно тоже замкнуто и отпирается только во время раздачи пищи. Дверь-решетка отпирается только для того, чтобы выпустить и впустить зэков, — их ведь гоняют на работу, чтобы, как говорил капитан Васяев, не даром хлеб ели.

Во дворе спеца не увидишь того, что в лагере общего или строгого режима; двор абсолютно пуст: после работы — под замок до утра, до вывода на работу. Все нерабочее время в камере, а по коридору неслышно ходят надзиратели в валенках, подслушивают, подглядывают в глазок... Кого же держат на спецу — за толстыми решетками, да под семью замками, да за несколькими рядами колючки, за высоким забором? Каких страшных зверюг-бандитов?

Официально на спецрежим, как и в тюрьму, отправляют особо опасных преступников-рецидивистов, а также зэков, совершивших преступления в лагере. Таков порядок для уголовников, для бытовиков: общий режим, потом усиленный, потом строгий, потом спец или тюрьма. Политические начинают свой путь сразу со строгого режима — мы все с самого начала «особо опасные», так что для нас до спеца или тюрьмы путь значительно короче.

Можно получить спец и по приговору суда — за повторное политическое преступление. Однако чаще всего сюда попадают зэки из лагерей строгого режима. За побег (если, конечно, не застрелят при поимке), за подготовку к побегу, за отказ от работы, за невыполнение нормы, за «сопротивление охране и надзирателям»... Оказаться бандитом, злостным хулиганом в лагере легче легкого: достаточно сохранить элементарное чувство собственного достоинства — и так или иначе ты непременно попадешь в злостные дез-

организаторы порядка, а дальнейшее полностью зависит от произвола начальства (ограничится ли оно административными мерами воздействия или отдаст тебя под суд). Вот пример: я уже говорил, что в карцере не дают умыться по-человечески, нечего и думать о том, чтобы почистить зубы, — в камере, над вонючей парашей — пожалуйста. Одно только подобное желание зэка вызывает возмущение и праведный гнев надзирателя: преступник, а туда же, зубы чистить! Но даже и просто умыться не дают. Только смочил руки под раковинкой — «Довольно! В камеру!» И если ты не отошел сразу, тебя хватают и отталкивают. И вот тут не дай Бог даже инстинктивно воспротивиться, оттолкнуть руку, оттаскивающую тебя от раковинки: надзиратели заташат тебя в дежурку и там начнут оскорблять, насмехаться, толкать. Им одно нужно — чтобы все это зэк сносил молча, покорно, чтобы видно было: зэк знает свое место. А если ты осмелишься ответить на оскорбление, на удар — вот и злостное хулиганство, сопротивление представителям надзора, рапорт начальству, суд и приговор — по Указу вплоть до высшей меры. В лучшем случае добавят срок, переведут на спец.

Немного позднее, на пересылке в Потьме, я встретил нескольких зэков из десятого, получивших спец или тюрьму за то, что они в лагере «организовали политическую партию»; Чингиз Джафаров что-то сказал, стукач стукнул куму (оперуполномоченному КГБ) и стали хватать людей — и кто был при разговоре, и кого видели рядом, и кто мог слышать.

На практике, на спецу или в тюрьме может оказаться любой зэк, неугодный начальству: чересчур строптивый, независимого характера, популярный среди других зэков. За каждым из нас таких преступлений, как невыполнение нормы или нарушение режима, числится более чем достаточно. А иногда это и просто дело случая, невезучая судьба.

Уже после того, как меня увезли из десятого, этот лагерь по каким-то причинам решили превратить из политического в бытовой. Куда же девать политических? Часть развезли по другим лагерям, а большинство попало на спец, благо рядом. И в 1963 году, по дороге в лагерь, проезжая по знакомым местам, я увидел, что на спецрежиме прибавилось бараков с решетками на окнах — там теперь были мои товарищи из десятого лагеря.

Решетки, запоры, усиленная охрана, камеры в нерабочее время, — конечно, только часть воспитательных

мер, применяемых к особо опасным преступникам. Здесь и работа тяжелее, чем в других лагерях, — сначала строили кирпичный завод, а теперь на нем работают. Кирпичный завод и на воле-то не сахар, а тем более в лагере. Главная машина, знаменитая «осо» — две ручки, одно колесо, да еще носилки, вот и вся механизация. Работа в сырости, на холоде — эски вымокнут, намерзнутся; потом долгий-долгий развод: по одной камере из рабочей зоны в жилую, перед входом в корпус — тщательный обыск каждого эска, а остальные все это время ждут под дождем или под снегом, на морозе, переступают с ноги на ногу; впустили, наконец, в камеры — ни обсушиться, ни обогреться, ни переодеться, переобуться: одежда одна и для работы, и в камере после работы, грязная, мокрая, потная. Кое-как своим собственным телом высушивает эск за ночь свою одежду; не успел высохнуть — уже утро, подъем, снова на работу, снова давай, не стой, не выполнишь норму — штрафной паек.

Нормы такие, чтобы их нельзя было выполнить, чтобы любого эска можно было еще как-нибудь наказать за невыполнение.

Самое главное наказание, самая сильная воспитательная мера в лагерях, легкая в исполнении, проверенная на практике, — это голод. На спецу эта мера особенно чувствительна: посылки, передачи здесь вообще запрещены. В ларьке можно купить только зубную пасту, щетку и мыло, а чтобы купить курева — пиши заявление начальству, а там начальство посмотрит. Никаких продуктов с воли сюда не попадает ни грамма — только пайка, известно какая: подохнуть не подохнешь, но и только... И то за невыполнение нормы начальство может перевести на штрафной паек, такой, как в карцере.

И вот люди, приговоренные к спецрежиму, годами живут в этих страшных, нечеловеческих, неопишуемых условиях. Не так уж трудно, оказывается, довести человека до звериного состояния, заставить его позабыть о собственном человеческом достоинстве, о чести и морали. В лагерях спецрежима стукачей больше, чем в каких-либо других. При этом камеры комплектуются так, чтобы в каждой было не меньше двух стукачей — доносить на других и друг на друга. Что он выгадывает, стукач, на спецу? Во-первых, не переведут на штрафной паек; во-вторых, может быть, не урежут свидания — здесь полагается одно свидание в год до трех часов, обычно же дают тридцать минут, а чаще совсем лишают свидания. А

самое главное — лагерная администрация может хлопотать перед судом о том, чтобы заключенного досрочно перевести со спеца на строгий как «вставшего на путь исправления». Не раньше, правда, чем полсрока, — но все-таки надежда! Хоть на год, на полгода раньше вырваться из этого ада — вот ради чего люди становятся здесь доносчиками, провокаторами, продают своих товарищей.

В бараках часто воруют хлеб — лучше съешь свою пайку сразу или бери с собой на работу, а то другой такой же голодный не выдержит, украдет и съест.

Я рассказывал о членовредительстве в карцере — на спецу такие случаи еще чаще. Выкалывают себе глаза, засыпают их стеклянным порошком, вешаются; ночью под одеялом вскрывают себе вены — и если сосед не проснется, подмоченный кровью, вот и освобожден мученик.

Однажды трое эзков договорились покончить с собой обычным способом, то есть с помощью часового. Днем, часа в три, взяли на кирпичном заводе три доски, приставили их к забору. Часовой кричит с вышки:

— Не лезь, стрелять буду!

— Сделай милость, избавь от счастливой жизни, — отвечает эзк и лезет дальше. Долез до верха, до козырька из колючей проволоки и запутался в ней. В это время автоматная очередь с вышки, он упал на козырек, повис на заборе. Тогда полез другой — он спокойно ждал своей очереди. Короткая очередь — и он упал вниз, под забор. За ним третий — тоже свалился рядом со вторым.

Мне потом говорили, что один из них остался жив, его видели в больнице на третьем; все же от спеца хоть на время избавился. Двое же избавились навсегда, убиты наповал.

Это самоубийство отличалось от других подобных тем, что было групповым. Точно таких одиночек много, и не только на спецу.

Часового, снявшего такого «беглеца», награждают дополнительным отпуском, объявляют ему благодарность. Но отношение солдат к стрелку не всегда совпадает с отношением начальства. Однажды на седьмом осенью 1963 года солдат-часовой пристрелил на запретке очередного самоубийцу, большого парня. Отпуск-то он получил, но домой поехал избитый: ночью солдаты устроили ему темную, конечно, под другим предлогом.

Вообще многие солдаты стыдятся этой своей службы, даже домой не пишут, что охраняют заключенных. Бывает, разговорись с таким, и если он убежден, что ты

его не продашь, то откровенно скажет все, что думает о лагерях и о своей службе.

— Через год освобождаюсь, и катись она к такой-то матери, эта служба.

Говорит так, что ясно: для него эти три года то же, что для ээка срок. Скажешь ему:

— А ведь прикажут — и ты расстреляешь меня, а будешь на вышке — дашь очередь по такому же зэку, хоть какой он там беглец — просто отчаявшийся человек...

— Конечно, — соглашается он. — Прикажут и застрелю, и бить буду. А куда денешься, раз приказ?

— А что я могу сделать? — говорит другой.

— Самому-то в зону неохота, — отвечает третий.

Многие солдаты служат за страх, а не за совесть. И когда Бурова, Озерова и меня избивали, солдаты били нас больше для виду, для порядка.

Надзиратели — дело другое. Конечно, они служат не за совесть, а за деньги, стараются выслужиться перед начальством, дослужить до пенсии, чтоб не выгнали раньше, да чтоб похвалили, да, может, в должности повысят, сделают старшим. К тому же безграничная власть над зэками развращает их — как, впрочем, и высшую администрацию.

И все-таки в большой зоне, где много зэков, надзиратели иногда перед ними заискивают: то сквозь пальцы посмотрят, что ты со свиданки пачку папирос вынес, то за взятку передадут подогреву (что-нибудь из еды). Некоторые спекулируют чаем, водкой — особенно в бытовых лагерях. Они наживаются на зэках и их семьях и в то же время хотят прослыть хорошими, добрыми среди зэков. Ведь они в зоне целыми днями, а от обзленных, доведенных до отчаяния людей всего можно ждать.

Начальство справедливо не доверяет ни солдатам охраны, ни даже надзирателям. Среди тех и других есть свои стукачи. Строго следят за тем, чтобы солдаты не разговаривали с зэками, особенно с политическими. На охрану мордовских лагерей стараются пригнать солдат из национальностей или из дальних республик (но только не из Прибалтики!), таких, которые плохо знают русский язык.

Здесь, на спецу, я увидел и такое, о чем раньше только слышал, но не мог проверить: надписи, вытатуированные не только на руках, на теле, но и на лице — на лбу, на щеках. Обычно это бытовики-уголовники, которых тоже немало в политических лагерях.

Уголовники переходят в политический лагерь, можно сказать, добровольно. По уголовным лагерям ходит легенда, что у политических условия сносные, кормят лучше, работа легче, обращение более человеческое, охрана не избивает... В основе этой легенды — молва о действительно существующем в Мордовии лагере для иностранцев, осужденных за шпионаж: там на самом деле условия чуть не как на курорте: посылки не ограничиваются, кормят досыта, норму не спрашивают, да и вообще работа там — дело добровольное, хочешь работай, не хочешь — играй в волейбол в зоне. Вернувшись на родину из заключения, иностранец ничего плохого не может сказать о наших лагерях и тюрьмах. Ну, а в народе по газетным статьям создается мнение, что всякий политический у нас непременно шпион, агент иностранной разведки. Вот и идет по лагерям молва о райских политических зонах. Но есть в легенде и доля правды. Политических не гоняют сейчас на лесоповале — их охраняют тщательнее, а на лесоповале почти бесконвойная работа. К тому же там у эзков в руках — топоры, пилы. Кроме того, у политических другие отношения между собой: не убьют, не зарежут, в основном эзки уважают друг друга, помогают в беде, чем могут. И охрана здесь не решается избивать публично.

И вот уголовник совершает государственное преступление, чтобы попасть в политический лагерь, пусть даже с добавочным сроком. Он пишет листовку против Хрущева, против партии; обычно там половина слов — мат. Или делает из тряпки «американский флаг», нарисует на нем побольше звездочек (сколько их, он не знает, известно только, что много). Дальше надо попасться. Листовки он раздает другим эзкам: кто-нибудь непременно донесет начальству. Или клеит их в рабочей зоне, так, чтобы все видели. Флаг он вывешивает на видном месте или шествует с ним на разводе. Вот и готов новый государственный преступник.

В политическом лагере он голодает еще больше, чем в уголовном. При случае угодит в карцер, там в дежурке его избьют надзиратели. Он начинает писать жалобы — и убеждается, что это бесполезно. А срок впереди немалый. А формы протеста он принес с собой из блатного мира, оттуда же привычки и представления.

И вот — наколки.

Я увидел двух бывших уголовников, ныне политических, одного по кличке Муса, другой — Мазай. У них на лбу, на щеках было вытатуировано: «Коммунисты — палачи», «Коммунисты пьют кровь народа». Позднее я встре-

чал очень много эзков с подобными изречениями, наколотыми на лицах. Чаще всего крупными буквами через весь лоб. «Раб Хрущева», «Раб КПСС».

Здесь же, на спецу, в нашем бараке сидел один парень, Николай Щербаков. Когда я его увидел из окна в прогулочном дворике, то чуть не упал. На его лице не было живого места. На одной щеке: «Ленин палач». На другой продолжение: «Из-за него страдают миллионы». Под глазами: «Хрущев, Брежнев, Ворошилов — палачи». На худой и бледной шее черной тушью вытатуирована рука, сжимающая его горло, и на кисти буквы «КПСС», а на большом пальце, упиравшемся в кадык, — «КГБ».

Щербаков сидел в такой же угловой камере, как и наша, только в другом конце барака. Сначала я только видел его из окна, когда их камеру водили на прогулку, и мы часто гуляли одновременно в соседних прогулочных двориках. Переговариваясь потихоньку от надзирателей, мы познакомились. Я убедился, что он нормальный человек, не псих, как я было подумал сначала. Это был неглупый парень, он довольно много читал, знал по газетам все новости. В одной с ним камере сидел Мазай и педераст Мика, оба с наколками на лицах!

В конце сентября 1961 года, когда нашу камеру вывели на прогулку, Николай жестами спросил, нет ли у кого из нас лезвия. В таких случаях не полагается спрашивать, зачем; просят — значит, надо. Есть у тебя — дай, ни о чем не спрашивая. У меня было три лезвия — еще на десятом, до карцера, я спрятал их в козырьке фуражки, — это вещь нужная; во время всех обысков их не обнаружили. Я зашел в уборную, подпорол зубами шов под козырьком и достал одно лезвие. Во дворе, когда надзиратель отвлекся, я сунул его в трещину деревянного столба, на котором крепится колючка. Николай следил за мной из окна. Лезвие пролежало в щели целый день. Многие эзки видели его — наш брат на прогулке обшарит глазами каждый камешек, каждую щелку, не попадет ли что полезное. Но раз положено лезвие, значит, есть у него хозяин, для которого оно лежит; такую вещь никто не возьмет. К тому же Николай весь день не отходил от окна, караулил, не взял бы кто. На другой день на прогулке он взял свое лезвие и унес в камеру.

А к вечеру из камеры в камеру пошел слух: Щербаков отрезал себе ухо. Позднее мы узнали подробности. На ухе он сделал наколку: «В подарок 22-му съезду КПСС». Видимо, наколку он сделал раньше, чем отрезал ухо, —

иначе истек бы кровью, пока накалывал. Потом, совершив ампутацию, стал стучать в дверь, и, когда надзиратель открыл наружную сплошную дверь, Щербаков выбросил ему сквозь решетку свое ухо с теми же словами: «В подарок двадцать второму съезду!»

Об этом случае знают все эки в Мордовии.

Через день мы снова увидели Щербакова в окне камеры. Голова его была перебинтована, на месте правого уха повязка пропитана кровью, в крови лицо, шея, руки. Дня через три его отправили в больницу, а что с ним сделали потом, не знаю.

Вот поэтому-то во время проверки экам и полагается быть без головного убора, с открытым лбом — проверяют, не накололся ли еще кто-нибудь. Наколовшихся сажают для начала в карцер, а потом держат в отдельных камерах, чтобы не разлагали остальных. За ними в деле повсюду идет опись: место и текст надписи. И при проверке сверяют татуировки с описью — не появились ли новые?

Сокамерников Щербакова таскали за то, что помогли ему, — за соучастие в антисоветской агитации.

Как ухитряются эки в карцере, в тюрьме накалываться? Ведь нужны иглы, краски. Я много раз видел и на спецу, и на пересылке, и во Владимирке, как это делается. Выдирают из ботинка гвоздик или на прогулке подберут кусок проволоки, заострят конец о камень — вот и игла. Чтобы сделать тушь, сжигают кусок черной резиновой подошвы от ботинка. Эту золу разводят мочой.

Но гораздо больше, чем техника, меня поражала сама идея такого деяния. Чего хотят эти несчастные? Зачем, ради чего уродуют себя на всю жизнь? Ведь это надо навсегда поставить крест на себе, на своей жизни, почувствовать себя, как поется в песне, «навечным арестантом», чтобы обезобразить свое лицо. Или вот ухо отрезал. Зачем? Но иногда, в минуты бессильного отчаяния, я и сам ловил себя на мысли: ах, сделать бы что-нибудь! Кинуть бы в лицо мучителям кусок своего тела! Зачем? — Об этом в такие минуты не спрашиваешь.

...Со временем я привык к разрисованным, распи-
санным лицам и телам. И только смеялся над новичками, которые чуть не падали, увидев такое, как и я в первый раз:
— Погоди, еще и не то увидишь!

Просидели мы в камере на спецу месяца три. Сначала пятнадцать суток карцера. Потом, как и полагается перед судом, — следствие. На шестнадцатый день нас стали

по одному вызывать на допрос в кабинет начальника лагеря. Допрос вел офицер из Управления, майор Данильченко, начальник десятого. Первым вызвали Озерова. Майор Данильченко спросил:

— Кто еще хотел бежать вместе с вами?

Озеров, как потом Буров и я, отвечал, что больше никто, только мы трое. Ни о чем больше не спрашивали, только читали мораль. Озеров сказал, что нас избивали — и в зоне, и на вахте, и дорогой до карцера, когда мы были в наручниках, и в дежурке:

— При избиении присутствовал майор Агеев. Он и сам колот нас березовым колом и бил пистолетом.

— Это клевета! — закричал офицер. — Кто вам поверит? На вас нет следов побоев!

— Это было шестнадцать дней назад. Мы тогда требовали врача, к нам никто не заходил, даже надзиратели...

После Озерова вызвали Бурова, и повторился такой же разговор. Только, когда Бурову заявили, что насчет избиения — это клевета, он сказал:

— Ну ладно, я, наверное, на волю не выйду, так и умру эзком. Но те-то двое — они молодые, отсидят свои шесть-восемь лет и выйдут и расскажут кому-нибудь, что такое советский концлагерь.

— Расскажут — опять здесь, у нас, очутятся. Что ж, они этого не понимают, что ли? И без них тысячи выйдут на волю, а язык за зубами держат. А если кому расскажут, так тот наматывает себе на ус, постарается сюда не попадать.

Когда вызвали меня, я не стал портить себе нервы бессмысленным разговором. Допрос закончился быстро.

— Может, вы тоже скажете, что вас избавили? — спросили меня под конец.

— Да, избивали. И меня, и Озерова, и Бурова.

— Почему же вы промолчали? Ваши сообщники сделали заявление.

— Мое заявление вы тоже назовете клеветой. А сами не хуже нас знаете, что это правда. Вот вы, — обратился я к Данильченко, — раньше, чем стать начальником лагеря, вы сами были таким же Агеевым, сами делали то же, что и он.

— Уведите его! — прервал меня Данильченко.

Надзиратель, стоявший за моей спиной, ткнул меня кулаком в бок и повел в камеру.

Больше допросов не было, и мы «отдыхали» в камере около трех месяцев, до суда. Это на самом деле была передышка: на работу не гоняли, давали общий лагерный паек, книги, разрешали курить, прогулки увеличили до часа в день. Сначала нас держали в той же угловой камере на троих, а незадолго до суда перевели в большую камеру, человек на двадцать. Остальные наши сокамерники тоже дожидались суда — кто за отказ от работы, кто за систематическое невыполнение нормы, кто за веру. В соседней камере сидели подследственные, человек двадцать.

В конце сентября, через несколько дней после истории с Щербаковым, в лагерь приехал суд: судья, прокурор, два заседателя. Одного за другим вводили эков сначала из соседней камеры, потом из нашей. Вернувшись буквально через несколько минут, каждый сообщал: два-три года тюрьмы. Владимир. Вот увели и привели обратно Бурова — три года Владимирки. Следующим вызвали меня. Надзиратель ввел меня в кабинет и остался стоять за моей спиной. В кабинете, кроме членов суда, была и «публика» — полным-полно офицеров, лагерного начальства. Судья, солидный мужчина, в хорошем костюме, сидел за столом, покрытым красной материей; по обе стороны от него — два заседателя. Я не думал ни о суде, ни о своей судьбе — она была известна заранее. — а смотрел на заседателей.

Они казались совершенно чужими и потерянными в этом кабинете, среди людей в офицерской форме, рядом с холеным судьей. Один был пожилой дядечка в заношенном бумажном пиджаке, в темно-серой стираной-перестиранной рубашке. Он не знал, куда девать свои заскорузлые, почти черные руки: то положит их на стол перед собой, то боязливо спрячет их на коленях. Второй заседатель — женщина с морщинистым лицом, в платочке, завязанном узлом под подбородком, с такими же натруженными руками. Вид у нее был еще более жалкий, забитый и затравленный, чем у ее напарника. Мне было их очень жаль, они так боязливо оглядывались по сторонам; и ведь они даже не понимали своей роли, своего зависимого положения. К ним никто ни разу не обратился во время суда, как будто это были безгласные куклы; у них никто не спросил, есть ли вопросы, и решение было вынесено без их участия.

Когда судья начал задавать мне обычные процедурные вопросы, я сразу же заявил, что отказываюсь участвовать в этой комедии, играть в игру под названием «народный суд». Мое заявление никого не смутило. Мой начальник отряда капитан Васяев зачитал характеристику: Марченко — злостный тунеядец, злостный отказчик от работы, злостный нарушитель лагерного режима, не стал на путь исправления, не посещал политзанятий, не принимал участия... не раскаялся, вредно влияет... Затем была краткая, но выразительная речь прокурора: не вдаваясь в детали, он сказал:

— По-моему, в тюрьму на три года.

Судья тут же, не пошептавшись с заседателями даже для вида, объявил мне: три года из моего лагерного срока заменяются тюремным режимом.

Меня увели, вызвали следующего. Камера встретила меня вопросом:

— Сколько — два или три?

Мы все трое — и Буров, и Озеров, и я — получили поровну. «Чтобы никому не было обидно», — как говорили наши сокамерники.

В оставшиеся до отправки дни наши более опытные соседи, побывавшие уже во Владимирке или слышавшие о ней, рассказывали нам, что нас всех там ожидает. Выходило, что хорошего мало: все сходились на том, что в тюрьме еще хуже, чем на спецу, — а спец был у нас перед глазами. Еще больше не по себе становилось, когда вспоминали об этапах, вагонзаках, пересылках.

Вскоре после суда нам принесли с десятого наши вещички, а дней через пять отправили первую партию. Мы трое попадали во вторую партию, которая в начале октября отправилась со спеца на Потьму.

Два дня на потьминской пересылке, вагонзак; два дня персылки в Рузаевке, вагонзак; пересыльная тюрьма в Горьком. И пересылки, и вагонзаки такие же, как везде.

В Рузаевке один заключенный из нашей партии заболел и не смог подняться во время проверки. Дежурный офицер и надзиратели стали осыпать его нецензурной бранью, заставляя встать. Камера заволновалась, потребовала прекратить издевательство и вызвать врача. Результат был такой, как обычно: схватили не-

сколько человек, кого попало, вытащили из камеры и избили.

Из рузаевской пересылки нас привезли на станцию днем. «Воронки» остановились за железнодорожными путями, напротив станции — тюрьма находится за городом. Нас высадили из машин, построили по пятеркам и погнали под пешеходным мостом через пути к станции. Со всех сторон колонны конвой, собаки, конвоиры кричат на зэков: «Разговоры! Иди-иди, скорей, не отставай!»

На мосту собралось много народу, подходили все новые, кричали сверху:

— Эй, ребята, вас откуда гонят? Куда?

С моста в колонну летели пачки папирос, сигарет, завернутые в бумажку деньги. И вот тут откуда-то явился тип в штатском, спросил что-то начальника конвоя и с места в карьер начал разнос:

— Куда это годится?! Вас предупреждали, чтоб не водили колонны на виду у всего города?

Начальник оправдывался:

— Да не дают нам ночных поездов, мы сколько раз просили. Нам самим неприятно, послушайте только, что о нас говорят на мосту.

— Еще бы! Собрали публику, как в театре. А милиция разгоняй!

Я вспомнил: сколько раз читал, как в России всегда, всю ее историю, простые люди жалели арестантов, давали им хлеба, в деревнях выносили попить молока. Достоевский пишет, что в праздники острог заваливали всякой снедью, калачами, пирогами, мясом. А теперь вот гонят, смотреть даже не велят.

Наконец последний этап, во Владимир. Когда группу выводили через коридор горьковской пересылки, нам навстречу прогнали другую такую же группу — вновь прибывших. Позади всех шли несколько заключенных в наручниках — значит, смертники, приговоренные к расстрелу.

— За что обручили? — спросил кто-то из наших.

Один из смертников успел ответить:

— Нападение на милицию.

Это были осужденные то ли из Муром, то ли из Александрова. В обоих этих городках произошли одинаковые события, и откуда была именно эта группа, я позабыл. Дело там было такое: в милиции после побоев скон-

чался один парень. Это вызвало взрыв — как избивали в милиции, знали многие. В результате — нападение на милицию, и вот цепь смертей: убийство парня, убийство милиционеров, смертный приговор нападавшим.

ВЛАДИМИРКА

Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи...

А.С. Грибоедов

ПРИБЫТИЕ

Пассажирский поезд, к хвосту которого был прицеплен наш вагончик, прибыл во Владимир в три часа ночи. К перрону уже были подогнаны «воронки», нас набили в них, как кильку в бочку, и помчали по ночным улицам древнего русского города... Я вспомнил, что когда-то читал, как Герцен, еще до отъезда за границу, стоял, бывало, на балконе своего дома здесь, во Владимире, и смотрел на каторжников в кандалах, которых гнали по знаменитой Владимирке «из России в сибирские дали». Вспомнил «Владимирку» Левитана — я видел открытку с репродукцией этой картины. Теперь, наверное, нет уже этой разъезженной, истоптанной ногами каторжников дороги. Нет и кандалов. Нас никто не видит, о нас никто не помнит, кроме наших тюремщиков. И нет нынешнего Левитана или Герцена, который рассказал бы о наших этапных путях сегодня, в 1961 году.

Пока я думал об этом, машина остановилась. Приехали. «Выходи!» Дверца открылась, и я перешагнул прямо из задних дверей машины в дверь здания, к которому нас подогнали вплотную. Меня повели по коридорам и привели в большой зал; здесь уже было полно заключенных, прибывших в эту ночь, — и знакомых, и незнакомых: были и уголовники — их все время подсаживали в наш вагон по пути из Горького во Владимир; правда, везли нас отдельно и здесь тоже разместили по разным камерам, увидел я их ненадолго, только в этом зале, а потом их увели.

Нас рассовали по боксам — крохотным норам в каменной стене, каждая на одного человека. Из них вызывали с вещами по одному. Обычный опрос: фамилия, имя, отчество, статья, срок... Потом тщательный обыск, раздели догола, осмотрели с ног до головы, раздвигали даже пальцы ног, ощупывали подошвы, заглядывали в задний про-

ход. В личных вещах перещупали каждую ниточку, отобрали все, кроме того, что было надето. С собой разрешили взять две пары бумажных носков, два носовых платка, зубную щетку и порошок. Все. Ни запасной пары трусов, ни шерстяных носков — ничего. Все отобранные вещи записали в квитанцию, и вместо ничтожного имущества зэка, которым он, тем не менее, очень дорожит (носовые платки, может, память, подарок жены или матери; теплые носки — впереди зима, и в каменной камере с каменным полом они пригодились бы), — вместо отобранных вещей каждый получил бумажку-квитанцию. Из продуктов могли взять с собой только дорожную пайку — 700 граммов хлеба (только черного) и одну селедку. У кого был какой-никакой лагерный запас — может, несъеденный сахар за десять дней, может, остаток передачи или купленное в ларьке, — пришлось с этим запасом расстаться. После обыска и опросов нас повели через тюремный двор. В стороне от остальных корпусов, позади больничного корпуса, за высоким забором, отгороженный ото всей тюрьмы — корпус для политзаключенных. Даже тюремные надзиратели не пройдут туда без специального разрешения. Нас ведут мимо больничного корпуса, и в это время оттуда доносится крик:

— Караул, коммунисты издеваются! — наверное, здесь находятся и душевнобольные. Надзиратели сразу заторопили нас:

— Быстрей, быстрей, нечего по сторонам глазеть.

Нас остановили около крайней двери корпуса, надзиратель отпер дверь ключом, впустил нас и снова запер дверь. С площадки, на которой мы очутились, шла лестница на верхние этажи; здесь же была еще одна запертая дверь. Надзиратель открыл ее ключом и впустил в коридор первого этажа. Дверь за ним снова сразу же закрылась на ключ, а нас развели по камерам. Камеры были пустые, нас поместили в них временно, до бани и окончательного распределения.

Здесь мы и встретили первый тюремный подъем. Очень громко, низким басом загудел какой-то механизм, и сразу же по коридорам забегали надзиратели, стуча ключами в двери камер: Подъем! Подъем! В карцер захотели? — это, наверное, тем, кто замешкался. Минут через пять в двери нашей камеры загремели ключи, и нас повели на оправку. Потом дали завтрак: 500 граммов черного хлеба на весь день, штук по семь-восемь мелкой, расплзающейся, как кисель, ржавой кильки; по миске су-

па, в котором не было ни жиринки, ни крупинки или кусочка капусты или картошки. Это была тепловатая мутная жижа, которую мы пили через край. Миски после такого супа и мыть незачем.

Часов в девять нас повели в баню. Главная процедура здесь не мытье, а стрижка. Голые, в чем мать родила, покрывшиеся гусиной кожей, — хоть это и называлось баней, но здесь было довольно холодно, — мы по одному попадали в руки парикмахера — ээка-уголовника. Стригут голову, той же машинкой бороду и усы — в тюрьме эти украшения запрещены. Увидев такое дело, старый украинец с длинными усами чуть не заплакал:

— Мени шестьдесят пять рокив, и вуса в мене, ще як я парубком був...

Он наотрез отказался сесть под машинку. Тут же несколько надзирателей схватили его за руки и за ноги и уволокли. (Я встретил его через год в этой же тюрьме. Конечно, он был без усов. Он рассказал мне, что его затащили в какую-то темную клетушку, надели наручники и сначала основательно избили, а потом в наручниках остригли усы. За «бунт» он получил десять суток карцера).

У меня тоже были усы: у многих заключенных-религиозников были бороды, усы. Всех нас ждало то же, что и этого украинца. Первым после него была моя очередь. Я сел на скамейку, и парикмахер принялся за мою голову. Он прошел по ней несколько раз машинкой и перешел к усам. Я сказал, что не дам стричь: даже в моем деле я на всех фотографиях с усами. Зэк-парикмахер отошел к надзирателю:

— Вот он тоже не хочет. — Два надзирателя (Ваня и Саня) схватили меня, заломили мне руки за спину, свалили на пол, и, пока они вдвоем держали меня, а еще один надзиратель за уши поворачивал мою голову, парикмахер в два счета оставил меня без усов. То же самое сделали и с двумя религиозниками. Остальные уже не противились. В карцер нас не сажали: первого посадили для остратки, и хватит пока. А может, некуда уже было сажать?

После стрижки нас всех впустили в помещение для мытья: несколько скамеек, десятка два тазиков, один холодный и один горячий кран. К кранам сразу же выстроилась очередь. Едва последние успели набрать воду, как надзиратели принялись выгонять нас:

— Довольно, намылись! — В подкрепление они перекрыли горячую воду. Поневоле пришлось идти в раздевалку. Вытирались какими-то серыми лоскутами-полотен-

цами, выданными каждому. Одеться нам не разрешили: все, что было на нас, мы должны сдать в каптерку, а взамен нам выдадут тюремную одежду.

Не могу передать, до чего мне было противно в первый раз надевать казенное белье, которое до меня носили Бог знает сколько заключенных. Кальсоны, рубашка, форменные бумажные брюки и куртка, брезентовые ботинки с крохотными лоскутками-портянками, форменная арестантская шапка, телогрейка (или бушлат) — все ношеное-переношенное, латаное-перелатанное. Белье такое ветхое, что надевать приходилось с опаской: того и гляди разлезется в руках. Наши собственные вещи мы связали в узелки, а у кого были мешки, уложили туда, на каждый была навешена бирка с фамилией, а взамен получили еще по одной квитанции.

После бани нас заперли в тех же камерах, на первом этаже, и стали вызывать по одному. Дошла очередь до меня. Надзиратель привел меня в какую-то кладовую. Здесь мне велели еще раз раздеться догола. Пока один из надзирателей ощупывал мое барахлишко — только что полученную мною в тюрьме одежду, — несколько других снова обыскали меня совершенно голого. Мне было велено вытянуть руки вперед, несколько раз присесть и встать; меня перещупали снова во всех положениях. Потом разрешили одеться и выдали под расписку постель: матрац, такой твердый и тяжелый, как будто его набили кирпичами; серый чехол на матрац вместо простыни; такую же, как матрац, комковатую подушку; еле живое фланелевое одеяло. Кроме того, выдали алюминиевую миску, кружку и ложку. Со всем этим имуществом меня повели по тюремному коридору. Около камеры № 54 велели остановиться. Надзиратель отпер дверь — я в камере, в которой, может быть, мне придется просидеть ближайшие три года.

КАМЕРА. РЕЖИМ

Камера на пятерых. Когда меня впустили, в ней уже было трое — все новички, с нашего этапа. Не успел я оглядеться, как снова загремели ключи, открылась дверь, и в камеру, навьюченный матрацем и прочим, вошел Озеров. Вот теперь нас полный комплект.

Стали осматриваться. Камера тесная. Метра 4,5 в длину, 2,5 в ширину — около 12 квадратных метров, меньше трех метров на каждого. Прямо против двери, высоко над полом, маленькое окно, застекленное мутным непроз-

рачным стеклом с металлической сеткой — небыющееся. Через такое стекло и увидеть ничего нельзя, света даже днем проникает так мало, что в камере круглые сутки горит электрическая лампочка. Окно, конечно, с решеткой; кроме того, снаружи оно прикрыто щитом — «намордником» (намордник в тюрьме не на всех окнах, а только в камерах строгого режима; есть здесь и общий режим — тогда окна без намордника). В старых, дореволюционной стройки корпусах окна были вчетверо больше — их заложили кирпичом, и на старой стене теперь ясно выделяется более новая кладка.

Вдоль двух глухих стен стоит по две железных койки, пятая под окном. Койки — это решетки из прутьев, они приварены в стене и устроены так, что их можно поднять, подогнув ножки, и прикрепить к стене. К правой стене, около окна, намертво прикреплен железный ящик — «буфет»; внутри он разделен на несколько клеток, в которых заключенные держат свои миски, ложки, кружки, хлеб. Посредине камеры к полу приварен маленький столик с железными ножками, возле него с двух сторон две небольшие скамеечки, тоже приваренные к полу. Осталось назвать еще один предмет мебелировки — неизменную парашу около двери; без параша и тюрьма не тюрьма. Да, еще дверь — обычная тюремная дверь с глазком и кормушкой, обитая железом, всегда заперта снаружи; глазок под стеклом с заслонкой со стороны коридора; кормушка тоже на запоре. Вся мебель в камере — стол, скамейка, «буфет», дверь — окрашена в темно-красный цвет.

В камерах общего режима есть еще радио — обычно над дверью висит старенький динамик. Он работает с шести утра до десяти вечера; большая часть этого времени занята местным тюремным радиоузлом: нам сообщают о нарушениях — разумеется, «нетипичных» и допущенных «отдельными» заключенными, зачитывают приказы и постановления о наказании виновных. Нередко выступают тюремные врачи с лекциями: «Как уберечься от туберкулеза», «Как предупредить желудочно-кишечные заболевания», «О вреде алкоголизма», «Как уберечься от венерических болезней». Советы известны какие: соблюдайте личную гигиену, гигиену питания, остерегайтесь случайных знакомств, не общайтесь близко с больными и т.п. В одной камере эти передачи с юмором слушают туберкулезники и здоровые: как им разделить общую парашу, как не дышать воздухом, зараженным мокротой? Остальные советы (мыть овощи проточной

водой, тщательно пережевывать пищу, соблюдать необходимую диету) — может, и пригодятся когда-нибудь на воле, лет через пять, десять, пятнадцать... На строгом режиме заключенные лишены и этого развлечения.

Вот такие камеры тянутся вдоль коридора по обе его стороны. Есть камеры и на троих — «тройники». Одна сторона корпуса для заключенных обращена внутрь тюрьмы — к прогулочным дворикам и другим корпусам. Другой стороной здание выходит на кладбище — конечно, отделенное от нас, как и весь остальной мир, каменной стеной, запертой и проволокой. Правда, из окон камер все равно ничего не видно; но со стороны кладбища иногда доносятся звуки похоронного марша — единственные живые свидетельства того, что за стенами тюрьмы обычным чередом идет жизнь: вот — чья-то кончилась. Окно нашей камеры выходит в сторону кладбища.

С внутренней стороны по фасаду здания три входа: центральный и два боковых. Нас вводили через боковой; там на каждом этаже площадка и запертая дверь — в коридор. От центрального тоже ведет лестница на верхние этажи. Лестничные площадки делают здесь длинный коридор пополам; в каждую половину ведет дверь-решетка, запертая со стороны площадки. По каждой половине коридора, запертые в ней, как в клетке, расхаживают в мягких валенках надзиратели, заглядывая то в один глазок, то в другой. По инструкции у надзирателей на этаже не должно быть ключа от двери-решетки — они в свое рабочее время тоже под замком, как и мы; но, конечно, как и везде, у нас эта инструкция нарушается. Все ключи от всех этажей у дежурного надзирателя; он сидит внизу, в дежурке. Есть еще и офицер, дежурный по корпусу.

Я уже упоминал, что наш корпус отгорожен от других высоким забором. По нашу сторону забора — прогулочные дворики для политзаключенных; по другую сторону — корпуса бытовиков, уголовников, больничный, баня. Часть зданий построена давно, еще до революции — когда нас водили в баню, мы обратили внимание на цифры: то ли 1903, то ли 1905 год. Тюремные корпуса, построенные в советское время, отличаются, как я уже говорил, тем, что окна у них сразу сделаны небольшие, а в старых — заложены кирпичом на три четверти, и более свежая кирпичная кладка резко выделяется на старой стене.

Есть и еще отличие, на глаз сначала незаметное: более новые корпуса намного холоднее, там в камерах сыро,

и дрожь пробирает даже летом, а уж зимой и в бушлате невозможно согреться. Заключенные, засунув руки в рукава бушлатов и подняв воротники, топчутся по камере, стучат ногой об ногу. А те, кому не хватило места для ходьбы, сидят, скорчившись, поджав колени, спрятав нос под бушлат. Тюремные шапки натянуты у всех до самых бровей. Наклонишь голову вправо — греешь правое ухо, а левое тем временем мерзнет... В старых, дореволюционных корпусах, хотя тоже каменных, значительно теплее и суше.

Корпус для политических, к сожалению, — новый.

Вся тюрьма обнесена трехметровой каменной стеной, а по обе стороны ее, как в лагере, колючая проволока в несколько рядов, вспаханная контрольно-следовая полоса. На сторожевых вышках — часовые с автоматами; ночью запретка ярко освещена прожекторами. В книгах пишут, что раньше, бывало, из тюрем запросто убегали. Теперь из тюрьмы не убежишь, особенно из политической. Камера под замком, этаж под замком, внутренний забор, запретка. И если бы оказался какой-нибудь сочувствующий надзиратель, то и он не смог бы помочь: система охраны и надзора устроена так, что надзиратели контролируют друг друга. У одного — ключи от камер, у другого — от этажей. И решетку не подпилишь, чтобы бежать через окно по веревочной лестнице: ежедневно проверка, все осматривают, ощупывают, выстукивают... Словом, ничего не скажешь, тюрьма устроена на совесть.

Распорядок дня заключенных в тюрьме такой же, как и на спец (только что на работу не гоняют): в шесть утра подъем, оправка, проверка, завтрак, обед, прогулка до или после обеда, ужин, проверка, в десять вечера отбой. От подъема до отбоя на койку лечь нельзя: заработаешь карцер семь-пятнадцать суток. Сиди, ходи, стой, дремли стоя или сидя — но ни в коем случае не лежа. К окну подходить запрещено... То есть можно подойти, чтобы открыть или закрыть форточку. Но если заметят, что ты подтянулся к окну и пытаешься хоть одним глазом глянуть на вольный свет, — карцер обеспечен. Чем можно заниматься шестнадцать часов в сутки? Только читать или писать. Тетради покупаем в ларьке: одну ученическую, в двенадцать листов, на полмесяца. Что написал — проверяют надзиратели, если что покажется подозрительным — отберут. Еще в камеру дают шахматы, домино, книги, газеты из тюремной библиотеки (на каждого две книги на десять дней).

Однако через некоторое время чтение по шестнадцать часов в день теряет свою привлекательность для по-

стоянно голодного человека. К тому же, если надзиратель увидит, что заключенные в камере читают, он выключает свет: он имеет на это право, ведь на улице белый день; а что в камере сумерки — это его не касается.

Один из заключенных в камере дежурит — дежурства по очереди. Его обязанность подметать и мыть камеру, во время оправки выносить и мыть парашу, докладывать начальству на проверке или при внеочередном посещении о том, сколько заключенных в камере, не было ли происшествий. Плохо выполнял обязанности дежурного — будешь наказан!

Петь, громко разговаривать, шуметь в камере запрещено, за нарушение вся камера будет наказана! Я уже говорил, что для заключенных в тюрьме существует два режима: общий и строгий. Когда я попал во Владимирку, порядок был таков: впервые попавший в тюрьму содержится для начала на строгом режиме два месяца; попавший в тюрьму не в первый раз — шесть месяцев (вот Бурову, например, предстояло шесть месяцев строгого режима, а Озерову и мне — по два); потом заключенные переводятся на общий режим, и строгий им полагается за какие-нибудь нарушения. С 1964 года обязательные два или шесть месяцев строгого режима отменены; теперь этот вопрос полностью на усмотрении начальства. Обычно всех заключенных держат на строгом и переводят на общий на полтора-два месяца и только после того, как комиссия из тюремного начальства (с непременным участием врача) решит, что дальнейшее содержание на строгом режиме угрожает жизни заключенного. Подержат некоторое время на общем, очухается человек — и снова его на строгий. И так годами — ведь во Владимирке есть люди с десяти-, пятнадцати-, двадцатипятилетними сроками. Разница между этими режимами для человека, не испытывавшего их на себе, может показаться ничтожной, — для заключенного она огромна. На общем режиме есть радио, на строгом — нет; на строгом окно с намордником — на общем нет; на общем прогулка по часу каждый день — на строгом полчаса в день, в воскресенье прогулки нет; на общем есть еще свидание раз в год — на тридцать минут.

ГОЛОД

А самое существенное — разница в питании. Вот что получает заключенный на общем тюремном режиме: 500 г черного хлеба в день, 15 г сахару — его обычно выдают сразу на пять дней — 75 г; на завтрак — 7-8 штук тухлых килек, миска «супа» (350 г), такого, как дали в первый

день, и кружка кипятку — можно выпить «чай» с сахаром; обед из двух блюд — на первое граммов 350 щей (вода с гнилой капустой, иногда попадает крохотный кусочек картошки), на второе — граммов 100-150 жиденькой каши, чаще пшенной, очень редко овсяной; на ужин 100-150 г картофельного пюре — снова такое жиденькое и так мало его, что помотришь в миску, а в ней на дне тоненьким блинчиком расползся твой ужин и дно просвечивает. Очень, очень редко вместо пюре на ужин дают так называемый винегрет: та же гнилая квашеная капуста, изредка попадает кусочек гнилого соленого помидора. Но и этот силос заключенные считают лакомством. Говорят, что на общем режиме полагается класть в пищу по несколько граммов какого-то жира. Может, это и так, но заметить этот жир в щах или каше мне не удалось ни разу.

На строгом режиме паек и того скуднее: ни сахара, ни жиров не полагается вообще ни грамма; хлеба черного 400 г, на завтрак только килька и кипяток; обед — одни щи, без второго; ужин такой же, как и на общем.

Еще в паек входит пачка махорки (50 г) на шесть дней. Причем заключенный на общем режиме может пользоваться ларьком. До 15 ноября 1961 г. разрешалось тратить три рубля в месяц на ларек, после 15 ноября 1961 г. эту сумму уменьшили, теперь можно только два рубля пятьдесят копеек. И можно получить раз в году одну посылку, не более 5 кг — пять килограммов продуктов в год!

На строгом режиме не полагается никаких дополнительных продуктов — ни в посылке, ни в ларьке; только то тюремное питание, которое я описал. В ларьке можно купить только зубную щетку и зубной порошок, больше ничего.

Но о тюремном ларьке надо рассказать особо. Он бывает дважды в месяц — раз в пятнадцать дней. За несколько дней до этого заключенные начинают гадать — когда? В обед надзиратель через кормушку подаст список продуктов, которые можно купить, и бланки для каждого заключенного. После обеда он собирает заполненные бланки — кто что хочет купить, и продукты могут принести или в тот же день вечером или на следующий утром. Все напряженно ждут этого момента. Вернее, ждут и обсуждают не все: один лишен ларька, другой имеет право купить, да у него нет денег — некому прислать; мог бы сосед написать своим родным, прислали бы денег товарищу, два с полтиной в месяц никого не разорят — да ведь письма проверяет цензура, не пропустят такую просьбу. И так, од-

ни с нетерпением, другие с грустью ждут дня, когда можно заказать продукты. Что купить, как распорядиться этой суммой в один рубль двадцать пять копеек? Я имею право купить до двух килограммов хлеба (с 1961 года — только черного), до 200 г маргарина, до 200 г колбасы, до 200 г сыру... Масло, сахар — это в ларьке запрещено. Но разрешенной суммы не хватит, чтобы купить то, на что я имею право, тем более, что колбаса и сыр только дорогие по три рубля — три рубля сорок копеек. Кроме того, нужно мыло, зубной порошок, носки, конверты. Так что приходится брать колбасы, сыра, маргарина даже меньше, чем разрешено (от хлеба никто не откажется — он стоит дешево, и им можно хоть раз наесться досыта). А тем, кто курит, и того хуже: почти все деньги уходят на курево. В тюрьмах курят много, пачки махорки хватает от силы на два дня; а в ларьке махорки нет, только папиросы — «Беломор», по двадцать две копейки пачка, «Север» — четырнадцать копеек. Пачки на день еле-еле хватит, значит, в дополнение к махорке надо бы еще двадцать пачек в месяц — двух с полтиной не хватит...

Но вот принесли заказанные продукты. Изголодавшиеся за две недели люди набрасываются на них и съедают все за каких-нибудь два-три часа — и два кило хлеба, и маргарин, и сыр, и колбасу — что там купили. Далеко не у всех хватает выдержки растянуть удовольствие на два-три дня; и снова на голодном пайке две недели — чтобы потом набить себе желудок двумя килограммами зараз.

Я тоже решил наесться досыта; съел буханку хлеба сразу, мне стало очень плохо, поднялась изжога, замутило, но сытым все равно я себя не почувствовал, глазами ел бы еще и еще.

Очень скоро у заключенных в тюрьме начинаются желудочные болезни, катары, колит, язвы. От неподвижности — геморрой, болезни сердца. От всего вместе — нервные болезни. В тюрьме нет ни одного здорового человека, разве что новички, да и те ненадолго. Во всяком случае среди тех, с кем меня сталкивала судьба и начальство с 1961 по 1963 год, не было ни одного здорового.

Нет, невозможно передать, что это такое, эта пытка голодом. Кто сам не пережил ее, тот вряд ли поймет.

...Наступает утро. Задолго до подъема уже никто из нас пятерых не спит. Все ждут подъема, а вслед за ним — хлеба. Только прогудел подъем — встаем. Наиболее нетерпеливые расхаживают по камере: два шага вперед, столько же назад. Всем ходить невозможно — нет места,

поэтому остальные сидят. Ждут сидя. Вот прошла оправка. Открывают кормушку, в нее заглядывает раздатчик — сверяет для верности наличие со списком. Вся камера уже у кормушки — скорей бы, скорей!

Начинают подавать пайки. Один заключенный взял поскорее пайку и отошел, другой караулит у кормушки пайку побольше, пытается на глаз определить и выбрать кусок побольше, ревниво сравнивает свой кусок с куском соседа — как будто эти десять граммов спасут его от голода! Дальше один несет свой хлеб в «буфет», в свою ячейку. Другой старательно и аккуратно разламывает его на три части: к завтраку, обеду и ужину. Все крошки при этом тщательно подбирает — и в рот. Третий не выдерживает и съедает всю пайку тут же, у кормушки, еще до завтрака. И как же он потом смотрит весь день на своих более терпеливых сокамерников, когда они обедают и ужинают с хлебом!

А каково весь день испытывать мучительный голод, зная, что в твоей ячейке лежит твой хлеб, оставленный на обед и на ужин! Помнишь про этот хлеб весь день до ужина, пока хоть кусочек еще есть. Как тебя тянет к нему! Как хочется достать его и съесть! Иногда не выдерживаешь, подходишь к ящику, отламываешь крохотный кусочек корочки — положишь его на язык или за щеку и сосешь, стараясь протянуть подольше, сосешь, как ребенок конфету, только этот кусочек хлеба еще слаще. Но вот корочка кончилась — и как тебя опять тянет к хлебу!

Вот так и идет день за днем. Ложишься спать и думаешь: скорей бы ночь прошла да хлеба дали. Встал, дождался хлеба, баланды, еще пьешь ее, а уже думаешь: скорей бы обед, торопишь вечер, скорей бы ужин. Вытирая корочкой (если есть) со дна миски следы картофельного пюре, мечтаешь — скорей бы отбой, а за ним утро, свою пайку получишь... Свой счет времени, свой календарь у зэка в тюрьме: хлеб — завтрак — обед — ужин, и снова хлеб — завтрак — обед — ужин, день за днем, месяц за месяцем, год за годом.

От заключенных в камере требуется большая выдержка, большая моральная сила, чтобы в таких нечеловеческих условиях сохранить себя, свое человеческое достоинство, чтобы сохранить человеческие отношения между собой.

Просидишь в одной камере несколько месяцев, и тебя начинает все раздражать в соседе: и как он встал, и как сел, и как ходит, и как ест, и как спит. А ты, в свою оче-

редь, раздражаешь его. Даже при внешне мирных отношениях нервы у каждого натянуты до предела, держишься только тем, что не позволяешь себе распускаться, срывать свою злость на соседе. А уж что делается в камерах у бытовиков, уголовников, где собраны люди, не привыкшие сдерживать себя! Скандалы, истерики, драки — и кончатся они, конечно, карцером для всех, и правых и виноватых. Но и в камерах для политических случаются скандалы и даже драки: люди-то разные, немало случайно осужденных за «политику», нервы у них расшатаны, а обстановка такая, что может вывести из себя самого спокойного и уравновешенного человека. Уединиться некуда, разве что в карцер.

Зимой чаще всего возникают ссоры из-за форточки. Дело в том, что форточку разрешено открывать в любое время (с шести утра до десяти вечера, конечно), чтобы проветрить камеру. А зимой в камере зверски холодно, но при этом не выветриваются вонь от параша и от плохо вымытых людских тел, дым махорки — хоть топор вешай. И вот кто-то из пяти сокамерников предпочитает мерзнуть, но подышать свежим воздухом. Другие не в состоянии перенести холод — они истощены, у них и без форточки зуб на зуб не попадает. Есть и старики, и больные, которых знобит. Вот и повод для ссоры, для скандала — и неизменно итог спору подводит карцер.

Еще чаще возникают скандалы из-за пищи. Подумать только, ведь в камере обычно часть заключенных на общем режиме, а часть — на «строгой норме питания» (это один из видов наказания — условия общие, а паек, как на строгом режиме); у некоторых есть ларек, у других нет; одним разрешены посылки, другим нет. Нелегко и тем, и другим. Тем, что без посылок, без ларька, — как смотреть голодными глазами на соседа, получившего посылку? Или на купившего в ларьке буханку хлеба? Или хотя бы на получившего пятидневный паек сахара — 75 г? А тому, у кого продуктов чуть-чуть побольше, чем у соседа, — как ему быть? Поделиться голодному с еще более голодным? Не обращать внимания и есть свое, зная, что у товарища при этом голодные спазмы?

Не у всякого заключенного хватает силы поделиться посылкой или ларьком с сокамерниками. Но, по-моему, есть и видеть их голодные, измученные глаза — еще труднее, еще невыносимее. Поэтому некоторые заключенные, получив посылку, съедают свои продукты тайком, чтобы другие не видели, — иногда ночью под одеялом. Конечно,

на воле каждый осудит такого — как это не поделиться с голодным товарищем?! Но я не уверен, что тот, кто сегодня осуждает этого заключенного, после полугода строгого тюремного режима не хранил бы свой сахар у себя под подушкой и не вытаскивал бы ночью из пачки по кусочку — тихонько, так, чтобы никто не услышал и не позавидовал бы. А сколько людей, никогда не только не бравших, но и не глядевших на чужое, становятся ворами — крадут из ящика продукты соседа! Голод для него оказывается непосильным испытанием. Дойдя до этой — последней — степени падения, человек уже вообще готов на все; начальство обычно знает таких подонков и использует их в своих целях — хотя бы для того, чтобы внести раздор в «мирную» камеру. Подсадят одного такого — и начинается: у одного хлеба меньше осталось, другой сахару не досчитался — кто взял? Все друг на друга начинают смотреть с подозрением. А начальству только того и надо — есть повод раздавать наказания направо и налево, да и вообще люди выведены из равновесия, таких, если надо, ничего не стоит вызвать на «проступок», на «нарушение».

ИВАН-МОРДВИН

Наша 54-я камера была «спокойной» — старались не отравлять друг другу и без того скверную жизнь. К декабрю 1961 года нас в камере осталось четверо (пятого перевели куда-то еще раньше): Толя Озеров, Николай Королев, «террорист», Николай Шорохов — кажется, заработавший «политику» в бытовом лагере, и я. Где-то в середине декабря в нашу камеру посадили пятого, Ивана-мордвина. Я не помню ни его фамилии, ни за что он сидел; Иван-мордвин — так все его называли. И вот он, не таясь, рассказывает, как он попал в нашу камеру. Оказывается, он раньше сидел в соседней. Вместе с ним сидел Олег Данилкин — «религиозник» (я позднее сидел с Олегом несколько месяцев в одной камере). Так вот, Олег получил от сестры из Москвы посылку — положенные пять килограммов продуктов. Он угостил всех сокамерников, в том числе и Ивана, а пятисотграммовую пачку сахара отложил: приближался какой-то религиозный праздник, и он хотел сохранить сахар для всей камеры до праздника, чтобы всем вместе попить чай с сахаром в праздничный день. Сахар лежал не в ящике, а наверху. Иван не мог совпадать с собой — ведь вот рядом, протяни только руку, лежит сахар, целых полкило. Днем, у всех на глазах, его, конечно, не возьмешь. А ночью встанешь по нужде в параше, — все

спят, а сахар лежит. Иван не выдержал соблазна, взял раз, другой, а дальше уже вошло в систему: встанет будто бы по нужде, прислушается — если все тихо, все спят, он поскорее к ящику, возьмет несколько кусочков, закроет пачку, как была, — и на место. А если кто заворочается, просыпаясь, Иван идет прямо к своей койке — ляжет и ждет, пока все уснут, а потом снова поднимается. Что сахар убывал, этого пока никто не знал; лежит пачка и лежит, а сколько в ней кусков, хозяин не проверял — зачем лишний раз дразнить себя.

Так Иван-мордвин таскал сахар, пока кто-то из сокамерников не прихватил его прямо у «буфета». Иван заорал на весь корпус, будто его резали, — он нам объяснял, что кричал нарочно, чтобы поскорее прибежали надзиратели, пока его не избили. Надзиратели, действительно, прибежали до драки и, расспросив в чем дело, вывели его с вещами (значит, насовсем) сначала в «тройник», где в это время никого не было. Потом с ним беседовал начальник корпуса. Иван ему во всем признался — и что воровал, и зачем поднял крик. Его никак не наказали, а перевели в нашу камеру. Рассказывал обо всем этом Иван не стыдясь, а как будто хвастаясь: вот, мол, какой я ловкий, вот какой я хитрый, украл — и вышел сухим из воды.

То ли на самом деле он не понимал низости своего поступка и ждал нашего восхищения, то ли откровенным рассказом старался вызвать наше доверие. Ни восхищения, ни доверия он, конечно, не дождался. Мы презирали его, старались с ним не разговаривать. А вскоре и в нашей камере произошла подобная история.

Мы как раз отсидели положенные два месяца на строгом режиме, и нас всех только недавно перевели на общий. Сняли с окон намордник, увеличили прогулку. Ждем разрешенных посылок. Первым получил посылку от матери Коля Королев: два с половиной килограмма сахару — пять пачек, еще продукты и домашнее печенье, мать сама пекла. Королев разделил посылку на всех, но себе оставил побольше: это была для него не только еда, а материнская забота — а Коля мать очень любил, из-за нее и сел. Мы все это хорошо понимали. Иван съел свою долю сразу и все 500 г сахару тоже. Мы, все остальные, не сговариваясь, решили протянуть продукты подольше. Я, например, решил брать в день по четыре кусочка сахара, не больше, два утром и два вечером, чтобы два раза в день пить не пустой кипяток, а сладкий чай (вообще-то я

люблю чай послаще, мне двух кусочков на кружку мало; но тут приходится экономить, не баловать себя).

А назавтра вечером, перед самым отбоем, — Николай все свои продукты, оставшиеся от посылки, собрал в наволочку и спрятал на ночь под голову. Мы все молча переглянулись. И мне, и другим, наверное, всем стало не по себе, стыдно как-то друг перед другом. Как будто каждого подозревали в какой-то подлости. Я не спал всю ночь, все никак не мог успокоиться. Ведь никто не заставлял Кольку делиться посылкой, зачем же он теперь прячет свое добро от нас, как будто боится за него, не доверяет нам?! Только под утро меня сморило и я задремал. Не успел уснуть покрепче — подъем, пришлось вставать, чтобы не угодить в карцер, не попасть снова на строгий режим. Поднялись все, заправили койки, ждем оправки и пайки. Иван в нетерпении бегаёт взад-вперед по камере. Озеров и Шорохов сидят на заправленных койках, обхватив колени руками, натянув бушлаты на голову, — так лучше подремывать, делаешь себе темноту и кимаришь, пока надзиратель не придет, — видно, они тоже плохо спали ночь. Королев читает какую-то книжку с крупным шрифтом. Я тоже взял в руки книгу, смотрю в нее, но читать не могу, до того мне стало неприятно в камере. Ни на кого смотреть не могу — и стыдно и противно.

По коридору бегают надзиратели, гремят ключами, заглядывают в глазок:

— Не спать, не спать, в карцер захотели? — это Озерову и Шорохову, больше для порядка (ведь они дремлют сидя, а не лежа). Наконец, стук в дверь: «На opravку!» Встаем, снимаем телогрейки, бушлаты — как бы ни было холодно, на opravку запрещено идти в верхней одежде. Сегодня дежурит Шорохов, ему выносить парашу. Но параша тяжелая, одному, да еще после двух месяцев голодовки на строгом, не под силу. Обычно несут парашу на пару, кто-нибудь помогает дежурному. На этот раз потащили мы вдвоем, Шорохов и я. На opravке, как обычно, стук в дверь, крики надзирателей:

— Давай, давай, не задерживай, вы здесь не одни, забыли, где находитесь? — все в таком духе. Возвращаемся с opravки по коридору — в дальнем от нас конце уже бегают раздатчики, старик-кипятильщик (заклученный) разносит кипяток по камерам. Только заперли за нами камеру — открывается кормушка:

— Давайте чайник под кипяток! — Подали пустой чайник, получили свои пайки и чайник с кипятком. Кипяток зи-

мой ждешь с большим нетерпением, чем баланду: он горячий, им хоть на полчаса согреешься; а баланда — та же вода, только еще теплая. Стали пить чай. С сахаром — ведь у каждого (кроме Ивана-мордвина) почти полкило из королевской посылки. Я достал два кусочка из своей пачки, сижу и греюсь чаем; ни на кого не смотрю — все еще не могу прийти в себя после вчерашнего. Я не видел, как Шорохов брал свой сахар и как он оказался рядом с Иваном. Опомнился только, когда Шорохов со всего размаху ударил Ивана по лицу. Иван вскочил, они сцепились. Шорохов оказался сильнее (хотя на вид он был более щуплый, чем Иван) или, может, злее; он разбил Ивану губы, зубы, раскровянил все лицо. Во все время драки мы, остальные, вскочив с мест, стояли молча и не вмешивались: мы еще не поняли, кто кого бьет и за что бьет. Не следует только представлять себе эту сцену подобной всем знакомой уличной драке. У заключенных, просидевших какое-то время в тюрьме, да еще на строгом, нет сил ни чтобы ударить сильно противника, ни чтобы устоять на ногах после слабого толчка. Они вцепляются пальцами друг другу в лицо и боятся даже оторваться — а то упадут. Стоят, раскачиваясь от слабости, и только пытаются пальцами разодрать физиономии... Жалкая, унижительная картина!

Очнулись все, только когда открылась дверь и в камеру ворвались надзиратели. Драка сразу прекратилась. Надзиратели вышли, сказали, что будут вызваны оба — и Шорохов, и Иван-мордвин.

Потом, после баланды, Шорохов объяснил нам, в чем дело. Оказывается, он, когда брал себе сахар, обнаружил, что в пачке нет и половины того, что было вчера. Он сразу подумал на Ивана — никого из нас троих он заподозрить не мог. Иван не оправдывался, молча сидел на койке. Погода немного Королев сказал, что у него в первую же ночь после получения посылки пропала половина продуктов и сахару; вот он и решил на другую ночь все спрятать под подушку, чтоб не украли последнее. Озеров сказал, что тоже обнаружил пропажу нескольких кусков сахару. Мне тоже хотелось посмотреть свою пачку, но я отложил это до вечера — мне почему-то неловко показалось проверять сейчас. Вечером, доставая сахар к чаю, я незаметно пересчитал сахар в верхнем слое — не хватало кусочков семи. (Это ведь легко проверить: у зэка каждый кусочек сахару на учете, он помнит, сколько съел вчера, позавчера, даже неделю назад, а сколько слоев в пачке, сколько рядов в каждом слое, сколько кусочков в ряду, — это все подсчитано за-

ранее и заранее распределено). Так вот я недосчитался семи кусочков. Прикинул еще раз, сколько брал кусочков позавчера, сколько вчера, да сколько сегодня утром, — семи не хватает. На столько я не мог обсчитаться — ну, на два, на три, но не на семь. Как же я этого не замечал? Ну, да я ведь доставал сахар, не снимая пачку, и мне не приходило в голову его пересчитывать.

Я так никому и не сказал, что и у меня недостача; чего-то было стыдно, что ли. Но обидно было до смерти: ведь это почти два дня чаю с сахаром...

В этот же день начальник корпуса вызвал обоих — и Шорохова, и Ивана-мордвина. Иван отделался внушением, а Шорохова перевели на строгую норму питания, оставив в нашей камере. Зато через несколько дней без всяких причин от нас забрали Озерова, а на его место перевели парня из соседней камеры, Андрея Новожицкого.

Андрей сидел за измену родине: он служил в танковых частях в Восточной Германии, ушел в Западную, прожил там около года и, стосковавшись по родине, решил вернуться. Его там, на Западе, не отговаривали от возвращения, но предупредили, что его ждет в России лагерь. Он не поверил, подумал, что это буржуазная пропаганда. Вернулся — и сразу в лагерь (заочно он уже был приговорен к десяти годам). Это очень обычная история, я встречал в лагере бывших военнослужащих. А во Владимирскую тюрьму Новожицкий угодил из лагеря за невыполнение нормы.

ГОЛОДОВКА

Через несколько дней после перевода в нашу камеру Андрей Новожицкий объявил голодовку — очевидно, эту мысль он обдумал давно. Он написал заявление, в котором нагромоздил кучу причин, побудивших его объявить голодовку: протест против того, что его судили закрытым судом; что ему не выдали на руки приговора; что за невыполнение нормы его посадили в тюрьму, — но он не в состоянии был выполнить норму; протест против нечеловеческих условий содержания политзаключенных во Владимирской тюрьме... Через несколько дней после Новожицкого объявил голодовку Шорохов. В своем заявлении, адресованном в ЦК КПСС и в Президиум Верховного Совета СССР, он также протестовал против закрытого суда, несправедливого и необоснованного приговора, текст которого он, как почти и все мы, в глаза не видел, и против голода в тюрьме.

У нас в камере стало двое голодающих. Их оставили вместе с нами, в той же камере, хотя это и против правил: голодающих полагаются изолировать. Тюремное начальство всегда нарушает это правило — поголодай-ка в общей камере, глядя, как твои соседи получают баланду, жуют хлеб! Некоторые не выдерживают — ведь это настоящая пытка! — и снимают голодовку через три-четыре дня. Я сам пережил эту пытку, я еще расскажу когда-нибудь о своей многодневной голодовке в карагандинских лагерях.

У голодающих одно «преимущество»: они могут лежать целыми днями на койках, не поднимаясь. Теперь дежурный по камере во время утренней проверки к обычному рапорту — «Гражданин начальник, в камере № 54 пять заключенных» — добавляет: «Двое голодающих». Первые пять-шесть дней после заявления на них никто не обращает никакого внимания. Зайдет на четвертый-пятый день офицер, спросит: «Голодаешь? Ну и хрен с тобой!» или еще посочнее, позабористее. Заглянет в глазок надзиратель, увидит, что двое лежат на койках, — застучит ключом в дверь:

— Встать! В карцер захотели, мать вашу перемать?! — но, видя, что эти двое не поднимаются, лежат, не шевелясь, вспомнит, что это голодающие, и отойдет от двери, поминая матушку. А другой не сообразит сразу, в чем дело — упомни-ка всех, когда чуть не в каждой камере таких по одному, по два, — отопрет дверь — и к койкам. Только тут опомнится; да еще кто-нибудь в камере съязвит:

— Подними его, подними, в карцер его, чего это он полеживает, как баран! — Надзиратель уходит, чертыхаясь, а языкатому пригрозит карцером (за «пререкания с надзирателем»). Бывает, что и посадит, обозлившись.

С пятого-шестого дня на утренних проверках кто-нибудь из надзирателей подходит к койке голодающего, откидывает с лица одеяло, проверяет: жив ли? и заодно: не наколол ли чего на лбу?

Люди в одной камере с голодающими обозлены, взвинчены до последней степени. Безразличие, даже злорадство начальства выводит из себя. И до правил никому нет никакого дела, и на наши протесты все чихать хотели! Просто невозможно есть свою пайку на глазах товарищей, которые держат голодовку. У меня было такое ощущение, как будто я виноват, что не могу им помочь. Мы тоже старались проглотить свою еду поскорее, незаметнее...

Новожицкий и Шорохов сами отворачивались к стенке во время завтрака, обеда и ужина. Они не брали в рот

ни крошки все эти дни. Иногда только попросят попить; поднесешь кружку воды — отопьют несколько глотков и снова отворачиваются к стенке. Другой раз кто-нибудь из нас не выдержит и начнет уговаривать Андрея или Николая: мол, возьми кусок от пайки, съешь потихоньку; один черт — из камеры не уберут раньше, чем на десятый день; ну хоть крошечку, надзиратель не узнает. Новожицкий обычно вежливо отказывался. Шорохов крыл такого добренького почем зря. И правда, чего вязаться, человеку и так трудно.

Каждый день в камеру приносят хлеб и баланду на всех пятерых. Дежурный обязан спросить у голодающего, берет ли он сегодня свою пайку. После отказа он должен вернуть ее надзирателю. Таким образом, голодающему приходится трижды в день отказываться от пищи. Дежурному тоже тошно принимать участие в таком мучительстве. Новожицкий и Шорохов заранее договорились с нами, чтобы каждый из нас в свое дежурство отдавал их пайки и миски, не задавая никаких вопросов. Мы, конечно, согласились — это была единственная услуга, какую мы могли им оказать. Так всегда поступают, и на это идут даже уголовники, хотя дежурный рискует тем, что его накажут, если узнают.

Андрей и Николай страшно мерзли, хотя и лежали на койках, укрывшись одеялами с головой. Ведь даже нам, получавшим какую-никакую еду, расхаживающим по камере в бушлатах или телогрейках, удавалось согреться на несколько минут только дважды в день — утром и вечером, когда приносили кипяток. В камере было так холодно, что чайник с кипятком, оставленный на полу, остывал через четверть часа. А тут люди совсем без пищи, и даже без кипятка — они ни разу не выпили горячего. И к тому же оба после нескольких лет недоедания в лагере, только что после настоящего голода на строгом тюремном режиме; да у них в теле не сохранилось ни капли запасов, какие есть у человека в нормальных условиях. С первого дня голодовки такой истощенный организм начинает пожирать себя сам.

Андрей перестал подниматься с койки на четвертый день; на десятый он уже не разговаривал. Николай мог встать на ноги еще на восьмые сутки после начала голодовки. Разговаривал он, хотя с трудом, до последнего дня, пока его от нас не забрали. За все время, что они были в нашей камере, к ним ни разу не заглянул врач.

Сестра, как обычно, каждый день — кроме воскресений — подходила к кормушке, задавала свой обычный вопрос: «Есть ли больные?» — и, не взглянув на голодающих, переходила к кормушке следующей камеры.

Мы трое чуть ли не каждый день писали жалобы, что голодающих не переводят в отдельную камеру, а держат вместе с нами. Когда к нам заходил кто-нибудь из офицеров, мы заявляли протест. Ответ был всегда один:

— Администрации виднее, кого где держать. Пока что мы здесь командуем, а не вы.

На одиннадцатый день после того, как Новожицкий объявил голодовку, ближе к вечеру, в камеру вошли несколько надзирателей. Дежурный доложил, что положено. Надзиратели подошли к Новожицкому, подняли одеяло. Он, неподвижный, лежал на постели — в куртке, в брюках, в ботинках, и лицо у него было, как у покойника. Надзиратели осмотрели его и убедились, что он еще жив. Тогда старший велел кому-нибудь из нас собрать его имущество и вывести его из камеры. Я взял кружку, миску, ложку Андрея, и мы вдвоем с Королевым подошли к нему, чтобы помочь ему выйти. Сам он не мог встать, мы подняли его и повели в коридор. Даже мы, истощенные и ослабевшие до того, что вдвоем с трудом выносили парашу, не чувствовали его веса. Это был живой скелет, одетый в форменную одежду зэка. Впереди нас по коридору шел надзиратель. Он вошел в пустую камеру; мы за ним. Он велел нам посадить Андрея на голую койку. Андрей стал заваливаться на сторону, пока не привалился плечом к стене. Я задержался возле него, мне было страшно оставлять его, полуживого, в пустой камере. Но надзиратель отогнал меня:

— Пошел, пошел! Ничего с ним не сделается. Никто его голодом не морил, сам есть не захотел.

Я не выдержал и огрызнулся: «Ну, конечно, разве мы здесь не досыта едим?»

— У тебя-то, наверное, пайка слишком велика, грамм на сто больше, чем нужно, — ответил он. Я понял угрозу и замолчал. Надзиратель запер Андрея и повел нас в нашу камеру. В ней тем временем надзиратели обыскали вещи Андрея и вели политбеседу с Шороховым: мол, все равно голодовка ни к чему не приведет, пусть снимает ее, а не то сам себя гробит... Нам велели отнести вещи Андрея в его камеру. Мы с Королевым потащили постель Андрея, и, право же, матрац был в несколько раз тяжелее, чем он сам. Андрея мы

ки, теперь знал, какая пытка ждет его в ближайшие четыре-пять дней. Он все-таки не снял голодовку, и на двенадцатые сутки его от нас забрали. Собирали и уводили его Королев и Иван-мордвин. Николай выглядел немного бодрее, чем Андрей, хотя продержался дольше на сутки и к тому же в последнее время перед голодовкой был на строгой норме питания из-за драки с Иваном.

Шорохова я больше никогда не встречал и ничего не слышал о нем. А Новожицкого через неделю снова привели в нашу камеру. Описать, как он выглядел, просто невозможно. Он снял голодовку: голодай, не голодай, а все равно не добьешься того, чтобы кто-нибудь из властей хотя бы обратил внимание на твою жалобу, хотя бы занялся проверкой... Умереть не дадут: в тот день, когда Андрея забрали от нас, его начали кормить искусственно — я уже рассказывал, что это за процедура. До этого и мы, и наши голодающие Шорохов и Новожицкий все время требовали, чтобы их перевели из общей камеры, как это предусмотрено инструкцией; мы все думали, что это избавит голодающих от лишних мучений. Оказалось, что помещение в отдельную камеру служит только для продолжения издевательств. Искусственное питание превращено в пытку, ежедневную, ежевечернюю. При этом я, по своему опыту, могу сказать: чувство голода не исчезает, даже не уменьшается: появляется только тяжесть в желудке, как будто тебе внутрь положили какой-то посторонний предмет. Зато изобретено дополнительное истязание — Новожицкий рассказал о нем.

Каждое утро надзиратели вносят в камеру пайку хлеба и миску баланды и ставят на табурет около самого изголовья. Поставят и уходят, а завтрак полдня стоит перед глазами голодающего. В обед переменяют миску — и до вечера. Утром меняют пайку, спрашивают: «Сегодня пайку берешь?» — «Завтрак брать будешь?» — И так три раза в день; мы-то хоть от этого ритуала избавляли своих товарищей. Однажды к Новожицкому в камеру вошел начальник корпуса:

— Голодаешь? Напрасно! Жалобы писать можно и без голодовки. Жалуйтесь, пишите, мы вас этого права не лишаем...

— Куда, кому из вас, зверей, жаловаться?!

— Мы не звери, мы действуем строго по инструкции: если вам кажется, что мы нарушаем инструкцию, — жалуйтесь, ваше право...

Новожицкий, конечно, получил стандартные ответы на свои протесты — несмотря на то, что его протесты были подкреплены голодовкой: «Осужден правильно... Относительно условий содержания в тюрьме — жалоба направлена для рассмотрения на месте». Действительно, задумаешься: стоит ли ради таких ответов голодать?! И все-таки самый факт, что хоть что-то ответили, вселяет в некоторых жалобщиков-новичков надежду; они снимают голодовку и ждут от местного начальства разбора «по справедливости». Тем сильнее отчаяние, когда какой-нибудь тюремный офицер сообщает им, что то, что они считали бесчеловечностью, жестокостью, — оказывается «соответствует инструкции»; и это обычно говорится в издевательской форме, с язвительными комментариями. Часто после такого окончательного ответа заключенный, еще не успевший прийти в себя после первой голодовки, объявляет вторую или делает с собой что-нибудь, продиктованное отчаянием.

« ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛИ »

Вот одна из многих историй — от других она отличается разве что изобретательностью. Она произошла на моих глазах весной 1963 года. Один из моих сокамерников, Сергей К., доведенный до совершенного отчаяния безнадежностью любых протестов против голода, произвола, несправедливости, решил во что бы то ни стало изувечить себя. Он подобрал где-то кусочек проволоки, сделал из нее крючок и привязал к нему леску (сплел ее из ниток, распустив свои носки). Еще раньше он принес два гвоздя и прятал их в кармане от обысков. Один гвоздь, поменьше, он вдавил миской в кормушку — вдавил тихо-тихо, стараясь не звякнуть, чтобы не услышали надзиратели. К этому гвоздю он привязал леску с крючком. Мы, остальные заключенные в камере, молча наблюдали за ним — не знаю, кто и какие чувства при этом испытывал, но вмешиваться, я уже говорил, не полагается, каждый вправе распорядиться собой и своей жизнью, как он хочет.

Сергей подошел к столу, разделся догола, сел на одну из скамеек у стола — и проглотил свой крючок. Теперь, если надзиратели начнут открывать дверь или кормушку, они потянут Сергея, как пескаря из пруда. Но этого ему было мало: дернут, он поневоле поддастся к двери, и можно будет перерезать леску через щель у кормушки. Для верности Сергей взял второй гвоздь и стал приколачивать свою мошонку к

скамье, на которой сидел. Теперь он бил по гвоздю громко, не заботясь о тишине. Видно было, что весь свой план он обдумал заранее, все рассчитал и высчитал, что успеет забить этот гвоздь раньше, чем прибежит надзиратель. И он, действительно, успел вбить его по самую шляпку.

На стук и звяк явился надзиратель, отодвинул за-слонку у глазка, заглянул в камеру. Он, наверное, сначала понял только одно: у эка гвоздь, ээк забивает гвоздь! И первое его побуждение, видимо, было — отнять! Он начал отпирать дверь камеры. Тогда Сергей громко объяснил ему, как обстоит дело. Надзиратель растерялся. Скоро у нашей двери собралась кучка надзирателей. Они то и дело заглядывали в глазок, кричали, чтобы Сергей оборвал леску. Потом, убедившись, что он не собирается это делать, надзиратели потребовали, чтобы леску оборвал кто-нибудь из нас. Мы сидели на своих койках, не поднимаясь; иногда только кто-нибудь отругивался в ответ на требования и угрозы. Но вот подошло время обеда, по коридору — было слышно — забегали раздатчики, в соседних камерах открывались кормушки, звякали миски. Один парень из нашей камеры не выдержал — того и гляди, останешься без обеда — оборвал веревочку у кормушки. Надзиратели ворвались в камеру. Они засуетились вокруг Сергея, но ничего не могли поделать: гвоздь глубоко засел в скамейке, а Сергей так и сидел, в чем мать родила, пригвожденный за мошонку. Кто-то из надзирателей побежал выяснять у начальства, что с ним делать. Он вернулся, и нам всем приказали собираться с вещами — перевели в другую камеру.

Я не знаю, что потом было с Сергеем К. Наверное, попал в тюремную больницу — там полно заключенных «членовредителей»: и со вспоротыми животами, и засыпавших себе глаза стеклянным порошком, и наглотававшихся разных предметов — ложек, зубных щеток, проволоки. Некоторые толкут сахар в пыль и вдыхают, пока не образуется абсцесс легких... Зашитые ниткой раны, пуговицы в два ряда, пришитые к голому телу, — это уж такие мелочи, на которые и внимания никто не обращает.

В тюремной больнице у хирурга богатая практика; чаще всего ему приходится вскрывать желудок, и если бы существовал музей добытых из желудка вещей, — это была бы, наверное, самая удивительная коллекция на свете.

Так же часты операции по уничтожению татуировок. Не знаю, как сейчас, а тогда — в 1961-1963 годах — эти операции производились примитивно: просто вырезался

лоскут кожи, а края стягивались и сшивались. Я помню одного ээка, которого трижды оперировали таким образом. В первый раз вырезали со лба полоску с обычной для таких случаев надписью: «Раб Хрущева». Кожу на лбу стянули грубым швом. Когда зажило, он снова наколол на лбу: «Раб СССР». Снова положили в больницу, снова сделали операцию. Кожа у него на лбу была так стянута, что он не мог закрывать глаза, мы его называли «всегдасмотрящим»...

Здесь же, во Владимирке, мне довелось несколько дней просидеть в камере с Субботиным. Это был парень моих лет, передаст. Педерастов во Владимирке было мало, их все знали, — они здесь не имели заработка. «Политическую» Субботин получил, находясь в бытовом лагере, за жалобу — не выдержал «хорошего тона». Однажды, после сорока или пятидесяти жалоб, поданных им в Президиум Верховного Совета Брежневу и в ЦК КПСС Хрущеву, он проглотил всю партию домино — двадцать восемь костяшек. Когда мы проходили всей камерой на прогулку по коридору (домино было проглочено перед прогулкой), он похлопал себя по животу и сказал встретившемуся парню из obsługi:

— Валерка, послушай! — Я не знаю, в самом ли деле Валерий услышал стук костяшек домино у Субботина в желудке, но он спросил:

— Что это у тебя там?

— До-ми-но, — протянул Субботин. Врачи Субботина не оперировали. Ему просто велели считать костяшки во время оправки, сказав, что они должны выйти сами. Субботин добросовестно считал их каждый раз и, придя в камеру, на специальном листке отмечал карандашом, сколько вышло. Как старательно он ни считал, но четырех штук не досчитался. После нескольких дней томительного ожидания он махнул на них рукой: если остались в животе, то лишь бы не мешали, а если вышли, то и черт с ними!

«ТЕРРОРИСТ»

Николаю Королеву было немного за тридцать, а он досиживал уже пятнадцатый год. До своего преступления он жил вместе с матерью в деревне под Тверью. Отец его погиб на фронте. И он и мать работали в колхозе от зари до зари, жили трудно. Шел 1947 год. Мужчин тогда в деревнях почти не было, всю работу ворочали женщины да подростки вроде Николая. А те несколько мужиков, которые оставались в деревне, занимали руководящие долж-

ности — председатель, бригадиры, учетчики. Они обычно страшно пили, над колхозниками издевались как хотели.

Николай стал замечать, что мать приходит домой заплаканная, плачет дома по ночам. Он спрашивал, что с ней, но она отвечала:

— Да нет, Коля, ничего; просто жизнь собачья...

Но соседка рассказала ему, что бригадир взелся на его мать, кричит на нее матерно, оскорбляет при всех.

Однажды ехал Николай на быках мимо склада с семенами. Слышит оттуда голос бригадира — крик, ругань, матюки. Он остановил быков — и во двор. Видит, мать, вся в слезах, несчастная, испуганная, стоит, опустив руки, а перед ней, верхом на лошади, с хлыстом в руке — бригадир. Орет на нее на чем свет стоит. Николай заступился:

— Не смей оскорблять, пьяная харя!

Бригадир на него:

— Молокосос, заступник нашелся! — и тоже матерно. Наклонился с лошади, схватил за козырек фуражки, хотел, видно, надвинуть ее парню на глаза. Николай увернулся. Бригадир теснит его лошадью, и, перекинув хлыст из руки в руку, ударил им Николая. Мать кинулась заслонить сына, обхватила его, кричит:

— Изверг! Изверг! Мало, что над бабами измываешься, за наших детей принялся! — Николай вырвался от матери, кинулся к дому, не помня себя, а в ушах его стоял материнский крик. Дома он схватил со стены охотничье ружье, зарядил его и выбежал на улицу. Бригадир ехал по улице — видно, возвращаясь со складов. Николай поднял ружье. Целиться он почти не мог: глаза застлал туман. Он видел только морду лошади, казалось, прямо перед собой, и метил повыше, над нею. Выстрелил, опустил ружье и пошел домой, не глянув даже в ту сторону.

Прибежала мать:

— Коля, Коля, что ж ты наделал?! — Только тут он понял, что убил бригадира.

Он сидел дома и ждал, когда его заберут. Пришли, взяли, посадили в машину, повезли в райцентр, а оттуда в Тверь, в тюрьму. Судили Николая закрытым судом; в зале не было ни души; не вызывали ни одного свидетеля. Убийство колхозного бригадира было расценено как террористический акт. Итак, террор, политическое преступление; приговор — двадцать пять лет. Николаю тогда только-только исполнилось восемнадцать.

Во Владимир Николай, как и я, попал за попытку бежать. Он был на спецу в десятом, подружился там с украинцем «самостийником» Василием Пугачом (у Василия было тоже двадцать пять лет; с двадцатипятилетним сроком сидела где-то в Мордовии и его мать), и они оба приняли участие в групповом подкопе из рабочей зоны. Я знал Василия. Мы с ним вместе ехали этапом во Владимир, нас вместе насильно стригли — тогда и Пугачу остригли его пышные украинские усы. Василий Пугач мне очень понравился, поэтому к его подельнику и другу Королеву я тоже сразу отнесся с симпатией. Николай, действительно, оказался очень хорошим и спокойным парнем, а это так ценно в камере, где все взвинчено, возбуждено до предела. Он получал от матери письма и посылки; я уже рассказал, как он поделился посылкой, — на это способны далеко не все.

Николай попросил меня написать для него жалобу — он сам был полуграмотным. Я-то знал, что это бесполезно, но как будешь отговаривать человека, который сидит уже около пятнадцати лет, а впереди еще десять. К тому времени уголовникам двадцатилетние сроки заменили на пятнадцать лет — по новому кодексу это максимальный срок. Но изменение сроков заключения не коснулось политических, они еще и сейчас досиживают свои двадцать — двадцать пять лет.

Я написал жалобу, как сумел: что Николай совершил убийство в состоянии крайнего раздражения; что это убийство не может быть расценено как террористический акт, потому что у Николая не было никаких политических целей; что его незаконно судили закрытым судом, незаконно не дают на руки копию приговора. В конце была просьба пересмотреть приговор, переквалифицировать совершенное преступление, рассматривая его как убийство, а не как террор.

Я прочел жалобу вслух. Николай слушал ее вместе со всей камерой. Решили ее адресовать в Президиум Верховного Совета, кажется, Брежневу. Потом Николай поставил свою подпись, а утром отдал жалобу через кормушку надзирателю. Дня через три ему принесли печатный бланк, в котором сообщалось, что жалоба послана в Москву. Он расписался и стал ждать. Ждал все время, пока сидел в нашей камере, а потом, когда его перевели в другую, писал еще и еще. Отправил множество жалоб, просьб о пересмотре. Ответ был один:

«Осужден правильно, оснований для пересмотра дела нет».

В 1963 году мне говорили, что он на спецу, добывает девятнадцатый год.

ТРУДНО ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Вскоре нашу камеру № 54 стали почему-то расселять. Первым вывели Новожицкого. Он был так слаб, что не мог сам нести свои вещи. Мы помогли ему собраться, вынесли его барахло в коридор и простились с ним. (Встретились мы снова только в 1966 году в Мордовии, на одиннадцатом.) Потом увели Королева.

Два дня мы оставались в камере вдвоем — Иван мордвин и я. Мне это было очень неприятно, я никак не мог забыть кражу сахара. А тут еще Иван стал оправдываться передо мной. Я слушал молча, а потом довольно резко оборвал его. Он замолчал, но ненадолго. На другой день с утра он начал новую тему — как ему пришлют посылку. Как сейчас вижу: длинный, худой-худой, в эковской одежде, руки в карманах, он расхаживает по камере — три шага в одну сторону, три шага в другую — и говорит без умолку. Вот пришлют посылку, а в ней мед, сливочное масло, сахар. Он и мне даст немного. И будет есть... Я понимал, что это голод говорит за него, но не мог подавить свое раздражение: черт возьми, мы оба хлебаем одинаковую баланду, но я сдерживаю себя, а он просто не хочет ни с кем считаться!..

К счастью, в камеру привели новеньких. Сначала старичка-религиозника лет шестидесяти пять — семидесяти, Павла Ивановича (фамилию я позабыл). Потом азербайджанца Илал-оглы. Это был неразговорчивый человек лет тридцати пяти маленького роста, черноволосый, смуглый, худой, как и все мы. Я не знаю, за что он сидел, — он плохо говорил по-русски. Дня через три привели Бориса Власова; его появление в камере мне особо запомнилось. Загремели ключи, открылась дверь, в камеру вошел в сопровождении надзирателей парень на костылях. Он подошел к койке, постелил, лег, и надзиратели сразу же забрали и унесли его костыли.

Борис Власов был переведен к нам прямо из больницы. Он давно в тюрьме, мучился, мучился, а потом однажды взял и проглотив две ложки — свою и соседа. Того мало — он проглотил, косточку за косточкой, целую партию домино. Его потащили сначала на рентген, а потом на

операционный стол. Вскрыли желудок, извлекли все казенное имущество и опять зашили. Еще лежа в больнице, Власов объявил голодовку. Голодал он с месяца, больше не выдержал. Снял голодовку — сразу после этого перерезал себе вены на ноге. Заметили вовремя, перебинтовали и вот перевели из больницы в нашу камеру. Он еще не мог сам ходить, и первое время сестра делала ему перевязки прямо в камере. Через неделю он начал ковылять сам, и его стали водить на перевязки в санчасть — благо она была на нашем этаже, не надо ходить по лестницам.

Власов подружился с Иваном-мордвином, оба давнишние арестанты, у них и идут целыми днями разговоры о лагере да о тюрьмах: вольную-то жизнь уже позабыли, даже во сне не видят. Рассказывал-рассказывал Иван Борису о том, о сем, дошел как-то до истории, приключившейся в нашей камере. И вот, слышу — они вслух говорили, не стесняясь, — Иван начинает всякие гадости говорить об Озерове, о Королеве и Шорохове. Наверное, не будь меня здесь, и обо мне говорил бы так же. Другие-то наших прежних сокамерников не знают, слушают Ивана, развесив уши. И на меня поглядывают, что я скажу. Тут у меня вдруг всплыло все раздражение против Ивана, которое накопилось с самого его появления и которому до сих пор мне удавалось не дать выхода. Я резко оборвал Ивана: нечего врать о людях, когда их нет, при них побоялся бы. А он тоже разозлился и в ответ как-то гадко меня обозвал. Я как будто даже обрадовался, размахнулся и съездил его по физиономии — нашел выход злости. Я был так зол, что готов был разорвать его на части. Иван схватил чайник с остатками остывшего кипятка и замахнулся на меня. Я выбил чайник у него из рук, и он брякнулся на цементный пол и покотился. Вода разлилась по всей камере. Мы с Иваном сцепились. Я успел ударить его несколько раз по лицу, и все оно уже было в крови: кровь шла из носу, сочилась из зубов и разбитых губ. Каков был я — не знаю, в ярости я не чувствовал боли. Ударил еще раз — он упал на мою койку. Я отвернулся и отошел, все еще дрожа от злости; сел на койку Павла Ивановича, попытался взять себя в руки. Но тут Иван вскочил и кинулся на меня. Я оттолкнул его, повалил на стол, прижал, сам не помню как. Под руку попалась мне его нога, я схватил ее и крутнул, выворачивая. Иван взвыл. Я нажал еще сильнее. Но тут послышался хруст. Это меня моментально отрезвило. Ярости, бешенства как не бывало, стало невыносимо стыдно и жалко Ивана. Я отпустил его, отошел от

стола. Неужели это я только что ломал кости человека, чувствуя, как сердце заходится и горло сжимается от злости? Мне стыдно было посмотреть на Ивана, на остальных.

В это время открылась дверь и в камеру вбежали надзиратели. Растаскивать было уже некого, они остановились и стали разглядывать камеру и нас всех. Дежурная надзирательница, злобная, маленькая, старая, показывая пальцем на меня и на Ивана, начала объяснять:

— Гляжу в глазок, — (а она была такая карлица, что и до глазка недоставала, всегда таскала с собой легкую скамеечку; ходит от камеры к камере, ставит скамеечку, взбирается на нее и смотрит в глазок; вредная — в ее дежурство, в особенности если кто приболеет или так задремлет, лечь не смей: углядит непременно и сразу рапорт, а затем в карцер), — гляжу в глазок, а значит этот на этого чайником... — почему-то по ее получалось, что это я чайником замахивался; ну да не все ли равно!

Часа через два нас обоих повели к начальнику корпуса.

— Как вас вести, вместе или по одному? — ехидно спросил надзиратель. Дело в том, что, когда начальник распределяет наказания за драку или еще что — лишить ли ларька, перевести ли на строгую норму питания, на строгий режим, — нередко провинившиеся начинают просить, даже плакать, оговаривая друг друга, выгораживая каждый себя. Такие сцены доставляют надзирателям огромное удовольствие. Видимо, и сейчас наш провожатый предвкушал подобный спектакль — если мы попросим вести нас врозь.

— Мне все равно; хоть и вовсе не ходить, — ответил я. Объявили бы в камере, что мне причитается, так всего лучше.

— И мне все равно, — сказал Иван, немного поколебавшись.

Корпусной майор Цупляк разговаривал у себя в кабинете с надзирателями. Когда нас ввели, он прервал беседу, глянул на нас, на Ивана подольше — видно, вспомнил:

— 54-я? Подходяще разукрасили. Опять чужое съел? Обоих на месяц на строгое питание! Уведите их, давайте из 79-й.

Иван заикнулся было:

— Гражданин начальник...

Но нас обоих вытолкали, повели по коридору — и снова в камеру. На следующее утро мы уже получили по 400 граммов хлеба и завтракали одной килькой, без супа. Меня больше всего мучило, что на штрафном пайке Иван оказался из-за меня. Он к тому же тяжелее других переживал голод. Ему казалось, что он не выдержит месяц на

строгом питании. Он решил покончить с собой. Через два дня после нашей драки он достал где-то лезвие и вскрыл себе вены на обеих руках. Это произошло после раздачи хлеба. Иван получил свою штрафную пайку, съел ее, чтобы не пропадала, — а вдруг он умрет или окажется в больнице, так и не съевши свой хлеб? — и чиркнул лезвием по венам. В это время шла раздача завтрака, и надзиратели дольше обычного не заглядывали в глазок. Дали завтрак и в нашу камеру. Иван, у которого из обеих рук било по фонтанчику крови, попросил, чтобы его кильку никто не трогал. Его вырвало только что съеденным хлебом, блевотина перемешалась на полу с кровью. Однако мы, остальные, съели свой завтрак, как обычно, ничего не ощущая, кроме голода. Павел Иванович, обтерев корочкой свою миску, положил остатки хлеба в ящик и начал молиться. Вот разве молился он дольше обычного.

Наконец надзиратель заглянул в глазок и обнаружил случившееся. Он вызвал сестру. Она перетянула руки Ивана жгутом и стала делать перевязку, приговаривая:

— Ну, порезал себя, а зачем? Умер бы — кто бы о тебе доброе слово сказал? Разве вот они, — она кивнула на нас, — и то, если ты человек хороший...

Надзиратели стояли над Иваном, курили, переговаривались. Старший грозился перетрясти всю камеру, если Иван не скажет, чем резался. Тогда Иван сам отдал лезвие, чтобы нас из-за него не мучили лишним обыском.

Перевязка закончилась, сестра и надзиратели ушли. Мы кое-как убрали камеру, вытерли с пола кровь с блевотиной. Иван лежал на койке, длинный, худой, еще бледнее, чем всегда, весь в крови. Рукава рубашки закатаны по самые плечи, руки перебинтованы. Наступило время обеда, принесли баланду; Ивану, как и мне, — штрафную норму. Встать он не мог, его миску мы подали ему на койку. Он взял ее своими перебинтованными окровавленными руками, выпил через край, вылизал, потом попросил дать ему его кильку от завтрака. Жадно съел ее без хлеба — хлеб-то он весь, до крошки, съел еще утром.

Глядя на Ивана, я думал: вот лежит человек, который из-за тебя голодал больше, чем обычно; из-за тебя хотел умереть. Если он донимал тебя своей жадностью, разговором о жратве, если дошел до подлости, — так разве он виноват в этом? А ты-то сам лучше, что ли? Кинулся на такого же беззащитного и обездоленного, как ты сам! Да если уж ты такой слабый, что не можешь совладать с собой, со своими нервами, — отчего ж ты тогда не съездил по физи-

ононии надзирателю, который издевается над тобой каждый день? Только потому, что за несчастного зэка тебе грозит штрафной паек, самое большое — карцер, а за надзирателя — могут и расстрелять по Указу. Значит, ты уже отравлен страхом, страх руководит твоими действиями...

Я думал о себе самом. Во что меня превратила тюрьма за несколько месяцев! Когда я впервые очутился в камере, мне казалось, что здесь и дня нельзя прожить. Я даже не мог сходить по-легкому в парашу, меня мучило от одной мысли о том, что здесь же придется есть и спать, что здесь едят, и спят, и оправляются другие заключенные... А сегодня я жадно съедаю свою кильку среди крови и блевотины, и мне кажется, что нет ничего вкуснее этой кильки. Человек истекает кровью на моих глазах, а я досуха вылизываю свою миску и думаю только о том, чтобы поскорее опять принесли поесть.

Осталось ли во мне, во всех нас здесь еще хоть что-то человеческое?

Иван лежал, не поднимаясь, дня два-три. Потом начал вставать. Через несколько дней его уже выгоняли на прогулку и не разрешали прилечь днем, грозя карцером. Ему объявили постановление, что за членовредительство и за принесение лезвия лишают посылок на четыре месяца. На Ивана было больно смотреть — он ведь так мечтал о посылке. А тут еще строгое питание! Каждый день при раздаче пищи Иван-мордвин стоял у кормушки и канючил:

— Ну добавь хоть крошечку! Хоть пол-ложки плесни еще! — Ни разу ему не добавили ни грамма — и все-таки трижды в день он ныл и плакал у кормушки. Сначала всем нам, и мне в особенности, было жаль его. Потом это стало всех раздражать и злить. Но как его ни ругали сокамерники, Иван продолжал каждый день умолять о добавке. Ему уже не было стыдно, он чувствовал только голод, голод, голод.

НАШ СОСЕД ПАУЭРС

Однажды по тюремному радио прочитали Указ о помиловании американского летчика Пауэрса. Мол, учитывая чистосердечное раскаяние, хорошее поведение, идя навстречу многочисленным пожеланиям родственников... помиловать.

Сразу же в камере начались обсуждения, споры, разговоры. Пауэрс не просидел и четверти срока, и вот его помиловали; а мы сидим от звонка до звонка. Значит, «террорист» Коля Королев, или религиозник Павел Ивано-

вич, или возвратившийся беглец Андрей Новожицкий — словом, любой из нас считается страшнее и опаснее, чем капиталистический шпион... Впрочем, тут же возникли более реалистические соображения: наверное, в Америке попасал какой-нибудь наш шпион, вот правительство и договорилось обменять их (потом я узнал, что так оно и было: Пауэрса обменяли на нашего Абея).

Помилование Пауэрса вызвало особенное оживление у нас во Владимирке: все мы знали, что он сидит здесь, в этой тюрьме. Слухами и сведениями тюрьма полнится: их передают разведчики-зэки из хозобслуги, пересказывают друг другу при перетасовке камер. Мы знали, что Пауэрс сидит в камере-двойнике на втором этаже больничного корпуса. Некоторым даже удалось видеть их — его и его сокамерника — на прогулке в прогулочном дворике (с риском заработать карцер за взгляд на заморскую птичку). Рассказывали, что Пауэрс и его сосед ходят во всем своем, а не в тюремном; что лица их чисто выбриты, не то что у нас — раз в десять дней под машинку; что головы, наоборот, не обриты, а с прической. Сосед Пауэрса — то ли эстонец, то ли латыш, словом, прибалт, образованный человек, хорошо говорит по-английски. Еще во время суда над Пауэрсом этого эстонца стали готовить ему в напарники. У него был срок двадцать пять лет, и вот ему пообещали, что если он выполнит определенные требования, то его помилуют и освободят сразу после Пауэрса — Пауэрсу мол, долго сидеть не придется. Ну, конечно, соблазняли. Зато, если он эти требования не выполнит, — сидеть ему во Владимирке всю жизнь до самой смерти. (А между прочим, такие пожизненные заключенные во Владимирке есть. Например, уже больше двадцати лет сидит лесник, который случайно оказался свидетелем расстрела польских офицеров в Катынском лесу.) Что же это были за требования? Во-первых, чтобы эстонец не рассказывал Пауэрсу о действительном положении заключенных в советской тюрьме, а, наоборот, всячески поддерживал его в уверенности, что все политические находятся в таких же условиях, как он и Пауэрс; мало ли что может случиться произойти: мелькнет во время прогулки чья-нибудь изможденная фигура в тюремной робе, завопит кто-нибудь в больнице (вот, как мы слышали) — так чтобы этот эстонец придумывал для американца правдоподобные и убедительные объяснения. Во-вторых, требовалось, чтобы эстонец поменьше рассказывал о жизни, о быте у нас на воле; пусть занимается Пауэрса разговорами о кино, о литературе, о спорте...

Пауэрса и везли-то во Владимир не так, как нас. Ни «воронка», ни вагонзаков он не видал, а прибыл во

Владимирскую тюрьму в специальной машине прямо из Москвы.

Так что напрасно, конечно, надеялись наши заключенные, что американский летчик, оказавшись на родине, сможет рассказать там об этом круге ада — настоящей тюремной жизни Пауэрс и не нюхнул.

Между прочим, не все у нас верили, что Пауэрса держат в особых условиях. Я знаю об одном таком «неверующем», Геннадии Р., который до остервенения спорил с сокамерниками, что этого не может быть, что раз есть тюремные правила, так они одни для всех. Над ним, конечно, смеялись. Тогда он дал слово, что сам увидит Пауэрса и докажет всем свою правоту. И вот через несколько дней один из его соседей сообщает надзирателям, что Геннадий проглотил две ложки, свою и его. Дело обычное. В камере обыск и, ясное дело, двух ложек не досчитались. Геннадия тащат в больничный корпус на рентген — как раз через тот коридор, где камера Пауэрса. Геннадий, проходя мимо, кинулся к двери (он заранее разузнал номер камеры), откинул заслонку и прилип к глазку. Пока оторопевший надзиратель опомнился и оттащил его, он успел увидеть, что хотел.

Ну, дальше с Геннадием было все, как положено: его вернули в камеру, а потом упекли в карцер на десять суток — и за то, что заглянул в глазок, и за то, что подстроил путешествие в больницу (на рентгене-то у него ничего не обнаружили). Но пока Геннадий в своей камере ожидал постановления о карцере, он рассказал соседям, что видел в камере Пауэрса. Все так, как говорили: и прическа, и свой вольный костюм, и вид такой, что ясно — не голодает.

Из эков нашей камеры Пауэрса видел Борис Власов — на прогулке в прогулочном дворике — и тоже подтверждал, что и он и эстонец содержатся по-особому.

Многие завидовали эстонцу — и особым условиям, и тому, что он теперь освободится; если бы не Пауэрс, сидеть бы ему от звонка до звонка, как нам. Но еще больше эков осуждали его: неужели он, сидя вдвоем с американцем, не мог рассказать ему, как мучаются здесь остальные заключенные?

Завидовали зря. Говорили потом, что эстонца не выпустили, обманули, после освобождения Пауэрса перевели в общую камеру на общие условия и он на другой день покончил с собой. Был и другой слух — что все-таки освободили. И что перевели в другую тюрьму. Не знаю, какой из

этих — правда. Верно только одно: этот эстонец исчез, и никто его больше не видел.

КАМЕРА БЕРИЕВЦЕВ

Одно время в прогулочном дворике по соседству с нашим гуляла камера бериевцев. Тогда еще дворики были отделены друг от друга старым щелястым забором, и мы хорошо видели бериевцев. Они тоже были на особом положении, не так, как мы: на прогулку ходили в своих добротных пальто, я никогда не видел на них эковской формы. Помню одного из них: маленького роста, плотный, он важно прохаживался по дворнику в теплом пальто и черной папахе. Другой был тоже в папахе и сером гражданском пальто, которое сидело на нем, как шинель. У нас говорили, что это не бериевец, а армейский генерал, по фамилии, кажется, Шренберг.

Камера бериевцев была рядом с нашей, и, идя на прогулку или с прогулки, мы видели ее (пока камера гуляет, двери остаются настежь, чтобы проветрить помещение; а выводили нас или чуть позже, или раньше, чем соседей). Трудно было глазам поверить. Все камеры во Владимирке так похожи друг на друга, что введи ээка в чужую камеру с завязанными глазами, а потом развяжи — и он направится к своему привычному месту, даже не заметив, что попал не туда. Но камера бериевцев казалась нам роскошной жилой комнатой. Постели у них были покрыты теплыми домашними одеялами, на столе лежала красивая скатерть. Им разрешали лежать днем на койках сколько угодно, они получали в неограниченном количестве посылки от родных. Уж не знаю, как их там кормили, ели ли они тюремную баланду; да ведь если были посылки, то они могли жить на одних домашних харчах.

Как их ненавидели, этих наших пятерых соседей!

— Сволочи. педерасты, кровопийцы, на воле жили нашей кровью и здесь живут неплохо. — говорили ээки. Даже был такой слух, что у них с правительством договор, обязательства с каждой стороны: эти чтоб молчали о других, более важных нарушителях «социалистической законности», а за это им создали особые условия в заключении. Говорили, что бериевцы то ли между собой, то ли с кем-то из obsługi судачили:

— Ну что. Лаврентий Павлович? Будто он один, а другие, нынешние, ни при чем? Все решения были общие. Просто нужен был козел отпущения!

Подобные слухи и разговоры в тюрьме, да и на воле, подогревались тем, что всех их, и самого Берию, судили закрытым судом. Чистые и честные дела тайком не делаются. Может, если бы их судили открыто, так потом не одну камеру во Владимирке пришлось бы заселить подлинными государственными преступниками.

И все-таки через некоторое время, уже в 1963 году, в обращении с бериевцами произошла загадочная перемена. У них отобрали одеяла, сняли со стола скатерть, их камера стала больше похожа на все остальные. Посылки тоже сократили, оставили общий порядок: две в год, не более пяти килограммов каждая. Сразу же произошла и перемена в них самих, в их отношениях между собой. Дружественного, спокойного тона как не бывало. Камера бериевцев стала одной из самых скандальных камер в корпусе. Не успели еще эти недавние герои доесть продукты из последней посылки, как передрались друг с другом из-за гнилой тюремной кильки. Кильку обычно давали на всю камеру вместе, в одной миске. Каждый по очереди брал по одной, вот и получалось всем поровну. Бериевцы никак не могли договориться: кто за кем берет, хватали не в очередь, скандалили. Раздатчики стали выдавать кильку в эту камеру каждому отдельно.

В нашей камере в это время сидел один парень, Володя Е. Он как услышит, что раздатчики дают соседям-бериевцам кильку, так начинает громко язвить что-нибудь насчет дружбы и солидарности этих лучших сынов народа. Раза два он попадал за это в карцер, а все-таки не мог удержаться: мол, волки и те не грызут друг друга, а эти из-за гнилой кильки грызутся. Хуже волков.

ПРОГУЛКА

Заключенных водят на прогулку раз в день. На общем режиме — на час, на строгом — на полчаса. Казалось бы, каждый должен стремиться вырваться из вонючей камеры на воздух, да и пройтись по прогулочному дворику веселее, чем по очереди мерить шагами тесную камеру. И все-таки зимой надзиратели гонят на прогулку насильно, никто не хочет выходить, да приходится поневоле, таков режим. Зимой прогулка — еще один способ мучительства, пытка, особенно для стариков и больных. Врач освобождает только тех, кто уже совсем дошел.

Мороз градусов двадцать-тридцать. На нас поверх бумажных тюремных роб только бушлаты или телогрейки —

рванные, чиненные-перечиненные, стиранные-перестиранные. Про них зэки говорят: «старше советской власти» или «в этом бушлате уже семерых четвертаков похоронили» («четвертак» — зэк с двадцатипятилетним сроком). Остатки ваты сбились комками, продувает тебя со всех сторон. На голове ватная ушанка, такая же древняя. Шею закутать нечем, шарфы, у кого были, так же как свитеры, теплые белье, теплые носки, — все отобрали в первый же день. На ногах ботинки на тоненькой, худенькой, прозрачной уже портянке. Рукавицы запрещены. Все мы истощенные, приморенные, своего тепла нет и в помине, уже в камере замерзли. Топчемся по дворику, руки в рукава, головы опущены — стараешься нос прикрыть хоть плечом от мороза и ветра. Некоторые, кто совсем без сил, как выйдут во дворик, сядут в углу под забором и сидят, скорчившись, весь час замерзают.

Громко разговаривать, петь на прогулке запрещено.

Вернемся с прогулки в камеру — весь день не можем согреться. Да и чем? Кипяток только два раза в день — утром и вечером. В камере такой холод, что, когда чайник приносят, мы его укрываем чьим-нибудь бушлатом и одеялом, чтоб не остыл за двадцать минут, пока принесут завтрак. На ночь, чтобы не совсем замерзнуть, наваливаешь на себя все тряпье, какое есть. Те чехлы, которые выдаются на матрац вместо простынь, никто не использует, как положено. Вместо того чтобы надеть на матрац чехол, кладут на него, а сверху одеяла, бушлат, куртку, брюки и залезают внутрь чехла. А мне даже этого было мало, я им просто накрывался подо всем остальным; все-таки два слоя, а снизу не продует, там тюфяк. И все равно мерз — а ведь мне было двадцать четыре-двадцать пять лет; каково же старикам?

Когда меня только привезли во Владимир, гулять было все-таки веселее. Выводили в старые прогулочные дворики, довольно большие, сразу по три-четыре камеры в один дворик. А за деревянным ветхим забором — другой дворик, там тоже гуляет человек пятнадцать-двадцать. Я тогда познакомился со многими заключенными из других камер. Можно было даже сунуть в соседний дворик сквозь щель в заборе записку кому-нибудь из знакомых зэков — конечно, чтобы надзиратель не увидел. Надзиратель во время прогулки ходит по настилу над двориком, да еще другие следят за нами через глазок. И все-таки, когда нас много, за всеми не уследишь.

Но потом во Владимирке построили новые прогулочные дворики. Каждый величиной с камеру на пятерых, каждый закрывается дверью с глазком, пол бетонный, стены бетонные, заштукатуренные известковой крошкой, чтоб на них нельзя было ничего нацарапать. Словом, та же камера, только без крыши. Выводить стали по одной камере. Зимой в этом каменном мешке просто невыносимо холодно. А летом хоть и уныло, ни листочка не видно, ни травинки, а все-таки солнце сверху светит, и даже надзиратель на настиле не может заслонить его свет, не может преградить дорогу свежим, вольным запахам.

Летом за малейшую провинность лишают прогулки. Зато зимой — никогда не лишают!

ТКАЧ

Я уже не помню, в какой камере произошел этот случай: меня несколько раз переводили из камеры в камеру, как и других зэков. Нас было, как обычно, пятеро: Ричардас Кекитас, Петр Семенович Глыня, Костя Пынтя из Молдавии, старик по фамилии Ткач и я. Ткач был украинец, сидел, как он говорил, лет семнадцать — за участие в национально-освободительном движении. Сначала он, как и все, сидел в Мордовии, потом его перевели во Владимир за невыполнение нормы, за религиозность и еще какие-то подобные грехи. Старик был странный, уже не вполне нормальный — про таких зэки говорят «поехал» и выразительно крутят пальцем у виска. Маленький, с большой лысиной, с продолговатым, изможденным лицом и неправдоподобно громадными ушами, он сидел на своей койке, все время пугливо и настороженно переводя глаза с одного сокамерника на другого. Он всех и всего боялся. Когда кто-нибудь из нас шутил, что уши у Ткача чужие, краденые, старик не вполне понимал шутку и робко, заискивающе улыбался.

Однажды он по секрету от меня спросил Кекитаса, что я за человек, отчего все время молчу (я, действительно, почти не разговаривал). Кекитас хорошо знал меня — мы с ним больше года просидели вместе, кочуя, из камеры в камеру, — знал и мой замкнутый характер, и то, что моя неразговорчивость отчасти объясняется все усиливающейся глухотой. Ткачу он сказал:

— Ты разве не знаешь, он же людоед! Сидит за то, что съел одного деда, вроде тебя. Тут на твоей койке спал один, так он отгрыз ему обе пятки.

Старик сначала не хотел верить.

— А ты обрати внимание, как он смотрит на твои уши, — сказал Кекитас. — Ты бы их поберег, а то ведь съест!

Ткач испугался. Стоило мне сесть на одну с ним скамейку, как он вскакивал и пересаживался. Даже есть стал на койке, а не за столом. Спать он и раньше ложился в шапку — из-за холода; а теперь стал на ночь завязывать уши. Кекитас рассказал мне на прогулке о своей шутке, и я подыграл ему. Как только Ткач пугливо взглядывал на меня, я начинал пристально смотреть на которое-нибудь из его ушей. А однажды, когда он сидел на скамейке, я подошел сзади и ощупал его ухо. Бедняга оглянулся, увидел меня и обомлел. Он закрыл уши ладонями, перебежал к своей койке и долго сидел на ней, не решаясь отнять руки от головы. Вся камера покатывалась со смеху; Кекитас, отсмеявшись, спросил меня:

— Ну, как, Толик, что вкуснее, уши Ткача или пятки Володьки?

Я серьезно ответил:

— Пожалуй, Ткачовы уши вкуснее; если их обжарить, то будут хрустеть на зубах не хуже пороссячих.

Ткач смотрел на меня с ужасом: теперь он вполне уверился, что перед ним людоед.

Надо сказать, что Ткач поверил в выдумку Кекитаса не только от того, что был «чокнутый»; каждый, кто сидел во Владимирке, знал о случаях пострашнее даже людоедства. В одной камере, например, зэки проделали вот что: они раздобыли лезвие, несколько дней копили бумагу. Подготовив все, что надо, они вырезали каждый у себя по куску мяса — кто от живота, кто от ноги. Кровь собрали в одну миску, покидали туда мясо, развели небольшой костер из бумаги и книги и стали все это то ли жарить, то ли варить. Когда надзиратели заметили непорядок и вбежали в камеру, варево еще не было готово и зэки, торопясь и обжигаясь, хватали куски из миски и спешили засунуть их в рот. Даже надзиратели говорили после, что это было страшное зрелище.

Я представляю себе, что в эту историю трудно поверить. Но я сам видел потом некоторых участников страшного пира, разговаривал с ними. Больше всего меня поразило то, что это были вполне нормальные люди. Я не Ткач, и эта история не розыгрыш; я сам видел Юрия Панова из этой камеры — на его теле не было живого места. Кроме этого случая, когда Панов вместе с другими решил полакомиться собственным мясом, он не раз вырезывал куски

своего тела и выбрасывал их надзирателям в кормушку; несколько раз вспарывал себе живот и выпускал внутренности; вскрывал вены; объявлял многодневные голодовки; глотал всякую всячину и ему разрежали живот и желудок в больнице. И все-таки он живым выбрался из Владимирки, был на седьмом, а потом на одиннадцатом. Мы рассказали о нем писателю Юлию Даниэлю, когда он оказался на одиннадцатом и подружился с нашей компанией. Юлий сначала не хотел верить, потом стал просить нас, чтобы мы познакомили его с Пановым. Но случилось так, что Юлия свели с Пановым не мы, а начальство — Юлий угодил в карцер. Панов был там тоже, и вот карцер повели в баню... Юлий нам после рассказывал, что чуть в обморок не упал, когда увидел Панова нагишом.

И вместе с тем Юрий Панов — вполне нормальный человек, ничуть не псих; правда, никакой он не политический, хотя и сидит по политической статье.

Мы в нашей компании на одиннадцатом часто обсуждали вопрос, как людям на свободе объяснить все эти истории, в которые и поверить-то трудно. Ну, хорошо, пусть все эти люди ненормальные; тогда как же можно держать их в тюрьме, в трудовом лагере? Даже по закону их следует перевести в психиатрическую лечебницу или отдать под наблюдение родственникам. А если их держат в тюрьме, если все врачи и комиссии признают их нормальными, — каковы же должны быть условия, толкающие на такие дикие поступки? Ведь на воле тот же Панов и не подумал бы резать себя и жарить свое мясо. Вот над чем стоило бы задуматься нашему обществу — да ведь никто об этом ничего не знает...

Но продолжу о Ткаче. Некоторое время он верил, что я людоед, и берег свои уши. Но вот принесли ларек. Всем нам выдали продукты на рубль двадцать пять; всем, кроме Ткача. У него не осталось никого из родных, кто мог бы прислать деньги на ларек: одних угнали или расстреляли немцы, других вывезли куда-то в Сибирь, и они затерялись. Мы впоследствии пытались написать нашим родным, чтобы прислали денег Ткачу, но наши просьбы вычеркивала цензура. Приходилось делиться с несчастным стариком. Пынтя, Кекитас и я брали по две буханки хлеба, немного маргарину, сыру или колбасы. Каждый из нас отрезал по полбуханки Ткачу, так что всем доставалось по полторы буханки. Делились и маргарином, и всем остальным. После первого же ларька Ткач, попив чаю с хлебом и маргарином, сказал:

— Нет, Толик не людоед.

Кекитас попытался продолжить розыгрыш:

— Ты думаешь, если он тебя угощает, так уж и не людоед! Он хитрый. Я его давно знаю. Просто он хочет сначала откормить тебя. Стал бы он зря хлеб скармливать!

Ткач готов был снова поверить, со страхом глянул на меня, но я не выдержал и рассмеялся. Тогда засмеялся и Ткач, а за ним вся камера. С тех пор Ткач хотя и спал в шапке, но уши завязывать перестал.

Наш дед был не только немного «чокнутый», но и физически очень нездоров. Он все жаловался, что у него болит голова, болит позвоночник, болит сердце. Однажды мы с ним записались на прием к врачу. Во время обхода сестра спрашивает через кормушку: «Больные есть?» Почти все зэки жалуются на какое-нибудь недомогание, особенно зимой. Сестра, не осматривая больного, дает какой-то порошок. А если жалоба превышает ее компетенцию, то она записывает на прием к корпусному врачу. Список обычно получается внушительный: больны почти все. Тогда сестра сама, по своему усмотрению, начинает вычеркивать «лишних». Прием происходит в присутствии надзирателя, принимают всех больных из одной камеры одновременно.

Ну вот, привел нас с Ткачом надзиратель к корпусному врачу. Жаль, не знаю ее фамилии, звали ее Галина. Она обращается к деду с обычным вопросом:

— На что жалуетесь?

— Ох, доктор, все болит, помогите.

— Все не может болеть.

— Весь я болею, дочка...

— Венерическими тоже болеете? — насмешливо спрашивает Галина, переглянувшись с надзирателем.

— А что это такое?

— В штанах, спрашиваю, ничего не болит?

— Ох, болит, болит и в штанах.

— Что ж ты, дед, с педерастами путаешься в твоих-то годах?

Тут только Ткач понял, о чем толковала молодая врачиха. Он сказал ей, что на тюремных харчах и молодой парень не захочет не только педераста, а и бабу.. А он жалуеться на то, что ходит одной кровью и боли сильные (в нашей камере только у Пынти еще не было геморроя, да и то потому, наверное, что он еще «свежий», недавно с воли). Галина приказывает Ткачу снять штаны, повернуться задом и наклониться.

— Ну, у вас геморрой. Сколько раз в день оправляетесь?

— В два дня раз, а то и в три.

— Что же вы хотите? Надо оправляться два раза в день.

— А с чего, дочка? С баланды? Так это же одна вода.

— Я тут ничем помочь не могу, я к питанию не имею отношения. Объясняю вам: при геморрое надо оправляться два раза в день. Еще надо парить это место теплой водой.

Ткач пожаловался на головные боли, на боли в позвоночнике. Ему измерили давление — оказалось повышенное.

— Ничего, в вашем возрасте у всех людей повышенное давление и позвоночник у всех болит.

— Дочка, дай хоть разрешение днем лежать на койке.

Галина и слушать не стала: если таким, как Ткач, разрешить лежать, тогда весь корпус надо перевести на больничный режим.

Со мной повторилась та же процедура:

— Повернитесь задом... Геморрой... Надо чаще оправляться... Припарки теплой водой.

У меня очень болели уши, но смотреть их Галина не стала, она не специалист-ушник, ушника в тюрьме нет, надо ждать, когда вызовут из города. За два года ушник посетил Владимирку один раз; я попал к нему на прием — он выписал мне перекись водорода на две недели, легче от этих капель мне не стало, но проверить состояние было уже некому — когда там еще пригласят в тюрьму ушника? Впрочем, перекись водорода могла бы мне назначить не только Галина, а даже я сам, для этого не надо быть специалистом. Галина, однако, этого не делала: ведь она не столько лечила больных заключенных, сколько выполняла установленную формальность. Не знаю, есть ли где сейчас в тюрьмах и лагерях врачи, которые старались бы облегчить страдания и без того обездоленных людей. Когда-то такие были; но в 1961-1966 годах они мне ни разу не встретились.

Итак, мы с Ткачом вернулись в камеру, обладая ценным советом чаще оправляться и делать припарки. А как? Кипяток дают в камеру перед завтраком и перед ужином; остывает он за пятнадцать-двадцать минут. Значит, мы должны парить свои задницы, как раз когда сокамерники располагаются пожевать, — и у них на глазах. Пришлось отказаться от этой лечебной процедуры.

Ткачу становилось все хуже, он стонал от болей, мерз, никак не мог согреться. Хоть бы разрешили деду лежать, хоть бы освободили от прогулки — зима же! Мы, его соседи, обращались к администрации тюрьмы, жалова-

лись и надзирателям, и офицерам, что старик слабеет, пусть бы ему разрешили хоть прилечь днем. Нам отвечали, что врач лучше знает, кто здоров, а кто болен. Ткач так мерз, что у него не гнулись пальцы, он не мог свернуть себе самокрутку. Кекитас делал ему самокрутки с утра на целый день. Я тоже пытался закручивать, да у меня не получалось, я никогда в жизни не курил, зато всю свою махорку я отдавал старику, так что у него хоть курева хватало. Он к нам очень привязался и все боялся, не перевели бы его из нашей камеры.

Раз вечером принесли нам ужин — обычное жиденькое картофельное пюре. Мы с ним, как всегда, справились за полминуты, вылизали миски, уже хотели споласкивать их, а Ткач все со своим ужином возится. Пынтя говорит:

— Что, дед, видно, тебе по ошибке кусок мяса в миску попал? Так ты же беззубый, отдай мне... — Мы все посмеялись, Ткач съел свое пюре, налил в миску воды из чайника, сидя ополоснул ее и пошел к параше выливать воду. Около параша миска выпала у него из рук и покати-лась по бетонному полу. А сам он стал шарить, ловить руками стены — и упал на пол. Мы кинулись к нему, подняли, положили на койку. Он еще, кажется, был жив. Мы стали стучать в дверь, звать надзирателя. Из дальнего конца коридора послышался его голос:

— Чего стучишь, чего стучишь, в карцер захотелось? — Подошел, заглянул в глазок. Узнав, в чем дело, пошел звать старшего. Прошло минут пятнадцать, никто не приходил, и мы снова застучали в дверь. Дежурный заорал:

— Прекратите стук! Освободится старший — придет, ваше дело маленькое.

Еще минут через десять пришел старший, открыл дверь, вошел в камеру:

— Ну, что тут у вас? — Мы ему снова объяснили, что произошло. Он взял руку Ткача, поискал пульс. Старик лежал без движения, без дыхания. Но старший надзиратель не торопился позвать сестру или врача, он занялся допросом: как это случилось, кто что делал в эту минуту, кто что видел? Потом он ушел, пообещав прислать сестру. Прошло еще минут десять, пока пришла сестра в непременно-м сопровождении надзирателей. Она тоже поискала пульс — пульса не было. Сестра смочила ватку нашатырем и поднесла к носу старика. Это не подействовало, Ткач не шевелился. Она оставила ватку на его верхней губе и сделала какой-то укол. Ткач не приходил в себя. Тогда сестра попросила старшего вызвать дежурного врача из больничного

корпуса. Врач пришла, посмотрела на Ткача, пощупала пульс и тихо положила неподвижную руку ему на грудь. Потом, расспросив нас, как и что было, она вызвала старшего из камеры. Больше она к нам не входила, а старший, вернувшись, велел мне и Кекитасу вынести старика. Я взял его под мышки, Кекитас под колени, и мы потащили тело куда нам велели — в пустую камеру. Там надзиратель приказал нам положить мертвого на голую койку и заторопил выходить. Камеру заперли на ключ. Я спросил надзирателя:

— Что, теперь Ткачу можно лежать на койке до отбоя?

— В карцер захотел?! — привычно заорал на меня надзиратель.

Умер Ткач. Он был одинок, никто не помогал ему, даже писем он ни от кого не получал. Но может, есть у него родственники, которые потеряли его и не знают его судьбы. Так вот: старик Ткач много лет голодал, мучился, болел, мерз и умер во Владимирской тюрьме зимой 1962/1963 года.

ПЕТР ГЛЫНЯ

Глыня тоже сидел давно, и все по тюрьмам, в лагере не побывал ни разу. Значит, у него был такой приговор — тюрьма. Однако никто не знал, за что он сидит, и понять его было совершенно невозможно. Глыня был форменный сумасшедший, вполне «чокнутый». Он все время что-то бормотал, иногда у него срывалась фраза: «Я советский разведчик!» Он вполне серьезно рассказывал нам, что его вызывал к себе в кабинет сам Сталин, у них был секретный разговор, при котором присутствовал Берия. О чем был разговор, Глыня не говорил: видно, не хотел разглашать этот важный секрет. Получил от Сталина и Берии какие-то задания, вот и все. Иногда он вспоминал, будто бы у него в Париже жена и дочь, принимался нам рассказывать о Франции, о Германии. Никто из нас там не бывал, поэтому мы не могли проверить, что в его болтовне правда; да и много ли поймешь из бреда сумасшедшего. Но немецкий язык он действительно знал и, похоже, — хорошо.

Однажды Глыня попросил меня написать ему жалобу в Военную прокуратуру. Сокамерники тоже стали угаривать:

— Напиши, Толик, напиши! — Я понял — всем хотелось узнать, за что же посадили этого человека. Мне тоже было интересно, я согласился:

— Давай, рассказывай! — Тут Глыня понес такую чушь, в которой нечего было и думать разобраться: какое-то болото, на котором он собирал утиные яйца, гонял змей, задания от Сталина и Берии, советский разведчик, Франция, Германия, опять болото с утиными яйцами.

Так мы и не узнали, за что Глыне дали двадцать пять лет.

ВИТЯ КЕДРОВ

Одно время я сидел в камере с бывшим уголовником Виктором Кедровым. Теперь у него была политическая статья — кажется, «антисоветская агитация», — заработанная в уголовном лагере. Сидел он раньше не раз, был в тех страшных лагерях, о которых уж теперь понемногу появляются рассказы и воспоминания, так что, пожалуй, не стоит здесь пересказывать воспоминания Виктора и других заключенных, побывавших на лесосплаве, на рудниках и шахтах, на Колыме, в Норильске, на Воркуте, в Тайшете, Магадане, Джезказгане... У Виктора не было кисти на одной руке: он подставил ее по пилу-циркулярку. В этом тоже нет ничего нового.

Витя мучил нас так же, как в прежней камере Иван-мордвин: он часами простаивал у кормушки, умолял, чтобы ему дали что-нибудь поесть.

— Держать — держите, а голодом не морите! — ныл он. Конечно, ни разу ему ничего не дали, но он каждый день заводил свое:

— Держать — держите, а голодом не морите!

Мы пытались пристыдить его, даже били. И все-таки он снова прилипал к кормушке:

— Ну дайте чего-нибудь! Держать — держите, а голодом не морите!

БАНЯ

В баню во Владимирке водили раз в десять дней. Там меняют белье, так называемое полотенце, — взамен выдают такую же ветошь, — а через баню, то есть раз в двадцать дней, и «постельное белье» — чехол на матрац и на подушку. Там же стригут под машинку, что волосы на голове, что волосы на лице, одинаково. За десять дней мы, конечно, успевали зарости так, что смотреть друг на друга страшно. Вид у каждого такой дикий, что, наверное, со

стороны можно подумать: «Действительно, настоящие бандиты, зверюги».

Летом ждем бани с нетерпением, дни отсчитываем: так охота поплескаться в воде! Да и лишний раз пройтись под солнцем, по свежему воздуху. Ведут нас через тюремный двор, ни дерева вокруг, ни кустика, одни только серые стены корпусов с решетками на окнах, голый асфальт под ногами. И все-таки иногда увидишь жалкую травинку, пробившуюся сквозь асфальт. Правда, подойти к этой травинке нельзя, наклониться — тем более.

— Ни шагу в сторону. Руки держать в положении назад. Не разговаривать, не курить! — Нас предупреждают так каждый раз перед тем, как вести в баню.

Хотя в тюрьме каждый шаг, каждое действие предусмотрены и расписаны по пунктам и параграфам, иногда случаются непредусмотренные события. Однажды вели нас в баню. Идем мимо больничного корпуса, навстречу нам — начальница больницы. Видно, идет на работу — это было утро, часов в девять. Вдруг слышим — с верхнего этажа больничного корпуса крик, и что-то падает сверху прямо ей под ноги. Начальница наклонилась, посмотрела и сплонула. Мы как раз проходили мимо нее и увидели, что на асфальте лежит отрезанный мужской член — весь в крови. Видно, какой-то бедняга в больнице решился покалечить себя таким образом, выглядывал потихоньку из форточки и вот выкинул ей из форточки свой «подарок». Что же она сделала с ним, чтобы пробудить жажду такого мщения?

В бане два помещения для мытья: одно с лавками и тазиками, другое — душевая, в ней отдельные кабины на одного человека. Приводят сразу по две камеры, одну в общее помещение, одну в душевую. Попасть в душ — это большое везение, просто счастье: здесь успеешь помыться, не надо стоять в очереди за тазиками, за водой, стоишь и все время моешься, все время на тебя льется вода — хотя в одиночную кабину и загоняют сразу двоих-троих. Жаль только, что это счастье слишком быстро кончается: не успеешь второй раз намылиться, как надзиратели перекрывают воду и гонят вон из моечной. Поэтому каждый спешит хоть раз как следует намылиться, да набрать во второй раз в шайку воды, чтобы окатиться чистой. Успел — повезло, а то другой раз и мыло смыть не успеешь, приходится просто стирать его с тела полотенцем. От бани до бани вся камера гадает: куда повернут в следующий раз, в общую или в душевую?

Зато зимой в бане — прямо пытка. Новичок, который этого еще не знает, надеется и помыться и погреться горячей водой — баня все-таки. Как бы не так! Зимой в предбаннике такой холод, что пар идет изо рта, а стены иногда покрыты инеем. Разденемся, стоим голые, синие, кожа у всех в пупырышках. Ждешь, злой как черт, — когда же пустят в моечную, и чувствуешь, как холод пронизывает тебя до самых печенок. А потом одеваться здесь же, в этом холоде, и брести по морозу до своего корпуса... Особенно боялись бани зимой старики; покойного Ткача, например, в баню выгоняли зимой насильно, как и на прогулку.

Вообще мыться зимой в тюрьме — настоящее мучение. Даже умыться на оправке. Вода из крана течет такая холодная, что даже у меня, сибиряка, молодого парня, пока умоюсь, руки коченеют и теряют чувствительность. Возможно, конечно, что это не из-за ледяной воды, а из-за постоянного общего истощения.

В баню нас водили обычно два надзирателя, Ваня и Саня. Ваня маленький, черный, злой; у него была кличка «Цыган». Чуть что — орет, кроет матом, грозит, дерется. Саня, его дружок, — полная противоположность Цыгану: большой, белый, медлительный, спокойный. Спокойно посадит в карцер, спокойно изобьет заключенного в компании с другими надзирателями. У Сани была кличка «Нос» (нос у него был, действительно, огромный). Вот эти Ваня Цыган и Саня Нос водили нас в баню — если не оба вместе, так уж один из них непременно. Им доставляло особое удовольствие перекрыть воду так, чтоб кто-нибудь из нас остался намыленным. Они же и насильно стригли новеньких — вот как раз тот украинец с усами, о котором я рассказывал, попал в их руки; меня тоже скрутили они вдвоем.

РАВНОПРАВИЕ

В бане находится склад казенного белья — им тогда заведовала женщина лет тридцати пяти, вольная, звали ее Шура. Саня Нос ухаживал за ней. По-своему, конечно: лапал ее, щипал. На нас, эзков, присутствовавших поневоле при их играх, они не обращали никакого внимания. Да, что там присутствие! Нас голых, в чем мать родила, перед мытьем стригли в коридоре. Шура ни разу не пропустила этой процедуры, сидела здесь же и баловалась с Саней. Может быть, голые мужики здесь же, наши взгляды, придавали даже особую остроту их

любовным щипкам. А может, они нас просто не замечали — разве ж мы люди?

Кроме надзирателей, в нашем корпусе были и надзирательницы. Они тоже следили за нами через глазок, тоже могли войти в камеру в любую минуту. Стоишь в камере у параши по своей нужде — вполне возможно, что в эту минуту за тобой надзирательница наблюдает. И от этого, хоть мы и привыкли, все равно постоянно чувствуешь еще большее унижение и еще больше озлобляешься. Раз в нашей камере была такая история. Один из заключенных, Юрий, подошел по нужде к параше. А параша-то у двери, как раз перед глазком. Надзирательница заглянула, видит, стоит перед глазами зэк, камеру загородил (а в камере, если кто делает наколку или занимается чем-нибудь недозволенным, один из заключенных стоит «на атасе», загораживает глазок; пока надзиратель будет с ним ругаться, пока откроет дверь — «работавшие» зэки успеют все убрать, спрятать и принять вполне невинный вид). Надзирательница стала кричать Юрию, чтобы он немедленно отошел от двери. На крики прибежал старший, открыли дверь, вошли, подозрительно осмотрели всех нас, камеру. Надзирательница показала на Юрия:

— Вот этот загораживал. — Старший пригрозил ему карцером за нарушение режима. Тогда Юрий предложил переставить парашу от двери или сделать еще один глазок, пониже: «А то вот ей не видно было, какую штуку я держал, а теперь никак не могу оправдаться...» Как обычно, надзиратели обругали нас, пригрозили карцером и ушли. Легко отделался, — а то мог и на самом деле угодить в карцер за дерзость.

Когда дежурят надзирательницы, они же водят нас и на opravку. И следят через глазок в уборной, что там делает зэк, — не нарушает ли чего-нибудь? А за женщинами-заключенными следят и надзиратели мужчины. Тоже водят их на opravку, тоже заглядывают через глазок в женские камеры в любое время дня и ночи.

Женщины-политические сидели сначала в нашем корпусе на втором этаже. Среди них было много с Украины и из Прибалтики — за национальное движение, были и «религиозницы». Некоторые сидели во Владимирке по десять-пятнадцать лет и больше. Однажды нас вели из бани, а женщин с прогулки, и мы издали видели их. Видели, как старух вели под руки более молодые сокамерницы. У женщин, как и у нас, отбирают теплое, их тоже выгоняют зимой на прогулку в ветхих бушлатах и холодных ботинках,

тоже водят в холодную баню, тоже морят голодом. Режим в тюрьме для всех одинаков, что для мужчин, что для женщин. Полное равноправие.

ХОЗОБСЛУГА

В тюрьме вне камер есть всякая «черная» работа: уборка, раздача пищи, топка кипятильника. На эту работу назначают каких-нибудь заключенных из этого же корпуса, так что раздатчики, уборщики, кипятильщики — такие же зэки, как все остальные. В каптерке помощником заведующей Шуры был заключенный, эстонец Ян; он делал за нее всю работу — перетаскивал вещи, менял белье, выдавал постельные принадлежности. Только когда кто-нибудь, получив уже совсем рванье, которое и надеть было невозможно, начинал скандалить с Яном, вмешивалась сама Шура.

Зэки из хозобслужбы живут в двух камерах, тоже все время под замком, как и остальные; их выводят из камер только на время работ. Паек у них тоже такой же, как у всех; правда, хлеба на сто граммов больше — не 500, а 600 г. Так что жизнь у них чуть-чуть получше — на 100 г сытнее, на столько же вольнее. И все-таки быть в хозобслужбе нелегко, особенно раздатчиком. Ведь приходится кормить постоянно голодных людей — а чем? Привезут из кухни в больших термосах баланду, раздатчик начинает наливать ее в миски, а там одна вода. А в каждой камере около кормушки толпятся зэки, просят налить погуще. Каждому кажется, что соседу досталась лучшая порция. Если кому-нибудь два дня подряд попадет в миску картофеля — уже подозревают, что раздатчик подкармливает «своего». И уж где там гуща, когда во всем термосе одна вода, «крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой»!

Некоторых зэков из хозобслужбы уважали, видели, что это люди в высшей степени порядочные и справедливые. К другим относились с подозрением, с недоверием, а к третьим — с ненавистью. Грозили:

— Вот попадем в один лагерь, так мы с тобой считаемся. — Помню на седьмой попал из Владимирки раздатчик Роман. В первый же день Коля Григорьев, тоже «владимирец», вылил ему на голову миску горячих щей; потом этого Романа втихую отколотили — наверное, было за что.

РЕЛИГИОЗНИКИ

Так одним словом называют тех заключенных, которые сидят за веру в Бога. Верят в Бога не только они, среди других эзков есть тоже верующие; религиозники же именно за религию арестованы и осуждены. Кого только нет среди них! И мусульмане с Кавказа, из Средней Азии, и православные, и баптисты, и свидетели Иеговы, и евангелисты, и субботники, и много других.

В газетах иногда описываются преступления фанатиков-сектантов, религиозные убийства, истязание детей и тому подобное. Мне трудно в это поверить; сколько я видел разных сектантов в лагерях и во Владимирке — и среди них никто никогда никого не убивал. Они все против убийства и насилия. Да в политических лагерях среди религиозников и нет ни одного, осужденного за какое-нибудь убийство. Тех, кого обвиняют в убийствах, судят по другой статье, они попадают в другие лагеря. А этих судят за «антисоветскую пропаганду»: если они, например, говорят, что всякая политическая власть, в том числе и советская, не от Бога, а от дьявола; за хранение и распространение «антисоветской» литературы. Судят, как и всех нас, закрытым судом, а тех, кого за убийство, — открытым. А потом про всех религиозников, про всех сектантов, говорят: «Вот они, те самые... фанатики!»

Фанатизм религиозников проявляется только в том, что они отстаивают свои собственные религиозные убеждения и правила. Это очень смиренные и спокойные люди, большей частью старики лет по шестьдесят и старше, но есть и молодые. К заключению они относятся не так, как другие эзки: их утешает то, что они страдают за своего Бога и за свою веру, и они терпеливо переносят страдания и мучения. Я слышал от сектантов такую песню:

Нес Спаситель свой крест, лишь молился,
Не пенял Отцу на врагов.
Был он чудным примером страданья,
В нем горела святая любовь.

И все-таки их, смиренных и покорных во всем, кроме вопросов своей веры, отправляли во Владимирку — за невыполнение нормы, за отказ от работы в дни своих религиозных праздников. Здесь, в камерах, я близко столкнулся со многими из них. Чуть не в каждой камере — то евангелист, то субботник, то свидетель Иеговы, а то сразу несколько из разных сект. Начальство над ними издевалось, как хотело. Я видел это в первый же день. Многие верующие по своим правилам носят бороды, и вот их стригли насильно, в наручниках.

А посты? Казалось бы, о каких постах может идти речь, когда вообще есть нечего, изо дня в день годами длится сплошной пост, а люди истощены до полусмерти? Но большинство верующих хотели и здесь соблюдать свои правила. — «а то грех перед Богом». Они хотели бы есть свою постную пищу, когда это полагается, но ведь в тюрьме ешь, что дают!

— Да в тюремной баланде в любой день хоть под микроскопом ищи, жиринки не увидишь! — уговаривали мы их.

— А все-таки по норме немного жиру полагается, может быть, сколько-нибудь и кладут в котел, — отвечали они.

Надзиратели это знали. И вот в пост нарочно начинают разливать баланду с тех камер, где сидят верующие. В полном термосе сверху, может, и плавает какое-нибудь пятнышко жира — пусть оно попадет в миску того, кто постится, тогда и он есть не станет, и другим не достанется. И вообще, верующие, зная, что им наливают сверху, из полного термоса, опасаются есть, боятся согрешить. А надзиратели еще приказывают раздатчикам зачерпнуть и сверху и немного со дна, где погуще: эта миска все равно пропадает, а остальным достанется одна вода.

Когда наши верующие разгадали эту хитрость, они в свои постные дни стали вообще отказываться от вареного, сидели на одном хлебе и воде.

При таком голоде, как во Владимирке, не у всех хватает сил соблюдать посты и отказываться от пищи. Тогда надзиратели и начальство начинают их высмеивать:

— Все вы врете, что верующие, какой там у вас Бог, одно притворство!

А когда религиозник в тюрьме обращается к врачу, ему говорят:

— Вы зачем записываетесь? Вы запишитесь к своему Богу на прием, пусть он вас лечит...

ДУШЕВНОБОЛЬНЫЕ

Я часто слышал от разных эзков, что среди нас, если как следует подумать, нет ни одного нормального человека. В этих нечеловеческих условиях, да еще видя все то, что нам приходится видеть, невозможно сохранить здоровую психику. Особенно во Владимирке.

Но помимо всеобщего отклонения от нормы, почти в каждой камере Владимирской тюрьмы находится эзк,

«чокнутый» по-настоящему. Один заговаривается, другие сочиняют о себе всякие небылицы. Есть и буйные. Не знаю, помешались ли они из-за долголетнего заключения или такими уже попали в тюрьму, только сидеть с ними в камере одно мучение. А начальство нарочно не отделяет их. Даже так: если в одной камере двое сумасшедших, то их разведут по разным, чтобы отравить существование сразу двум камерам. Жаловаться бесполезно.

В одной камере сидел такой Саня-чокнутый. Днем тихий, смиренный, сидит на своей койке, ни с кем не разговаривает, все о чем-то думает. Отбой — Саня ложится и ждет, когда все уснут. Тогда он поднимается, подходит к чьей-нибудь койке и справляет нужду прямо на спящего сокамерника, да еще старается попасть на лицо. И так каждую ночь. Пробовали его караулить, не спать по очереди. Но это невозможно: после отбоя все зэки должны быть в постели, нельзя ни ходить, ни сидеть, ни читать лежа. Попробуй не усни, тем более, что днем отоспаться нельзя. Вот и получилось, что сам «сторож» просыпался часто весь мокрый. Уж Саню и били, хоть понимали, что это больной человек... Узнают об избиении надзиратели, тянут виноватого в карцер, а Саня по-прежнему каждую ночь делает свое дело.

В другой камере был совсем тихий сумасшедший, никого не трогал. Он держался даже с каким-то особым достоинством, на всех смотрел свысока. А его причуда состояла в том, что всю еду в своей миске он разбавлял содержимым параша. Принесут обед или ужин, каждый берет свою миску, садится есть. А он в это время подходит к параше, открывает ее, зачерпывает себе в миску и начинает тщательно размешивать. Мало того, обойдет всех в камере и настойчиво уговаривает:

— Ты, попробуй, мне мама в детстве такую кашу варила, вкусно очень!

Сует под нос свою миску — а люди в это время едят. Потом он садится за общий стол и начинает есть, забыв о «достоинстве», чавкает, причмокивает, весь вывозится в своей «маминой каше». После обеда наливает в миску воды, ополаскивает и воду выпивает.

А были и такие чокнутые, которые срывали с себя всю одежду и ходили по камере голые. Что им дадут из одежды — они все раздирают в клочья — и в парашу. Их хоть на прогулку не водили. Но такие долго не живут. Простуживаются и умирают.

УДАВЛЕННИК

Одно время я сидел с парнем по имени Сергей, и он рассказал мне про этот случай.

Однажды он отсидел в карцере пятнадцать суток. Вышел чуть живой, шел «по стенке». Думал-думал: как хоть немного, хоть ненадолго облегчить свое положение? Хорошо бы попасть в больницу. Но как?

Вот он решил «повеситься» — не совсем, не на смерть, а только чтобы взяли в больницу. Как раз тогда он сидел один в камере. Разодрал чехол от матраца на полосы, сплел из них веревочку, сделал петлю и стал вешаться. В нише над дверью камеры горит лампочка, ниша забрана решеткой. Сергей рассчитал время, когда надзиратель отошел от камеры, влез на парашу, привязал веревку к решетке, накинул петлю на шею и ждет. Все получилось так, как он рассчитал. Надзиратель подошел к глазку, взглянул и увидел прямо перед собой живот зэка. Он догадался: «Зэк повесился!» Когда он, гремя ключами, стал открывать замок, Сергей медленно сполз с параша. Веревка натянулась, и он повис, но сознания не потерял, потому что петля еще не затянулась. Сергей заранее знал, что не успеет удавиться: надзиратель уже открывал дверь, входил, сейчас будет его снимать. Но нет: уже задыхаясь, он почувствовал, как надзиратель взял его за руку, нащупал пульс и понял, что зэк еще жив. Тогда он стал тянуть Сергея за ноги, чтобы петля затянулась потуже. Сергей потерял сознание.

Он очнулся в санчасти корпуса. Когда он пришел в себя, то расспросил сестру, как его вытащили. Сестра не знала ни того, что Сергей вешался «не совсем», ни того, что надзиратель помогал ему удавиться. Сергея спасла от смерти случайность. Как раз тогда, когда надзиратель был в его камере, с лестницы в коридор вошел другой надзиратель. Он пришел по какому-то делу. Тогда тот, что был в камере, бросил Сергея и позвал второго снимать удавленника. При свидетеле он уже не решился на убийство — они все друг друга боятся и друг на друга доносят.

Сергей показал мне «своего» надзирателя. Это был наш старший, по кличке «Рыжий» — ну просто ангел без крылышек. Вежливый, никогда не кричит, не ругается, с елейным приторным голосом.

Когда Рыжий входил в камеру, Сергея всего передергивало.

Я сидел одно время в девяносто второй камере, а напротив нашей была камера семьдесят девятая. На прогулку нас выводили вместе, десять человек, и мы познакомились.

Мне очень нравился в их камере заключенный Степан. Он был учителем географии у себя на родине, на Украине. Сидел уже лет тринадцать, все годы в тюрьме, а всего сроку у него двадцать пять. Это был такой спокойный и выдержанный человек, что я ему завидовал. Однажды в нашу камеру вошел прокурор по надзору, задал обычный вопрос:

— У кого есть жалобы, вопросы? — и так как мы все молчали, вышел. Он делал обход всех камер. Первое время некоторые зэки обращались к нему с жалобами и протестами, но от этого было столько же толку, сколько от писем в ЦК, в Прокуратуру СССР, в Президиум Верховного Совета. Вот и перестали.

На прогулке мы спросили зэков из семьдесят девятой:

— У вас вчера был прокурор?

— Был, как же. Они с нашим Степаном старые знакомые.

Прокурор вошел в семьдесят девятую камеру, увидел Степана и смутился. Потом обратился к нему по имени и отчеству:

— А вы все еще сидите?

— Как видите.

Прокурор помялся-помялся, попрощался и вышел. А Степан рассказал, что они два года сидели вместе в одной камере в этой самой тюрьме. В 1956 году того реабилитировали. И вот они снова встретились в тюремной камере, только уже не как два зэка, а как зэк и власть.

Так что ему рассказывать этому прокурору, на что жаловаться — он и сам все прекрасно знает и видит, не слепой же.

Вместе со Степаном в той же камере сидели два бывших уголовника — Сергей Оранский и Николай Ковалев по кличке «Воркута». «Бывшими» уголовниками они стали только по статье: им дали политическую статью и добавили срок, как это делается и с другими. А вообще-то это настоящие уголовники, развращенные, скандальные, бессмысленные людишки. У обоих, как водится, наколки. У Сергея Оранского мелкими буквами, почти незаметно на лбу: «Раб КПСС». А Воркута весь разрисован, живого места нет ни на лице, ни на теле. Его потом ненадолго сунули в нашу камеру и он при мне сводил одну наколку на

лбу. Делал он это так. Берет лезвие и чиркает по тому месту, где надпись, — раз, другой, третий, пока не исчиркает все это место. Потом начинает раздирать порезы пальцами, трет долго, весь в крови, уже на лбу не кожа, а какieto кровавые клочья. Тогда он густо засыпает лоб марганцовкой — специально для этого выдается в санчасти. Марганцовка разъедает раны, и Воркута корчится и вопит от боли. На другой день лоб у него, припухший, черный, обожженный марганцовкой, начинает нарывать. Зато через некоторое время кожа на месте нарыва облезает, рана зарастает новой. Наколки уже нет, остается только большой безобразный шрам.

И многие татуированные предпочитают сводить свою «антисоветскую агитацию» вот таким способом, чем оперироваться в больнице: там кожу вырезают без всякого обезболивания, чтобы в другой раз неповадно было колоться. Сергей Оранский тоже сам свел себе надпись.

Воркута после «операции» говорил, что это только сейчас шрам большой, а в лагере загорит, обветрится и станет совсем незаметным. Мы смеялись:

— Тебе, чтобы незаметнее было, надо наново родиться.

Он все-таки свел с лица и другие надписи. Шрамы изуродовали его так, что смотреть страшно. Ни время, ни солнце не помогло: даже через три года его лицо трудно было назвать лицом человека.

И Воркута и Сергей не раз вскрывали себе вены. Сергей вспарывал живот и выпускал кишки, глотал всякую дрянь.

У них в камере произошла такая история. С ними сидел венгр Антон. Я не помню его фамилии, все звали его Мадьяром. Мадьяр попросил Воркуту, чтобы тот, когда решит вскрывать себе вены, не давал бы крови литься на пол, а собрал бы ее в миску. Воркута сначала опешил, а потом согласился:

— А мне что, жалко, что ли? Все равно пропадет.

И вот Воркута по очередному поводу режет себе бритвочкой вены на руке, а Мадьяр подставляет миску и собирает кровь. Остальные в камере этого не видят. Они, как узнали, что Воркута задумал резаться, отвернулись и уткнулись в книжки. Они не могли видеть, как кто-то что-нибудь делает над собой, а ведь вмешиваться не полагается. О договоре Мадьяра с Воркутой никто не знал и не догадывался, что он в этом деле заинтересованное лицо.

Мадьяр собрал полмиски крови, накрошил туда свой хлеб и стал хлебать эту тюрю: Степан и еще их сокамерник, тоже украинец, Михаил, обернулись на звяканье лож-

ки и видят: Мадьяр сидит у себя на койке с миской на коленях, черпает ложкой кровавый суп и с жадностью ест. Губы и подбородок у него в крови, кровь капает с ложки, а он ее подбирает, подлизывает языком. Михаил, поняв в чем дело, даже до параши не успел добежать, его тут же вырвало.

Они рассказали нам про этот случай. Мадьяр, ничуть не смущаясь, объяснил:

— Все равно кровь льется, не пропадать же ей.

Этот самый Мадьяр решился на тайную голодовку. Тайная голодовка еще страшнее обычной, объявленной. Ему, видно, все на свете надоело, и он действительно хотел умереть. Он не делал никаких объявлений, не отказывался от пищи, каждый раз брал свою пайку, баланду на обед. Но есть ничего не ел, все потихоньку отдавал сокамерникам. Так продолжалось более недели. И все это время он, как и все, должен был ходить на opravку, на прогулку, не имел права прилечь днем. Все это время я каждый день видел его на прогулке, видел, как он буквально превращается в тень. Как он поднимался по лестнице, я не пойму! Мы все и то шли, держась за стенку.

Однажды нас, как обычно, вели на прогулку. Мадьяр шел позади меня. Вдруг я почувствовал толчок в спину — и он повалился вперед на бетонные ступеньки лестницы, перевернулся через голову, докатился по ступеньками до площадки и там остался лежать. Надзиратели заторопили нас, прогнали мимо него. Он лежал, как мертвый, с широко открытыми остекленевшими глазами.

На другой день мы узнали от семьдесят девятой, что Мадьяр жив, его притащили снова к ним в камеру и он продолжает голодовку, но уже не тайную, а объявленную.

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

Неожиданно для меня за год до конца владимирского срока меня отправили в лагерь. В то время, в начале лета 1963 года, из Владимирки стали отправлять многих зеков, тех, у которых оставалось еще немного тюремного срока. Место, что ли, в тюрьме понадобилось для новых?

В транзитной камере я встретился с Толей Озеровым, его тоже отправляли в Мордовию. За время тюрьмы он почти совсем ослеп, и я с болью представлял, как он будет ходить по лагерю с палочкой, вроде Сани-слепого. Но ведь и я здесь почти оглох, и Озеров, наверное, в это же самое время с той же болью думает обо мне.

— Да, Толик, не такими мы сюда приехали, — сказал он. Бурова с нами не было. Неужели оставили досиживать?

Знакомые «воронки», ничуть не переменявшиеся вагончики, те же пересылки, только в обратном порядке: Горький, Рузаевка, Потьма.

На Горьковской пересылке нас повели в баню. В бане, еще в раздевалке, перед моечной, сидел дежурный офицер и каждого осматривал: не накололся ли дорогою? С разрисованных он снимал копию — переписывал, что написано и где, на каком месте. Дошла очередь до Воркуты (он тоже ехал в лагерь). Ну, офицеру хватило работы на час! Воркута стоял перед офицером в синих трусах, поворачивался перед ним то грудью, то спиной. Когда опись была закончена, офицер спросил:

— Все, что ли? Ничего не пропустил?

— Хрущева пропустил, — ответил Воркута.

— Хрущева? Где?

— Хрущева на х...

— Что ты сказал?! В карцер захотел?

— Вы спросили, где у меня наколот Хрущев, я вам правду ответил, что на х...

— Покажи!

Под хохот всех эзков Воркута спустил трусы и показал: на члене во всю длину крупными буквами «Хрущев».

— Правда, симпатично? — с невинным видом спрашивал Воркута, поглаживая своего Хрущева. — Только скучает один, бедняга. Фурцеву бы ему сюда для коллективного руководства.

Офицер, опустив голову, дополнял опись.

Баня в горьковской пересылке хорошая, самая лучшая из всех, какие мне приходилось видеть. Все эзки ее хвалят, и слава горьковской бани идет по всем лагерям и тюрьмам.

Как всегда, едем всю дорогу с плотно задернутыми занавесками. Они между стеклом и решеткой. С воли и не догадаться, что за этой обычной занавеской толстые железные прутья, а за ними бледные люди, страшные, заросшие грубой щетиной. А нам, с нашей стороны, не видно воли.

В Саранске солдат в коридоре отдернул занавеску прямо против нашей зарешеченной двери. Мы кинулись смотреть. На перроне стояла старуха с мешком, убого одетая, в лаптях -землячка космонавта Николаева.

СНОВА ЛАГЕРЬ

В Потьму нас привезли в начале лета. Несколько дней просидели на пересылке, прошли медкомиссию — кому какая категория труда. Все, кроме одного Степана, получили первую, а Степан, без ноги выше колена, то ли вторую, то ли даже третью. Остальные наши недуги — геморрой, грыжи и прочее — в счет не шли.

Уже здесь, на потьминской пересылке, мне бросились в глаза некоторые перемены и новшества. Один барак был весь набит особорежимниками, и все они были в полосатой форме. Такую форму они носят и сейчас, и зовут их «полосатниками» или «тиграми». Тогда на Потьме это были в основном религиозники — их почему-то стали отделять от всех и переводить на спец.

Через три-четыре дня нас всех погрузили в «столыпины» и повезли по лагерям, кого куда. Я попал на семерку, Озеров тоже. Это недалеко от Потьмы, на станции Сосновка.

От станции нас повели под конвоем — впереди, по сторонам, сзади автоматчики с собаками. Но я так наслаждался этой дорогой, что позабыл и про конвой. Как хорошо идти по простой утоптанной дороге через поселок, за которым совсем рядом виден лес! По обочинам дороги растет трава — я ее не видел два года. Вот стоят деревянные домики, и хоть я знаю, что в них сторожа и надзиратели, но самый вид этих мирных домиков в два-три оконца радует и успокаивает. Идешь, вдыхаешь полной грудью свежий, лесной воздух и знаешь, что ты и завтра, и послезавтра будешь дышать им, а не спертым воздухом камеры, не испарениями параши.

Вот и зона, такая же, как все другие зоны: вышка, колючка, забор, прожекторы... А черт с ним! Все-таки не тюрьма с ее серыми стенами и окнами в намордниках! Ждем у вахты минут сорок. Переключка, счет-пересчет, вызывают группами, обыскивают. Впускают в зону.

Внутри около вахты толпа зэков — те, кто работает во вторую смену и в ночь, — пришли встречать очередной этап. Только я сошел с крыльца, как меня взяли в кольцо, засыпали вопросами, кто, какой срок, за что? Первый вопрос:

— Тоже из Владимирки? Оно и видно! Краше в гроб кладут.

Первым делом повели в столовую, по дороге продолжали расспрашивать: не знаешь ли такого-то? А такого-то? А днем и сейчас лежать не дают? Пауэрса видели? Кто сейчас начальником — Гришин или Цупляк?

Столовая на седьмой такая же, как всюду: голые крашенные столы, длинные лавки, в одном конце раздаточные окна, в другом сцена, а на ней трибуна и белое полотнище — экран. Над сценой, на сцене, по всем стенкам столовой висят лозунги, плакаты, фотомонтажи.

Но обстановка меня сейчас мало интересовала.

Меня усадили за стол, где уже работали ложками несколько эзков с нашего этапа. Вокруг новеньких толпились местные старожилы, рабочие кухни, повара в своих бело-серых халатах. Мне тут же налили супа-лапши, подвинули поближе целую стопку нарезанного хлеба, сунули ложку в руки:

— Ешь, нажимай! — Я помешал ложкой суп. Он был жидкий и постный, хоть повара наливали нам со дна погуще. Но мне в этот раз показалось, что такой лапши я и дома не ел.

— Что, земляк, похоже на владимирскую?

Я ответил, что из одной здешней порции владимирских выйдет пять.

Я и сам не заметил, как в одну минуту опорожнил свою миску. Тут же у меня ее забрали из рук и снова принесли полную:

— Ты ешь, ешь! — Я понял, что съем эту и мне нальют еще. Мне стало стыдно, что ем с такой жадностью, и я решил отказаться от третьей порции. А чтобы легче было отказаться, решил возместить это за счет хлеба. Хлеб был нарезан кусками поперек белой буханки: одного такого куска мне хватало как раз на четыре укуса... Я старался на каждую ложку лапши набить полный рот хлеба, и мне приходилось то и дело тянуться за новым куском. Мне стало стыдно и этого. Я мог уже есть медленно, реже брать хлеб, и, когда мне предложили третью миску лапши, отказался, сказав, что уже сыт. На самом деле я чувствовал, что хотя и набил полное брюхо, но могу есть еще и еще.

Мы поднялись, чтобы выйти из столовой, и тут здешние эзки предложили нам взять еще хлеба с собой: ужин в пять, а в четыре дадут кипяток, так чтобы было с чем чай пить. Мы обрадовались чуть не до слез.

Такая благодать с хлебом продолжалась на семерке при мне еще месяца два — ешь, сколько съешь. А потом и здесь стали выдавать пайки. Но в зоне это не страшно, я потом объясню, почему.

После обеда я пошел бродить по зоне. Накормив, меня оставили одного, чтобы я мог осмотреться. Первое, что здесь бросилось в глаза, это обилие зелени: много деревьев, кустов. около барачков разбиты цветники — прав-

да, цветы еще не распустились. Так же много, если не больше, всяких лозунгов и плакатов, но я на них не смотрел, не замечал их, любуясь травой и деревьями. В зоне было очень много эзков, всего в этом лагере народу свыше трех с половиной тысяч, и поэтому здесь всегда многолюдно, даже и днем, когда первая смена на работе.

Еще я заметил, что теперь все эзки одеты одинаково в черные бумажные куртки, такие же брюки, на бритых головах форменные черные шапочки. Два года назад этого не было, тогда в жилой зоне можно было носить вольное, свое. Правда, в этот жаркий день многие были без шапочек, в распахнутых куртках, а некоторые и вовсе, раздевшись до пояса, загорали где-нибудь на солнышке. (Позднее, в последний мой лагерный год, нас уже основательно гоняли за такую вольность, заставляли носить куртки в любую жару, не снимая: «Не на курорте!»).

Я ходил, надеясь встретить знакомых, но знакомых не было. Некоторых я узнавал в лицо, вспоминал, что, кажется, видел на десятом, но знать их не знал, я ведь пробыл там до Владимирки всего несколько месяцев. Меня не узнавал никто. Правда, многие оглядывались, спрашивали: «Из Владимирки?» — и, услышав утвердительный ответ, замечали: «Оно и видно».

Я пошел в парикмахерскую. Здесь работали пять мастеров-заключенных, к каждому была длинная очередь. И здесь тоже я почувствовал исключительно дружеское, заботливое к себе отношение: догадавшись, что я из тюрьмы, меня сразу пропустили без очереди. Я сел на стул к хромому литовцу-парикмахеру, и, пока он меня брил, со всех сторон на меня сыпались все те же вопросы. Спрашивали и мастера и клиенты, а литовец повторял мне все в ухо, чтобы я слышал.

Как было приятно сидеть с чистой салфеткой на шее, впервые за два года почувствовать прикосновение помазка с мылом! От удовольствия я закрыл глаза и старался ни о чем не думать.

После бритья я вышел из парикмахерской, проводя рукой по выбритому подбородку и не ощущая привычной щетины! И тут я увидел знакомого. Мимо парикмахерской, все так же ощупывая палочкой дорогу перед собой, шел Саня-слепой, тот самый, который встретился мне в первый день на десятом два с лишним года назад. Все приподнятое настроение как рукой сняло. Чему я, дурак, радуюсь?! Ведь это все та же Мордовия, лагерь, та же тюрь-

ма, только стены раздвинуты пошире, да видно небо над головой.

До четырех часов я еще успел заглянуть в библиотеку. Здесь было полно народу, сесть негде, так что я только походил по комнате. Как и в столовой, и на территории, везде были развешаны плакаты, вырезки из газет и журналов, изречения классиков, лозунги, лозунги: «Кто не работает, тот не ест»; «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»; «Ленин всегда с нами». Больше всего высказываний и цитат из речей и докладов Хрущева: куда ни глянешь, всюду «Н.С. Хрущев» и его лицо на разных снимках и вырезках.

Но пора уже было идти в штаб на первую беседу. Около штаба ожидала группа новеньких, подходили еще, обсуждали предстоящую нам работу, кому какая достанется. Выбор от нас не зависел: куда пошлют, там и будешь работать. Вызывали по одному, и каждый, выходя, сообщал: «В восьмой отряд», «В двадцать седьмой», «В литейку». Дошла очередь и до меня.

В просторном кабинете собралось почти все начальство: сам начальник семерки подполковник Коломийцев, его замы и помы, офицеры — майоры, капитаны, лейтенанты: старые и молодые. Разговаривал со мной какой-то майор с татуировкой на руках, со шрамом через всю щеку и губу — потом мне объяснили зэки, что это заместитель начальника лагеря Агеев, по прозвищу Губа, страшный матерщинник и скандалист. Про него говорили, что он брат того Агеева, который избивал нас на десятом, что его покалечил за что-то зэк-уголовник и что он сам — бывший уголовник. Не знаю, что тут правда, но держался он, действительно, как блатной, крыл матом почем зря, орал на всю зону, зато не обижался и не наказывал, если его самого зэк посылал к такой-то матери — похоже, что ему это даже нравилось. Вот этот Агеев задал мне все положенные вопросы, спросил, не собираюсь ли я снова бежать, — я, конечно, сказал, что нет, уж досижу, сколько осталось, — и сообщил, что я буду работать в аварийной бригаде грузчиком.

— А что это за бригада, какая работа?

Молодой лейтенант объяснил мне: бригада разгружает вагоны с углем, лесом, пиломатериалами, грузит в вагоны готовую продукцию. Я сказал:

— Я же глухой, как мне работать на грузах? Не услышу команды — и меня запросто придавит.

— Ничего, постараетесь, так услышите, — ответил лейтенант, — у нас и не такие работают.

Это был мой отрядный Алешин. Вечером он беседовал со мной в своем кабинете. Снова те же надоевшие вопросы, на которые приходится отвечать каждый день, — фамилия, статья, срок — и потом новый вопрос:

— Раскаиваетесь ли, сожалеете о содеянном?

— Здесь мне приходится сожалеть не о том, что бежал, а лишь о том, что неудачно.

Алешин на это промолчал, а потом коротко объяснил мне мои обязанности и лагерные правила и порядки.

Вскоре я с ними познакомился на практике.

Пока что я отправился в барак, в свою секцию, устраиваться.

Наша секция была самая лучшая во всей зоне: койки стояли не в два яруса, как у всех остальных, а в один. Мне показали, где поставить койку (это, сказали, счастливое место: здесь спал один двадцатипятилетний, который как раз вчера освободился, отсидев всего двадцать один год), где взять мешок для матраца и все остальное эковское лагерное имущество и одежду, в том числе и шапочку, какие я заметил еще раньше в зоне. Эта шапочка из черной материи напоминает пилотку с козырьком и называется у нас «кубинкой», а на десятом мы еще носили фуражки-сталинки. Зэки шутили, что Хрущев и в лагерях искореняет культ Сталина и заигрывает с Фиделем.

Придется завтра и мне надеть черную эковскую форму и носить ее не снимая, оставшиеся три года.

Потом наш дневальный Андрей Трофимчук (тоже двадцатипятилетний, украинец из Киева, отсидевший уже шестнадцать-семнадцать лет; вообще тогда на семерке было очень много двадцатипятилетних) повел меня в рабочую зону набивать матрац. Сначала меня не хотели пропускать через вахту в своей одежде, но Андрей уговорил надзирателя и мы прошли. Только вошли в рабочую зону — навстречу нам поток женщин — вольных, чисто одетых. Это кончился рабочий день в конторе и у прочих служащих, а почти все служащие — жены или дочери офицеров и надзирателей. Женщины проходили мимо Андрея, не замечая его, глядя сквозь него, как сквозь стекло; зато со мной многие из них здоровались. Я удивлялся, но Андрей, смеясь, объяснил, что они, наверно, приняли меня за «своего», вольного, потому что я одет не по-эковски, а что доходной — на расстоянии не заметно.

Мы пришли в сарай, где на строгальном станке зэки превращали обрезки досок и чурок в стружку — заготавливали «пух» для матрацев и подушек для лагеря. Выбрали тюк стружки посуше, набили чехол и наволочку и пошли обратно в жилую зону. На вахте, конечно, обыскали и нас и наши чехлы со стружкой — уж как водится.

В бараке была уже вся наша бригада. Люди вернулись с работы, поужинали, получили продукты в ларьке и сейчас пили чай. Ко мне подошел бригадир Антон Гайда и сказал, чтоб я взял себе свертки со стола. Оказалось, что каждый зэк из бригады отложил мне из своих купленных продуктов ложку маргарина и отсыпал несколько штук конфет-карамелек, так что теперь и у меня будут свои продукты — столько же, сколько у всех наших. Все уговаривали меня взять, не стесняться: известно же, что такое Владимирка. — кое-кто из бригадников и сам там побывал! А ларек я получу не скоро, месяца через полтора, когда еще свою пятерку на ларек заработаю. Нечего и надеяться продержаться на одном лагерном пайке, это только поначалу кажется, что здесь в столовой наешься, а как поживешь и поработаешь, так увидишь, что без своего, без ларька, ноги протянешь.

Так они убеждали меня взять продукты, заодно объясняя, какая мне предстоит жизнь. Растроганный их заботами и сочувствием, я взял свертки и отнес к себе в тумбочку.

Присматриваясь к бригадникам, я вдруг увидел знакомое лицо и вспомнил, узнал этого зэка. Это был Иван Третьяков, с которым мы вместе ехали от Тайшета по всем пересылкам до Мордовии. Только меня тогда отправили на десятый, а его сразу сюда, на семерку. Он тоже обрадовался мне, тому, что мы будем в одной бригаде. Внимательно разглядывая меня, он сказал, что меня не узнать, что сам он ни за что не узнал бы, что я здорово переменялся с 1961 года, дошел так, что смотреть страшно. Да еще и без усов — «куда усы подевал, съел с голодухи, что ли?» Мы болтали, обменивались известиями о наших знакомых-попутчиках. Потом Иван вдруг спохватился, заизвинялся и потащил меня в угол, на свою койку, пить чай. Мне снова стало стыдно за мой голодный вид. Я уже много съел сегодня, но глазами готов был есть и есть; наверное, это было заметно со стороны.

Иван принес две кружки кипятку, достал хлеб, маргарин и ларьковые конфеты из своей тумбочки, стал меня угощать. Мы сидели на его койке, пили кипяток и разгова-

ривали, вспоминали все наши этапные мытарства. Иван показал мне фотокарточки своей семьи — жену и двух дочек. Они живут в Балхаше, старшая дочь уже замужем. Я вспомнил историю Ивана: он и его семья жили в Западной Белоруссии, и, когда пришли немцы, Иван пошел служить в полицию. Здесь, на семерке, был один из их села; он рассказывал потом, что Иван, когда был полицаем, не зверствовал, никого не притеснял, просто служил. Сам Иван не бил себя в грудь, но и не оправдывался, а просто объяснял свой поступок тем, что надо же было кормить жену и детей. Ну, что там было в те времена, в войну, не знаю, не берусь судить, а только и в этапе и в лагере Иван вел себя, как порядочный человек и хороший товарищ. Таким его считали все в нашей бригаде, а зная его, и ко мне стали относиться не только сочувственно, но и с доверием: Третьяков со стукачом дружить не станет! А то ведь бывает так, что администрация под видом новеньких перебрасывает стукачей из лагеря в лагерь.

Так вот, после немцев Ивана взяли в Советскую Армию, он воевал до последнего дня, а когда вернулся — его посадили на двадцать пять лет. Одно время в Балхаше его перевели на вольное поселение, и к нему туда приехала семья, да там и осталась. А его самого, как большинство поселенцев, снова закрыли в лагерь, отправили в Тайшет. Тогда-то мы с ним и встретились.

Иван, что-то вспомнив, сказал мне:

— Да, Толик, плохой из тебя пророк.

— А что?

— Помнишь, с нами из Тайшета ехали два дела — Иванов и другой, седой такой, с большой бородой, поволжский немец? Ты им еще пророчил, что они скоро выйдут и ты будешь их провожать на свободу. Помнишь? Так вот, с Ивановым можешь завтра поздороваться, он здесь.

— А немец?

— А немец вышел — ногами вперед. Он ведь тогда тебе говорил: «Толик, воли мне не видать до конца жизни. Я не освобожусь, умру за забором». Здесь он и умер.

Проболтали мы с Иваном до самого отбоя. Он посоветовал мне идти в его звено, на разгрузку леса и угля. В другом звене работа немного полегче — погрузка продукции, выгрузка бочек, деталей контейнеров с бумагой, зато там и на ларек не заработаешь, а в «большом» звене все-таки рублей двадцать в месяц начисляют, а то и больше. И по ночам не так часто поднимают, редко дважды за ночь. Я согласился, а с бригадиром мы легко договорились.

Первые три дня бригадир не вызывал меня на работу, дал отдохнуть, отдышаться. Его об этом просила вся бригада. Делалось это, конечно, втайне от начальства. Меня в табеле отмечали как работающего. Не то быть бы мне в карцере как работазнику. Только в аварийной бригаде возможны такие хитрости. В большом звене у нас шестнадцать человек, а на вагон требуется всего двенадцать. Четверо остаются в зоне. На следующий вызов надо снова отправлять двенадцать эзков — тех четверых, что не ходили, и еще восемь. Вот меня и не вызывали три дня, только велели не попадаться на глаза отрядному. Ну а на четвертый день — хватит прохлаждаться за чужими спинами, пора свою гнуть.

Первый раз меня вызвали на работу перед вечером — подали под разгрузку вагон леса. Работа сама по себе каторжная, а тут еще с отвычки, да после двух лет Владимирки. Но ребята меня подбадривали: «Ничего, привыкнешь». Вернулся, свалился на койку и сразу уснул, даже не евши. Проснулся я, как мне казалось, через минуту. Когда я лег, все раздевались после работы. Открыл глаза — все еще раздеваются, шумят, обсуждают разгрузку, лес, шмон на вахте. У меня во всем теле такая разбитость, будто и не ложился, — оказывается, уже ночь прошла и бригада третий раз с разгрузки вернулась — ночью еще два раза поднимали. Меня будить не стали, пожалели. Я с трудом встал, еле разогнулся, поясница болит, руки, ноги, шея. Пошел умываться — не могу ровно идти, ноги не гнутся, всего так и качает. Иду, переваливаюсь, как утка. Надо мной долго еще посмеивались за эту утиную походку. Пришел в умывальник, а там говорят: в умывальнике в одной секции ээк повесился, утром сняли уже холодного. Латыш или литовец с двадцатью пятью годами. Он просидел уже шестнадцать, представили на суд, на снятие срока до пятнадцати, а суд отказал. Значит, еще девять лет сидеть. Он и повесился.

НОВЫЕ ПОРЯДКИ

Новый год, порядки новые.
Колочей проволокой наш лагерь окружен.
Со всех сторон глядят глаза суровые,
И смерть голодная повсюду стережет.

Постепенно я, действительно, привык к работе и обжил-ся в седьмом лагере. Я узнал о переменах не только внешних, сразу бросившихся мне в глаза. С осени 1961 года положение в лагерях сильно ухудшилось и с тех пор продолжает ухуд-

шаться с каждым годом. Что же представлял собой режим для политических в 1963-1965 года и до 1967 года?

Заключенным бреют голову, не разрешают носить свою одежду и обувь. Зэк все время должен ходить только в черной лагерной форме, в тяжелых ботинках или сапогах (и женщины тоже). Зимой — телогрейка или бушлат поверх той же бумажной куртки. Если надзиратель увидит на зэке вольную куртку или кепку, то за ним будут гоняться по всей зоне, поймают, отберут, а самого — в карцер. То же самое, если найдут вольную одежду на койке при обыске. Обыски в бараках часты и бывают обычно, когда все на работе. А тех, кто в другой смене, выгоняют на это время из секции. Перероют все, перекопают постель и тумбочки, пересмотрят все твои бумаги, и письма, и записи; что захотят, то и отберут. Переписка ограничена, два письма в месяц. Правда, в лагерь могут писать сколько угодно. Это лишний раз показывает, чего боится начальство. Оно всячески старается ограничить сведения из лагеря, чтобы на воле меньше знали, что там творится. При этом заключенных предупреждают, что они не должны писать своим родным о лагерных порядках и о режиме. Все письма просматриваются цензором. Сдают письма в открытом конверте. Если цензору что-либо покажется лишним, он вернет письмо. А письма с воли получаешь во вскрытых конвертах. Иногда в письме одно-два предложения густо замазаны. Некоторые письма вообще пропадают: цензор конфискует их и приобщает к делу заключенного или просто так не отдает. А с кого спрашивать? С министерства связи?

Можно получать бандероли: книги, журналы, газеты. Только советские. А даже польские или чешские читать нельзя — даже юмористические. Многие наши заключенные знали иностранные языки. В зоне можно найти знатока почти любого языка мира, от английского до какого-нибудь африканского или индийского наречия. Некоторые знают шесть-десять языков. Так что учиться есть у кого. А вот книги и газеты на этих языках можно получить только изданные в Советском Союзе. Учебники тоже.

Еще в бандеролях разрешается получать мыло, зубную щетку, тетради. И носовые платки. Все бандероли насквозь прощупываются, просматриваются, изучаются.

Конечно, бывает, что в больничной зоне зэк ходит в свитере под форменной курткой, наденет кепку или берет вместо осточертевшей кубинки. Бывает, что в бандероли пройдет пара носков, теплый шарф. Но это уже недосмотр цензора или надзирателя, за всем и всеми ведь не угля-

дишь, когда тут мельтешат три с лишком тысячи разных людей. А уж зэк, который вот таким образом «нарушает», старается не попадаться на глаза, офицера обойдет за три версты. Получать продукты и даже курево с воли на строгом режиме вообще запрещено. Ни передач, ни посылок. Зэк на это не имеет права. Администрация лагеря имеет право разрешить посылку или передачу в порядке поощрения и примерное поведение, за то, что зэк «стал на путь исправления». Но и то только тому, который отсидел половину своего срока. Значит, полсрока вообще без передач, а через полсрока тебе могут разрешить «льготу» — одну посылку в пять килограммов раз в четыре месяца. Двадцать килограммов продуктов в год — по полтора кило в месяц. И ради этого надо на работе из сил выбиваться, выжимая норму, ни разу ни в чем не нарушить лагерных правил. Но этого, конечно, мало. Бывает зэк обижается на начальство:

— Я полсрока отсидел, норму даю, нарушений не имею — почему посылку не разрешаете?

Отрядный объясняет:

— Подумаешь, не нарушаете! За нарушение мы наказываем, а льготы надо добиться, надо заслужить.

Заслужить — это известно, что значит: выслуживаться перед любым начальством начиная от надзирателя, сотрудничать с администрацией, быть лагерным «активистом», притеснять своих же товарищей. «стучать». А в общем, это значит, что ты отдан на произвол лагерного начальства. Ведь продуктовая посылка в лагерь — это очень много. Даже эти несчастные полтора килограмма в месяц. И каждый раз, каждые четыре месяца, об этом «поощрении» надо просить: идти к отрядному, подавать заявление, выслушивать мораль. И чаще всего — отказ. С лета 1965 года заявления стало мало. Надо явиться на комиссию, в которую входят отрядный, начальник лагеря, представители КГБ. ПВЧ, опер. Эта высокая коллегия решает, разрешить ли зэку эти пять килограммов или он не заслужил такой милости. Большинство заключенных, отсидев здесь срок, ни разу не получили посылки. Я за все шесть лет получил только одну передачу от матери — пять килограммов продуктов, да и то когда я лежал в лагерной больнице. Мне моя знакомая прислала яблоки. Это был подарок ко дню рождения. Я узнал об этом только месяц спустя из ее письма. Я ей ответил, что она наивный человек, если предполагает, что зэку у нас можно есть яблоки. Может, она вычитала о тюремных передачах в газете, в

статье о каких-нибудь «трудных страницах»?.. Мое письмо конфисковали, приобщили к делу, меня вызвали в КГБ и предупредили, что за такие письма недолго и срок добавить. Яблоки сгнили, наверное, пока шли обратно.

Если в посылке весу на сто граммов больше позволенных пяти килограммов, вместе с тарой, — отправят обратно. Если пришла посылка от друга, а ты не знаешь обратного адреса на ящике, отправят обратно.

Ну а какие же права у заключенных? Вот право на переписку — с ограничениями и цензурой. Право на свидание с родными — о нем я расскажу отдельно. Право покупать продукты в лагерном ларьке на пять рублей в месяц и только из заработанных здесь, в лагере, денег. Не осталось после всех вычетов на ларек — сиди без ларька, хоть бы родные и прислали деньги. В лагерном ларьке запрещены по режиму и не продаются сахар, сливочное масло, мясные и рыбные консервы, хлеб. Там только овощные консервы, компоты (их редко кто берет — дорого, всего ведь на пятерку), дешевые конфеты, маргарин. Есть мыло, папиросы, махорка, зубные щетки, конверты, тетради. Можно купить лагерную одежду, да кто же станет ее покупать из этих же пяти рублей?

Но и все эти права — как мираж. Администрация имеет право лишить ээка всего этого. Считается, что за нарушение, — а за кем не найдется нарушения, если хотят найти? Вот и лишают — кого хотят — ларька на месяц, на два, на три. И тогда сидели на гарантийке — на лагерном пайке, разработанном согласно научным нормам так, чтобы не помереть. Дневная норма — 2400 калорий: 700 г хлеба, 80 г трески, 50 г мяса (собака овчарка, охраняющая ээка, получает 450 г мяса), 450 г овощей (картошка и капуста), граммов 30 крупы или лапши, 20 г жиров, 15 г сахара — это все. Это в полтора раза меньше того, что нужно человеку даже при не очень тяжелой работе. Говорят: а ларек? Так ведь ларька лишают! По правилам, по инструкции обрекают на недоедание!

Да и из этого не все попадает к ээку в миску. Вот въезжает в зону подвода с мясом на всю зону. На три тысячи человек — 150 кг. Смотришь на это мясо и не знаешь, что о нем думать: то ли дохлятина, то ли еще что похуже. Синее, одни кости да жилы. Сварить-то еще сварят, а на зуб попадет, хорошо, если граммов 15. Капусту везешь — не сразу и разберешь, что это такое: какие-то черные склизкие, зловонные шары. Сколько из положенной нормы выбрасывают на свалку! А весной и летом кухон-

ные рабочие уже и не решаются выбрасывать порченную картошку, а то и в суп нечего будет класть. Вот и кидают в котел черную, гнилую. Летом подойдешь к кухне — замутит от вони: тухлая треска, гнилая капуста. Хлеб такой, какой в войну ели. У нас на семерке была пекарня, так хлеб выпекали двух сортов: черный для зоны, белый для воли. Уж, кажется, с сахаром — что можно сделать? Не сгноишь, не намешаешь ничего. Зато его дают нам влажным, чтобы был потяжелее: дадут сразу на десять дней 150 г, потому что если выдавать 15 г каждый день, так там не то что есть — смотреть будет не на что.

За шесть лет тюрьмы и лагеря я дважды ел хлеб с маслом — привозили на свидание. Съел два огурца: в 1964 году один огурец, а еще один — в 1966-м. Ни разу не ел красного помидора, ни разу яблока. Это все запрещено.

За питание удерживают каждый месяц 13-14 рублей из заработка. Вот я на воле теперь хожу в столовую, где обеды дешевые. Щи — 23 копейки порция, второе — копеек 25-27, если не мясное, стакан компота 7 копеек, да хлеба беру на 4-5 копеек; на один обед 60 копеек в день, в месяц 18 рублей. Да на завтрак и ужины почти по столько же. На еду у меня уходит в месяц рублей 50, почти весь мой заработок, и то не скажешь, что я прилично питаюсь. А на зэка — 13 рублей! Это если бы он ел одни щи из столовки раз в день и свои 700 граммов хлеба, вот почти и вся сумма, на все остальное пришлось бы трешка в месяц. Никакой дотации зэкам не полагается, кормят только на эти вот наши же деньги. Каждый может прикинуть и понять, что это за кормежка. И то на гарантийке еще ничего по сравнению с карцером, с пониженной нормой питания. Пониженная — это 1300 калорий, треть того, что нужно человеку. 400 или 450 г хлеба, совершенно пустая баланда, раз в день треска — те же 80 г или меньше. И ни грамма сахара, ни волоконца мяса, ни грамма жиров. При этом ты должен работать, а если не сможешь и откажешься, засудят — и в крытку.

Голодные зэки, истосковавшиеся за годы по зелени, по свежим овощам, бывает, добудут семена и посеют где-нибудь в зоне, в дальнем углу, морковь или лук. Надзиратели все равно рано или поздно увидят и вытопчут. Нельзя! Кавказцам удастся сеять свою съедобную пряную травку! Эта растет на пользу зэку: надзиратели ее не знают, не отличают.

Такой вот и есть сейчас строгий режим. Это главным образом режим для политических, потому что уголовникам строгий режим дают за рецидив, за преступление и

нарушения в лагере, да и то не на весь срок — подержат на строгом часть срока и снова переводят на общий. Для уголовников, бытовиков строгий режим — это самая суровая мера наказания. А для нас, политических, — самая мягкая, с нее начинают, слабее суд не дает. Политические со строгого могут попасть только на спец или в крытку. А там еще хуже.

РАБОТА

На семерке я почти все работы перепробовал. У нас там было большое мебельное производство — три с половиной тысячи заключенных, все, кроме части инвалидов, работали на заводе. Пилорама, раскройный цех, машинный цех, сборочные, отделочный, своя литейка, кузница, своя лесная биржа, свои строители. Вольные только мастера и начальники. Все рабочие — зэки.

Мне пришлось месяца два поработать в отделочном цехе. Там вредные испарения, запах лака и ацетона, у рабочих головокружение, рвоты. Отделочные, правда, получают дополнительное питание — 400 г молока в день, литейщики тоже. Но, как водится, молоко привозят не каждый день. А еще многие стараются поделиться с друзьями, которые иначе за пять-десять лет даже вкус молока позабудут. Ну как же тут одному пить?

Литейка в то время, когда меня туда перевели, была адом. Плавил и отливали детали на ЦАМ — сплав цинка, алюминия и меди. Печь была старая, вытяжка плохая, надыхаться цинковых паров, газа, дыма — и бежишь, распаренный, наружу, глотнуть свежего воздуха.

На зэков не распространяется закон о том, что на вредных работах рабочий день меньше восьми часов. После смены тебя трясет, как в лихорадке, а тут еще жди час у вахты на разводе. Уже после меня выстроили новую литейку, не знаю, как там сейчас. Нормы у нас невыполнимые. И все время их повышают, расценки снижают. Некоторые, чтобы заработать побольше, вкалывают вдвоем, а пишут на одного. У одного получается процентов 150 или больше, а другому запишут 10-30 процентов и ладно — лишь бы не перевели на пониженную норму питания. Зато первый делится с другом. А может, еще и останетса на личном счету и себе на ларек зарабатывает. Несколько месяцев, полгода, год такой работы — и хоть одному есть с чем выйти на волю, хоть на первое время хватит. А с воли он постарается помочь оставшемуся другу. Однако это опасно: могут, равняясь на такого «передовика», повысить норму для всех.

Некоторые остаются без обеда, остаются на вторую смену, но за четырнадцать-шестнадцать часов такой рабочей даст процентов 150-170. И заработок больше, и на хорошем счету у начальства. Начальство, в общем, знает об этих фокусах. А насчет сверхурочной оно прямо договаривается со «своими» эками; их потом числят в передовиках, по ним поднимают норму для всех остальных: «Вот он может, и вы должны!» Считается, наверное, что выработка повышается за счет механизации, а на самом деле это — повышение за счет крови и пота эка. В отделочном цеху на полировке сначала норма была отполировать шесть корпусов радиолы «Югдона», а при мне догнали до тринадцати штук. Корпусов телевизора «Радий-В» в 1964 году надо было сделать четыре штуки, а в 1965-м — шесть штук. А «техника» остается та же: трешь вручную ватным тампоном с ацетоном, пока не доведешь поверхность до полного блеска.

Но главным образом я работал грузчиком в аварийной бригаде. Про первый выход на разгрузку леса я уже рассказал — вот так и было изо дня в день, по пять-семь вагонов в сутки. Осенью и зимой, не успеет просохнуть в сушилке одежда, как новый вызов, натягиваем все мокрое и идем. Работы так много потому, что на все производство нас шестнадцать грузчиков. С углем еще труднее, чем с лесом. Его везут и везут, по обе стороны уже горы угля навалены, и новый выгружать некуда. Подходят два-три вагона — и их почти не видно за этими горами. Значит, люки открывать нельзя: углю сыпаться некуда, и он весь уйдет под вагон. Кидаем его через борт лопатами, да еще надо отбрасывать подальше. Зимой он смерзается, и, до того как разгружать, надо его разбить ломиком. А еще перед всем этим — откатить вагоны на разгрузку, потому что путь плохой, и ни паровоз, ни мотовоз на него не пускают. Толкаем вагон в шестьдесят две тонны метров двести на подъем — не меньше часа на это уходит. Но ни это время, ни эта работа не учитываются и не оплачиваются, так как считается, что наша бригада работает «с применением малой механизации»; и то, что мы, бригада мощностью в двенадцать-шестнадцать эковских сил, впрягаемся вместо паровоза — ничем не впишут в ведомость. А вся наша «малая механизация» на разгрузке — это ломики, крючки, дрынки до поката.

Весной 1965 года у нас на лесной бирже поставили кран для разгрузки леса. Сразу же часть грузчиков перевели работать в цеха, а то как бы не пришлось тут меньше работы на каждого. Оставшимся теперь пришлось ходить

на каждый вывоз, а не в очередь. А работы, считай, что столько же: уголек все равно надо кидать лопатой, а кран то и дело останавливался из-за поломок. Его ведь в БУР не посадишь, как отказчика.

А вообще-то зэковская работа сама по себе мало чем отличается от вольной. Я на воле с апреля 1967 года работаю грузчиком — у нас тоже нигде не отмечаемые сверхурочные, и так же вручную переталкиваем вагоны от склада к складу, и такой же заработок — рублей семьдесят — семьдесят пять (если не перерабатывать). На воле ешь посытнее, да из твоего заработка вычеты — только подоходный и за бездетность. А в лагере сперва такие же налоги (и за бездетность с зэков тоже берут!), а потом 50% от оставшегося отчисляют на содержание лагеря и его штаба: от надзирателей до управления и врачей, на ремонт наших бараков, на больных и инвалидов, из оставшихся 50% — около тринадцати рублей берут за питание, несколько рублей выплачиваешь за свою проклятую лагерную форму, выданную в рассрочку: из того, что остается, — пятерка на ларек (если разрешат)... Так что не разбогатеешь, как это пишут на рекламных плакатах: «Накопил — машину купил!» Дай Бог скопить за весь срок на костюм и ботинки.

Впрочем, и на воле то же.

В свое время у нас в лагерях, как и на воле, прокатилась волна «работы на общественных началах». Собирает отрядный зэков-активистов и подсказывает им новое ценное начинание. Был у нас в библиотеке библиотекарь, и ему за его работу шла хоть и ничтожная, но зарплата, — так под нажимом начальства организовали дежурство заключенных в нерабочее время, даром. Библиотекаря уволили: хочешь — голодным сиди (инвалид работать не обязан), хочешь — иди через силу вкалывать на производство. Но это что еще — библиотека! Нас заставляли вот так, «на общественных началах», ремонтировать свой барак. Строят ведь вольные жилые дома за бесплатно, в нерабочее время. Конечно, рабочий ходит на такие общественные стройки (я не знаю — все ли добровольно идут?) — так, может, он в этом доме квартиру получит? А мы, выходит, должны на общественных началах ремонтировать свою тюрьму! И ремонтировали: откажешься — не получишь посылки от родных, плохая характеристика...

Так же, бесплатно и в нерабочее время, строили у нас зэки дом свиданий. На эту стройку некоторые пошли на самом деле добровольно, потому что уж очень плох и мал был прежний дом свиданий. Да еще у кого дорога

дальняя, так и в отпуск не укладывались, приходилось отпрашиваться с работы за свой счет и все считанные дни отдыха проводить в Мордовии, простаивая у вахты. Многие женщины из-за этого совсем не могли приехать, и вот начальство расщедрилось: нате вам материал и стройте сами. Зэки строили новый дом на двадцать комнат и радовались: вот, теперь и моя жена сможет приехать! Хоть для лагеря строю, но в то же время как бы и для себя.

Когда дом закончили, двенадцать комнат из двадцати начальство забрало под штаб. Расставили там свои столы, развешали портьеры. Выстроили зэки «на общественных началах» помещение для своих тюремщиков! Правда, восемь комнат отдали все-таки для свиданий. Очереди стали поменьше, не две недели, а дней восемьдесят.

Администрации, управлению от такой даровой работы выгода двойная. Одно — похвалят за успешное «перевоспитание» заключенных, а главное — получается большая экономия. Ведь на всякие ремонты, на строительство в лагере все равно у нас же, зэков, вычитают 50 процентов нашего заработка. А так и деньги вычли, и строительство провели даром. За экономию начальству идут большие премии. Зэку, конечно, — шиш без масла.

Но главное зло лагерной работы — не то, что она каторжно тяжелая, и не то, что работаешь почти даром, в общем за пайку хлеба, а когда и за так. Главное, за что ненавидишь этот труд, — за то, что он рабский, подневольный, унижительный, за то, что над тобой стоят дармоеды-надзиратели, за то, что тебя попрекают куском хлеба, который ты заработал своим горбом.

Когда я освободился и оказался в Москве, то, проходя мимо мебельных и радиомагазинов, все время останавливался возле витрин. Вот полированный стол, вот светлый, нарядный гардероб, вот знакомые коробки «Радий-В», «Югдона», «Мелодия».

Вы покупаете себе новый шкаф и сидите вечером в уютной комнате перед телевизором. Вы заплатили за свой телевизор 360 рубликов и теперь наслаждаетесь законным уютом и благополучием. Мне и моим друзьям-зэкам этот телевизор стоил пота, здоровья, карцера, долгих часов на разводе под дождем и снегом. Вглядитесь в полированную поверхность: не отразятся ли в ней бритая наголо голова, желтое, истощенное лицо, черная лагерная куртка? Может, это ваш прежний знакомый?

ЗЭКОВСКАЯ ЭКОНОМИЯ — ДВОЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

«Да как же так, — скажет, наверное, читатель, — как в таких условиях там у вас в Дубровлаге все не перемерзли? Мы знаем, — скажет, — были страшные лагеря: Колыма, Воркута, Тайшет. Так ведь там от истощения подыхали пачками, доходяг буквально ветром шатало, косил голодный понос, цинга чуть не поголовная. Все-таки сейчас такого нет, тут что-то не так, неувязка».

Старые колымчане и воркутяне, оставшиеся зэками по сей день, объясняют: пайка сейчас та же и даже хуже, и посылок мало, и ларек ограничен, да и тот отбирают; на тогдашних лесоповале, на шахтах, на приисках при нынешних условиях ни один зэк и сезона не выдержал бы, дошел. Все-таки теперь у нас работа более человеческая. Это одно. Другое — тогда в лагерях сидели миллионы, с воли помогать было почти что некому, да и чем тогда, в голодные военные и послевоенные годы, могли помочь?

Есть и третья причина.

Если в Мордовских лагерях люди не подыхают с голоду, так это потому, что существуют всякие нелегальные, запрещенные способы доставать продукты. Ведь зэк здесь не замкнут в четырех стенах, как во Владимирке. Спасает зону от голода производство. Спасает тем, что на производстве работают много вольных: мелкие начальники, мастера, в рабочую зону приезжают с грузом, на этих машинах — вольные шоферы. Вся эта братия тоже еле-еле сводит концы с концами на свою зарплату. Их, конечно, пытаются запугать разными способами. Мол, здесь сидят бандиты, опасные преступники. Но такая пропаганда мало действуют. Вольные, общаясь с зэками, видят, что это такие же люди, как они сами, и думают, в общем, так же... Каждый вольный понимает, что, выскажись он откровенно, сам очутился бы здесь, таким же зэком. Больше действуют угрозы: за неслужебные контакты с заключенным самое меньшее вылетишь с работы. Работой в зоне вольные дорожат прежде всего из-за надбавки к зарплате. Им доплачивают 15-20 процентов «за опасность», а на самом деле в политическом лагере какая опасность? Ее здесь меньше, чем на воле, где рабочие могут по пьяной лавочке избить и убить мастера. Вот этой надбавкой дорожат. Но и с ней зарплаты не хватает. А тут есть возможность заработать на коммерции с зэками, спекулировать, и при том так выгод-

но, как нигде. Это, правда, грозит не только увольнением, но и судом. Но ведь трудно удержаться от соблазна!

Выгоднее всего торговать чаем. Его легко пронести — легче, чем масло, сахар, а барыш большой. За пачку чая, которая в магазине стоит 38-40 копеек, зэки платят вольному полтора-два рубля. Десять пачек — пятнадцать, двадцать рублей чистого дохода — столько, сколько мастер получает за пять дней работы на производстве. Чай попал в зону — и здесь оборачивается несколько раз, всякий раз принося выгоду новому владельцу. У вольного чай закупил оптом зэк-коммерсант, а он уже продаст его своим в розницу, пачку за два с половиной-три рубля. А еще чай — это валюта. Один зэк стакнулся с надзирателем — и жена передает этому зэку по пуду продуктов в свидание (надзирателю, конечно, взятка). Он и сам не голодает и еще подторговывает овощными запасами, получает взамен чай; чай продает чифиристу *. Другой — сам чифирист — он за чай ларек свой продаст. Ну, и тому подобное.

Если начальство узнает, что у кого-то из зэков есть чай, — всю зону перевернут. И если найдут, то посадят владельца в карцер. Но это, конечно, никого не останавливает.

Был у нас в бригаде зэк Кончаковский. Весь лагерь знал, что он торгует чаем. Он сговорился с вольным шофером, и тот привозил ему пачек по пятьдесят за раз. Кончаковский прятал чай в рабочей зоне. Продавал он его не сам, а через посредника, тоже нашего бригадника Саньку Носа (полный тезка владимирского надзирателя). Санька находил покупателя среди зэков и продавал ему пачку-две обычно здесь же, в рабочей зоне. Так и риска нет, что попадешься при обыске на разводе, и убытка нет, если чай отберут. А уж это дело покупателя — пронести так, чтобы не нашли. Чаще всего прячут чай в сапог, распластав его по всей подошве. Ведь на разводе всех не разуешь, это надо целый день с утра до вечера обыскивать зэков, — а работать они когда будут? Да и надоедает надзирателям, тоже халтурят на службе. Санька Нос иногда и сам проносил чай в жилую зону. Продавали они его за два-три рубля (цена зависит от спроса, но меньше двух рублей не бывает), а шоферу Кончаковский платил по полтора. Спекулировала эта компания несколько лет и все-таки провалилась. Это случилось в году 1963-1964. Скорей всего, их выдал какой-нибудь надзиратель или офицер, которого мало подмазали. Ведь такое крупное предприятие никак не об-

* Род наркомана, пьющего крепчайший, прокипяченный чай.

ходится без взяток: шофер дает надзирателю на вахте, угощает его водочкой или дарит подарки. Надзирателю тоже трудно устоять, они иногда сами зэкам жалуются, что, мол, работа не пыльная, грыжу не наживешь, но ведь есть-пить и детей кормить тоже надо, а платят мало. Да и офицер, хоть и больше опасается, но тоже другой раз не выдержит искушения. Так постепенно многие узнают о торговой фирме, но помалкивают за кое-какую плату. Зэка-одиночку с чаем поймают — и в карцер, а спекулянтов не тревожат. И так до тех пор, пока им платят или пока между собой не переругаются. А тогда донос, обыск, поимка с поличным. И суд, срок за спекуляцию. Видимо, так и погорела компания Кончаковского.

Судили четырех: Кончаковского, Саньку Носа, шофера и продавщицу, которая продавала этому шоферу чай и делила с ним выручку (на всей территории Дубровлага продавцам на воле запрещено продавать больше одной-двух пачек в одни руки). Всем дали по три-пять лет лагерей, причем Кончаковского и Носа отправили на спец. Хуже всех пришлось Кончаковскому: он отсидел четырнадцать лет из двадцати пяти и надеялся выйти через год по снижению срока. А теперь об этом не могло быть и речи, к оставшимся одиннадцати ему добавили еще четыре до полных пятнадцати. Четырнадцать отсидел, да впереди пятнадцать — всего вместе двадцать девять лет, да еще спец! Дорого ему обошелся чаек и те блага, которые он приносит, — деньги, масло, сахар, водка, недолгая милость начальства.

В 1965 году на торговле чаем погорел надзиратель Вася, Васек. Он был зверь лютый, свирепствовал при обысках, а сам спекулировал. Наверное, за лютость его и продал кто-нибудь из зэков. Васек поплатился только тем, что его сняли с работы. Вообще, когда попадается кто-нибудь из надзирателей, то дела стараются не заводить, чтобы не было огласки.

Водка — тоже выгодный товар, на пол-литре чистого доходу приносит рублей пять. Ее проносить труднее, как и продукты. Но и то и другое все-таки попадает в зону через вольных.

Выручают и пекарни в зоне, и лагерные ларьки. Где есть пекарня, там хлеба хватает, были бы деньги. В пекарне пекари-зэки «устраивают» излишки и ими торгуют: на седьмом пять килограммовых буханок черного хлеба стоили рубль, столько же надо было платить за три кило белого хлеба (его выпекали для воли). Зэки либо рассчитыва-

лись с пекарями при покупке, либо вносили деньги вперед. Я платил сразу рублей десять наличными, а потом брал хлеб, пока не заберу на всю сумму. Пекари делились доходом со своим начальником-вольным.

В ларьке тоже всю идет торговля. Продавец-вольный завозит в ларек больше продуктов, чем полагается на лагерь. Делает он это будто бы тайком: кладовщику, который отпускает ему товар за зоной, он платит его долю. Да еще подмазывает начальство, которое якобы ничего не знает. Ну а дальше просто. На седьмом у нас были две торговые точки: так называемые магазин и буфет. Это, в общем, одно и то же. И там и там зэки расплачиваются не наличными, а чеками (денег на руки ни в коем случае не полагается). Продавец у нас был вольный, а буфетчик — зэк, вот через него и шла торговля не по чекам, а за наличные. Конечно, все продукты втридорога. Но зэку деваться некуда — заплатит и впятеро, если есть чем.

Откуда берутся у заключенных деньги? Конечно, с воли: со свидания с родными пронесешь или еще каким-нибудь способом. Всяких хитростей на этот счет придумано немало, но я не стану о них рассказывать, пусть еще послушат зэкам. Одно можно сказать: *они* умеют искать, а *мы* умеем прятать. К тому же мы в этом кровно заинтересованы, для нас это вопрос жизни, а для них всего-навсего служебная обязанность.

Да начальство по-настоящему и не очень заинтересовано в том, чтобы перекрыть ручейки продуктов и денег с воли в зону. Голодный зэк, доходяга — не работник, а кто тогда производство будет тянуть? За план все начальство получает премии, не лишаться же их в самом-то деле? Поэтому ловят, в общем, лениво, больше для того, чтобы держать зэка в страхе, а также, чтобы перед начальством проявить должное усердие. Есть, конечно, и любители своего дела, эти служат на совесть, работают усердно.

В общем, лагерная торговлишка кормит всех. Зэкам не дает подохнуть с голоду, вольным работягам помогает кормить семьи, более высокому начальству обеспечивает соответствующий жизненный уровень.

И даже самые неимущие зэки, которые ничего не получают с воли, никак не участвуют в торговых сделках, и те живут за их счет. Ведь таким, как Кончаковский, незачем каждый день хлебать баланду, они не гонятся за тухлой треской, у них и хлебная пайка иногда остается. А таких в лагере немало. Пусть не таких богатых, как Кончаковский, но более или менее состоятельных, у которых

есть кое-что в тумбочке. Вот нищему зэку и достается лишняя миска баланды, а другой раз и лишний кусок хлеба. Один мой знакомый часто говорил: «Нет, так еще жить можно».

Без этой «левой» базы снабжения на строгом режиме было бы то же, что во Владимире и на спецу.

Раз как-то, помню, на ужин был винегрет. От этого блюда никто не отказывается, даже и лагерный богач: хоть и гнилье, а все-таки овощи. Мы пришли с разгрузки усталые, промокшие, голодные, как черти, сразу кинулись в столовую. А винегрет повара выдают строго по норме, потому, что его едят все и лишнего не остается. Ложки две, не больше. Коля Юсупов поглядел в свою миску и разозлился:

— Работаете даже не как ишак, а как слон, а кормят как кролика!

Что ему, двухметровому гиганту-грузчику, эти две ложки силоса и кусочек осточертевшей трески?! А повар говорит:

— Скажи спасибо, что не каждый день так. Если бы все каждый день ходили в столовую, как сегодня, ты бы через два месяца ноги протянул.

Вот и весь секрет нынешнего зэковского существования.

И У НАС ВСЕ, КАК НА ВОЛЕ

В бараке полно народу, согнали всех, кого смогли. За столом — президиум, председатель ведет общее собрание отряда. В президиуме заключенные, рядом с ними — начальники отряда. Демократия! На повестке дня — выборы в Совет коллектива. У кого есть предложения?

Поднимается какой-нибудь зэк и зачитывает список — собравшиеся берут еще один хомут на свою шею, начальству в помощь, и расходятся по своим делам. Зато быстро.

Другой раз — новое поветрие: выдвигают и выбирают по одному с «обсуждением» кандидатур. Тот же «свой» зэк поднимается:

— Я предлагаю Иванова. Все мы знаем его как примерного производственника примерного поведения. Он активно участвует в жизни коллектива (не лагеря! — на собраниях такие слова не произносятся, у нас просто дружный коллектив — вот и все) — он участник художественной самодеятельности.

О Сидорове, Петрове говорится буквально то же самое, теми же словами, разве что вместо художественной самодеятельности поминаются стенгазеты, СВП — секция

внутреннего порядка — и тому подобное. И хоть «все мы знаем», что он был полицаем, осужден за кровавые преступления, все равно голосуем «за», лишь бы поскорее отделаться.

Почему так? Очень просто. Ведь на самом деле кандидатуры предлагают не эки, а администрация через «своих», заранее подготовленных людей. Хочешь не хочешь, начальство все равно настоит на своем, и в Совете будут те, кто нужен начальству. Несколько раз бывало так, что машину голосования «заедало», эки отказывались голосовать за последнего подонка. Тогда поднимается отрядный:

— Вот вы, почему вы отказываетесь голосовать за нашего активиста? — обращается он к кому-нибудь из «строптивных».

— Да он стукач, подонок, пробы негде ставить!

— Все равно не будет по-вашему, а будет по-моему! — отвечает откровенный отрядный.

И он затягивает собрание до бесконечности, пока не выберут того, кого он наметил.

Да и не все ли равно, кого выбирать в Совет? Никогда он не сможет действовать по своей воле, пойти против решения администрации, не выполнить ее требований: он действует под ее контролем, и администрация всегда вправе распустить негодный ей Совет или вывести любого эка из его состава. Так что эта организация — даже не видимость самоуправления, тут даже и видимости никакой нет. Все знают, что Совет коллектива отряда или лагеря — это просто послушное орудие, дубинка в руках начальства и с помощью этой дубинки начальство расправляется с любым заключенным — будто бы по воле других заключенных. Может, на кого-нибудь вне лагеря это и производит впечатление: мол, сами заключенные могут потребовать наказания своего товарища. В зоне же все знают, что это значит.

Находятся среди нас идеалисты, которые говорят: «Вот, сами выбираем подонков, а потом жалуемся. Надо, чтобы в Совете были порядочные люди» — и соглашаются войти в Совет. Иногда администрация не возражает против таких кандидатур; все равно Совет будет выполнять ее волю, зато эки не смогут колоть глаза тем, что «в нашем Совете одни стукачи и полицаи». Чем это кончается? Как всегда, крахом идеалистов: либо они сами под любым предлогом выходят из Совета, либо их выводят из него.

Уж очень незавидная функция у этого органа. Любое его решение бьет по заключенным — по всем вместе или

по кому-нибудь отдельно. То принимается решение в нерабочее время отремонтировать бараки — значит, отработал свои восемь часов принудилки, а в «свободное» время строй тюрьму для себя и для других, таких же, как ты сам. То обсуждают и осуждают чье-то поведение, заставляя человека работать сверх сил, зная, что он болен, не в состоянии выполнить норму. И ведь чем кончается такое обсуждение?! — «Просить администрацию лишить такого заключенного ларька, посылки, перевести на пониженную норму питания, водворить в штрафной изолятор». Когда это делают тюремщики, еще понятно; но кто из заключенных согласится обречь товарища на голод? — конечно, только последняя сволочь!

Вот и получается положение, единственно приемлемое для начальства и все-таки некрасивое: в Совете коллектива на самом деле почти только одни бывшие полицаи. Раньше сотрудничали с фашистами, теперь — с администрацией нашего лагеря для политзаключенных, — ведь им-то все равно, лишь бы сносно прожить да поскорее освободиться. Они и на воле устроятся лучше прочих — выйдут с хорошей характеристикой, им все организации помогут, они оглядятся, приспособятся — и заживут. Еще, может, и в мелкие начальники успеют выбиться.

Когда отрядному говоришь: «Смотрите, кто с вами сотрудничает!» — он начинает вертеться, как угорь на сковородке. — действительно, неудобно ведь. Мы, правда, не обо всех членах Совета знаем, за что они осуждены (да и не стали бы интересоваться этим, если бы они вели себя порядочно!). Но вот приезжает суд пересматривать дела двадцатипятилетников, снижают им срок, если «заслужили». Эти заседания суда происходят открыто. Тут-то и выясняется, что один «активист» сотрудничал с фашистами, другой был карателем, третий — тоже в этом роде. Вот так случайно я узнал на десятом, что наш председатель Совета коллектива отряда был таким же «активистом» в одном из фашистских лагерей смерти. На суде он расплакался: «Я ничего плохого не делал, я только открывал и закрывал двери крематория». Бог его знает, может *там* он, действительно, не был предателем, служил, чтобы самому не попасть в газовую камеру...

Что Совет коллектива, что СВП — одна честь, и контингент один, и задачи те же — помогать тюремщикам расправляться со своим братом заключенным. И цена за это та же: посылка, характеристика — «... прочно встал на путь исправления». СВП — секция внутреннего порядка,

лагерные дружинники. То же самое, что «капо». Может, кто не знает, подумает: что тут плохого, если заключенные сами поддерживают порядок, ведь в лагере нередки и драки, и скандалы, и пьянки — есть и уголовники. Но главная функция членов СВП — не порядок поддерживать, а следить, шпионить за эками, доносить начальству, кто что говорит, у кого недозволенная связь с волей. И опять же — лишать эков ларька, посылки, свидания, вернее, «просить администрацию лишить...». Члены СВП носят на дежурстве красную повязку с этими тремя буквами, а недавно введено правило — на куртке или на бушлате постоянно носить красный ромб; потому что повязки лишь на дежурных, а когда надзирателю в зоне надо срочно найти своих верных помощников, так и не найдешь — ведь служат за страх, а не за совесть.

Все начальство, особенно на верхах, очень гордится: вот у нас в лагере все, как на воле: самоуправление, заключенные перевоспитываются, сами следят за порядком — это ли не доверие к заключенным? Может, они забыли про «капо»? Может, не знают, как вербуют в СВП и Совет коллектива? Может, им там наверху неизвестно, кто идет в эти лагерные организации? Лагерное начальство хорошо знает — это те же самые «капо» и полицаи, процент «перевоспитавшихся» прямо зависит от количества подонков в зоне.

Заключенные их ненавидят: увидят ромбик с буквами СВП — «А, б... вышла погулять!» (еще и для этого значок — надел его, значит, продался, все от тебя отвернулись, и тебе обратного хода уже нет). Но сопротивление повязочникам карается так же, как сопротивление надзирателям, — угодишь под суд. Тоже, как на воле.

МОРДОВСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Осенью нас гоняли под усиленным конвоем на уборку картошки. Ходили охотно: может, удастся поесть печеной картошки, если конвой попадется человечный и не затопчет костер. Посылают только тех эков, у кого сроки кончаются — меньше опасность побега. Один раз и я попал на уборку.

Выйдя впервые за два года из зоны, я разглядывал волю, как совсем другой, позабытый мир. Дома на улицах, вольные люди, вольные лошади, не служебные собаки (не считая тех, что охраняют колонну), куры в пыли роются. Вот афиша клуба: «Танцы». Черт возьми, неужели здесь, в ста метрах от наших барачков, люди танцуют, слушают музыку, любят?

Нам навстречу попались ребяташки с портфелями, они пробегали мимо колонны, даже не глядя на нас, равнодушно проходили мимо людей, которых охраняли автоматчики и собаки. Видно, здешние давно привыкли к таким зрелищам.

Вот и клуб — ветхое, приземистое строение на полуразвалившемся фундаменте. А рядом хоромы начальника лагеря, особенно роскошные по сравнению с другими домишками. Высокий забор, калитка с табличкой: «Злая собака».

— И зачем табличка? — сострил кто-то из наших. — Написали бы фамилию хозяина, все бы и так боялись.

ПВЧ — ПЕСНИ, ПЛЯСКИ И СПОРТ

С давних времен, еще со сталинских лагерей, живет в лагерях самодеятельность. Не знаю, может, когда-то это действительно была самодеятельность, люди собирались, пели, читали стихи. Говорят, что даже сценки, спектакли разыгрывали, оперетты ставили. Говорят, что театр на Воркуте возник из такой вот лагерной самодеятельности. Она существовала сама по себе, потом под покровительством КВЧ — культурно-воспитательной части, работники которой больше доверяли эзкам, чем себе, в отношении искусства. Теперь это не КВЧ, а ПВЧ — политико-воспитательная часть; и она не столько покровительствует искусствам, сколько контролирует их — руководит ими. И вообще, это уже не самодеятельность, а принудилровка — еще одна, в добавление к работе и прочему. Ни одна программа концерта не пройдет без ПВЧ. Да что — не пройдет! Программу-то и составляет только ПВЧ, и хорошо еще, если среди гимнов и маршей удастся вставить одну-две лирические песни, или романс, или стихи Пушкина, Блока, Есенина. Концерт, во-первых, должен воспитывать слушателей; во-вторых, должен свидетельствовать о том, что выступающие уже вполне «перевоспитались»; в-третьих, должен понравиться комиссии, наша зона должна с его помощью переплюнуть соседние в соревновании. А как переплюнешь? «Отговорила роща золотая» — это еще неизвестно, хорошо ли, нет ли, — дело вкуса; а «Стихи о советском паспорте» безусловно обязаны нравиться всем, тут и разговору никакого не может быть; в-четвертых, самого концерта могло бы и не быть, хрен с ним, да галочку надо поставить в отчете.

Этим определяется все: и программа, и состав участников и отношение зэков к «самодетельности».

Вот начинает отрядный вербовать в хор или в кружок художественного слова. К одному подойдет, другого к себе вызовет. Тому обещает посылку — не какую-нибудь дополнительную, нет, законную, очередную, но ее ведь надо заслужить; тому — хорошую характеристику. Любитель стихов отвечает ему:

— И «кому на ум пойдет на желудок петь голодный!»

Мастер художественного слова скажет:

— На х. мне эта самодетельность перед обедом?

Но находятся и такие, что соглашаются. Некоторые за посылку. — но это контингент ненадежный, текучий: получил посылку — и только его на репетициях и видели, а на сцену и арканом не затянешь. Основной состав хора и прочих кружков — это двадцатипятилетники-полицаи, зарабатывают себе хорошую характеристику на суд — авось, срок скостят

И вот концерт объявлен. Теперь у надзирателей и воспитателей задача согнать на него слушателей. Тут уж их заедает амбиция.

— Ты почему не идешь? Болен? А справка от врача есть? Ах, не хочешь? Почему? Не нравится? Не отвечаешь?

Зэк обязан отвечать зэк обязан быть вежливым с представителями охраны и администрации. Нарушение! Одно, два, три таких нарушения — и ты уже лишен ларька — не за то, что не ходишь на концерты, это дело добровольное, а за «невежливость по отношению...»

Новички ходят на концерты — любопытно ведь. Я тоже несколько раз пошел поглазеть. Ну и комедия! Если бы начальник ПВЧ майор Свешников специально старался вести разлагающую зэков агитацию и то лучше бы не придумал. На сцене хор полицаев исполняет песни «Партия наш рулевой», «Ленин всегда с тобой». В зале хохот, улюлюканье, надзиратели орут: «В карцер за срыв мероприятий!» Хор поет хоть слаженно — это в большинстве украинцы, а они умеют петь. Один раз пели «Бухенвальдский набат», но это начальству почему-то не понравилось.

Та же история со спортивными мероприятиями. Силой — моральной, конечно, за те же посылки, за характеристики — загоняют зэков в спортивные секции, заставляют участвовать в спартакиадах. Смотреть на эти спортивные игры — и смех и слезы. Бегут старики, только что не безногие, прыгают по стадиону (под чутким руководством

начальника лагеря Пивкина превратили в стадион плац для проверок, теперь на одиннадцатом свои «Пивники»), худые, кривые ноги в узлах из вен торчат из длинных трусов, задыхающиеся рты ловят воздух. Добежал, отмечился у отрядного и скорее на койку — отдышаться.

...А между тем какие в лагерях певцы, какие гитаристы! Соберемся после работы вечером где-нибудь в углу зоны, да как заведем песни — блатные, под гитару, да старинные романсы. Эстонцы раз устроили свой концерт народных песен. И литературные вечера — памяти Шевченко, памяти Герцена. Кто-нибудь расскажет о писателе, другие читают стихи Шевченко на украинском языке, поэты — свои стихи, переводы на русский. Но все это, конечно, не только без ПВЧ, но и тайком от начальства, а то как раз в карцер угодили бы — ведь на таких вечерах каждый говорит, что думает, читает то, что хочет.

Подлинных самодеятельных спортсменов — еще больше, и начальство обычно их не преследует, разрешает. Я гонял в футбол; есть любители настольного тенниса, конькобежцы. На баскетбол собирается множество болельщиков, играют классные команды литовцев, латышей, эстонцев — ребята как на подбор, молодые, рослые, ловкие. Вот только головы у всех обриты.

ПВЧ: ПОЛИТЗАНИЯ

В семь часов вечера закрывается столовая, и эрки, которые работают в первой смене, разбредаются по зоне. Это время — до самого отбоя — наше. Кто идет в библиотеку, кто на волейбольную площадку, кто, сидя в секции, пишет письмо родным, любители забивать козла устраиваются около какого-нибудь стола, друзья собираются поболтать, поспорить, некоторые просто так, в одиночку, расхаживают вдоль запретки — прошел шагов сто в один конец, повернулся и пошагал обратно, глядя перед собой, думая о своем.

Но сегодня четверг, день политзанятий. Ровно в семь каждый должен быть в своем бараке: посещение политзанятий — одна из обязанностей эзков. Однако каждый старается, как может, от этой обязанности увильнуть. Что уж тут хорошего, полезного — сиди дурак-дураком и слушай, как твой отрядный, запинаясь и спотыкаясь чуть ли не на каждом слове, почти по складам, читает по тетрадке-конспекту очередную «лекцию». Отрядные в большинстве безо всякого образования, особенно кото-

рые постарше, — они даже эту беседу не в состоянии самостоятельно подготовить, да им это и не доверяют — мало ли что они наплетут по неграмотности. Каждую беседу готовит сам Свешников, перед политзанятиями диктует ее отрядным, те старательно записывают (воображаю, сколько там грамматических ошибок в конспекте!), а потом толкуют нам. Что мы узнаем из такой беседы? Газету прочесть и разобраться в ней каждый и сам сумеет, общие слова и лозунги давно всем надоели и приелись еще с воли. У большинства политических десятилетка, многие с высшим образованием, с кандидатскими диссертациями, люди, думающие самостоятельно, специально изучавшие философию, работы Маркса и Ленина, Гегеля и Канта, современных философов и социологов.

Смех один, когда отрядный, повторяющий, как попугай, чужие слова, не умеющий разобраться даже в собственных записях, проводит с ними политбеседу на уровне четвертого класса школы. Да у нас в политическом лагере даже уголовники знают и понимают больше, чем отрядные, — прислушиваются к разговорам других заключенных, участвуют в спорах. Я попал в лагерь совсем «темным», у меня образование восемь классов, ну разве думать старался сам, без подсказки. Но вот захотел разобраться что к чему — зачем я буду слушать лепет отрядного? Прочел всего Ленина том за томом, начал читать Плеханова.

На политзанятия я не ходил (был всего несколько раз из любопытства), и меня за это постоянно лишали ларька, за весь срок ни разу не разрешали посылки. Помню мой первый разговор с отрядным на эту тему... Вызывает меня Алешин к себе в кабинет:

— Садитесь. Что же это вы, Марченко, только успели приехать из тюрьмы в лагерь, а уже нарушаете правила режима? Ведь вас перевели из тюрьмы раньше срока — опять захотели туда же, нюхать парашу?

Я ответил, что не вижу в этих занятиях ничего для себя интересного и занимательного. Тогда он, видя, что я не поддаюсь на запугивания, зашел с другого бока:

— Другие же ходят! Вы считаете, что вы умнее других? Что вы уже все знаете?

— Я не думаю, что все знаю, наоборот, я знаю слишком мало, поэтому дорожу своим временем. Я никогда не считал себя умнее всех, — но уж и не дурнее тех, кто проводит занятия. А что другие ходят — это их дело. За себя я решал и буду решать сам.

Алешин стал говорить мне, что посещение политзанятий — моя обязанность; что я могу не слушать, лишь бы пришел и отсидел положенные два часа; что хочу я или не хочу, меня все равно заставят подчиниться:

— Не подчинитесь — я вас буду наказывать.

Конечно, можно иной раз пойти на политзанятия, чтобы самому поглядеть на эту комедию. Но каждую неделю? По обязанности, принудительно? Я к вам в лагерь не просился, не хочу, чтобы вы меня «воспитывали». К тому же я политический заключенный, у меня, может, свои взгляды, своя точка зрения на явления и события; может, я идеалист, религиозный человек. Вы же не на дискуссию меня приглашаете, и, начни я высказываться на этих ваших беседах, у вас против меня всегда найдется насильственный довод — карцер, лагерный суд, тюрьма!

Словом, на политзанятия заключенных сгоняют под угрозой наказания. Не пойдешь — лишат ларька, очередной посылки, сократят свидание, дадут плохую характеристику: «... упорствует в своих ошибках, не стал на путь исправления...» Так что те, кто дорожит посылкой или характеристикой, ходят «добровольно». Но ведь в лагере большинству терять нечего; ларька и так за что-нибудь лишили; свидание не скоро, через год; до полсрока далеко, так что посылки все равно не положено; у начальства ты и без того на плохом счету, на характеристику плевать, все равно сидеть от звонка до звонка, срок могут скостить только двадцатипятилетникам. Вот большинство на занятия и не идет. А надо, чтобы ходили все, от отрядных требуют стопроцентного охвата заключенных политико-воспитательной работой. Дутую цифру в отчетах не вставишь — сам Свешников может проверить в любой момент или другой отрядный донесет. Вот и приходится изворачиваться.

...Без десяти семь. Библиотеку в четверг в это время закрывают, всех выгоняют из читального зала. Но на волейбольной площадке еще летает мяч; доминошники стучат по столу костяшками; зэки бродят кто где. Открывается дверь штаба, и оттуда в зону входит толпа отрядных — человек тридцать. Все идут «ловить» своих зэков. Надзиратели бегают по зоне и выгоняют зэков из укромных уголков.

Несколько отрядных подходят к волейбольной площадке:

— Прекращай игру, на политзанятия!

Никто не отвечает. Игра продолжается.

Зэки как оглохли. Тогда кто-нибудь из отрядных или надзирателей побегает к игроку, у которого мяч:

— Отдай!

Зэк молча перекидывает мяч другому. Отрядный — к тому, но мяч уже у третьего. И так до тех пор. пока мяч не окажется у наиболее робкого. Сам-то он не понесет мяч офицеру, допускает, чтобы тот отобрал, — что же делать? Надзиратели тут же волокут провинившихся в карцер — не за то, что отказываются от политзанятий, а вполне законно, за неподчинение начальству.

То же самое происходит у доминошников:

— Прекращайте игру! Отдайте домино!

Кончается тем же: офицер сгребает со стола костяшки, а несколько человек отправляются в карцер.

Наконец согнали всех, кого могли; некоторые пришли сами. Начинаются занятия. Офицер бубнит себе под нос по конспекту, зэки занимаются кто чем: дописывают письма, читают книжки. Офицер старается этого не замечать. Только уж если открыто читают или пишут в первом ряду, предлагает пересесть подальше, чтобы Свешников не увидел, если войдет. Иногда это ответственное дело — чтение конспекта или статьи из журнала «Коммунист» — поручают «активным» зэкам, чтобы была видимость участия зэков в политзанятиях. Чаще всего эти «активисты» — полуграмотные старики, читают еле-еле, так что коллективная работа не получается. И уж совсем редко отрядный решается задать кому-нибудь вопрос по теме предыдущего занятия. Кого спросить? Этого нельзя — неграмотный, двух слов не свяжет; того тем более нельзя — чересчур грамотный.

Зато нередко сами зэки, согнанные на занятия насильно, засыпают своего преподавателя вопросами — главным образом о материальном положении:

— Вот вы говорите, что надо жить честно, не обманывая государство, — а как можно прожить семье на 50-70 рублей? А у вас какая зарплата? Вы только что рассказывали о росте благосостояния трудящихся — как вы связываете понятие «рост благосостояния» с ростом цен на продукты, с повышением норм на производстве?

Этот последний вопрос задал при мне мой товарищ Коля Юсупов. Наш отрядный замялся, потом ответил:

— Вы, Юсупов, неправильно понимаете нашу политику. Вы нарочно заостряете внимание на отдельных недостатках, к тому же временных.

Все зэки засмеялись, а я спросил:

— Как долго длится, каким сроком исчисляется это «временно»? Мы же знаем, например, что декрет о цензуре был принят только «временно» и даже на «короткое время». Это было около пятидесяти лет назад, а цензура существует и сейчас...

— Вам, Марченко, мало дали, надо бы добавить. А остальным кое-кому, я вижу, в карцер захотелось?

— Убедил, убедил, — загалдели зэки.

Занятия кончились, слушатели расходятся, переминая косточки «воспитателям», «пропагандистам». Смеются над ними все, даже стукачи.

НАЧАЛЬНИКИ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

Власть исходит от народа...
Но куда она заходит?
И куда она приводит?
До чего она доводит?

Бертольт Брехт. Зонг

Как только разносится слух, что в лагерь едет Громов, поднимается страшный переполох. Шутка ли, сам Громов! Начальник лагеря бежит сам, гоняет офицеров-отрядных, отрядные — надзирателей, а все вместе, конечно, — зэков. Генеральная уборка, повальный обыск в бараках, даешь перевыполнение плана! Ты от работы отлыниваешь? Карцер! Одет не по форме, волосы отросли на два сантиметра? Остричь! Лишить ларька! Громова боятся, как огня, — и вольнонаемные, и офицеры, и сам начальник лагеря, и просто жители. По всем поселкам от Потьмы до Баранова, по всем зонам — мужским и женским, бытовым и политическим, на спецу, на общем, на строгом — все трепещут при одном имени Громова. Он все может, он здесь удельный князь.

Вот он выходит из штаба в зону на седьмом. Его почтительно сопровождает свита — из управления и местное начальство. Офицеры косятся то встревоженно-льстиво — на Громова, то грозно — на зэков: не было бы какого-нибудь нарушения или беспорядка. И все-таки недоглядели. Около самого штаба к Громову подошел, опираясь на палку, старик-зэк и стал что-то говорить. То ли жаловался, то ли о чем-то просил — я не слышал. Слышал только, как Громов рывкнул начальнику лагеря:

— Куда это годится?! — и не глядя двинулся дальше. В свите произошло замешательство, один из отрядных подошел к деду, стал его громко уговаривать:

— Что же вы раньше не сказали? Зайдите завтра ко мне в кабинет, мы все уладим.

Дед, благодаря начальство, заковылял к бараку. В это время Громов обернулся и загремел:

— Куда? Я сказал — в карцер его, в карцер! Куда же это годится! Распустили заключенных, пройти не дают! Почему не разъяснили, что должны записаться на прием ко мне и обращаться только в положенное время?

Пока он так отчитывал наше начальство, два надзирателя уже подбежали к старику, выхватили у него палку, отбросили прочь и потащили беднягу в карцер, — а он было обрадовался, что Громов за него заступился.

В другой раз Громов приехал к нам на семерку из-за того, что горел план. Начальству в штабе, наверное, был разнос, потому что Агеев выскочил за Громовым в зону красный, как рак. Ему было велено отправить на завод всех инвалидов — нетрудоспособных, которые кое-как работали в жилой зоне — дневалили, убирали территорию и тому подобное. Для начала всеобщий инвалидный аврал — согнать их всех в один барак и провести собрание. Громов на ходу отдает распоряжения, а Агеев бежит рядом, ошалев от страха, и спрашивает:

— Товарищ полковник, а с лежачими как быть? Не сти на собрание или оставить?

— Выполняйте приказание, майор!

И так было везде, где бы он ни появлялся. Начальство бегало с вытаращенными глазами, обалдев от страха, наказания сыпались на нас, бедных зэков, налево и направо. Когда Громов приезжал к нам в больницу на восьмой, сам майор Петрушевский, начальник САНУ, пачками сажавший санитаров в карцер — за пыль на стекле, за паутину в углу, за то, что из печки угли напали, — сам Петрушевский бежал за Громовым сбоку и заглядывал ему в глаза — доволен ли, не гневается ли? Нечего и говорить, что санитаров за день-два до появления Громова переводили из наших корпусов в общий барак — не дай Бог, узнает, что санитары-зэки живут по двое-трое в отдельных комнатках: это что за роскошь, может, им еще отдельные квартиры предоставить, жен выписать?

Однажды Громов приехал в больницу с комиссией из Москвы — заместителем министра МООП. Комиссия про-

ходила по палатам, врачи отвечали на вопросы, начальница больницы, как обычно при Громе, заискивающе улыбаясь, кивала головой, поддакивала. На эзков — больных и санитаров — никто не смотрел, никто их ни о чем не спрашивал. Но в одной палате больные сами подняли голос, пожаловались, что холодно. Громов не удостоил их ответом. А приезжий полковник, посмотрев на градусник на стене — в палате было 15 градусов, — подошел к одной койке:

— Вы кто такой, откуда, фамилия, за что осужден?

Больной ответил. Это был язвенник, его только недавно привезли из лагеря в тяжелом состоянии. Фамилия его Сикк, он из Прибалтики — осудили за национальное движение. Услышав это все, московский полковник раскричался на весь корпус:

— И вы еще жалуетесь, холодно вам! Да таких, как вы, на морозе держать, а не в больнице! Все вы там, в вашей Прибалтике, враги и бандиты! Воевали против нас с оружием в руках, а теперь требуете, чтобы с вами нянчились!

Он еще долго орал на больного. Громов все это время стоял совершенно спокойно, не вмешиваясь, не спеша поддерживать начальство. Он вообще держался независимо, ни перед кем не заискивал.

Зато в это же их посещение он нашел свой повод придрататься к другому заключенному, фельдшеру Рыскову. Рысков — неплохой парень, московский журналист и поэт, физически не очень крепкий, и эски-приятели помогли ему устроиться на легкую работу в больницу фельдшером (у него было медицинское образование). Громову показалось, что Рысков держится с непопозволенным эзку достоинством, на вопросы отвечает безо всякого подобострастия. Он вызвал фельдшера в кабинет, допросил, кто он и что, почему находится в больнице. Рысков отвечал, что он здесь работает.

— Почему так вызывающе разговариваете с начальством?

— Я разговариваю не вызывающе, в просто так же, как с каждым.

Придраться было не к чему, в карцер посадить не за что. И все-таки Рыскова со следующим этапом отправили в зону, на общие работы. Тут уже не спросишь, за что. Начальство распорядилось, ему виднее.

Громов служит в системе лагерей давно, еще со сталинских времен. Он был тогда начальником лагеря, строив-

шего в Омске нефтеперерабатывающий завод. В Мордовии и сейчас еще встречаются зэки из этого лагеря. Я сидел вместе с одним зэком, который был там прорабом. Слушать его рассказы — страшно становится, — известно, что были за лагеря в сталинское время в пятидесятые годы! А теперь Громов командует не одним лагерем, а целым управлением, под его началом десятки лагерей.

Порядки несколько переменялись, да сам-то он остался тем же, таким же самодуром, как был. Разве что пошел на повышение, дослужился до полковника. Пожалуй, на пенсию выйдет генералом.

Вообще-то после 1953 года, когда расстреляли Берия, многие работники лагерей со своих мест полетели. Кто помельче, тех снимали с работы или понизили в чине, разжаловали. Кто покрупнее и в возрасте, тем предложили уйти на пенсию, и они со своими крупными пенсиями уехали куда-нибудь в Крым на заслуженный отдых, возделывать виноградники, отнятые у крымских татар. Но даже уволенные и разжалованные бывшие эмвэдэшники пристроились около оставшихся лагерей на тепленьких местечках с солидным окладом. Стали начальниками производства, начальниками снабжения, комендантами, даже простыми мастерами, лишь бы в зоне, где деньги платят не за работу, а за то, чтобы ты жал соки из зэков. Они пристроились кто где и ждали своего часа. Верили, что они с их опытом еще пригодятся, что их еще позовут. И дождались. Они пристроились кто где и ждали своего часа. Верили, что они с их опытом еще пригодятся, что их еще позовут. И дождались. Они сами рассказывают, что «сверху» вышел то ли совет им, то ли указание писать жалобы, просьбы, чтобы их восстановили на службе, восстановили бы их доброе имя. Конечно, каждый писал, что служил верно и честно, что его оклеветали, поступили с ним несправедливо, что он никогда не превышал своей власти, а действовал только по распоряжению начальства и обещает так же поступать и впредь. Потихоньку их стали восстанавливать, возвращать на любимую работу. Они достали свои еще не успевшие выцвести мундиры — и снова сделались начальниками лагерей, отрядов, сотрудниками управлений.

Из сталинских кадров у нас были начальник семерки Коломийцев и его заместитель Агеев; после Алешина и Любаева нашим отрядным одно время был какой-то

подполковник, разжалованный, а потом восстановленный. О заместителе начальника режима на семерке Шведе мне рассказывал один зэк, который сидел в Мордовии с 1949 года, что этот Швед принимал участие в массовых расстрелах зэков на разводе. В те годы, бывало, выводили заключенных бендеровцев и «самостийников» в лес, якобы заготавливать дрова, и там расстреливали всю колонну под предлогом «массового организованного побега». Так уж и знали — если ведут на заготовку дров, то оттуда не вернешься. И зэки на разводе отказывались идти на работу в лес. Швед, тогда майор, подходил к отказчикам и стрелял в упор. Зэк, рассказавший мне об этом, сам это видел. Шведа уволили и разжаловали, но потом вернули на работу в лагерь, правда, не восстановив в звании.

При мне он был всего только старшиной, хотя ему было уже под пятьдесят. Это очень крепкий мужичок-украинец, спокойный, медлительный, с певучим украинским говором (мы всегда донимали наших украинцев: вот, мол... вы жалуетесь, что над вами здесь, в Мордовии, издевается «старший брат» — русский; а вот вам ваш родной земляк, гнет и ваших и наших в бараний рог). Швед был небольшого роста, коренастый, круглолицый, с бычьей шеей. И физиономия и шея у него всегда красные — зэки говорят: нашей кровушки напился, как клоп. Поскольку он заместитель начальника по режиму, от него зависит очень многое. И он делает все, что от него зависит, чтобы отравить нашу жизнь.

Мы, аварийщики, выходили в рабочую зону по три-четыре раза в сутки, а то и чаще. Как подадут вагоны под выгрузку или погрузку, так и иди, день ли, ночь ли, в любое время, в любую погоду. И вот Швед придумал для себя удовольствие: вагоны еще не поданы, а нас уже вызывают на вахту. Придем, ждем надзирателя, а его нет — пошел в рабочую зону вылавливать «отлынивающих», кто спит по углам в рабочее время. Ждем, нервничаем, проходит час или больше, пока попадем на работу. Отработали свое, разгрузили вагоны, идем «домой» — и опять то же самое, ждем больше часа, пусть дождь, пусть снег, стоим у ворот вахты. А ведь нас через два-три часа могут снова вызвать! Швед выйдет с вахты, любитесь. Мы к нему с жалобой, а он:

— А что Швед может сделать? Не разорву же я надзирателя на две части, чтобы одна половина лодырей ловила, а другая на вахте дежурила. У нас надзирателей не хватает, слишком дорого вы обходитесь государству.

Как-то вечером меня вызвали в дежурку к Шведу: во время обыска в бараче у меня нашли под подушкой гражданскую фуражку. Значит, предстоит объяснение и, скорее всего, наказание.

Постучавшись, вхожу в кабинет. Там сидит Швед, играет с надзирателем в шашки; еще двое надзирателей сидели просто так. Посмотрели на меня и продолжают играть. Я стою. Минуты через три Швед отрывается от доски: «Отряд?» Я ответил. Опять молчание, потом после очередного хода: «Бригада?» Опять пауза, ход, вопрос: «Фамилия?» Я ответил на вопросы, стою, жду. Наконец игра кончилась. Швед выиграл и сиял от удовольствия. Он аккуратно сложил шашки в коробку и, прежде чем заняться мною, сказал надзирателю: «Сходи в дом свиданий, пусть заканчивают, пора уже. Да скажи Тарасовой, что продуктов не пропускала ни грамма, ни-ни. А зэка веди сюда, я его обыщу». Швед обычно сам обыскивал зэков после свидания — то ли не доверяя надзирателю, то ли любил это дело. Потом он обернулся ко мне:

— Знаешь, зачем тебя вызвали? Догадываешься?

— Что мне гадать, сами скажите.

— Почему держишь фуражку вольного образца? Что задумал?

Я не успел ответить — ввели того зэка со свидания, старика лет шестидесяти. Швед поднялся, направился к нему, балагурия:

— Шо дед, подержал старуху за титьки?

Старик сначала было замялся, потом все-таки вступил в разговор:

— Да уже все, старый стал.

— Позвал бы меня, раз сам не можешь, я бы сходил, уважил бы.

— Да у меня и старуха уже старая...

— Ничего, что старая, я не побрезговал бы. Тебе сколько лет?

— Осталось одиннадцать.

Швед захохотал.

— Ты что, надеешься еще одиннадцать лет прожить? Да я тебя, дурак, не о сроке — от роду сколько тебе лет, спрашиваю. Ладно, давай обыщу.

Швед снял с головы деда «кубинку», ощупал ее всю, каждый шов, и отложил в сторону. Дед тем временем снял куртку. Швед, прощупывая куртку, спросил по-приятельски:

— Скажи сразу, сколько грошей несешь со свидания?

— Да какие гроши, ни рубля, раз в год приедет старуха, так и куска сахара нельзя передать.

Швед так же добродушно ответил:

— А я тут причем? Закон есть закон. Раз закон не позволяет, чтобы у ээка был сахар, сало и другие продукты, значит, не положено. Закон надо соблюдать. Завтра Шведу скажут, что ээкам положены передачи и посылки, — Швед пропустит хоть вагон.

Меня просто с души воротило от его тона, от его мерзких шуточек. «Закон есть закон... Шведу скажут не гонять ээков на работу — Швед не погонит» — я так живо представил себе, как он приговаривает эти свои словечки, прохаживаясь с пистолетом на разводе, что у меня сжались кулаки.

Швед уже ощупал старую нательную рубаху и велел деду разуться. Старик, кряхтя, снял кирзовые сапоги, подал один начальнику. Тот пошарил в сапоге, ничего там не нашел, вытащил стельку, осмотрел ее, прощупал голенища — в сапоге ничего не было. Так же спокойно он принялся за второй сапог; когда он вытащил из него стельку, лицо его озарилось счастливой улыбкой: к стельке с обратной стороны была подклеена красная бумажка — десятирублевка. Швед начал стыдить старика:

— А говорил, грошей не несешь! Старый человек, верующий, наверное, — как же тебе не стыдно обманывать?

Старик молчал, его поймали с поличным, тут ничего не скажешь.

Швед аккуратно отклеил бумажку, разгладил ее, положил на стол и продолжал обыск — прощупал снятые дедом брюки, велел спустить подштанники, повернуться задом, потом передом, потом присесть (дед при этом чуть не упал), потом прощупал подштанники. Больше нигде ничего не было спрятано. Но Швед был доволен: он же знал, что ээк не уйдет пустым со свидания, все ээки такие, все жулики и обманщики! Он с удовольствием составил акт, подписал его, дал подписать надзирателям, потом приказал надзирателю отдать десятку жене старика под расписку. Старик в это время уже одевался, бурча под нос, что вот, не разрешают ни продуктов, ни денег, хоть с голоду подыхай. Швед уже потерял к нему всякий интерес и, бросив на ходу: «Мы с тобой еще поговорим», — занялся мной. Видно, ему уже надоело «работать», и он коротко сказал мне, что составит

на меня рапорт и передаст начальнику, пусть начальник сам со мной разбирается и наказывает.

— Можете идти.

Мы вышли из дежурки вместе — я и старик со свидания. Когда мы отошли подальше от вахты, я его пожурил: что ж это он десятку не сумел спрятать. Дед хитро ухмыльнулся:

— Не Швед меня, а я его обдурил.

И он объяснил мне, в чем хитрость. У него на свидании была старуха с зятем, а зять тертый мужик, сам отсидел на Колыме десять лет, да и старуха всего пять лет, как из лагеря, и на свидании они не первый раз. Зять еще дома заделал в каблук своего сапога 25 рублей, здесь надел сапоги старика.

— А на мне зятевы!

Десятку же подложили под стельку нарочно, а то Швед заподозрил бы все равно, что деньги где-то припрятаны.

— Теперь и он доволен, и мне на полгода хватит добавлять к законной пятерке, — говорил дед. — За столько лет, да не научиться обманывать надзирателей?!

Начальником сбыта готовой продукции на семерке был Чекунов. Говорят, раньше он служил в МВД, а потом был разжалован. Мы-то знали его уже по производству. Нам, аварийщикам, именно с ним приходилось иметь дело: он командовал погрузкой, закрывал нам наряды. Он да еще начальник биржи при разгрузке — наше непосредственное начальство на производстве, от них зависели и работа и заработок грузчиков.

Этот самый Чекунов не то что лишнего ничего в наряде не пропустит, а и за выполненную работу не заплатит. Мы, например, переталкивали и груженые и пустые вагоны вручную — работа тяжелая, а платить нам за нее никогда не платили. Чекунов нам еще и мораль читал:

— Государственные денежки даром получать хотите? Народное добро расхищать, государство разворовывать? Я, как коммунист, стою на страже народного достоинства!

И вдруг пронесся слух, что Чекунова поймали на хищениях. Чекунова будут судить. Он, оказываясь, хорошую мебель списывал как бракованную, сам обставился, всех начальников Дубровлага обеспечил мебелью по дешевке, а то и совсем даром, всех представителей местной власти. Он вообще проделывал какие-то махинации с браком: возвращают мебель, побившуюся в дороге, он ее списывает как брак, а потом зэки ее ремонтируют и снова отправляют как новую. Таким, а может, и еще ка-

ким другим способом он наживался, ну, словом, оказался натуральным жуликом. Что-то он там не поделил с парторгом, от на него донес — и вот нашего Чекунова будут судить. Мы радовались, но рано. Поначалу до суда дело не дошло, а только объявили ему строгий выговор по партийной линии. А парторгу — благодарность за бдительность. И снова Чекунов ходит в начальниках, снова на нас покрикивает:

— На народные денежки рты разинули?

А парторга погода куда-то убрали, перевели.

Но парторг, видимо, не успокоился, написал в Москву, теперь уже не только на Чекунова, а и на других тоже: прикрывают, мол, преступление. Хочешь не хочешь, пришлось местным властям заняться этим всерьез. Хоть Чекунов и свой в доску, но с Москвой лучше не связываться. Его сняли с работы и отдали под суд. Но не упрятали в тюрьму до суда, как делали с нами всеми, а оставили на свободе, пока шло следствие. Он заметал следы, договаривался со свидетелями, распихивал имущество знакомым. И в лагерь заходил, в рабочую зону, с нами, аварийцами, разговаривал, но уже совсем другим тоном, вежливо, даже ласково, сам набивался на разговор: видно, чего-то боялся.

Потом состоялся суд. Все вольные с производства и из конторы бегали слушать, даже работу побросали. От них мы потом и узнали: Чекунову дали три года ослабленного режима, отбывать будет здесь же, в Мордовии. Значит, попадет к какому-нибудь начальнику, которого сам снабжал даровой мебелью, ходить будет без конвоя, посылки каждый месяц. Сыт, пьян и нос в табаке! И будет у него, Чекунова, в лагере не жизнь, а малина.

Но чаще до суда не доходит, дело стараются замять тихо-мирно, сор из избы не выносить. Один из начальников лагеря отгрохал себе домину — материал государственный, рабочая сила даровая: зэки. Обставился мебелью со своего завода, жил, как бог. Но ему все было мало, жадность обуяла, и он погорел на какой-то махинации. Его не судили, а предложили уйти на пенсию. Он продал дом, погрузил все добро в контейнеры и уехал куда-то на юг, — жаль же кидать на слом. Мы, зэки, узнали об этом от вольных, да и надзиратели только о том и говорили: вот, мол, гад, сам наживался не от трудов праведных, а нам так и дров с завода не давал.

Зэки долго после этого кололи офицерам глаза: что же это вы нас учите жить честным трудом, а ваш начальник сам ворюга, да еще безнаказанно вывернулся?!

Офицеры сначала убеждали нас, что это все неправда, а потом махнули рукой — все равно ведь не скроешь! — и только отбояривались тем, что «в семье не без урода».

Никто из офицеров и служащих не может удержаться от того, чтобы чем-нибудь задаром не пожить. Вынести, вывезти какой-нибудь пустяк из зоны — это и за воровство-то не считается, ведь не чье-нибудь, а государственное, государство не обеднеет (тут они как-то забывают свои политзанятия и беседы о морали). Тем более никто не стесняется «попросить» ээка поработать на себя, хоть в рабочее время, хоть в нерабочее — каждому ясно, что ээк рад услужить начальству.

Наш отрядный лейтенант Алешин «попросил» своих ээков нагрузить ему машину дров. Правда, это значит, что надо не только нагрузить, а раньше еще напилить и наколоть. Но кто откажется? Ведь от этого самого Алешина зависит, получишь ли ты ларек, посылку, свидание, — словом, все твое лагерное существование. Напилили, накололи, погрузили при надзирателе (он следит, когда грузят машины, чтобы кого-нибудь под дрова не спрятали; да еще на вахте перетькают всю машину железным штырем и осмотрят со всех сторон)... Машина подъехала к вахте. А тут нелегкая несет коменданта зоны:

— Откуда дровишки? Кому? Где квитанция?

Надзиратель, который сидит сверху, на дровах, подает ему квитанцию, что за дрова уплачено. Комендант смотрит то на бумажку, то на машину:

— Ах, ... вашу мать, выписал один куб, а нагрузил целых четыре! Разворачивай машину, выгружай дрова! Или пусть Алешин в бухгалтерии доплачивает.

Подошел Алешин, и началась перепалка. Как раз был развод. У вахты столпились ээки и, слушая, покатывались со смеху. Разговор шел такой:

— Ты, ... в рот, обнаглел на ...! Выписал куб, а здесь четыре.

— А тебе-то не один ...? Твое, что ли?

— Ни ... не знаю, заворачивай к ... матери или выписывай еще!

— Подожди, какого ... ты кричишь?

— На ... мне твое «подожди», заворачивай!

И такого разговора минут пятнадцать под общее веселье. Не знаю, сколько бы они еще переругивались, но тут к вахте вышел начальник лагеря — в это время уже Коломийцева, ушедшего на пенсию, сменил Дворецков. Оба кинулись к нему — комендант с жалобой, Алешин с прось-

бой, чтобы разрешил вывезти дрова. Начальник замылся: Алешина обижать не хочется, а разрешить на глазах у зэков неудобно. Он не сказал ни да, ни нет, отговорился, что занят, разбирайтесь, мол, сами, и ушел. Алешин плюнул, махнул рукой и велел отгрузить с машины три лишних куба. Он потом свое возьмет, не платить же зазря денежки из своего кармана.

А несколько дней спустя он, как ни в чем не бывало, читал нам очередную лекцию, как всегда сводя ее к поучениям о чести и совести советского человека.

С другим отрядным была стычка у меня лично — все из-за тех же дров. Дело было осенью 1965 года, незадолго до моей отправки в больницу на третий. Я тогда работал в литейке в ночную смену. Пришел утром с работы, выпил свою баланду и лег спать. Я тогда здорово выматывался на работе, болели уши, голова, от боли я иногда не мог уснуть. А тут только уснул — меня будит дневальный:

— Иди к отрядному, вызывает.

Как мне не хотелось, как трудно было вставать! Одеваюсь, а сам прикидываю: зачем бы это? За что? Вроде ничем не провинился, чтобы в карцер. Думал и решил, что, наверное, пришел ответ на одну из моих жалоб насчет болезни. Стучусь, вхожу в кабинет, начальник мне что-то говорит, я не слышу — в ушах сплошной гул. Дневальный отрядному подсказывает, чтобы громче говорил. Тот повторяет громче:

— Пойдете с дневальным на завод. Можете идти.

Я, мало что соображая спросонь, поплелся к вахте. Там уже ждали несколько зэков из нашего отряда, тоже с ночной. Ну, повели нас, как обычно, через ворота: только в рабочей зоне и очухался, спрашиваю:

— А куда нас ведут, зачем?

— Зачем, зачем! Дрова грузить отрядному. Ах, я дурак! Поплелся, как осел, холуйствовать на отрядного! Я до того разозлился и на себя, и на дневального, и на отрядного, и на весь свет, что повернулся и пошел обратно. Да не тут-то было! Кто же меня одного из рабочей зоны выпустит? Придется ждать на заводе, пока нагрузят дрова. Значит, ко всему еще и без обеда останусь: я же в ночной и мой обед сегодня в жилой зоне. Ничего не поделаешь. Нашел я укромное местечко и завалился спать — не стану же я, в самом деле, ишачить на своего тюремщика. Задремал — опять будят, надзиратель грубо толкает под бок:

— А-а, отлыниваешь?! Пошли в карцер! — Я хотел было ему объяснить, что я не на работе, а отработал свое, отдыхаю. Но он и не слушает, тащит к вахте. Спротивляться бесполезно. Ну, думаю, сейчас на вахте все выяснится. А там, как назло, нет того надзирателя, который обыскивал и выводил нас в рабочую зону. Я снова пытаюсь объяснить, что только с работы и мне в ночь опять на работу — где там! Провели через вахту и прямо в карцер. Шуметь, требовать, добиваться отрядного — точно зарабатываешь десять-пятнадцать суток за дебош и сопротивление. Я плюнул и лег на голые нары. В обед выпил штрафную баланду без хлеба. А часа в четыре меня выпустили: сверились в нарядной и убедились, что я работаю в ночную смену. Выпуская, только сказали:

— За каким же хреном ты спал в рабочей зоне?

После ужина меня снова вызвал отрядный:

— Почему вы не работали, ушли от остальных?

Я был после всего зол, как черт, и не стал сдерживаться. Я сказал, что хоть я и зэк, а не человек, но обслуживать своих тюремщиков не хочу и не буду. И в приговоре у меня это не обозначено — батрачить на отрядного.

— Но ведь вас не заставляли силой, я вас только попросил помочь. Не хотели, так не шли бы. А вот другие не отказывались, пошли добровольно.

— Да, конечно, пойдешь добровольно — ведь вы иначе найдете за что лишиться посылки. Посылку зэк должен заслужить — не тем ли, что напилит вам дров?

Отрядный сказал, что ему сейчас некогда спорить со мной, он договорит потом, а сейчас я могу идти и собираться на работу. Я вышел, убежденный, что в этом месяце ларька не получу.

Так оно и было.

ХРУЩА СКИНУЛИ

Осенью 1964 года идем мы с работы на обед и видим такую сцену: трое надзирателей волокут зэка в карцер, он упирается и вопит на весь лагерь. Многие в зоне знали этого зэка, он был бывший уголовник, парень шумный, даже буйный. Тащат его через весь лагерь, а встречные спрашивают:

— За что тебя?

— Да, б... за Хрущева!..

Очень скоро мы узнали, в чем дело. Теперь эта история известна всем зэкам в Мордовии, так же как

история с ухом Коли Щербакова. Оказывается, Хрущева скинули, а мы-то в лагере этого еще не знали. Лагерная администрация спешно приступила к устранению культа Хрущева. Рано утром, задолго до подъема, подняли с койки лагерного художника-зэка и привели в штаб. Здесь уже собралось начальство, и не только из оперчасти, а из КГБ и из ПВЧ. Художнику приказали спешно стереть со всех плакатов имя Хрущева — пока еще все зэки в бараках. Но одному с этой работой не справиться, ведь по всему лагерю расклеены и развешены плакаты и лозунги и на каждом «Н.С. Хрущев». Вызвали еще несколько «активистов» — стукачей, членов СВП и Совета коллектива. И эта зондеркоманда принялась за дело. До подъема все равно не поспеть, поэтому спешили убрать бывшего главу правительства хотя бы с самых видных мест: в штабе, на штабе, вокруг штаба. На летней сцене над экраном висело длиннущее красное полотнище: «В условиях социализма каждый выбившийся из трудовой колеи может вернуться к полезной деятельности». И крупнее всего подпись: «Н.С. ХРУЩЕВ». Это полотнище было высоко, без лестницы не добратся, а какая же лестница в зоне, разве можно! Пока добывали лестницу, устанавливали — уже подъем, около сцены столпились зэки, глазуют. А когда художник начал соскабливать имя Хрущева, все догадались, в чем дело.

Что тут началось! Свист, улюлюканье, матюги! Многие сидят за Хрущева, а уголовники так почти все. Никто из начальства не посмел показаться зэкам на глаза в это утро, отсиживались в штабе.

Но вот пришло время открывать библиотеку, и тут спохватились, что там все стены заляпаны вырезками из журналов и газет, фотографиями и плакатами. Срочно надо что-то предпринять. И вот в штаб вызывают несколько подонков, хорошо известных начальству, таких, про которых все знали, что их можно если не заставить, так купить.

Приглашают первого в кабинет к Свешникову — начальнику ПВЧ. (Зэк этот сам потом обо всем рассказывал во всех подробностях.) Свешников достает из ящика стола несколько пачек индийского чая и выкладывает их перед зэком:

— Иди в читальный зал, ликвидируй любым способом все фотографии Хрущева — и этот чай твой.

Перед эком-уголовником — чай. В лагере это целое состояние, за чай можно купить не одного. И Свешников, и присутствующие здесь офицеры из КГБ и оперчасти знают это, они уверены в успехе. Они смотрят на зэка, зэк смотрит на чай. Конечно, он прикидывает, сколько здесь чаю, — сейчас согласится. Или еще поторгует, тогда можно и прибавить. Зэк переводит взгляд с чая на офицеров, снова на чай. Наконец говорит деловым тоном:

— За чай все можно. Но... знаешь, начальник, — это Свешникову, — у тебя такая задница, любая баба позавидует. Откормился за наш счет. Дай я тебя разок... и за это принесу вдвое больше чая и в придачу все фотографии со всей зоны этого вашего верного ленинца.

Конечно, его тут же поволокли в карцер. Тащат, а он орет на всю зону всем встречным:

— Вот, б..., сами целовали своего Хрущева в ... и в задницу, а мы теперь чтоб его рожи сдирали! Сами, педерасты, сдирайте! Мне за вашего Хруща, педерасты, семь лет добавили, политическим стал! Вы меня теперь освободайте! Так нет, опять за него в карцер сажаете!

Мы, аварийщики, работали с ночи, утром в зоне не были и еще ничего не знали. Так мы и услышали известие о снятии Хрущева, вперемежку с матом, из уст зэка-уголовника. Он и в карцере кричал о том же, и его слышно было по всему лагерю.

Но, конечно, нашлись такие, которые продались за чай — «за чай все можно». Явились в читальный зал и давай сдирать плакаты и вырезки на глазах у всех, под общий хохот. Эта важная операция скоро превратилась в игру. Подходит зэк к фотографии, слюнит большой палец, нажим, поворот, — и уже на снимке Хрущев без головы, а его голова на пальце у зэка. Потом он подкарауливает кого-нибудь из знакомых, раз в лоб — и у того на лбу красуется хрущевская физиономия. Под шумок стали сдирать фотографии и других членов ЦК и правительства, переставлять головы: на фигуру Брежнева физиономию Хрущева и наоборот. Фотографии Подгорного ликвидировали почти все, а потом объяснили с невинным видом:

— А я не знал! До чего же они похожи!

Через день-два читальный зал стали «оформлять» заново. Озорство приутихло само собой. Зато зэки, осужденные за Хрущева, начали требовать освобождения. На одиннадцатом, говорят, они собрали вещи и двинулись к вахте:

— Нас посадили за критику Хрущева, а мы оказались правы... Освобождайте!

Их, конечно, разогнали.

Чтобы как-то утихомирить заключенных, всех, кто сидел за Хрущева, стали по одному вызывать в КГБ. Им предлагали писать в Президиум Верховного Совета просьбы о помиловании: мол, теперь наверняка освободят по такой просьбе, надо только напомнить о себе. Расчет простой: пока напишут, отправят, пока придет какой-нибудь ответ, пройдет два-три месяца, а то и полгода. Тем временем волнение уляжется, да и ответ придет не всем сразу. Одни будут возмущаться отказом, другие еще ждать, надеясь на помилование.

Многие, кому предлагали писать, отказывались: «Какое помилование? Мы оказались правы — нас должны реабилитировать». Но большинство заключенных все-таки просили помилования — лишь бы освободиться, не все ли равно как. Кому охота сидеть в лагере?

Может, кого-нибудь и реабилитировали — я таких случаев не знаю и даже не слышал о них. Даже помилование пришло на седьмом всего несколькими из сотен; только тем, кому до конца срока оставалось не больше года и у кого были хорошие характеристики от администрации.

За несколько месяцев до конца срока помиловали Саньку Климова — моего соседа на свидании. После свидания я ближе с ним познакомился и знал, что он осужден был по 70-й статье «за критику Хрущева». Климов был на воле строительным рабочим. Как-то он и его товарищи взяли после получки пару бутылок, выпили, зашли в столовую. Это было как раз тогда, когда повысили цены на масло и мясо *, — стало быть, вздорожали и обеды. Вели они себя шумно, громко ругали Хрущева: вот сначала водочка подорожала, а теперь масло и мясо; как Америку перегоним — и хлебушек станет дороже. Словом, обычный в рабочей компании разговор. Санька, наверное, высказывался резче и громче других. Им просто не повезло — поблизости оказался какой-то кагэбист или партийный работник. Саньку взяли здесь же, в столовой, остальных потянули как свидетелей.

Теперь он написал просьбу о помиловании и все-таки освободился раньше срока. А парень из нашей аварийной бригады, Потапов, сидит до сих пор, хотя тоже,

* 1 июня 1962 г. (Новочеркасские события).

как Саня, попал за Хрущева. Саня Потапов был активным комсомольцем, убежденным ленинцем. Он служил во флоте, был комсоргом части. После демобилизации стал секретарем горкома комсомола в Липецке. Женился на такой же убежденной активной комсомолке, она тоже была из секретарей горкома комсомола. Образовалась образцовая семья, настоящая комсомольская ячейка — два секретаря. Народился ребенок, тоже будущий комсомолец. Но беда была в том, что Александр был парень честный и думающий. Началось с того, что он, общаясь с рабочей молодежью, увидел: ребята вовсе не горят энтузиазмом, многие недовольны своей жизнью, заработками, над Хрущевым смеются чуть ли не в открытую. Он и сам задумался над положением в стране, над политикой в области хозяйствования — и решил, что эта политика неправильная, что методы руководства неправильные. (После 1964 года они были названы «волюнтаристскими»). Саня пытался говорить об этом у себя в горкоме — его одернули, как говорится, поставили на место. Но молчать о своих взглядах он уже не мог и не хотел. И вот он занялся подпольной деятельностью в духе лучших образцов художественной литературы: стал писать листовки и распространять их по городу. Днем он работал в своем горкоме, читал лекции и доклады для молодежи, и в его выступлениях все было, «как надо», «как принято». А вечером, придя домой, садился за стол, брал бумагу и ручку и писал очередную листовку: что Хрущев и хрущевский ЦК ведут антинародную политику, которая грозит развалом хозяйства страны; что авантюристическая внешняя политика ставит нас на грань катастрофы; что повышение цен на продукты и повышение норм выработки с двух концов урезают реальную заработную плату рабочих. Эти написанные от руки листовки он расклеивал ночью на видных местах, опускал их в почтовые ящики.

Однажды один из работников горкома партии, хорошо знавший Саньку, застал его в момент, когда тот опускал листовку в почтовый ящик. Он понял, что регулярно снабжает его листовками, но не побежал доносить в КГБ, а принялся убеждать Саньку, что его деятельность бесполезна: все равно, мол, наш народ не способен на активные действия, не способен вступить сам за себя.

«Ты, — говорил он Саньке, — будешь только напрасной жертвой». Он предупредил Саньку, что если тот будет продолжать кидать свои листовки в его почтовый ящик, то он сообщит об этом в КГБ. Мол, он сам все понимает луч-

ше Саньки, его нечего агитировать, но он не хочет садиться зря в тюрьму: «Мне моя жизнь и свобода дороже».

Санька продолжал писать и распространять свои листовки, но обходил квартиру этого знакомого. Так он работал два года. Все это время КГБ искал антихрущевскую организацию и не мог найти: они даже не предполагали, что все это делает один человек.

В 1963 году военнообязанных в Липецке стали вызывать в военкомат и предлагали либо написать автобиографию, либо заполнить анкету. Саня понял, что собирают образцы почерка, и попытался, как мог, изменить свой. То ли это не помогло, то ли кто-то его выдал, но только вскоре его арестовали. Судили его. — как почти всех нас, — закрытым судом; дали по 70-й статье четыре года и привезли в Мордовию.

Саня очень волновался за свою семью. К 1963 году у них родился второй ребенок. После его ареста жену, конечно, выгнали с работы в горкоме; она устроилась машинисткой; но разве машинистка на свой заработок может прокормить двоих детей? К тому же она стала часто болеть, подолгу лежала в больнице — у нее большое сердце. Так что если бы не ее и не его старики, неизвестно, как и жили бы.

Зная о тяжелом положении семьи Потапова, его еще до снятия Хрущева вызывали лагерные кагэбисты, предлагали написать статью, что, мол, он неправильно оценивал деятельность Хрущева, клеветал на него и раскаивается в этом. Тогда они сами могут ходатайствовать о его помиловании. Санька всякий раз отказывался это сделать. А когда Хрущева сняли, его снова начали вызывать, вместе с другими, — чтобы писал просьбу о помиловании. Он им говорит:

— Как же так, вот вы несколько месяцев назад предлагали мне написать, что я был не прав и раскаиваюсь, а теперь, оказывается, я был прав, правильно критиковал Хрущева, но все равно должен просить помилования — что же я должен писать в своей просьбе?

Ему отвечают:

— Да не все ли вам равно, лишь бы быть на свободе!

Он не стал ничего писать и теперь досиживает свой срок на одиннадцатом. Но даже те, кто просил помилования, освобождены далеко не все. Особенно такие, как Саня Потапов: им пришел отказ «ввиду того, что, выступая против Хрущева, они выступали против ЦК» или «ввиду особой опасности совершенного преступления».

СВИДАНИЕ

— Марченко, к тебе мать приехала, — сказал мне один парень из бригады, работавший за зоной. Возвращаясь с работы, они увидели у вахты пожилую женщину, жадно вглядывавшуюся в проходивших зэков. Как обычно, спросили — к кому. Она сказала, что к сыну, Марченко Анатолию, и еще успела сказать, что уже трое суток не может увидеть начальника отряда, чтобы он подписал разрешение на свидание.

Я не виделся с матерью много лет: уехал работать на стройки, потом сидел, потом побег, новый арест, Владимирская тюрьма... Лет шесть или семь прошло. Уехав из дома восемнадцатилетним мальчишкой, здоровым, сильным, я теперь стал зэком с солидным стажем, глухим, больным. А что стало с матерью за эти годы? Она писала мне письма — вернее, не сама писала, диктовала соседской девчонке, сама-то она неграмотная. Из ее писем я мало что мог узнать о ней, об отце. Знал только, что отец по-прежнему работает на железной дороге, что младший братишка вырос, скоро ему в армию. Знал, чувствовал, что мать меня любит и жалеет, горюет обо мне. У меня даже ноги ослабели, когда я понял, что вот-вот увижусь с ней.

Трудно передать, что чувствует зэк, зная, что мать здесь, а он не может ее увидеть, помочь ей. Ведь она приехала сюда за тысячи километров, из Сибири, готовилась, мучилась трое-четверо суток в дороге и вот уже три дня обивает пороги, ходит вокруг лагеря, надеясь увидеть меня, узнать обо мне хоть что-нибудь. Меня охватило бешенство, просто комом стало в горле. Я постарался подавить его, загнать внутрь, быть хотя бы внешне спокойным: ведь если дать себе волю, нагородить начальству всяких резкостей, то не видать свидания ни тебе, ни матери.

Пошел к заместителю начальника лагеря майору Агееву — впервые за все время решил обратиться с просьбой к начальству. Хотя я и старался быть спокойным, но у меня это плохо получалось. От волнения, от подавляемой злости, от необходимости о чем-то просить я несколько минут не мог ни слова выговорить (я и вообще-то заикаюсь, когда волнуюсь). Наконец я справился с собой. Попросил, чтобы матери либо дали разрешение на свидание, либо отказали — чтобы она хоть не нервничала, не томилась в неизвестности, не ждала напрасно.

Мне просто повезло: моего отрядного Любаева не было, он отдыхал двое суток после дежурства. Было на ко-

го свалить вину, к тому же между офицерами всегда свои счеты. Любаев ни за что не подписал бы мне свидание на трое суток, к тому же еще заставил бы мать пятнадцать дней ждать (в то время очереди на свидание были огромные, ждали по две недели и больше, бывало, что так и уезжали ни с чем — не у всех же есть время ждать, да платить за квартиру хозяйке, да тратиться полмесяца на еду). Агеев, видимо, знал, что у меня с Любаевым плохие отношения, и в пику ему разрешил свидание. Более того, он позволил нам с матерью, не дожидаясь очереди, устроиться на кухне — если на это даст согласие начальник режима. Я кинулся к начальнику режима. Тот сначала сказал:

— Разреши, а потом будешь жаловаться, что свидание в непригодном помещении.

Я стал просить его и обещал, что жаловаться не буду, раз сам об этом прошу. Действительно, у меня ведь свидание не с женой — могу быть с матерью и в неотгороженном помещении, а что кровать одна, так я буду на ночь уходить в зону. После того как написал заявление, что прошу разрешить мне свидание на кухне и что не буду предъявлять претензий по этому поводу, начальник режима согласился. Я снова пошел к Агееву — его подпись решающая. Он взял мое заявление:

— На сколько суток тебе подписать? Любаев-то тебя лучше знает, да его ... где-то черти носят, а я ни ... не знаю. Ну ладно, ... с тобой, на!

И он подал мне подписанное заявление. Трое суток! Вот так удача!

Через несколько часов меня вызвали на вахту, обыскали тщательнее, чем когда-либо (предстоит общение с волей!), и повели в конец коридора. Коридор перегорожен дверью с глазком, запирающейся со стороны вахты. А по ту сторону двери — комната для свиданий и при ней кухня. Меня впустили в эту дверь и заперли ее за мной. Я сделал шаг по коридору к кухне и остановился — не мог идти. Мне казалось, что я никогда не смогу двинуться с места. Наконец я заставил себя подойти к двери и постучать. Ответа из-за глухоты я все равно не услышал бы; помедлив несколько секунд, я открыл дверь и вошел.

Мать стояла у окна, заваленного продуктами, и, видно, давно уже ожидая меня, перекладывала их без толку с места на место. Я остановился у двери, она тоже не могла шагнуть ко мне навстречу. Не помню, как мы очутились рядом, как обнялись. Мать гладила меня и все приговаривала:

— Ничего, сыночек, ничего, успокойся, сыночек, успокойся.

Она, наверное, не столько меня успокаивала, сколько сама пыталась успокоиться, чтобы не разрыдаться тут же, на моих глазах. Некоторое время мы стояли обнявшись, и мать все гладила меня и приговаривала, чтобы я успокоился.

Потом раздался стук в дверь — не в ту, которая вела в коридор, а в ту, что вела из комнаты в кухню. К нам вошла очень полная женщина, молодая, лет тридцати-тридцати трех. Она поздоровалась со мной, а матери сказала:

— Вот видите, вот и встретились с сыном, а вы все беспокоились!

Вслед за ней вошел в кухню ее муж. Мы с ним были знакомы, знали друг друга в лицо, но, как это часто бывает в лагере, не знали ни имени, ни фамилии. Здесь я узнал, что его зовут Александр. Саня Климов. Впоследствии мы с ним сошлись ближе, и я узнал его историю. А пока мы немного поговорили, разговор с Климовым помог нам с мамой прийти в себя. Когда они ушли к себе в комнату, нам уже легче было разговаривать. Мать стала рассказывать мне все домашние новости — об отце, о Борисе (братишке), о соседях: кто уехал из Барабинска, кто женился, кто вышел замуж, у кого народились дети. Рассказывая, она все время старалась сунуть мне в рот что-нибудь из привезенной еды. Но я ничего не мог есть, так разволновала меня наша встреча. Мама говорила очень громко, чтобы я слышал, но ни разу не спросила насколько же я оглох, — видно, не хотела лишний раз огорчить меня этими расспросами. Я успокаивал ее, что чувствую себя хорошо, здоров, все в порядке. Только несколько часов спустя я разглядел, что она очень постарела, измучена, в свои пятьдесят лет выглядит совсем старушкой. Это из-за меня, это горе ее так рано состарило. Да и вся-то жизнь была несладкая: тяжелая работа: нас трое (один братишка умер маленьким, остались я и Борис), вечная нужда, нехватки...

На ночь я ушел спать в зону. А в шесть утра снова пришел; у нас, аварийщиков, работа не по сменам, а по вызову, и бригадир эти три дня не вызывал меня, дал возможность побыть с матерью. А Саньку климова выводили каждый день на работу, он приходил к жене вечером и оставался на ночь. Однажды он попытался вынести со свидания кусок сала — спрятал под пояс. Иногда это удается. Но ему не повезло: обыскивали тщательно, сало нашли и пригрозили лишить свидания.

Мы с Климовыми готовили сообща, вместе завтракали, обедали и ужинали. Жена Климова рассказывала о себе, о

ребенке, о том, как живет в Саратове. Мать рассказывали о жизни в Барабинске. Оказывается, везде одно и то же: еле еле сводят концы с концами, дотягивают от полочки до полочки. Моим-то старикам немного легче — свой огород, корова. А Санькиной жене совсем туго приходится, какая там зарплата в детском садике, а работает она на себя и на ребенка.

В последний день свидания открылась дверь, и к нам без стука вошел Любаев. Видно было, что он злится: не удалось помотать мне душу в связи со свиданием, без него под писали. Когда он вошел, я сидел за столом и ел варенье ложкой прямо из банки — мать знала, что я сластена, и навезла много всяких сладостей. Я и не подумал встать, когда явился Любаев, — еще чего, он три дня проманежил мать, явился к нам незванный. Он покосился на меня, поздоровался с матерью. Она предложила ему сесть. Отрядный стал на меня жаловаться, что я грубый, дерзкий, плохо веду себя, не хочу, видно, освободиться досрочно. Когда мать это услышала, у нее сделались круглые глаза: неужели я на самом деле не хочу выходить из лагеря?

— Да, — сказал Любаев, — это от него зависит, от его поведения.

— Да что же он, работать отказывается? — забеспокоилась мать. — Всегда он хорошо работал.

— Работать-то он работает... — начал Любаев, стал объяснять, какой я плохой, как поневоле приходится меня наказывать: лишать ларька, сажать в карцер на голодный паек. Тут я не выдержал — я ведь не хотел, чтобы мать беспокоилась, плакала, узнав, что мне голодно и трудно; я ей ни на что не жаловался. Я перебил Любаева и сказал, обращаясь к матери:

— А ты спроси у отрядного, что надо делать, чтобы быть на хорошем счету. Он тебе объяснит, что надо выслуживаться перед начальством, следить за своими товарищами, доносить на других заключенных.

— Ой, у нас и в роду-то никогда такого не было! — вырвалось у моей мамы.

А я обратился к Любаеву:

— Вот вы пришли к нам на свидание, хотя мы вас и не звали. Пришли для того, чтобы расстраивать старую женщину своими разговорами. Мы встретились всего на три дня, нам и без вас есть о чем поговорить; то время, что вы у нас отнимаете, вы же не добавите к сроку свидания. Если вам надо, вызывайте меня к себе из зоны и беседуйте сколько угодно. А мать не тревожьте.

Любаев, ничего не сказавши, вышел; это мне и было нужно — чтобы он не успел рассказать матери, как здесь плохо. Мать смотрела на меня с ужасом, что я так разговаривал с начальником; за всю свою жизнь она привыкла, что начальства надо бояться, что с ним лучше не связываться, себе же хуже сделаешь. Мне было очень жаль ее.

Свидание кончилось, мы простились. Я был рад встрече, просто счастлив, я как будто оттаял за эти три дня после всех лет одиночества. Но я не хотел, чтобы мама приезжала ко мне еще. До конца срока остается еще три года — лучше потерпим как-нибудь это время, чем ей мучиться в дороге, мучиться здесь, просить, унижаться, сидеть три дня за зарешеченным окном. Лучше не видеться эти три года совсем, чем видеть сына в этой обстановке.

Я еще раз порадовался, что мать послушалась меня и не приехала ко мне во Владимир, в тюрьму. Там встречаться еще мучительнее. Когда-то, лет десять назад, и в тюрьме тоже были личные свидания, но что это были за свидания! В комнате-камере, тоже за решеткой, с глазком в двери. Свет в камере горел всю ночь, надзирательница ходила по коридору и заглядывала в глазок — особенно усердно, конечно, если в камере были муж с женой. Теперь во Владимире и этого нет, никаких личных свиданий. Могут дать одно или два свидания в год, по тридцати минут каждое; да и этого лишают по любому поводу и без повода. К моему сокамернику Алексею Иванову однажды приехала мать. Это было недавно, весной 1963 года. Она жила во Владимирской области, — хоть ехать недалеко, — вот и взяла с собой внучку лет пяти — дочь сестры Алексея. Он рассказывал нам потом, как все это происходило. В комнате все время сидит надзирательница, слушает, следит, чтобы не было никаких «нарушений». Нельзя не только обняться с родными, но даже близко подойти; разговаривать можно через стол. Мать Алексея долго ждала с девочкой около тюрьмы, девочка устала, закапризничала, и бабушка купила ей мороженое. Так они и вошли в камеру с мороженым. Девочка протянула его через стол Алексею, чтобы дядя попробовал. Надзирательница кинулась к ней, вырвала у нее из рук мороженое, как будто это была атомная бомба, и тут прекратила свидание. Я вспомнил рассказ Алексея совсем недавно, слушая по радио отрывки из книги Светланы Аллилуевой, — как раз в одном отрывке речь шла о свидании с братом во Владимирской тюрьме. Ведь это те же самые годы; а мы тогда и не знали, с кем имеем честь делить свое заключение! О Пауэрсе знали, «о бериевских генера-

лах» знали, а о Василии Сталине, «наследном принце», и слыхом не слыхали. Уж не знаю, в каких он содержался условиях, какой суп ему подавали вместо баланды; но как не похожа его встреча с женой и сестрой на встречу Алексея с матерью и племянницей. Видно, не для всех граждан у нас одни законы и одни инструкции.

САМОУБИЙЦА

...А если я на проволоку? Если
Я на запретку? Если захочу,
Чтоб вы пропали, сгнули, исчезли,
Тебе услуга будет по плечу?
Решайся, ну! Тебе ведь тоже тошно
В мордовской, Богом проклятой дыре.
Ведь ты получишь отпуск — это точно,
Домой поедешь, к матери, сестре...
И ты не вспомнишь, как я вверх ногами,
На проволоке нотою повис.

Ю. Даниэль. Часовой. 1966 г.

Это случилось в воскресенье, 4 октября 1964 года. Мы пришли с разгрузки-погрузки в пятом часу утра и легли спать. Часов в восемь я встал — здорово хотелось есть. Хотел было разбудить Валерку, но он спал так сладко, что я его пожалел: лучше недоесть, чем недоспать. Отрезал ложкой от своего пайка кусочек хлеба и пошел в столовую.

Утро было ясное, солнечное, все радовались, что к обеду будет тепло. Для зэка теплая погода — подарок судьбы. Я шел в столовую в очень хорошем настроении. Столовая по воскресеньям утром открыта до девяти, но почти все успевают позавтракать гораздо раньше. Очереди уже не было, только на скамейках сидели несколько десятков зэков, ожидавших конца завтрака, — может, у повара останется несколько мисок баланды и он даст прибавку.

По-видимому, сегодняшней завтрак фигурировал в меню как «суп-лапша» — в миске плавало несколько несчастных лапшинок. Ложке тут делать было нечего, я спрятал ее в карман и в несколько глотков опорожнил миску с «супом-лапшой» через край. Осталось только проверить, не пристала ли к стенке какая-нибудь лапшинка. Вдруг раздался одинокий выстрел.

Все подняли головы и замерли. Никто не смел звякнуть миской. Погодя минуту кто-то негромко сказал:

— С угловой, возле пекарни.

Слушаем, ждем. Должны последовать еще два выстрела. Минута долгая, а выстрелов нет. Что бы это могло значить? Стрелял автоматчик с вышки — стало быть,

какой-то зэк полез на запретку, чтобы покончить с собой. В этом случае часовой должен дать два предупредительных выстрела вверх, а третий — в «беглеца». Но обычно бывает наоборот: первый выстрел дают по живой мишени, а потом два в воздух. Не один ли черт, зэку все равно погибать, чего тут долго чикаться? Пульнешь в небо, а он еще раздумает кончать с собой, и тогда прощай благодарность, прощай дополнительный отпуск и поездка домой! Короче, никто из нас не знал случая, чтобы часовой стрелял в порядке, указанном в инструкции; главное — израсходовать три патрона.

Так или иначе, должно было быть три выстрела, а мы слышали только один. Что бы это значило? Мы пошли из столовой, чтобы узнать. Только вышли на крыльцо — еще подряд несколько выстрелов. Стреляют там же, у пекарни, но звук выстрелов не такой, как у первого.

Зэки со всего лагеря шли к пекарне. Я тоже пошел. Меня обогнала группа зэков, среди которых был мой знакомый по Владимирке Сергей Оранский. Проходя мимо, он крикнул мне:

— Опять кого-то застрелили!

Ох уж эти «опять»! Сколько их было, таких «побегов», только при мне, здесь, на семерке? Последний раз это было несколько месяцев назад, летом, в июне или июле. Автоматчик пристрелил «беглеца» у деревянного забора, и тот лежал, уткнувшись лицом в нагретую, мягко вспаханную землю, подгробал ногой. Зэки побежали в санчасть, привели фельдшера. Но что тот мог сделать? Раненый лежал в запретке, за двумя рядами колючки, а часовой никого и близко не подпускал к проволоке: заключенным в запретку нельзя, да и убитого или раненого должны сначала сфотографировать на месте, составить акт в присутствии нескольких начальников и лишь после этого убирать и оказывать помощь.

Раненый лежал, время от времени подергиваясь. Заключенные шумели, кричали, не обращая внимания на орущих надзирателей и на автоматные очереди над головами. Так продолжалось долго, часа полтора. Наконец на той стороне появилось начальство: подполковник Коломийцев, его заместитель майор Агеев, еще офицеры. Коломийцев приказал ломать забор — раненого и убитого нельзя выносить через зону. В заборе проделали дыру, и два надзирателя, взяв тело за ноги, волоком потащили его за зону. Голова, подпрыгивая, билась о землю, и на земле оста-

вался кровавый след. Зэки орали, вопили. Тогда в проломе забора показалась физиономия Агеева, и он крикнул:

— А за каким ... вас несет на запретку?

Потом нашего фельдшера вызвали на вахту «для оказания скорой медицинской помощи». Позднее туда же пришли вольная сестра и врач. Фельдшер рассказывал, что самоубийца был еще жив. Его отправили в больницу на третий, но не довезли, он умер по дороге.

Я вспомнил этот случай и другие такие же, идя вместе со всеми к пекарне. Что же произошло сегодня? Кто этот несчастный?

У пекарни уже собралась огромная толпа, почти вся зона. Я нашел здесь своих бригадников. Коля Юсупов показал на забор — там на проволоке, на козырьке, зацепившись за колючку одеждой, висел какой-то зэк. Со стороны зоны видны были только его ноги, он свесился на другую сторону, на волю.

Мы с Колей полезли на крышу ближнего домика — бывшей посылочной. Отсюда было хорошо видно и запретку, и забор, и волю. На той стороне тоже собралась толпа: офицеры, солдаты-автоматчики, вольные. Рядом с нами сидел на крыше какой-то зэк, который видел все с самого начала. Он был страшно взволнован, возбужден. Он и рассказал нам, как все было.

— Сижу я, — говорит, — у Кирюхи в кочегарке, пришел потрепаться и за хлебом. Слышим, часовой с вышки орет: «Не лезь, стрелять буду! Не лезь же ... твою мать, убью! Куда ты среди бела дня на ... лезешь?» Мы с Кирюхой выскочили из кочегарки, смотрим, а зэк уже один ряд колючки перелез, путается во втором. И доску с собой тянет. Я узнал его — мы вместе в карцере сидели, он тогда болел, не давал норму, потом на работу не вышел — Коломийцев сам и выписал ему пятнадцать суток. Я ему кричу: «Ромашев, с ума сошел, вернись, пристрелят же!» «Ну и ... с ними, — отвечает, — один хрен умирать. Скорее отмучаюсь». Он все время хворал, а врачи ему освобождения не давали, мало того, что на работу гоняют, еще и норму жмут. Я бегаю вдоль колючки, угрожаю его вернуться, а он махнул мне рукой, через второй ряд колючки перебрался — и к забору. Чуть не под самой вышкой. Часовой, видно, парень хороший, в первый раз такого вижу: орет матом на Ромашева, а не стреляет. Потом, слышим, звонит на вахту: мол, зэк лезет на запретку, пусть надзиратели придут и заберут его. Что ему там с вахты отвечают, не знаю, слышим только, как он кричит в трубку: «Пристрелить недолго, да его можно за

брат, он еще во втором ряду путается». Потом уж грубо, зло орет: «А вы за каким хреном там сидите?! Мое дело увидеть и предупредить, ваше дело забрать, вот и забирайте к ... матери! Я стрелять не буду, я вас предупредил».

Он и не стрелял, пока Ромашев на самый забор не залез. Тогда часовой дал один выстрел в воздух и все время орал, чтобы зэк слезал и мотал в зону. Но Ромашев как не слышал. Он стоял на заборе на четвереньках, ногами на козырьке, руками упираясь в зубцы доски. И, похоже, вообще не собирался оттуда слезать.

Потом с той стороны затарахтел мотоцикл, слышно было, как он подъехал к забору около Ромашева и остановился. Кто-то крикнул часовому:

— Какого хрена смотришь? У тебя зэк на заборе сидит!

Ответ часового не был слышен, потому что сразу же за окриком раздалось подряд несколько пистолетных выстрелов. Ромашев оторвал руки от забора, встал во весь рост и стал заваливаться, падать, туда, наружу. Но вот зацепился штанами, висит теперь...

Коля спросил очевидца, кто же это был, который стрелял из пистолета. Парень ответил:

— Да я точно не могу сказать, я сразу полез на крышу посмотреть, но мотоцикл уже отъезжал. По голосу и по красной роже — кажется, Швед.

Пока мы слушали этот рассказ, за забором появились офицеры и среди них Агеев и Швед. Они походили, посмотрели, спросили что-то у часового, потом Агеев пошел в зону, а Швед остался снаружи. Скоро Агеев появился с этой стороны, прошел через толпу зэков в сопровождении офицеров и надзирателей. Он двигался неспеша и никакого внимания не обращал на возмущенные крики: «Убийцы!», «Людоеды!», «Да снимайте же скорей, может, он еще живой!» Офицеры подошли вплотную к проволоке, и Агеев крикнул на ту сторону: «Давай, приступай!»

Фотограф, примерившись, щелкнул несколько раз аппаратом с разных точек. Несколько минут спустя над забором появилась физиономия Шведа. Он смотрел сверху на зэков и улыбался. Зэки взбесились. Из толпы неслось:

— Паук!

— Вот по ком могила плачет!

— Когда ты только лопнешь от нашей крови!

Рядом со Шведом появился надзиратель, и они, не обращая внимания на крики, занялись своим делом. Они выпутывали Ромашева из колючки, разрывая на нем шта-

ны. Толпа замолкла, и было так тихо, что даже, я, казалось, слышал, как рвалась материя. Когда ничто больше не удерживало тело, Швед и надзиратель, подержав его секунду за ноги вниз головой, отпустили, и было слышно, как Ромашев шмякнулся о землю. По зоне пронесся тихий не то вздох, не то возглас. И сразу снова поднялись дикий шум, крики протеста, чуть не истерики. Я сам видел, как плакали некоторые зэки, старые воркутяне и колымчане. Из них не могли выжать слезы пытками и голодом, а сейчас они плакали от оскорбления и бессильной злости.

А Швед стоял на лестнице над забором, глядел в зону и улыбался.

Потом сестра сказала нам, что Ромашева сняли уже мертвым. Видно, он был убит выстрелом в упор.

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ

За годы, проведенные во Владимирке и в лагерях, я познакомился с очень многими заключенными, с некоторыми близко подружился. Сколько разных историй услышал! Обо всех не расскажешь. Постараюсь, как могу, рассказать лишь о нескольких. Но сначала напомним, что уже говорил раньше: люди здесь разные, как и на воле. Есть и очень хорошие, и совсем дрянные, смелые и трусы, есть очень честные, принципиальные, есть беспринципные подонки, готовые на любое предательство. Есть люди, попавшие в лагерь за убеждения, а немало и таких, которых посадили случайно. Некоторые остаются верными себе, отбывая весь срок от звонка до звонка. Другие отрекаются, и даже публично, от самих себя, от своих взглядов, от своих друзей. Я могу сказать наверняка, и это подтвердят многие: большинство таких «отрекающихся» (если не все) делают это не по убеждению, а ради облегчения своей участи в лагере или потом на воле.

В Мордовии в политических лагерях содержатся и писатели, и научные работники, и студенты, и рабочие, и полуграмотные крестьяне. И настоящие «политики» со своей системой взглядов, и превращенные в «политиков» уголовники.

Я хочу рассказать о некоторых своих знакомых и друзьях, не делая между ними никакого различия, как это и было в жизни.

На семерке в аварийной бригаде вместе со мной работал Иосип Климкович — хороший, простой парень. Потом мы с ним вместе оказались на третьем в больнице и

сошлись еще ближе. Он рассказал мне, за что сидит, за что получил свои двадцать пять лет.

В конце сороковых годов Иосип был еще совсем мальчишкой, жил в Станиславской области с матерью и сестрой. По всей Западной Украине тогда шла вооруженная партизанская война, и многие из крестьян-украинцев ушли в леса. В лесу у партизан был и дядя Иосипа — так, во всяком случае, говорили. И вот однажды, когда Иосип сидел в хате своего товарища, в село въехали грузовики, крытые брезентом, из них высыпали солдаты-автоматчики и стали окружать некоторые хаты. В окно было видно, как один из грузовиков остановился около хаты Климковичей и солдаты окружили ее. Иосип кинулся к двери: дома лежала больная мать. Но дед товарища схватил мальчишку и не пустил. Дед держал его и приговаривал: «Ты что, дурной, что ли, не видишь — в Сибирь повезут. Придешь — и тебя туда же». Он оттащил Иосипа от двери к окну: «Смотри, хлопец, и запоминай». Иосип прилип к стеклу. Он видел, как по их двору бегали автоматчики, заглядывали за дрова, в сарай — может, это его искали. Потом он увидел, как из хаты выгнали сестру и, заломив ей руки, бросили в машину, в кузов. Больная мать не могла идти, ее выволокли за руки — и тоже в машину. У нескольких других хат происходило то же самое. Иосип навсегда запомнил эту сцену, но больше всего врезалось ему в память лицо офицера, командовавшего операцией.

Потом Иосип узнал, что всех забранных привезли в райцентр и загнали в один сарай. Иосип бродил вокруг сарая, но подойти близко не решался: сарай охраняли солдаты. Говорили, что людям в сарае не давали ни есть, ни пить. Через несколько дней Иосип узнал, что мать умерла, а сестру вместе со всеми остальными увезли в Сибирь. Тогда он ушел из дому, но не в лес, не к партизанам, а в город. Достал себе пистолет (тогда это было нетрудно) и стал караулить того самого офицера. Несколько дней не мог он его разыскать. Люди говорили, что офицер уехал в другие села на подобные же операции. А потом Иосип все-таки подкараулил его, когда он выходил из комендатуры в сопровождении автоматчика. Иосип пошел за ними, убедился, что это тот офицер, который увозил его мать и сестру, подошел к нему вплотную и выстрелил в упор. Офицер упал, даже не вскрикнув. Солдат повернулся, вскинул автомат, но выстрелить не успел — Иосип застрелил и его.

Климковича судили как ОУНовца, за бандитизм, дали двадцать пять лет. Суд был закрытый. Это было в конце сороковых годов, и Иосип сидит до сих пор.

Очень похожая история с моим соседом по койке Владасом Матайтисом. Он литовец, тоже крестьянин. Его отец, брат и он сам были в лесу с партизанами, а третий брат учился в городе, был студентом. Вот третий брат приехал домой, а старик и двое других пришли по-видаться с ним. Тут облава, их всех схватили, вывели за село и расстреляли, только Владасу, который был ранен, удалось бежать. Потом он узнал, что убитых сложили на телегу и привезли обратно в село. Когда мать Владаса увидела на телеге сразу три трупа — мужа и двух сыновей, она сошла с ума. Так ее, безумную, и увезли в Сибирь вместе с дочерью. А Владаса, тяжело раненного, все равно поймали, судили, тоже закрытым судом, и тоже дали двадцать пять лет.

Он еще сидел в Мордовии, когда его матери и сестре разрешили вернуться в Литву.

Матайтиса дважды представляли на суд на снижение срока до пятнадцати лет, но оба раза отказывали, так как лагерное начальство не давало ему хорошей характеристики: он никак не хотел быть «активистом». Не идти же в СВП! Но и сидеть тоже не хочется — и Владас записался в санитарно-бытовую секцию. Так многие делали, чтобы получить характеристику на суд: кто постарше — идут в санитарно-бытовую, кто помоложе и здоровее — в спортивную секцию. Хоть и сотрудничаешь с администрацией, но не во вред своему брату-зэку, лишь форму соблюдаешь, а начальство и эта форма, на худой конец, устраивает.

Владаса представили на суд в третий раз и наконец-то снизили срок. Он освободился. Правда, въезд в Литву ему не разрешили.

Там же, на семерке, на складе готовой продукции, работал один зэк-старик, тоже из Прибалтики. Я не знаю ни его фамилии, ни настоящего имени. Мы звали его Федей, так же, как и Матайтиса Володей, а Юсупова Колей. Федя тоже был двадцатипятилетник, как все так называемые националисты из Прибалтики и с Украины, осужденные в сороковые годы.

Все свободное время Федя писал жалобы. Этим больны в лагерях многие — пишут и пишут: и в ЦК, и в Президиум Верховного Совета, и Хрущеву, и Брежневу, и в Прокуратуру. Вот и Федя писал. Он был осужден не один: где-то

здесь же в Мордовии сидели его жена и сын. То, что он писал в своих жалобах, сводилось к одному: он не был партизаном-националистом, он и его семья осуждены неправильно, по ошибке. Зэки смеялись над ним:

— Не надоело тебе восемнадцать лет писать? Отрядный, вручая Феде очередной «Ответ с отказом», ругался:

— Вот, пишете, пишете, писатели тоже! Все вы не виноваты, все по ошибке! Получил срок — сиди и не рыпайся. Не видно, что ли, какого ты поля ягода?!

Ответы приходили все как один: «Осужден правильно, оснований для пересмотра дела нет».

И вот однажды бегут зэки:

— Федя, иди к вахте, к тебе приехали!

А на вахте его жена и сын — они первыми освободились и заехали за ним, а он еще ничего не знает. Оказываются, всех троих реабилитировали.

Через восемнадцать лет справедливость все-таки восторжествовала!

Был у нас еще один такой «писатель», известный всей зоне деревенский мужик Петр Ильич Изотов. И зэки и офицеры звали его запросто «Ильичом». Вот этот Ильич писал в день по несколько жалоб и просьб и получал не меньше двух ответов на них ежедневно. Он завел себе целую канцелярию: копии всех жалоб складывал в специальный чемоданчик, подкалывал к ним ответы, в особой тетрадке был учет — когда какую жалобу он послал, когда прибыл ответ. Отвечали Ильичу в точности так же, как Феде, и зэки над ним так же потешались. Но теперь, когда отрядный заводит свое:

— Пишете, пишете, а что пишете? Все вы не виноваты, толку все равно не будет от вашей писанины, идите лучше в СВП, — зэки вступаются за Ильича:

— Феде тоже говорили, толку не будет, а его вот реабилитировали.

Хотя Ильич аккуратно отправлял несколько жалоб в день, но, видно, сам не очень верил в них. В СВП он, правда, не записался, зато пошел в школу, в четвертый класс, — авось, дадут хорошую характеристику на помилование.

Осенью 1963 года к нам в бригаду зачислили новенького — Нахмуддина Магометовича Юсупова. Мы с ним очень подружились и были вместе до самого моего освобождения, вместе работали, жили в одной секции, спали рядом, хлеб держали в одной тумбочке, а харчи и деньги были у нас общие: что кому удастся добыть, то на всех, на

всю компанию. Он очень добрый, верный друг, всем готов помочь. Бригадники перекрестили Нахмуддина в Колю, а то с непривычки язык сломаешь. Коля — огромный молодой мужчина, росту в нем, пожалуй, метра два, богатырского сложения, красивый, с правильными крупными чертами лица, с густыми бровями над большими, глубоко посаженными карими глазами. В лагерь он приехал без бороды, а здесь решил отпустить бороду: здесь много бородачей. Но кому позволяли, а кому нет. Колю несколько раз заставляли сбривать: то за бороду посылки лишат, то ларька. А другой раз не лишают, а просто отказываются в ларьке выдавать продукты: мол, ты же на фотокарточке у нас бритый, откуда борода? Может, это не ты? Все-таки в конце срока Коля отрастил бороду, она выросла очень красивая, медно-каштановая, и обрамляла его лицо, придавая ему большую выразительность.

Коле сейчас лет тридцать семь-тридцать восемь. Он аварец, старики его живут в горах Дагестана, и он там вырос. Окончил городское педучилище, некоторое время учительствовал у себя в ауле, потом — армия. Коля служил в парашютно-десантных частях, остался на сверхсрочную — в общем, отслужил лет восемь. За это время он повидал, где как живут люди, видел городскую жизнь, а демобилизовавшись, не захотел оставаться в своем заброшенном ауле. Он решил подзаработать денег и вернуться к своим старичкам не с пустым карманом, как возвращаются из армии. Больше всех зарабатывают шахтеры — он и подался на шахту. Работал он там — будь здоров! Он и умеет работать: мы в бригаде видели, как он работает один за троих. Только накопить что-то никак не удавалось: сколько заработает, столько и проживет, так, может, пустяк какой останется. И как ни старайся, больше ста пятидесяти-двухсот рублей в месяц не выгонишь; много работаешь — расценки снижают, норму поднимают. Уйти с шахты — и того хуже, на учительскую зарплату и один не проживешь. А тут еще цены на продукты повысили. Все товарищи шахтеры тоже недовольны, ворчат, бурчат, все матом кроют — но только между собой, в своей компании. И Коля тоже, как все.

Как-то он с друзьями выпил в воскресенье и отправился к себе домой в общежитие. Не то чтобы пьян, а как говорится, под градусом. Шел через базар. На базаре репродукторы со всех углов орут: «Хрущев, Хрущев — верный ленинец! Забота о народе! Рост благосостояния!» Ко-

лю зло взяло. Он влез на какую-то бочку и стал держать речь:

— Люди! Слышите, по радио брешут, что мы живем с каждым днем лучше и богаче. Вы это заметили, что лучше живете? Никита про Сталина говорит, что при нем плохо было. При Сталине нормы были меньше, а расценки выше. При Сталине шахтер получал семь-восемь тысяч, а я, при Никите, еле сто пятьдесят-двести выколачиваю. Да и чего они стоят? При Сталине масло было по два семьдесят, а теперь по три шестьдесят. Мясо вздорожало — кому нужна такая жизнь? Раньше у нас на Кавказе, старики рассказывают, ели баранов и за каждым аулом были горы бараньих костей. А теперь мы отвыкли от баранины. И вместо бараньих костей за аулом растет хрущевская кукуруза.

Коля говорил долго, топтался на бочке и проломил ее. Хозяин бочки кинулся было к нему с кулаками, но когда услышал, что он ругает Хрущева и хвалит Сталина, отошел: «Говори, говори, дорогой». (Многие кавказцы и сейчас еще боготворят Сталина). Коле дали договорить до конца, а потом несколько ребят увели его с базара. С неделю его никто не трогал, но потом все-таки нашли, посадили и судили за антисоветскую пропаганду, за клевету на советский строй и правительство. Суд, как водится, закрытый. Дали четыре года. Когда скинули Хрущева, его, как и других таких же, вызвали, предлагали просить помилования. Он отказался, отсидел весь свой срок и освобожден уже после меня, 28 мая 1967 года.

У Геннадия Кривцова жизнь было очень бурная, полная приключений. Между прочим, Генка — мой земляк, он тоже из Новосибирской области. Он в конце войны окончил Одесское артиллерийское училище, стал офицером, еще войну захватил. Но когда его часть проходила через Чехословакию, он дезертировал: влюбился в чешку, женился на ней, при ней остался. Чтобы не попасть под трибунал, бежал в Австрию. Вернулся в Чехословакию за женой — тут его и схватили. Конечно, трибунал, срок, лагеря, ссылка. Из ссылки он бежал — поймали, снова судили, дали новый срок. В очередном лагере Генка написал очерк в лагерную газету, его напечатали, а через некоторое время решили, что очерк антисоветский, и добавили срок.

Вообще, Генка Кривцов как раз такой человек, про которого поется в тюремной песне: «Я твой навечно арестант, погибли юность и талант в стенах твоих». Действительно, «навечно арестант». Вся жизнь — лагеря да ссылки, да по-

беги, да новые сроки. Я и не упомяну, в каких лагерях он сидел, сколько раз бежал, за что получал «довески». И все никак не угмонится, никак не может приспособиться. Или не хочет.

Сам он небольшой, щуплый, тощий-тощий, я даже во Владимирке не много таких доходных видел. Но боевой, каких мало. Его еще в старых лагерях прозвали «сыном Троцкого» — за ловко подвешенный язык. Отрядные просто боялись с ним связываться: Кривцова все равно не переспоришь, только опозоришься. От таких, как он, стараются избавиться под любым предлогом. Конечно, его выпихивают не на волю, а либо в БУР, либо в тюрьму. Я с ним познакомился во Владимирке, а потом мы были вместе и на семерке.

В тюрьме он начал писать повесть, я запомнил название — «В когтях у дьявола». О лагерной, тюремной жизни. Написал несколько глав, у него их отобрали, а его самого посадили для начала в тюремный карцер, предупредив: «Кривцов, вы заработаете еще срок!» После карцера воспитательную работу продолжали. Генку привели в кабинет, там с ним беседовал владимирский поэт Никитин. Он убеждал Генку раскаяться и писать на другие темы. Мол, у него, Кривцова, несомненно, писательский дар; если бы он переменял тенденцию своих произведений, чтобы их можно было печатать, то его бы, наверное, помиловали и тогда бы он остался во Владимире уже на воле, был бы принят в Союз писателей... Блестящие перспективы не привлекли Генку. Он остался «вечным арестантом».

У Кривцова в Новосибирске живет замужняя сестра. И она, и ее муж члены партии, он — парторг на заводе, она — работник идеологического отдела горкома. Об этом узнало тюремное начальство, и Генке предложили вступить с сестрой в открытую дискуссию, то есть писать ей сколько угодно и что угодно, высказывать все свои убеждения. Обещали, что ему ничего не будет, цензура пропустит его письма. И вот началась полемика между братом и сестрой. Генка верующий, в она, конечно, атеистка: на эту тему и произошел их первый обмен мнениями. Оказалось, что убежденная атеистка не очень тверда в своих убеждениях, во всяком случае, не в состоянии отстоять свои взгляды. Так что начальство очень скоро прикрыло диспут и вернуло Генкину переписку в установленные рамки.

У нас на седьмом Кривцова, Родыгина, Никлуса и других, подобных им, перед приездом лектора, с воли заперали на сутки-двое в карцер: так что мы уже знали — если Кривцова и Родыгина поволокли в карцер, — значит, завтра лекция.

С Родыгиным меня и Валерку познакомил Кривцов. Вернее, мы еще раньше его заприметили. Идем как-то с Валеркой мимо штаба, смотрим, там стоит начальник КГБ управления, майор Постников, а какой-то парень-зэк что-то ему втолковывает. Прошли несколько раз мимо них. Валерка потом мне пересказал, о чем шла речь. Оказывается, зэк Постникову говорил:

— Вот вы говорите, что наша власть опирается на народ, что в этом ее сила и могущество. Если бы вы, представители этой власти, действительно были уверены в своей силе, вы бы нас не сажали. Сколько народу держите вы в лагерях и тюрьмах, за какое-нибудь слово против вас простому мужику десять лет даете — значит, вы того мужика боитесь и в поддержке народа совсем не уверены...

Что отвечал Постников, Валерка не слышал. Мы потом спросили у Генки, не знает ли он этого парня, и Генка нас познакомил.

Толик Родыгин — ленинградец, молодой еще, года с 1936-го. Он тоже был офицером, только Кривцов артиллерист, а Родыгин — моряк. Кривцов писал прозу, а Родыгин — стихи. В Ленинграде он издал сборник стихов, вступил в Союз писателей. Когда его привезли на семерку, он в лагерной библиотеке обнаружил свой сборник, утащил его оттуда и никому не показывал: плохие стихи, говорит, стыдно.

Из армии он каким-то образом ушел, поехал на Дальний Восток ловить рыбку, плавал на сейнере капитаном. Посадили его в 1962 году — и, как и меня, за попытку уйти за границу: попытался на Черном море вплавь то ли в Турцию, то ли на иностранный корабль. Его выудили — и в Мордовию на восемь лет.

Они с Кривцовым дружили. Спорили так, что слушать сбегалось чуть ли не ползоны, не то что на лекцию или на политбеседу. Родыгин атеист, Кривцов, я уже говорил, верующий, вот они и устраивали диспут. Чаще всего в нашей секции, у аварийщиков. До того доходило, что слушатели даже ужин пропускали. Спорили, конечно, не только о религии, а и о политике, о литературе, искусстве, о роли современной науки, о морали, откуда берутся моральные оценки, — потом снова о религии. Офицерам эти диспуты — нож ост-

рый: вмешаться в спор они боятся, потому что Кривцов и Родыгин с двух разных сторон в два счета разложат их на лопатки; вот они и злятся. Вбежит отрядный в секцию:

— Зачем собрались? Есть что тут слушать! Расходитесь! Подчиняйтесь начальству!

— Ну, против такого аргумента не поспоришь.

Осенью 1965 года Родыгина, Кривцова, Никлуса и других заядлых спорщиков упекли-таки в БУР на шесть месяцев. Мы с Валеркой изредка видели их, когда БУР водили в баню.

Вскоре меня отправили на третий в больницу, и, пока я там был, семерку перевели в другие зоны. Геннадий и Толя попали на одиннадцатый, но пробыли в зоне всего недели две, а потом их судил лагерный суд и обоим дали по три года тюрьмы. Так что, вернувшись с третьего, я уже не застал своих друзей в лагере. Помню один из последних разговоров Кривцова и Родыгина с начальством, незадолго до БУРа.

К нам приехал лектор — мордовский писатель. Как-то получилось, что Кривцова и Родыгина не успели заранее упрятать в карцер, и они присутствовали на лекции. Писатель рассказывал то ли о писательском съезде, то ли о совещании, на котором он присутствовал, — кто выступал, кто что говорил. Иногда после лекции разрешают задавать вопросы из зала, иногда предлагают тем, кто хочет о чем-нибудь спросить, подняться на сцену и беседовать «в более узком кругу», в зависимости от темы лекции. На этот раз желающим задать вопросы предложили пройти в штаб. Но Кривцов, Родыгин и еще несколько человек остановили лектора на крыльце штаба, так что все равно разговор произошел при широкой публике. Лектору «помогал» майор Постников, главный наш кагэбист. Кривцов спросил, почему на этом писательском совещании или съезде не дали слова никому из наиболее прогрессивных писателей — например, Некрасову или Солженицыну. Лектор ответил, что невозможно же дать слово всем. Тут вмешался Постников — на него, как и на всех лагерных офицеров, надзирателей, кагэбистов, одно имя Солженицына действует, как красная тряпка на быка: у них пена на губах закипает.

— Носитесь со своим Солженицыным! Какой это писатель? Он только позорит звание писателя!

— Да кому это может понравиться? Он же на русский язык клеветет! Что это такое, на каждой странице «масло-фуясло» или «нифуя».

В это время невдалеке какой-то зэк просил дежурного надзирателя пропустить его в рабочую зону к зубному врачу... Он показал надзирателю справку, а тот отмахивался и орал:

— На ... мне твоя справка! Жди развода, а пока катись к ... матери!

— Ну, а какими словами прикажете описывать эту сцену? — спросил Родыгин.

— Это вообще незачем описывать! Ни к чему и даже вредно заострять внимание на темных сторонах жизни, на мелочах и отдельных недостатках, — поучительно ответил Постников.

— Если бы Щедрин не писал о «мелочах жизни», а Островский не обличал темное царство, их бы сегодня никто не помнил; и ни с мелкими, ни с крупными недостатками невозможно бороться, пока их скрывают, замалчивают, натягивают на них тряпку с позолоченными декорациями...

Кривцов говорил не столько для Постникова, сколько для толпившихся вокруг него зэков. Но Щедрин и Островский мало волновали Постникова, он еще не разделался с Солженицыным.

— Ваш Солженицын искажает жизнь! Вот у меня две дочери-школьницы прочли этого «Ивана Денисовича» и вообразили, что могут теперь критиковать отца. Каждый вечер то вопросы, то упреки, то слезы! Я им сначала объяснял по-хорошему, а потом пришлось кинуть журнал в печку, и конец.

— Ну и как, — спросил Родыгин, — убедили этим своих дочек? У вас всегда один веский довод: журнал — в печку, а нас в карцер.

О МОЛОДЕЖИ

Сейчас в СВП, в Советах коллектива и других зэковских организациях служат в основном старики. Но и у стариков кончаются сроки, а в лагеря идет молодежь — студенты, рабочие, молодые писатели, научные работники. Лагеря «молодеют».

А с молодежью администрации труднее найти общий язык, как любит говорить начальство. Молодых сильнее прижимают — а они только злее становятся. Перед начальством не гнутся, не молчат, протесты в разных формах так и сыплются.

Попробовали действовать не кнутом, а пряником: стали создавать молодежные бригады: молодежные баракки. Надеялись, что так легче будет держать всех под контролем. Но вышло наоборот. Оказавшись вместе, молодые украинцы и литовцы, эстонцы и русские, рабочие и студенты легко нашли этот самый «общий язык».

Надзиратели жалуются:

— Ну и зэк пошел! Ты ему слово, он тебе два. Ты его матом, он тебя втрое дальше. Карцера не боятся!

БУКЕТ

В Мордовию свозят политических заключенных со всего Союза, из всех республик. Особенно много украинцев и прибалтов — литовцев, латышей, эстонцев. Мало того, что их привезли в Россию в лагерь — их даже на свиданиях с родными заставляют говорить по-русски, чтобы надзиратель мог понять. Но между собой эти заключенные, конечно, говорят на родном языке, поют свои песни, тайно устраивают вечера памяти своих поэтов и писателей.

Кроме того, в лагерь иногда приезжают представители общественности разных республик. Эти «представители» не смотрят, в каких условиях содержат их земляков, не спрашивают, каково им здесь, они даже избегают непосредственных разговоров с зэками, боясь обвинения в том, что они вмешиваются в лагерные порядки. Все разговоры они ведут только в присутствии лагерной администрации и кагэбистов (бывает, что и сам «представитель» — кагэбист, и даже в форме). Они вообще ничего не хотят слышать о лагере, рады бы глаза закрыть и уши заткнуть, — зато они рассказывают о жизни своих республик. Зэки тоже не хотят их слушать: как можно верить человеку, если невооруженным глазом видно, что у него дрожат коленки перед начальством и КГБ. И при этом он твердит, как ему и всем хорошо и свободно живется!

Сначала на эти «встречи с земляками» мало кто ходил, зэков туда загоняли силой, как на политбеседу. Тогда вместе с общественностью стала приезжать какая-нибудь художественная самодеятельность. После этого в клуб-столовую на такую встречу стало не пробиться, приходят не только латыши или украинцы, но и другие зэки. Всем хочется послушать песни, стихи, посмотреть танцы. На сцене артисты в национальных костюмах, а не в зэковских

робах. Их встречают очень дружелюбно (не то что ораторов), преподносят цветы, благодарят.

Летом 1965 года к нам на семерку приехала общественность одной из Прибалтийских республик; после беседы обещали концерт. Народу в клубе собралось очень много. Сначала, как обычно, выступил «представитель». Когда он кончил говорить, из зала слышались вопросы — это тоже обычно. Оратор не мог на них ответить, он был приперт к стенке — ведь зэки не стесняются и не боятся спрашивать о том, о чем не спрашивают на воле. Дискуссии обычно прикрывают офицеры:

— Товарищи, не обращайтесь внимание на провокационные вопросы, у нас здесь провокаторов полно.

И зэкам:

— Кому-то, кажется, строгий режим в тягость? Здесь и особый близко!

И вдруг на сцену поднялся молодой прибалт-зэк, бывший студент юридического факультета. В руках у него плотно обернутый в бумагу букет. Видно, он хочет преподнести цветы своим землякам. Такого еще не бывало, цветы дарили артистам, лекторам же — никогда.

В зале наступила тишина. Парень обратился к лектору:

— Разрешите мне от имени всех земляков передать нашей Родине цветы, которые растут здесь, вдали от нее.

Он говорил с акцентом, но по-русски, чтобы поняли все. Пока он произносил свою короткую речь, в зале началось возмущение. Со всех сторон несло:

— Подонок!

— Ж...лиз!

— Стукач!

Я кипел от негодования: и с этим парнем дружили Кривцов и Родыгин! А зэк уже закончил речь и протянул свой букет лектору. Тот взял его в руки, и тогда парень сорвал бумагу и все увидели, что это букет из колючей проволоки. В первый момент и в зале, и на сцене разинули рты и замерли, ничего не соображая. Лектор топтался со своим букетом около стола президиума. Через минуту в зале началась буря. Таких аплодисментов, как тогда, я здесь ни раньше, ни позже не слышал. Хлопали буквально все, даже известные стукачи-эсвэпешники в повязках.

Кагэбист за столом опомнился. Он подбежал к лектору и выхватил у него букет. Но он сам не знал, что с ним делать, — не бежать же через зал наружу. Он сел на место и положил «цветы» перед собой на стол; потом схватил и сунул вниз, под ноги. Зал продолжал бушевать.

Парень, вручивший букет, сошел со сцены и шел сквозь толпу. К нему кинулись надзиратели, но эски завопили, закричали. Начальник ПВХ отдал распоряжение офицеру, тот кинулся к надзирателям, что-то сказал им, и они отошли от парня. Все мы понимали, что это ненадолго, только при гостях.

Кое-как зал утихомирился. На трибуну поднялся еще один из приезжих и стал говорить, что это была выходка провокатора, «как сказал, вот, товарищ капитан»:

— Но мы знаем, что большинство присутствующих правильно понимает случившееся и осудит своего товарища.

Кто-то крикнул в ответ:

— Вы видели и слышали, как отнеслось большинство! Не притворяйтесь!

Оратор умолк. И тут же поспешили объявить концерт.

После концерта артистам преподнесли цветы — настоящие. Когда передавали букеты, и эски и артисты понимающе переглядывались и улыбались.

Вечером того парня забрали в карцер, а через пятнадцать суток перевели в БУР, на камерный режим.

Через несколько дней после этого случая мы читали в газете Дубровлага «За отличный труд» о том, что «...в седьмом подразделении встреча с земляками прошла в теплой, дружеской обстановке.

ЦВЕТЫ В ЗОНЕ

Приезжего человека с воли поражает то, что в зоне много цветов и зелени. «Территория подразделения утопает в цветах» — так пишут в лагерной газете, и это на сей раз — правда.

Цветами занимаются больше всего старики и инвалиды, особенно те из них, кого не гоняют на работу. Таких немного, но на озеленение хватает. Для работы они уже совсем не годятся, но их не выпускают, пока не вышел срок. Цветочные семена присылают родные — это разрешается. Многие из молодых тоже помогают. Цветы все любят.

Начальство не приказывает растить цветы, но и не запрещает их, не вытаптывает, как морковь или лук. Пусть приезжие увидят и расскажут, как красиво у нас живут заключенные!

Офицеры и надзиратели нередко уносят букеты домой, своим женам. А 31 августа, перед началом учебного года, все вольные идут из зоны с цветами: завтра их детишки подарят букеты своим учителям.

Однажды к нам приехал лектор, и эски завели с ним спор-разговор о положении в лагерях.

— Да чем же у вас плохо? — возмутился лектор. — Стадион, волейбол, библиотека, полно-полно цветов!

— Вы забыли, что на могилах тоже растут цветы, — ответил ему заключенный Родыгин.

БОЛЬНИЦА (ТРЕТЬЕ ЛАГОТДЕЛЕНИЕ)

А тех, кого мастер заплечный калечит,
Они латают, штопают, лечат
И шлют в застенки назад.

Бертольд Брехт.

Зонг Страх и отчаяние Третьей империи

17 сентября 1965 года, часов в восемь утра, всех нас, кого в этот день отправляли в больницу, собрали на вахте с вещами. Обходные листки (в них отмечено, что ты сдал все лагерное имущество — матрац, подушку, рассчитался на работе) мы заполнили еще накануне. Собралось нас человек двадцать — кто мог, пришел на своих ногах, лежачих принесли на носилках. Носилки поставили прямо на землю в предзоннике. Ждем шмона. Вот надзиратели начали вызывать нас по одному на вахту. (Когда очередь доходит до лежачих, их вносят на вахту на носилках.) Всех без исключения догола раздевают, осматривают, ощупывают, в барахле перещупают каждый шов, отбирают все, запрещенное для ээка, — деньги, колющие и режущие предметы, чай. Словом, все, как обычно. Ищут главным образом записки, письма, как бы ээк другу, тоже ээку, не передал весточку «с оказией», ведь переписка между заключенными строго запрещена. Обыскали одного — выводят его в предзонник, отделенный от зоны и от первого предзонника. Зовут следующего.

Пока обыскивают, да строят по пятеркам, да сверяют с личными делами, да пересчитывают — проходит часа два. Наконец повели: ходячих в строю под конвоем, тех, кто не может идти, везут на подводах, тоже, конечно, под конвоем. Добрались до вокзала, ждем поезда. Это тот же небольшой состав, который ходит от Потьмы до Барашева: всего несколько вагонов, вагончик обычно в хвосте, так

что посадка не с перрона, а прямо с земли. Нам-то, ходячим, еще ничего, а вот с носилками приходится помучиться: поднимать высоко, двери узкие, в коридорчике не развернешься. Носилки поворачивают то боком, то чуть ли не стоймя. Впрочем, у санитаров уже есть сноровка, ведь возят часто. По вторникам и пятницам — этап на третий для политзаключенного со всей дороги, со всех лагерей; за бытовиками закреплены другие два дня. Надо отметить, что, хотя везут из лагеря в больницу каждую неделю, больных в лагере не убывает; одних язвенников, желудочников в каждом лагере чуть ли не половина, для всех на третьем места не хватает. На третьем больных не вылечивают, а только обследуют, чуть-чуть поставят на ноги — и обратно в лагерь, на работу. А на их место везут новых. Так и идет нескончаемый круговорот.

В вагонзаке — даром что везут больных — давка, сесть негде. Только-только носилки установили, а остальные приткнулись, кто как сумел. «Ничего, как-нибудь доедете, ехать всего часов около двух». На оправку не водят — тоже говорят, что «ехать недолго, потерпите». А нас согнали еще утром, так что терпеть не два часа, а с восьми утра. И опять же, больные. Но — хоть плачь, терпи.

На каждой станции подсаживают новых больных — снова двери на замок.

Наконец приехали. Вот он — третий, больничная зона. Такой же лагерь, как и все остальные: забор, колючка, вышки, внутри несколько бараков.

От станции до вахты совсем близко: метров, может, сто. А все равно порядок есть порядок: начальник вагонзак сдает нас начальнику конвоя, как и принял, по счету и по делам; конвой, проведя нас эти сто метров, сдает, — опять же пересчитывая, сверяя зэка с фотокарточкой в деле, — надзирателю на вахте. Здесь снова шмон. Собрали всех на вахте в одной большой камере и перегоняют по одному в другую, через коридор. А в коридоре сидят несколько надзирателей, велят раздеться догола, перещупывают каждую ниточку в вещах и каждое потайное место на теле... Впрочем, вещи нам все равно на руки не дают. Все сдают в каптерку. Рассортируют по корпусам — кого в хирургический, кого в психиатрический, кого в терапевтический, — и в корпусе выдадут полотенце, кальсоны, рубашку и тапочки на босу ногу. Теперь ты больной, кроме этого тебе ничего не положено. Да, с собой можно взять зубную щетку, пасту, мыло, пару книжек, продукты, какие есть. В

общем, похоже на то, как меня привезли в больницу на воле. Вот разве пижаму здесь не дают, да еще первый «осмотр» ведут надзиратели, а не фельдшера.

Я попал в седьмой корпус — терапевтический. Длинный барак, коридор во всю длину, по обе стороны коридора палаты коек на двенадцать-двадцать, кабинет врача, процедурный, раздаточная. Хозобслуга корпуса — санитары, раздатчики — живут здесь же. В палате чисто, койки стоят хоть и тесно, но не в два яруса. Белое постельное белье. Висят халаты — на палату штук пять-шесть, кому надо выйти в коридор, надевают их, по палате ходят в белье. Очень похоже на ту же вольную больницу; разница только в том, что из больницы на воле все рвутся поскорее выписаться, поскорее попасть домой, а здесь наоборот, подольше стремятся полежать, отсюда дорога обратно не домой, а в зону, к тем же начальникам, воспитателям, надзирателям, опять разводы, шмоны, подневольная, постыдная работа...

Да еще в больнице на воле ждешь приемных часов, к тебе придут родные, принесут чего повкуснее. Здесь, в лагерной больнице, никто не навестит тебя, лагерные друзья разве что привет передадут с очередным этапом.

И никаких передач, никакого «подогреву», если только тебе не полагается очередная посылка (и если ты притом не лишен права получить ее). Болен ли, здоров ли — ты зэк и никаких дополнительных льгот не жди, дай Бог, чтобы законных не лишили...

Зато кормят в больнице лучше, чем в зоне. Язвенники, почечники, голодавшие, послеоперационные получают каждый свою диету. Кому протертая пища, кому бессолевая. Даже общий стол на третьем лучше обычного лагерного. Во-первых, тут на самом деле получаешь все, что тебе полагается по суточной норме: если сказано пятьдесят граммов мяса в сутки, то в лагере зэк его и не понюхает, а на третьем, конечно, не все пятьдесят, но хоть тридцать граммов получит в виде котлеты или биточка. Баланда утром и в обед та же, каша та же и столько же., зато утром получаешь еще стакан компота, граммов пятнадцать-двадцать сливочного масла. И больным полагается молоко — стакан в день. Хлеба меньше, чем в обычной норме зэка, но качество этих самых калорий получше. Конечно, «вольных» больничных деликатесов вроде яйца, сырника, яблока зэк, хоть умирай, и перед смертью не увидит... Зато все-таки молоко, компот... Пока ты в тяжелом состоянии или очень слаб — больничный паек тебя вполне устраива-

ет, даже иногда остается. Но вот выздоравливающим уже приходится туго, голоднее, чем в лагере. Ведь в лагере, я уже говорил, никто не живет на «гарантийке», все как-то исхитряются: кто достанет хлеба на деньги, переданные тайком из дому, кто подспекулирует, а у кого ничего нет, так хоть от чужой пайки достанется, от другого, более ловкого перепадет. Здесь же, на третьем, и биточек съешь, и стакан молока выпьешь, а все равно за положенную норму не выскочишь, и даже хлеба сверх положенных пятисот граммов достать негде. Правда, на больничной тоже есть ларек, но все делается для того, чтобы зэк не мог им воспользоваться. Вот перевели тебя в больничную зону, а деньги с твоего личного счета когда еще придут. Пока ждешь денег, тебя выпишут обратно, а приедешь в свою зону, твои деньги где-то путешествуют, так что и здесь ларек пропустишь...

На воле и не понять всех тех проблем и мелких, на первый взгляд, бытовых сложностей, которые заполняют жизнь зэка. Вот, например, — проситься ли в больницу? С одной стороны, чувствуешь себя отвратительно, необходимо подлечиться, совершенно нет сил работать, а с другой стороны, потеряешь ларек, а то и два-три, значит, на месяц-два — зубы на полку...

Я чувствовал, что превращаюсь в инвалида, что просто не в состоянии оставаться в бригаде: день ли, ночь ли, велят — иди на разгрузку, ворочай бревна. Работенка такая, что и здоровому спину ломит. А тут еще идет осень, за ней зима — дожди, холодный ветер, потом морозы. На работе взмокнешь, на вахте прохватит тебя осенним ветром — к весне попадешь если не в покойники, так в инвалиды. Ребята мне посоветовали все-таки проситься в больницу и постараться там прокантоваться подольше.

Ну вот, оказался и на третьем; ушник, почти не глядя, прописал мне какие-то капли в ухо. Лечение выписали на пять дней. Значит, через неделю, в очередной этапный день, снова в зону, в родимую аварийную бригаду.

К счастью, в хирургическом корпусе встретился мне знакомый из хозобслуги — старый санитар Николай Сенник. Да и фельдшер-зэк тоже меня немного знал. Они посоветовали мне проситься в санитары: все-таки, если что, так врачи близко, будут подлечивать помаленьку. Да и работа, хоть и не из легких, но в помещении, под крышей. Зэки в санитары идут неохотно, только при крайней необходимости или ради хорошей характеристики. Дело в том, что больничная зона никакого дохода не приносит, один

чистый расход, вот начальство и старается сократить эти расходы, насколько возможно. На целый корпус два-три санитары. А работа — и печи топить, и мыть, и чистить, и халаты врачам стирать, и раздавать пищу, и посуду мыть, и за лежачими больными ходить. К тому же с санитары-эки спрашивают не так, как в вольной больнице: на воле, если санитарку будут чересчур доносить требованиями, она возьмет расчет и уйдет, — найди-ка другую на ее место при этой мизерной зарплате; поэтому нигде на воле я не видел в больницах такой чистоты, как в лагерной. У нас врач на обходе белой ваткой водит и по стенам и по стеклам, по каждому листику цветка — не дай Бог обнаружит пыль! Так что санитару приходится целый день крутиться. Пятьдесят процентов здесь, как и везде, отчисляют; после вычетов за питание и одежду ничего не остается, даже на ларек не хватает. Вот и идут в санитары эки вроде меня — кто рассчитывает подлечиться.

Конечно, начальство и здесь пытается действовать административными мерами: назначили тебя санитаром, хочешь — работай, подчиняйся. Отказываешься от работы — в карцер. Но только здесь, в больнице, эти меры не помогают. Одного посадят в карцер, другого выпустят, они снова отказываются, их снова в карцер: кто-то пока работать все равно должен. Вот и приходится начальству идти на непривычный либерализм: сестры или врачи сами подбирают подходящих для этой работы или кто-то из заинтересованных эков договаривается с ними сам. Работаешь фактически хоть и задаром, но зато добровольно.

Я решил проситься в санитары в хирургический корпус: здесь были маленькие комнатухи на двоих из хозобслужки, это все-таки огромное благо — после барака пожить почти в отдельной комнате (правда, мы жили там «нелегально», вся хозобслужка больничной зоны помещалась в особом бараке, и, когда являлась комиссия, нас спешно эвакуировали из наших комнатонок).

Сеник рекомендовал меня сестре-хозяйке. Та переговорила с главврачом, главврач ходатайствовал перед начальником режима — и я стал санитаром. Советы друзей оказались правильными: меня продолжали лечить и даже назначали какие-то уколы. Работа, хоть ее и хватало, меня не тяготила, моя мать работала уборщицей, и я еще мальчишкой привык ей помогать. Что было нелегко, так это топить печи. Дрова привозили такие, что в печку не лезли, а

топора-то в зоне не полагается! Хоть зубами их перегрызай. Конечно, как и всегда, выход нашелся, добыл я себе топор. Но рубить во дворе, на виду, нельзя: топор есть, но надо делать вид, что его нет. Вот я залезу под крыльцо и, согнувшись, чуть не на коленях, рублю эти самые полешки ukradкой — как будто для себя выгадываю, а не для того, чтобы больницау протопить.

По штату у нас в хирургическом полагались два санитары. Меня взяли уже сверх штата, а потом пришлось взять еще двоих, один разделил обязанности с Сеником, другой — со мной. По списку мы числились больными, так что зарплату нам вообще не начисляли, мы работали только за лечение, питание получали как больные. Больные в нашем корпусе тоже помаленьку работали: кто вызовется посуду мыть, кто в уборке помогает; чуть только состояние позволит — так и просят какую-нибудь работенку. Это, конечно, не от нечего делать, а за лишнюю миску баланды, за хлеб: пойдет санитар на кухню, выпросит, отдаст тому, кто ему помогал.

В нашем корпусе были и бытовики, и эки со спеца, и даже женщин из женской больничной зоны приводили к нам на операцию — их операционная еще ремонтировалась.

Больные со спеца содержались в отдельной палате-камере: окно с решеткой, параша, дверь под замком. Положат «полосатика» (на спецу полосатая форменная одежда) в общую послеоперационную палату, он там лежит, пока не очухается после операции, ну, два-три дня; а как только начал шевелиться — в камеру и под замок. Их палаты-камеры были на троих — тройники. Ключи от них полагается хранить дежурному по вахте. Мы старались всячески донять дежурного: то бежали к нему, чтобы открыл камеру, — уборка; то процедуры — уколы надо делать, то клизму больному поставить; то фельдшер должен проверить состояние больного; то пора выпустить на прогулку (в больнице им полагается получасовая прогулка по коридору, причем время определяет фельдшер). В конце концов дежурным это надоело, и они отдали ключ от камеры фельдшеру, под его ответственность. Фельдшер, конечно, не стал держать выздоравливающих взаперти, позволял им пошататься по коридору подольше. Застанет надзиратель дверь открытой — «только что укол делали», «санитары полы моют» — отговорка всегда найдется.

Сеник старался этих больных подкормить получше; да и мы все тоже знали, каково на спецу, видели, какие доходяги поступают оттуда.

Выпрашивали для них в хлеборезке остатки черного хлеба, сушили сухари им — поедет обратно на спец, так хоть сухари повезет себе и сокамерникам. Что бы другое ни повезли на спец из продуктов — отберут при обыске, а сухари черные не отберут, это можно. Другие-то эски, со строгого режима, у себя в зоне как-нибудь устроятся подкормиться, а на спецу — как в тюрьме, ничего ниоткуда.

У хирургических больных-бытовиков тоже отдельные палаты (терапевтические вообще в отдельной зоне), но не под замком, по коридору ходят все вместе. Вообще же бытовиков стараются отделить от политических не потому, что берегут политических от бандитов, а наоборот — боятся, как бы «политики» не разложили своими разговорами честных и порядочных хулиганов и жуликов.

Женская больничная зона находится за бытовой. В ту зиму женщин оперировали в нашей операционной. За лежачими больными посылали обычно Сеника и меня, после операции относили их тоже мы. В операционный день отправлялись мы по вызову, под конвоем, на вахту женской зоны, укладывали больную на носилки и несли ее прямо в корпус. Здесь, в маленьком коридорчике перед операционной, ставили носилки, раздевали больную до рубашки и уже на руках несли ее в операционную, клали на стол. А за дверьми коридорчика толпятся выздоравливающие — им бы хоть поглядеть на женщину, к тому же почти совсем раздетую. Неважно, что она больная и не может даже ходить, вот — на носилках принесли.

После операции больная еще под наркозом, а мы снимаем ее со стола, кладем на носилки, укутываем потеплее — зима, мороз — и несем к вахте. Здесь ставим носилки, начинаем просить дежурного, чтобы дал поскорее конвой, — а он не торопится. Мимо стоящих прямо на земле носилок идут офицеры, врачи, и никому нет никакого дела до нас и до нашей больной, каждый вольный здесь давно привык к мысли, что эск — не человек. Мы начинаем злиться, кидаемся к одному, к другому:

— У нас послеоперационная больная, наркоз скоро кончится, она станет метаться, раскроется, простынет! Поторопите конвой!

Офицеры отвечают:

— Мы не врачи, наше дело вас караулить, а что там наркоз, больная — нас не касается.

Вот мимо идет пожилая, представительная дама в светло-коричневом пальто с меховым воротником. Это начальница больницы, майор медицинской службы Шимканис. Не глядя на носилки, она оскорбленно отвечает нам:

— Мы — врачи, наше дело лечить, делать операции. К конвою мы отношения не имеем. Что вы от меня хотите?

Мы пытались жаловаться на такой бесчеловечный порядок. Начальник режима в ответ указывал нам наше место:

— Какое ваше дело! Принесли на вахту и ждите! Каждый может жаловаться только сам за себя, а не за других. Забыли об этом?!

То же самое говорил нам и майор Петрушевский, начальник санитарного отдела управления Дубровлага:

— Что вы лезете не в свое дело? Начальство само за все отвечает!

Как же, отвечает! Посадили в лагерь здорового человека, а вернули инвалидом, — разве майору Петрушевскому или майору Шимканису за это когда-нибудь придется отвечать? Пред кем?..

Вот стоим, стоим, ждем, ждем, наконец выползает конвой и нас ведут на вахту в женскую зону. Идем медленно, боимся упасть: скользко, ботинки скользят по смерзшемуся снегу, а ведь на носилках тяжелобольной человек. Пока дойдем, несколько раз останавливаемся, отдыхаем. Носилки здесь приходится ставить прямо на снег. На вахте нас принимают две надзирательницы — толстые грубые бабы в шинелях, в погонах с лычками; ведут в корпус. Здесь нам приходится ждать в коридоре, пока санитарки снимут нашу больную и освободят носилки. Тоже смешно: одно управление по сути, одна больничная зона, только разделенная на политическую и бытовую, — но в каждом отделении свое имущество, свои носилки, и ради того, чтобы за них отчитаться, нам разрешают задерживаться среди женщин-заключенных. Хотя всякое общение запрещено и преследуется, но когда речь идет даже о таком ничтожном имуществе, как носилки, так и на правила наплевать!

Пока мы ждем носилок, нас в коридоре обступают женщины-заключенные, больные и санитарки. Они рады хоть поговорить, хоть поглядеть на мужчину — не охранника, не надзирателя. Среди них большинство — бытовички, и уж чего только не наслушаешься, пока ждешь! У некоторых есть друзья в бытовых лагерях — эти просят передать своим знакомым приветы, записочки — «сивы»: к

нам ведь везут больных со всего Дубровлага. А мы тоже оглядываемся вокруг, как будто мы в другом мире: не замечаем ни истощенности, ни убогой одежды окружающих нас женщин. Вернее, замечаем, жалеем их очень, но, несмотря на несчастный, убогий вид, они кажутся нам такими привлекательными! В коридор выходит дверь небольшой палаты, откуда несется писк, похожий на мяуканье. Заглядываем туда. Вдоль стен в два ряда стоят железные койки, такие же, как у нас; поперек коек, по несколько на каждой, — пищащие сверточки. Новорожденные.

— Чьи это? — спрашиваем мы.

— Дети Гулага! — отвечает бойкая, молоденькая зэчка.

Среди женщин немало таких, у которых дети родились здесь, в лагере. «Моему Валерию уже два года!» — «А моей Нинке пять!» У кого нет родных, которые взяли бы детишек на волю, — у тех дети растут и воспитываются в лагерных яслях, в детдоме. Мамка в зоне за проволокой, ребенок сначала при ней, а потом в спецдетдоме — тоже не на свободе. Так и растут...

Иногда женщины на операцию приходят без помощи санитаров, но под конвоем, конечно. Они и чувствуют себя неплохо, и операция им предстоит какая-нибудь несложная. Приводят к нам в корпус сразу пять-семь женщин, ведут в процедурную, здесь они раздеваются (тоже до рубашки) и ждут, когда их вызовут на операцию. В коридоре толпятся выздоравливающие мужчины. Политические ведут себя поскромнее, а бытовики прямо кидаются на баб; да и среди женщин разные попадают. Какой-нибудь бытовик начинает просить Николая Сеника:

— Слушай, ты выведи ее в уборную, а я уж там буду. Ну выведи хоть минут на десять, а?

После операции, конечно, иных несем на носилках, иные сами бредут, но им уж не до мужчин, ни до чего...

Наш хирургический корпус хорош еще и тем, что врачи у нас молодые, еще необтершиеся в этой системе, еще не привыкшие и не приспособившиеся к ней. Кончили институты, приехали по распределению, ждут не дождутся, когда можно будет вернуться «на волю». От каждого из них я слышал: «Скорей бы отработать эти три года и уехать бы отсюда куда угодно, хоть к черту на рога!»

И это несмотря на то, что практика у них на третьем такая, о какой начинающий врач и мечтать не может: операции любой сложности, травмы, даже пулевые ранения.

Например, однажды к нам привезли молодого парня из бытового лагеря — у него была прострелена из автомата грудь. Дело было так: группа эков стояла в зоне на крылечке и чего-то собачилась с автоматиком на вышке. Тот разозлился, навел на них автомат; остальные эки вбежали в барак, а этот остался — не может быть, чтобы автоматчик стрелял в зону. Ну а тот все-таки дал очередь. Не знаю уж, наказали ли часового, а этот парень попал к нам в хирургический корпус.

Но вот и практика, и самостоятельная работа, и условия неплохие (хотя, конечно, порядочная дыра), — а рвутся молодые врачи с этой работы «куда угодно». Главным образом потому, что они ничем не могут помочь своим больным. Видят же: и несправедливости сколько угодно, и голод. Они проходят здесь школу бездушия, школу безразличия: делай свое прямое дело и ни во что не вмешивайся. Врачу, конечно, трудно совместить этот принцип с принципами своей профессии. Но некоторые привыкают, остаются здесь навсегда, становятся сами такими же, как начальство, как офицеры. Ну вот хоть эта Шимканис. И таких, как она, много, особенно в самих зонах.

Но вот наши хирурги были совсем иными — и начальник отделения Заборовский, и врачи Кабиров и Соколова. Они и с больными поговорят, и сквозь пальцы смотрят на то, что поздно вечером мы, санитары, собираемся в процедурной. Сколько раз наши врачи ходили к начальнику больницы, добивались, чтобы нам выписывали больше дров! Соколова — так та в морозы не велела мне топить ее кабинет, сидит там в шубе, — чтобы больше дров осталось на палаты, чтобы больным теплее было. По сути, это и все, что могли сделать для нас врачи, помимо лечения. Еще характерно, что у них не было этого высокомерия вольных по отношению к экам. Наш фельдшер Николай был заключенный, двадцатипятилетний, у него был большой опыт, — так наши молодые врачи всегда с ним советовались, его диагнозы считались самыми правильными.

Здесь мне снова пришлось близко столкнуться с «членовредителями», с татуировщиками, с неудачниками-самоубийцами. Чуть не каждый операционный день — какая-нибудь операция на желудке, вырезают то, что проглотил эк.

Я не стану рассказывать о каждом подробно — это было бы повторение того, что я видел во Владимире:

крючки из колючей проволоки, куски стекла, согнутые носики от чайников...

Из психиатрического корпуса привели молодого прибалта. Я с ним познакомился еще раньше, когда в первый раз лежал в больнице. Тогда он отрезал себе ухо. Рану зализали и поместили его в психиатрический корпус. И вот теперь, когда ему оставалось всего несколько месяцев до освобождения, он отрезал себе второе ухо, проглотил ложку, куски колючей проволоки. Его оперировала Соколова, а месяца через два после операции он снова оказался у нас: проглотил шахматные фигуры, целую партию, и белые, и черные, кроме двух коней. У него до освобождения оставалось дней сорок. Не знаю, был ли он помешанным. Я с ним часто разговаривал, и он производил впечатление вполне нормального человека — во всяком случае, гораздо более нормального, чем многие эки в зоне, которые считались здоровыми. Этот прибалт был сыном священника, грамотным, начитанным парнем. Он и в больнице много читал. Операцию снова делала Соколова; шахматы, добытые из его желудка, выпросил Сенник. Мы с ним хранили этот музейных экспонат — играть ими все равно было нельзя — не хватало двух коней.

Встретил я еще одного старого знакомого — Бориса Власова, того, который пришел в нашу камеру во Владимирке на костылях. Тогда Бориса вскоре перевели из тюрьмы на спец, и все это время он был на спецу. Его привезли в полосатой одежде, положили в палату-камеру для «полосатиков». Он на спецу весь искололся — и грудь и лицо, все те же обычные изречения: «Раб КПСС» и тому подобное. В нашем корпусе у него вырезали татуировки; он у нас лежал недолго, как только раны стали подживать, его перевели в терапевтический; уж как он не хотел туда! Только в нашем корпусе «полосатики» жили сравнительно свободно, гуляли по коридору, разговаривали с другими эками; в других корпусах их держали строго по инструкции: в палате-камере, под замком.

Однажды привезли молодого парня из зоны. Сидя в БУРе, он проглотил несколько ржавых гвоздей, две ложки, куски колючей проволоки. Он знал, что как только оправится после операции, его снова отвезут и посадят в БУР. И вот после операции, едва придя в себя, он сорвал все повязки и разорвал шов на животе. Пришлось зашивать снова. И он лежал связанный, привязанный к койке, пока не заросли швы. Конечно, потом его увезли в БУР. Там он раздобыл

лезвие, располосовал себе живот и снова попал к нам, снова его пришлось привязывать к койке...

Все это обычные, будничные истории, к ним привыкли и эски, и врачи, и начальство. Но вот одна из наших медсестер (сестры у нас были вольные) поехала в отпуск в дом отдыха. Она там не говорила своим соседкам, что работает в лагере, говорила, что просто медсестра в больнице. Но она рассказывала им, как это водится на отдыхе, всякие случаи из своей практики — у одного больного из желудка вынули ложки, у другого гвозди, шахматы, стекло... И после этих ее рассказов соседки по дому отдыха решили, что она ненормальная, что у нее расстроенная психика, ее даже побаивались. После отпуска она рассказала об этом нам — мы вечерами собирались поболтать в процедурной. И после ее рассказа мы вдруг по-иному увидели все, что нас окружает, — всю дикость, всю фантастичность этой обстановки, всю неестественность этих обычных для нас историй, этой больницы за колючей проволокой, под охраной автоматчиков на вышках.

ЛЮБОВЬ

Раньше наша и женская больничные зоны были рядом, их отделяла только запретка — деревянный забор, ряды колючей проволоки и вспаханная полоса. Можно было не только видеть женщин, но даже перекинуть записочку. Но и потом, когда женскую больничную зону перевели дальше от нас, наши санитары и больные ухитрились поддерживать с женщинами связь. То мы, санитары, носим женщин с операции и на операцию, то сестры от нас несут больничное белье в автоклав в женскую зону — записочку можно всегда передать. Начальство жестоко преследует заключенных за связь с женщиной. Если обнаружат записочку и доищутся автора и адресата — карцер обеспечен всем троим: и обоим «состоящим в связи», и тому, кто передает записку — «ксиву». А если передаст сестра — сразу увольт.

Не совсем понятно, почему эти платонические отношения вызывают у начальства такую ярость и возмущение — то ли им чудится нечто большее, чем есть на самом деле, то ли из зловредности (нельзя же допустить, чтобы у эска была хоть какая-то радость!), то ли просто из-за нарушения инструкции. Но никакие запреты и преследования не могут остановить мужчин и женщин, на много лет лишенных естественного общения друг с другом. И вот возника-

ет эта запретная лагерная связь, бумажная любовь, которая длится иногда неделю, иногда годы. Начинается со знакомства («я такая-то», — часто первую записочку передает кому-нибудь наугад). Ну, а потом — и признание в любви, и мечты о встрече, иногда и фотокарточку удается передать. И вот эзк в мечтах обнимает уже не вообще женщину, а свою Надю или Люсю, она ему говорит, что любит, говорит нежные слова, а он ждет новой записки, волнуется, — не разлюбила ли, не нашла ли другого... Забываются зона, проволока, одиночество, остается только разлука с любимой... Иногда, очень редко, конечно, эта лагерная любовь сохраняется и после освобождения.

У Николая Сеника была такая «возлюбленная», звали ее Люба, была она фельдшером в женской больнице. И Люба и Николай работали в больнице давно, лет пять. Они познакомились, когда еще женская зона была рядом с нашей, передавали друг другу записочки, издали видели друг друга. Николай знал, что у Любы на воле муж, ребята даже видели его (он приезжал к ней на свидание), говорили, что симпатичный парень. Сам Николай был одинокий: жена оставила его, вышла замуж за другого. То, что Люба замужем, не мешало ей и Николаю любить друг друга. Ведь это были две разные жизни: воля, муж, свидания с ним раз в год, — и зона, записочки, мечты о встрече. Неизвестно, какая из этих двух жизней — реальность, а какая существует только в воображении.

Когда женскую зону перевели, Николай и Люба продолжали переписываться через сестер. Теперь им иногда даже удавалось увидеться, ведь наши санитары носили женщин на операцию. Впервые они увидели друг друга вблизи, впервые могли поговорить. Николай всегда старался сам ходить с носилками в женскую зону, чтобы лишний раз перекинуться с Любой словечком. Мы, как могли помогали ему: дежурили вместо него в операционной, старались подольше провозиться с носилками в женской больнице, отвлечь внимание надзирательницы. Иногда Николаю и Любе удавалось даже остаться на две-три минуты наедине.

Незадолго до освобождения Любу оперировали: у нее разрезали венозные сосуды на ноге. Она сама пришла к нам на операцию. Санитарки подыскали ей рубашку получше — без дыр, по размеру. А Николай заранее приготовил ей самый подходящий халат и тапочки по ноге. Халат он сам и стирал, и выгладил. На операцию он не пошел, чтобы не смущать Любу, и попросил подежурить ме-

ня. Врачи знали об их любви, и Кабиров, который оперировал Любу, разрешил ей лечь на стол в трусиках — обычно ведь рубашка на больных прямо на голом теле.

После операции Николай вместе со мной отнес ее в женскую больницу. Они по-прежнему писали друг другу письма, но уже недолго: Люба вскоре освобождалась, и мы с Николаем вместе написали ей последнее письмо — прощальное...

Мне тоже предлагали познакомиться с какой-нибудь зэчкой («женить»), только я не захотел, зная, что недолго пробуду здесь, придется возвращаться в свою зону.

Не только в больничной — в любой зоне крутят бумажную любовь, особенно если мужская и женская зоны в одном поселке. На одиннадцатом знакомства завязались, когда наша строительная бригада работала в женской зоне; зная, что связь прервется, как только строители закончат работу, наши женщины и зэки заранее договаривались, как переписываться дальше: через родных, через больницу...

А какие ссоры, скандалы, даже драки случались из-за любви! Вдруг становится известным, что одна зэчка пишет сразу двоим-троим или, наоборот, зэк переписывается с одной, а ее подруга стала писать ему же, «отбила», — слезы, отчаяние, ревность...

Конечно, случается и более «материальная» любовь: в зоне же бывают женщины-служащие, медработники, учительницы в школе. Многие заключенные ходят в школу только для того, чтобы смотреть на женщин-учительниц, но это все-таки не любовь, на одну учительницу смотрят сразу многие, она как бы принадлежит им всем.

Ну, а бывает, что зэк сойдется с какой-нибудь из женщин, работающих в зоне, — уж не знаю, где и как они находят такую возможность. Иногда эта связь по взаимному влечению, а иногда и за подарок какой-нибудь. Один наш зэк сошелся с вольной, подарив ей часы. Только-то и всего. Самое тут примечательное, что вольные женщины в зоне — это обычно дочери и жены офицеров и надзирателей.

Но большинство заключенных весь срок — пять, десять, пятнадцать, двадцать лет — живут безо всякой любви, и без бумажной, и без настоящей. Из-за этого в бытовых лагерях, среди уголовников, процветает гомосексуализм. Этим занимаются почти поголовно все бытовики, несмотря на то, что гомосексуализм преследуется по закону. Поймают за этим делом — могут дать новый срок; но ведь всех не посадят. Помню, когда я был в Караганде, в

Степном, у нас там всех гомосексуалистов — известных, пойманных на этом — согнали в один барак на сто восемьдесят человек, пытаясь таким образом отделить их от остальных. Сто восемьдесят человек — это только пойманных и только тех, кто в паре шел за женщину. А те, кто исполнял роль мужчин, и за гомосексуалистов не считались. Первых все презирали, вторые ходили в героях, хвастаясь своей мужской силой и своими «победами» не только друг перед другом, но даже и перед начальством. Я слышал однажды, как Воркута, известный всей зоне передаст, стоя вместе с одним начальником отряда, говорил ему про другого отрядника (тот как раз проходил мимо): неплохо бы, мол, его употребить так-то и так-то; оба при этом с удовольствием смаковали подробности. Это уже было не в уголовном лагере, а в политическом...

Вообще, гомосексуализм проникает и в политические лагеря — вместе с попадающими сюда уголовниками. Но положение педерастов здесь совсем другое, чем в бытовых лагерях. Их презирает вся зона, зато любит начальство. Если кого ловят за этим занятием, то не отдают под суд, а только грозят судом и оглаской — таким образом шантажируют, вербуют из них армии стукачей и провокаторов. Правда, проку от них начальству немного: в политических лагерях передастов мало, они все наперечет, заключенные знают их лучше, чем начальство, и стараются не общаться с ними. Я знал нескольких педерастов: во Владимире, а потом и в Мордовии был такой Субботин (тот, который домино съел), еще Юрка Кармалов, парень по кличке Любка, — передаст со времени Беломорканала, вот этот знаменитый Воркута. Это все были подонки из подонков, циники, матерщинники. Впрочем, в сквернословии с ними могли соревноваться надзиратели и служащие лагеря, и неизвестно, кто кого обогнал бы. Раз Воркута вступил в такое соревнование с нашим цензором. Воркута стоял в очереди за бандеролью и вот как загнет в три этажа! Цензор, видно, решил показать, что тоже не лаптем щи хлебает, тоже кое-что умеет — и отозвался еще похлеще. Воркута — в Бога, в душу, в мать; цензор так же. Слушать это со стороны — я тоже стоял за бандеролью — было и смешно, и дико...

Конечно, женатые зэки — дело другое, им не нужна бумажная любовь. Они живут памятью о семье, письмами, к ним раз в год приезжает жена на свидание. Но КГБ и лагерная администрация стараются использовать право зэка на свидание как еще одно средство давления, средст-

во, порабощающее заключенного. Сначала, еще во время следствия и вскоре после него, жену пытаются уговорить отказаться от мужа-преступника; некоторые жены отказываются сами: неприятности, хлопоты, поездки, надо растить детей, а ждать-то десять-пятнадцать лет. Жена одного моего лагерного знакомого потребовала не только развода с мужем, но и лишения его прав отцовства. Закон шел навстречу таким требованиям даже тогда, когда обычный развод был у нас осложнен многими формальностями. Разводили, лишали права отцовства безо всякой волокиты, не спрашивая ничего у мужа-заключенного. Мой приятель спросил: мол, как же так, его развели с женой, отняли у него детей без его согласия (тогда еще для развода требовалось согласие обеих сторон). Ему ответили:

— Вы изменили родине (он был осужден по этой статье) — тем самым, значит, изменили и жене, вот она и отказалась от вас.

А если жена не отрекается от мужа, ездит к нему на свидания, — с ней перед свиданием проводят беседу, чтобы она воздействовала на мужа, уговорила его отказаться от своих убеждений, отказаться от лагерных друзей, сотрудничать с администрацией. За это обещают свидание на полных три дня, посылку, обещают облегчить участь мужа. Зато «строптивым» заключенным, упорствующим в своих убеждениях, сокращают свидание до двух суток, до суток, до суток с выводом на работу (т.е. дают свидание всего на шестнадцать часов), находят любые предлоги для того, чтобы вообще лишиться личного (без присутствия надзирателя) свидания, единственного в году.

Холостые ребята — а их теперь немало в политических лагерях, в последние годы в лагеря попадает все больше молодежь — очень страдают без женщин. Бывает так: на воле парень жил с какой-то девушкой, как муж с женой, только брак не зарегистрировали. И вот его посадили, а она не может приехать к нему на свидание, даже на общее, потому что лагерная администрация признает только узаконенные, проштампованные загсом браки. Правда, могут разрешить свидание, если незаконная жена раздобудет справку из сельсовета или райсовета о том, что она фактически сожительствовала с таким-то. Хоть это и унижительно для женщины — просить такую справку, все же многие идут на унижение, чтобы повидаться со своим возлюбленным. И даже, бывает, незнакомые девушки, сведя знакомство в письмах, приезжают на свидание со своими заочными друзьями с такой справкой — если

удастся получить в сельсовете (а сельсовету куда деваться, почему там знают, кто с кем живет).

Говорят, что еще недавно, года за два до моего приезда в Мордовию, недостаточно было свидетельства о браке или справки из сельсовета. Тогда говорили мне ребята, женщина должна была предъявить еще справку из вендиспансера — что она не была больна венерическими заболеваниями. Бывало, муж пишет жене: «Дорогая, мне разрешено свидание, приезжай, только вот прихвати еще справочку от врача, что у тебя нет сифилиса или гонореи...» (Жена, конечно, в слезы: «У нас дети, я тебя жду, а ты мне не веришь!» — «Я-то тебе верю, милая, это мой начальник тебе не верит».)

Особенно забавно было, что если жена — член партии, то свидетельства, что она не больна венерической болезнью, не требовалось, вместо него она могла предъявить партбилет. У нас возникало множество вопросов: нужна ли справка кандидату партии? Требуется ли справка от вендиспансера при вступлении в партию? Если нет — то установлено ли наукой, что само вступление в партию очищает, излечивает от сифилиса, подхватившего еще раньше?.. Словом, шуток на эту тему хватало.

Я уже этого правила не застал. В мое время довольно было свидетельства о браке или справки от сельсовета. Я написал про это одной своей знакомой, и вот в 1964 году она, добыв в селе нужную справку, приехала ко мне на свидание. За мной в это время не числилось никаких грехов, и дали три дня; бригадир не вызывал меня в эти дни на работу. Мне повезло: за шесть лет заключения я пробыл три дня с женщиной.

Больше я ее не звал: зачем ей связывать свою жизнь с эзком, что ей за радость приехать раз в год, чтобы пробыть со мной три дня?

ДУРДОМ

У нас на третьем, кроме терапевтического и хирургического, есть еще и психиатрический корпус — все его называют «дурдом»: «дурацкий дом», что ли, или «дом дураков». Словом, дурдом. О сумасшедших, о психбольницах на воле какие только страсти не рассказывают! Меня разбирало любопытство: хоть и страшно, а так и тянет самому поглядеть на психов вблизи. Тем более, что всякому легко: посмотришь на дураков и возвышаешься в собственных глазах — они дураки, а я умный. Правда, я слышал,

что в сумасшедший дом иногда упекают совершенно здоровых людей, чем-нибудь не угодивших властям. Ну, а все-таки дурдом есть дурдом...

Я пошел в гости к санитарам психкорпуса. Корпус отгорожен от остальных высоким забором. Звоню у калитки, открывают. С опаской вхожу во двор. По двору прохаживаются эки-больные, мирно беседуют. Может, тихопомешанные, только слегка чокнутые? Я прошелся по всему корпусу, обошел все камеры — везде такая же картина. Читают, играют в шахматы, тихо разговаривают. Санитары смеялись надо мной, что я ищу здесь сумасшедших:

— Ты что, сам чокнулся, что ли? Не знаешь, где психи? В зоне не видел?

Я вспомнил, что, действительно, и в зоне, и во Владимире в общей камере встречал настоящих душевнобольных, даже буйных. Некоторые просто отравляют остальных и без того не сладкую жизнь: шумят ночью, что-нибудь выкрикивают, воют, воруют продукты, скандалят, дерутся; есть даже такие, что ходят под себя, а потом едят свои испражнения. Сколько мы ни жаловались начальству, просили убрать их, изолировать от здоровых, нам отвечали обычно:

— Не ваше дело, не вы здесь распоряжаетесь. — Или в лучшем случае: — Куда мы их денем? Не домой же к себе брать?

— Неужели же тут все нормальные? Ни одного настоящего психа нет? — спросил я у знакомого санитаря. Он объяснил мне, что бывают и настоящие, но их здесь долго не держат и отправляют обратно в лагерь. Иногда таких отправляют в Москву, в институт Сербского, на экспертизу. Там их чаще всего признают нормальными и дают администрации санкцию обращаться с ними, как со здоровыми. Если они подследственные, другое дело — в институте Сербского могут признать душевнобольным любого человека, с самыми незначительными отклонениями в психике и даже совсем здорового — если это только потребуется КГБ.

Я потом часто заходил в «дурдом», да и наши «дураки», втайне от администрации, гуляли по всей зоне, хотя это строго запрещалось. Санитары не боялись выпускать их: они знали, что от своих больных нечего ждать неприятностей. Среди «дураков» я встретил несколько знакомых. В первый же раз, как я пришел туда, я был поражен, узнав в одном из больных зэка, знакомого еще по десятому, — того самого, который сцепился с капитаном Васяе-

вым в памятный мне вечер нашего неудавшегося подкупа. Мне рассказывали другие ээки, что он вступал в дискуссии не только с офицерами-воспитателями, но и с приезжими лекторами — и всегда ставил их в тупик своими вопросами и доводами. Заключение слушали эти дискуссии с огромным интересом, начальство злилось. Сколько раз его сажали за это в карцер — а он все не унимался. Мы разговорились с ним, вспомнили тот вечер, общих знакомых, Булова — он его хорошо знал. Я осторожно спросил его, как он угодил в «дураки». Он посмеялся над моим смущением и сказал, что здесь таких, как он, много: начальству гораздо спокойнее, когда они в дурдоме, а не в зоне.

Здесь же был и Коля Щербаков — без обеих ушей, весь синий от наколотых по всему телу и лицу лозунгов и изречений. Встретился мне и один настоящий сумасшедший, прибалт Нурмсаар; я знал его на семерке, одно время жил с ним в одной секции. Держался-то он более или менее спокойно, больше неприятностей причинял себе, чем окружающим. Бывало, не идет на работу, надо к вахте на развод, а он пошел себе в другую сторону. Остановишь его: «Нурмсаар, куда ты? На работу надо!» — а он как не слышит, смотрит мимо. Несколько раз наш отрядный Алешин выписывал ему по пятнадцать суток карцера за невыход на работу. Теперь вот его привезли в дурдом — правильно, конечно. Можно ли его гонять на работу и спрашивать норму, как со здорового? Я подошел к нему, чтобы порасспросить о своих друзьях с седьмого. Но он, похоже, совсем не понимал меня, а может, даже и не узнал. Так, ничего не добившись от него, я и отошел. Позднее, уже на воле, я слышал, что Нурмсаар снова в зоне и снова сидит в карцере.

Самое большое впечатление произвела на меня одна встреча. Я пошел, как это полагалось, встречать очередной этап — отбирать и вести больных в хирургический корпус. Смотрю — среди вновь прибывших мой хороший знакомый, Март Никлус. Он дружил с моими друзьями Генкой Кривцовым и Толиком Родыгиным. Их всех троих посадили в БУР за невыполнение нормы, но вся зона знала, что их заперли на камерный за «строптивость», за то, что они отстаивали вслух свои убеждения. Я знал, что срок БУРа у них еще не кончился, и тем более обрадовался Никлусу и тому, что он вырвался из БУРа в больницу (это бывает очень редко, обычно говорят: «Вот отсидишь свой срок, потом будешь лечиться»), и тому, что узнаю новости о друзьях. Март передал мне приветы от Генки и тетки, я рассказал ему коротко о жизни на

третьем, чтобы помочь ему сразу сориентироваться. Потом спросил, что с ним, как это ему удалось попасть из БУРа в больницу. И хоть я уже ко всему привык, но был просто поражен его ответом:

— Да ведь я теперь сумасшедший, вот — привезли в дурдом.

Эта новость просто не укладывалась у меня в голове. Март объяснил, что он в БУРе объявил голодовку в знак протеста против голодного режима. Ему пригрозили, что, если он не снимет голодовку, его запрут в сумасшедший дом; вот и отправили.

— Буду теперь, — говорил Никлус, — жить среди таких же дураков, как и сам.

Никлус иногда тайком приходил к нам в корпус. Мы вчетвером — он и два наших санитаря, земляки Никлуса, Карл и Ян, — проводили вечера в разговорах. Пробыл он на третьем около месяца, и его снова отправили в БУР — досиживать срок. А когда кончился срок БУРа, всех троих, и Никлуса, и Родыгина, и Кривцова, «судили» и отправили на три года во Владимир. Никлуса скоро освободили, совсем выпустили; а Геннадий и Толя и сейчас сидят во Владимирской тюрьме.

Как интересно получается: один и тот же человек оказывается то здоровым, то ненормальным, то снова здоровым — по воле начальства. Никлус, например, считался здоровым, от него требовали выполнения нормы и соблюдения режима; объявил голодовку — стал сумасшедшим, попал в дурдом; потом снова оказался в БУРе, потом его судил лагерный суд, уже как здорового, за то же самое, за что он отсидел уже шесть месяцев в БУРе; объявил бы он голодовку во Владимире — тоже, снова считался бы психом.

А вот другой случай: однажды на третьем надзиратель задержал около библиотеки больного из психокорпуса (им ведь запрещено выходить со своей территории). Этот больной был признан ненормальным в институте Сербского; думаю, что он и на самом деле был чокнутый. Тем не менее надзиратель потащил его в карцер за нарушение правил. Больной вырвался, побежал, надзиратель догнал его, схватил, зэк стал отбиваться — и в потасовке сорвал с надзирателя погон. Об этом составили акт. Но пока дело касается сумасшедшего, его нельзя судить. И вот нашего психа через несколько дней объявляют здоровым, отправляют в лагерь, а там месяц спустя судят — за сопротивление представителю охраны, за нанесение телесных

повреждений, за то, что сорвал погон. Судят больного и только для того, чтобы устроить всех, чтобы другим неповадно было. Ему добавили срок до пятнадцати лет; хорошо еще, что не расстрел!

СТЫЧКА С «ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ»

В конце февраля, в один из этапных дней, мы с Карлом Кивило отправились в приемный покой, встречать хирургических больных. Пошли налегке: в тапочках, без шапок, без рукавиц, даже телогрейки не надели; руки в карманы, носилки зажали под мышками и бегом. Хотя мороз был ниже тридцати градусов, мы не боялись застыть: от нашего корпуса до приемного покоя одна минута ходу. Прибежали — а лежачих больных двое. Значит, надо еще одни носилки. Кивило остался принимать больных, а я отправился за носилками. Выскочил на крыльцо и на секунду остановился — куда кинуться? — в нашем корпусе только одни носилки. Оглядываюсь и вижу, какой-то офицер у вахты машет мне рукой, манит меня к себе. Вот, думаю, незадача, понадобился я ему зачем-то в такой мороз. Но бегу, нельзя не пойти. Руки держу в карманах, ноги хлябают в одних тапочках, и, чувствую, пальцы уже прихватывает морозом. Подошел. На офицере теплая шинель с погонами старшего лейтенанта, уши ушанки опущены, но не завязаны, валенки, меховые рукавицы, под шинелью, видно, тоже что-то теплое. Лицо незнакомое; правда, мы на третьем мало кого знали из начальства и охраны, они к нам редко заходили, и слава Богу. Офицер шевелит губами — что-то говорит негромко, обращаясь ко мне. Я говорю:

— Пожалуйста, говорите погромче, я плохо слышу.

Он как заорет:

— А, сразу и слышите плохо! Фамилия?!

— Марченко.

— Из какого корпуса?

— Из первого хирургического.

Пока шел этот разговор, я основательно промерз: ведь на мне одна бумажная куртка на нижней рубашке, тоже бумажной; и почти босой. Я ужасно разозлился. Что же он, не видит, что я совсем раздет, держит меня на морозе? А он кричит мне:

— Почему руки в карманах?! Забыли, как надо разговаривать с начальством? Это правило и для глухих тоже!

Я до того опешил, что не нашелся, что отвечать. А он кричит без передышки:

— Что это вы все прыгаете, дергаетесь?! Не можете спокойно постоять, когда с вами говорит представитель лагерной администрации!

Я молчу. Он снова:

— Почему вы молчите? Вы обязаны отвечать, раз вас спрашивает представитель лагерной администрации! Выньте руки из карманов, станьте, как положено! Почему не подчиняетесь? Почему не отвечаете на вопросы?

— Потому, что ваши вопросы дурацкие! — ответил я зло, стуча зубами от холода.

Он вытаращил на меня глаза. Но тут же, опомнившись, крикнул на вахту надзирателям, чтобы меня отвели в карцер.

— Мы еще с вами разберемся, потолкуем в другом месте! — бросил он мне с угрозой.

Я был рад уже тому, что можно двинуться с места, идти в помещение, пусть хоть в карцер, все же не на улице, на морозе стоять.

Пока мы стояли с надзирателем у калитки забора, окружающего карцер, и ожидали, чтобы ее отперли, я думал, что совсем заоченею. Вошли. Обычная процедура — раздели догола, обыскали, велели одеться и втолкнули в камеру. Камера маленькая, на двоих, шириной в большой шаг, длиной метра в два с половиной. От стены к стене, низко, у самого пола, сплошные нары; маленькое оконце, в углу — параша. Над дверью сквозная ниша с лампочкой. Холодина такая, что ни сидеть, ни лежать — замерзнешь. Стекла в оконце не замазаны, в щели дует. Я стал топтаться на свободной от нар площадке: шаг от двери до нар, шаг вдоль нар от стены до стены — и снова тот же круг. Скоро я заметил, что время от времени сквозняк усиливается, ну просто так и прохватывает ледяным ветром. Это когда в коридоре открывали дверь, тянуло сквозь все щели в окно, ниша-то была сквозная из камеры в коридор. Я из-за глухоты не слышал, как хлопала дверь, но видел, как вздрагивают стекла в раме.

В обед мне дали миску чуть теплой баланды, а часа через два пришел надзиратель и повел меня в кабинет начальника режима. Там за столом сидел тот самый офицер. Его ушанка и рукавицы лежали на столе. Он предложил мне сесть и предложил надзирателю выйти.

— Почему вы себя так ведете? — задал он мне первый вопрос.

— Как именно?

— Вы ведете себя, как прохвост!

— А вы ведете себя, как фашист.

Офицер привскочил:

— Я советский офицер! Как ты смеешь называть меня фашистом?! Знаешь, что тебе за это может быть?

Я сказал, что только фашисты могли специально морозить людей, что он-то сам был одет тепло (я показал на его шапку, рукавицы, на валенки и шинель), а меня, почти совсем раздетого, в одних тапочках, без шапки, без бушлата, допрашивал на морозе, да еще заставлял вынуть руки из карманов, стоять смирно, не шевелюсь. Ведь я из-за мороза переступал с ноги на ногу.

Офицер немного поуспокоился и даже стал как будто оправдываться.

— Надо было подчиниться, вынуть руки из карманов, тогда бы ничего не было. А так вот получите трое суток карцера. Скажите еще спасибо, что в больнице; в зоне получили бы все десять или пятнадцать.

Потом он стал спрашивать, за что сажу, сколько дали, где судили.

— Наверное, студент, да? — спросил он и, не дождавись ответа, продолжал нравоучительно:

— Вот вы, молодежь, и чего только лезете в политику? Ведь ни в чем не разбираетесь, а лезете, вот и сидите в лагерях. Учились бы себе, надо вам во все вступать!..

Я не стал с ним заводить дискуссию на эту тему, а только спросил:

— А зачем вы меня к себе подозвали на морозе? Специально, чтобы придраться к чему-то и посадить в карцер?

— Вот вы опять ведете себя вызывающе, — грустно сказал он. — Я вас подозвал потому, что заключенным не полагается находиться около вахты, когда прибывает этап.

— Так ведь я санитар, около вахты был по делу, моя обязанность принимать больных.

— Почему же вы мне этого не сказали?

— Вы же меня об этом не спрашивали.

— Ну теперь поздно разбираться. Отсидите свои трое суток, подумайте, может, потише будете, не станете дерзить представителю лагерной администрации.

Меня отвели в мою камеру, и я занялся делом. Вылил воду из миски в парашу, оставив чуть-чуть на дне, наколупал со стены штукатурки, размял в воде — получилась густая каша. Я замазал этой самодельной замазкой все щели в раме, обмазал по краю все стекла. Хорошо, что в камере было маленькое окошко! К вечеру работа была закончена. Теперь

от окна не дуло, даже когда в коридоре открывали дверь. А позднее стало совсем хорошо: пришел ээк-дневальный и затопил в карцере печь. Тепло теперь не выдувало, и можно было спать до самого утра, пока печь не остыла. Хоть и на голых нарах, но не замерз. Только к утру снова похолодало, и я мерз до следующего вечера. Все же карцер в больнице намного лучше, чем все остальные карцеры в зонах!

СНОВА В ЗОНУ

Пока я был на третьем, политических с седьмой зоны, откуда я приехал, перевели на одиннадцатый. Седьмую зону заполнили уголовниками. Скоро до нас стали доходить слухи о безобразиях, которые там начались. Уголовники изнасиловали нескольких женщин-служащих, кассиршу, дочь одного начальника отряда, тоже работавшую в зоне. К нам на третий привезли двоих с семерки, — они перепились там ацетоном. Трех удалось откачать на месте, а двоих замертво отправили в больницу, но не довезли, они скончались дорогой, так что прибыло два трупа. Начальство теперь взывало: как хорошо, как спокойно было работать с пятьдесят восьмой статьей (нас, политических, по привычке называют до сих пор пятьдесят восьмой статьей, хотя с 1961 года действует уже новый уголовный кодекс и все статьи перенумерованы).

Меня перевели из «больных» санитаром в штаб. Но я предчувствовал, что надолго здесь не застряну. Так оно и вышло: после конфликта с начальником режима Кецаем я угодил в карцер на трое суток. Когда я вышел из карцера, Николай сообщил мне, что меня уволили и назначили в ближайший этап.

Я уезжал с третьего в самом конце февраля 1966 года. Все-таки осень и зиму перекантовался, может, это меня и поддержало.

В день отъезда я пошел на вахту с вещами. Там уже обыскивали других этапников. Проходя через приемный покой, я увидел вновь прибывших: группа ходячих больных, двое на носилках. Один лежал укрытый до подбородка брезентом и поверх — бушлатом. И бушлат, и лицо у него были в крови. Наверное, кровавая рвота — либо язвенник, либо наглотался чего. Другого, лежащего на носилках, я сразу узнал, хотя вид у него был страшный: обросший весь, щеки втянуты, скулы торчат — он, как мне сказали, голодал в лагере уже дней двадцать, и вот теперь

его убрали из зоны в больницу. Я знал его еще во Владимире, это был тогда здоровенный парень, звали его Володя, а фамилии не помню уже. Глаза у него были открыты, я поздоровался с ним, но он не ответил, наверное, совсем ослабел.

Пройдя через приемный покой, я вошел в камеру, где ожидали шмона выписанные из больницы: тоже группа ходячих и трое на носилках, один старик-паралитик, другой молодой, тоже парализованный, третий — не помню, что было с ним. Их привезли на третий совсем недавно, недели две-три назад, и вот уже отправляли обратно: так же на носилках, как и доставили сюда.

Все пошло обычным порядком: тщательный обыск, дорога к поезду под конвоем, погрузка — снова возня с носилками, теснота и духота вагонзака, стоны, рвота у некоторых, остановка на каждой станции у зон; наконец, Явас.

Я прибыл на одиннадцатый.

ДУБРОВЛАГ

Суд окончен давно, и готовы бумаги.
Значит, нам суждено жить с тобой в Дубровлаге,
По сигналу вставать, дожидаться отбоя...
Дни неволи считать, дни неволи считать
суждено нам с тобою.
Здесь и днем, и в ночи мысли голову кружат.
Стиснув зубы, молчи, чтобы не было хуже,
И не мучай души сожаленьем напрасным, —
Это строгий режим, это строгий режим
для особо опасных...
Здесь порою часы, как недели, проходят,
Здесь свирепые псы, автоматы на взводе,
И колючкой не зря огорожены зоны, —
Это спецлагеря, это спецлагеря
для политзаключенных.
Не жалеешь ты, Русь, арестантской баланды!
Декабристов союз угодил в арестанты.
Чернышевский был там и Народная воля,
А теперь вот и нам, а теперь вот и нам
эта выпала доля.

Песня, 1966 г.

Я вернулся из больничной зоны в лагерь, но уже не на семерку, а на одиннадцатый. Здесь оказалось очень много эзков с седьмого, а больше всего меня обрадовала встреча с друзьями. Как повезло, что я попал туда же, где были Валерий, Коля Юсупов, Буров и другие мои старые знакомые! Лагерь тем еще страшен, что то и дело рвутся тесные дружеские связи. Если только начальство узнает о дружбе эзков, оно поскорее их разводит по разным зо-

нам. И тогда даже письмами не обменяешься, ведь переписка между зэками запрещена. Но вот нам повезло, мы снова оказались вместе.

Одиннадцатый был набит битком, первое время жили даже на чердаках — мест в бараках не хватало. Но друзья помогли мне устроиться, да и сам я уже не новичок в лагере. Меня зачислили снова в аварийную бригаду; я и не пытался доказывать, что мне с моим здоровьем и слухом невозможно работать на разгрузке, — доказывай, не доказывай, все равно бесполезно. Начальству виднее. Завтра, 28 февраля 1966 года, я уже должен выйти на работу.

Пока что мы с Валерием и Колей сошлись, чтобы обменяться новостями. Что пишут родные, как живут? Мой срок кончался через восемь месяцев, и с первого дня на одиннадцатом начали уже обсуждать, как я выйду, как буду устраиваться на воле. Тоже проблема не из легких, как будет с пропиской, с работой? Из-за потери слуха я не смогу больше никогда работать по своей специальности — буровым мастером. А в лагере я не мог получить никакой новой профессии. Видно, теперь и на воле придется идти в грузчики, просто нет другого выхода. Но как быть со здоровьем? Валерий настаивал, чтобы я первым делом занялся лечением. Ну ладно, впереди еще восемь месяцев, успею все обдумать, да и вообще там видно будет.

Мы поговорили о событии, которое занимало сейчас всех зэков-политических, — о процессе над писателями Синявским и Даниэлем. Первые сведения о нем застали меня еще на третьем, а теперь суд кончился, значит, скоро они будут в Мордовии. Один из них наверняка попадет к нам на одиннадцатый: подельников обязательно разделяют, сажают в разные зоны, применяют к ним разную тактику воздействия. Пока что мы не знали ни одного из них.

В лагерях зэки много спорили об этом процессе и о самих писателях. Вначале, после первых газетных статей, еще до суда, все единодушно решили, что это либо подонки и трусы, либо провокаторы. Ведь это неслыханное дело — открытый политический процесс, открытый суд по 70-й статье! Мы тогда еще не знали, но уже весь мир говорит об их аресте, и только поэтому наши не могли о нем умолчать. Наверняка эти двое будут плакать и каяться, думали мы, сознаются, что работали по заданию заграницы, что продались за доллары. Сколько ходит по зоне таких, как они, — но никого не судили открыто. Мы ожидали очеред-

ной суд-спектакль, где подсудимые послушно сыграют свои роли.

Но вот появились первые статьи «Из зала суда». Подсудимые не признают свою вину! Они не каются, не умоляют простить их, они спорят с судом, отстаивая свое право на свободу слова. Это было очевидно даже из наших газет; так же ясно было видно, что в статье искажают суть дела и ход процесса. Но последнее мало волновало нас, скоро все услышим от самих. Молодцы Синявский и Даниэль! КГБ впервые устроил суд не над подонками — и вот получил! Но в чем дело? Почему открытый, почему об этом пишут в газетах? Некоторые догадывались: не удалось сохранить дело в тайне от Запада. Ну, скоро узнаем.

Приговор мы определили сразу, с первого дня: Синявскому дадут семь, Даниэлю — пять. Как-никак, все у нас люди опытные. Немногие предполагали тюрьму, Владимир, а большинство было уверено — к нам. Но в чем все были единодушны, так это в одном: какой бы ни был приговор, КГБ потерпел на этот раз сокрушительное поражение. Главное, теперь весь мир узнал, что у нас есть политические заключенные. Хрущев на весь мир кричал, что у нас нет политических, что за убеждения у нас не сажают, — куда же теперь денут этих двоих? В отдельный лагерь, что ли!

Мы с Валерием и Колей поговорили об этом процессе: что думают на одиннадцатом? А что на третьем? Решили помочь на первых порах тому, кто попадет к нам. А не мы, так другие помогут, люди найдутся. Молодежь в особенности заранее относилась к этим писателям с уважением.

В первый же день состоялось знакомство с отрядным, капитаном Усовым:

— Ну, Марченко, надеюсь, вы одумались и стали на путь исправления. Вступайте в СВП, помогайте администрации, и мы поможем вам получить посылку, свидание с родными.

Я ответил, что почти весь срок отсидел и уж как-нибудь досижу оставшиеся восемь месяцев без посылок. Зато на воле смогу честно смотреть в глаза любому из нынешних попутчиков под конвоем.

— Марченко, у вас неправильное представление о чести и совести. Как вы будете жить на свободе с вашими взглядами?

— Да уж как-нибудь буду!

Назавтра отрядный снова вызвал меня, чтобы прочитать мораль о необходимости посещать политзанятия. Под конец он сказал:

— Вот вы, молодежь, всем недовольны, все вам не так. Вы бы здесь потрудились — так нет, за границу сбежать хотели.

— Ну, хотел бежать. А тех, кто открыто просит выезда, вы ведь не пускаете!

— Еще чего!

— А зачем тогда СССР подписал «Декларацию прав человека»? Там сказано, что каждый имеет право жить, где хочет, выбирать любую страну, где ему больше нравится. Подписали, а выполнять и не думают...

— Марченко, откуда вы знаете, что написано в «Декларации»? Где вы могли ее прочесть? Кто вам давал? Кто вам рассказывал, что в ней написано?

— Она опубликована в «Курьере ЮНЕСКО», и, хоть у нас мало кто добирается до этого журнала, вы, гражданин начальник, могли бы его достать, если захотели бы. Может, вы мне объясните, кстати, почему у нас в печати нигде ничего нет о содержании этой «Декларации»?

— Не знаю, я не в МИДе работаю, а в МВД (даже нестарые офицеры говорят не МООП, а МВД, по-старому, по-сталински). А вы зря думаете, что в Америке рабочим лучше живется, чем нашим. Не от хорошей жизни бастуют.

— А наши не бастуют, потому что хорошо живут?

— Конечно, тут и спорить не о чем.

Тут я привел Усову сравнение заработной платы наших и американских рабочих. Сколько у нас зарабатывают на строительстве, он знает, сам наряды подписывает — если без туфты, то рублей 70 начислят в месяц. А в Америке около 500 долларов.

— Откуда, Марченко, вам это известно? Кто вам рассказывал? Я, например, нигде об этом не читал.

— А я читал. Можете и вы прочесть в журнале «Мировая экономика и международные отношения».

— Но ведь доллары дешевле рубля?

— По курсу дешевле. А по реальной стоимости? При зарботке в пятьсот долларов американский рабочий может купить такой телевизор, как наш «Радий-В», за девятью девятью долларов. На одну зарплату пять телевизоров! А сколько телевизоров по триста шестьдесят рублей можно у нас купить на одну рабочую зарплату?

— Марченко, вы начитались буржуазной пропаганды и теперь заблуждаетесь!

— Где уж нам! Ваша лагерная цензура не то что буржуазную пропаганду, а от родной матери письма конфискует.

— Вы мне, Марченко, мораль не читайте. Не вы мой воспитатель, а я — ваш.

— Тогда вы, мой воспитатель (Усова тут перекосило), убедите меня, что я заблуждаюсь. Убедите меня, что наш рабочий живет лучше американского и потому не бастует, — вы же с этого начали.

— По-вашему, у нас рабочие мало зарабатывают, плохо живут. Ладно. А этим двоим, — он показал на старую газету со статьей о Синявском и Даниэле, — им чего не хватало? Может, тоже мало зарабатывали? Небось, у каждого по машине, как у министра! Но им все мало — продались за доллары и франки, работали на ЦРУ. Убеждения у них! Знаем таких!

— Гражданин начальник! Вам известно об их связи с ЦРУ? В газетах этого не было.

— Пока не было. Но будет! Не может не быть.

— Ну, увидим. И с ними познакомимся. Ведь их к нам привезут?

— Тут и знать нечего, я вам точно говорю, продались. А вы, Марченко, подумайте о себе. Одумайтесь. Ведь вас выпускать нельзя с вашими представлениями о советской действительности.

На том разговор и кончился. Такие беседы отрядный провел и с Валерием, и с Колей, и со многими другими зэками.

Дня через два после этих накачек прихожу я с работы в зону. Заглянул в секцию — Валерки нет. Я пошел в раздевалку переодеться. Туда заглянул наш Ильич — Петр Ильич Изотов: увидел меня и кричит:

— Привезли, привезли!

— Кого?

— Писателя привезли!

— Ну? И где он?

— К нам в бригаду зачислили, в твоей секции будет жить. Валерка повел его в столовую.

Я не спросил, которого из двоих привезли. Хорошо, что с ним Валерка, он все сумеет рассказать и показать.

Пока я переодевался, Валерка вернулся, а с ним парень лет тридцати пяти-сорока. Новичок, во всем своем еще, но видно — готовился к лагерю: стеганая телогрейка, сапоги, рыжая меховая ушанка. Телогрейка нараспаш-

ку, а под ней толстый свитер. В общем вид его показался мне смешным: телогрейка без воротника не вязалась с добротной шапкой, ноги он переставлял косолапо, как медведь, сильно сутулился, держался немного смущенно и растерянно.

Мы познакомились. Это был Юлий Даниэль. Да еще при разговоре он наставлял на меня правое ухо, просил говорить погромче. А сам говорил тихо. Я тоже поворачивался к нему правым ухом и отгибал его ладонью. Значит, коллеги — тоже глухой, как и я. Это нас обоих рассмешило.

Подошли еще наши бригадники, окружили новичка, стали расспрашивать про волю. То и дело в наш барак забегали поглазеть на Даниэля — знаменитость! Вопросы сыпались на него со всех сторон. Мы узнали, что процесс был только по названию открытый, а пускали туда по особым пропускам. Из близких в зале Юлий увидел только свою жену и жену Синявского.

— Я уверен, что друзья пришли бы, но их не пустили, — сказал он.

Большинство в зале были типичные кагэбэшники, но были и писатели. Некоторых Юлий знал по портретам, а кое-кого и в лицо. Одни опускали глаза, отворачивались; двое или трое сочувственно кивнули ему.

— Ну, а как ты думаешь, почему такая гласность?

Оказывается, Юлий думал так же, как кое-кто из нас: наверное, на Западе поднялся шум. Сидя в следственном изоляторе, он, конечно, ничего не знал, но кое-что понял со слов судьи и из допроса свидетелей.

— А в изоляторе был в своей одежде или дали тюремную?

— В своей, конечно. И под следствием и на суде.

— А в карцере сидел один?

— Только первые несколько дней. А остальное время вдвоем. Хороший сосед попался, мы с ним партий сто в шахматы сыграли...

Ишь ты, как Пауэрс какой-нибудь! Нас всех обряжали в тюремное с первого дня ареста. Меня все пять месяцев в одиночке держали, других тоже. А эти — ну да, их готовили для «открытого процесса».

— А что вы с Синявским писали?

— А машина у тебя есть? Какой марки — наша или заграничная?

— Той же марки, что и твоя.

Через комнату, где мы разговаривали, прошел капитан Усов. На ходу спросил:

— Новенький? Шапку и свитер сегодня же сдать в каптерку — не положено.

Юлий стал расспрашивать нас о работе. Его подбадривали, как и других новичков:

— Работа тяжелая, но не робей, привыкнешь. Не ты один, многие раньше ничего, кроме авторучки, в руках не держали, теперь лопатой орудуют — будь здоров. Вытянешь!

Больше, чем о себе, Юлий говорил об Андрее Синявском.

— Вот это человек! И писатель, каких сейчас в России, может, один или два, не больше.

Он очень беспокоился о друге: как-то он устроился в лагере, на какую работу попадет, не было бы ему слишком тяжело. Это нам всем, конечно, понравилось.

Хотя Даниэль обязан был выходить на работу завтра же, бригада договорилась в первые три дня не брать его, как и меня после Владимира. Пусть осмотрится в зоне. К тому же мы знали, что у него перебита и неправильно срослась правая рука — фронтовое ранение. Надо же — нарочно поставили на самую каторжную работу в лагере! Как он сможет со своей искаленной рукой поднимать бревна, кидать уголь? У начальства на то и был расчет: оглушить его этим адом, чтобы он не выдержал и попросился на более легкую работу. А тогда его голыми руками возьмешь: напишет и в лагерную газету, и выступит по радио, — а его поставят библиотекарем, врачи дадут третью категорию труда. Не через три недели, так через месяц — все равно этот интеллигент сломается. На суде не каялся — здесь покается. Узнает, почем фунт лиха.

Мы советовали Юлию терпеть, как ему ни будет тяжело, ни о чем не просить начальство. Да он и сам не собирался, готов был к трудностям.

Далеко не все зэки относились к Даниэлю доброжелательно. Некоторые настороженно ждали, как он поведет себя в лагере. А некоторые злорадовались:

— Пусть-ка погнуты вместе с нами! Знаем мы этих писателей, все они продажные, сами живут в тепле и сытости — вот и пишут про нашу райскую жизнь. Эти двое попались — так пусть здесь искупят свою подлинную вину.

Зэки очень злы на писателей. Ведь сколько раз читаешь и в газетах, и книгах о «перековке преступников честным трудом», о суровом, но справедливом начальнике-

воспитателе. А где про наш голод, про произвол, доводящий эзков до самоубийства?! Один Солженицын осмелился написать правду, да и то не всю. Все остальные — подонки, и из-за них, сволочей, режим в 1961 году усилили. Расписали писатели лагеря — спасибо им!

— Давай их, начальник, к нам в аварийку, мы им самые большие лопаты под уголек! — кричали наши уголовники Футман и Воркута еще до прибытия Юлия.

— Да как же, станет Даниэль у станка или лопатой ворочать! — говорили другие. — Он и здесь пристроится на тепленькое местечко, евреи везде устраиваются.

Мы уже знали из газет, что Даниэль — еврей. В лагере, как и на воле, хватает антисемитов, хотя и здесь одни евреи-эзки вкалывают наравне со всеми, а другие ищут непыльной работенки, тоже не отличаясь этим от эзков прочих национальностей.

Начальство своими «беседами» подогревало эти настроения, зная, что большинство эзков хорошо относятся к Синявскому и Даниэлю за их честную позицию на суде. Юлия сунули в аварийку еще и для того, чтобы скомпрометировать в глазах работяг, чтобы своей физической слабостью он сам подорвал свой авторитет.

— Держись, Юлька, держись из последних сил, — говорил ему Валерий. — Покажи всем, что тебя сломить не удалось.

Отношение Футмана и даже Воркуты к Даниэлю переменилось в первые же дни. То ли они переняли уважение других, а скорее всего, он сам расположил их к себе. Он ведь совсем простой парень, слава и знаменитость ничуть не вскружили ему голову. Он считает, что просто случайно стал известным, ему повезло больше, чем другим, таким же, как он. И еще то много значит, что он ко всем очень участлив и не равнодушен к чужим бедам. Скоро все убедились, что Юлька не ищет себе более легкой участи, чем у других. На разгрузке он вкалывал, как мог, конечно, делая меньше других. Где ему тягаться с такими, как Коля Юсупов. А уставал, намучивался он больше всех. Сказывалась и отвычка от физического труда — с войны после ранения ему не приходилось работать физически, — и больная рука.

Очень скоро у него начались боли в плече, там, где была раздроблена кость. Но Юлька и тут не пошел на поклон к начальству. Тогда мы в бригаде решили подобрать ему работу по силам. Такая работа у нас была: уборка лесобиржи. После разгрузки леса остается много

мусора — всякие доски, палки, мелкие бревна, растяжки, которыми крепят лес в вагонах. Дела хватает на всю смену, но не требуется большой физической силы. Самое большее — это приходится раскатывать крючком бревна, да и то небольшие. И по ночам не подымают, отработал смену — и спи. Вот мы и настояли, чтобы бригадир поставил Юльку на эту работу. Проходил он в уборщиках всего несколько дней. Об этом узнало начальство, и лагерное КГБ сразу приказало перевести его опять на разгрузку. И все-таки из их замысла ничего не получилось. Даниэль не обращался к ним с просьбой об облегчении, а все наши зэки помогали ему, как могли. Коля Юсупов, так тот просил бригадира в Юлькину очередь ставить его, Колю, но тот не решался: боялся начальства. Зато на угле, разгрузив свои люки, Футман, Юсупов, Валерий переходили к Юлькиному и помогали.

Наших бригадников стали вызывать в КГБ:

— Кто помогает Даниэлю работать?

— Все помогаем.

— Почему? Он что, сам не может? Отлынивает! Может, вы за него хотите и срок отбывать?

Один языкастый парень нашелся:

— А в моральном кодексе у вас что написано? Товарищеская взаимопомощь, человек человеку друг, товарищ и брат.

С этим кагэбисты ничего не могли поделать. Тогда они убрали Даниэля из нашей бригады, перевели в машинный цех, будто пошли ему навстречу, раз у него рука искалечена. Но ведь она покалечена не вчера, об этом знали с самого начала, а все-таки послали его на аварийку, заставили работать на разгрузке. Мы все понимали: дело не во внезапной доброте начальства. Просто не нравится, что зэки ему помогают. Да и какая там доброта? В машинном цехе и у здорового голова гудит от рева станков. А у Даниэля уши больные, и начальству отлично это известно, так же как и про руку. Кстати, на руку у станка тоже приходится порядочная нагрузка. Не такая, конечно, как на угле, но все-таки... Помочь здесь уже никто не может, у каждого своя норма.

Юлька продолжал дружить с нами. Хотя мы теперь жили в разных бараках, но по-прежнему держались вместе, кто что добудет — делили на всех. Теперь к нам пристроился и Футман. Он к Юльке больше всех привязался, опекал его всячески, даже ревновал к другим зэкам.

Сколько раз повторялась такая сцена: Юлька, лежа на своей верхней койке, читает, или пишет письмо. или сочиняет стихи. Кто-нибудь не из нашей компании входит:

— А где Даниэль? — К нему то и дело приходили спросить что-нибудь, рассказать о своей беде, просто потрепаться. Ему и отдохнуть не давали в первое время. Футман тут как тут:

— Кто потревожит Даниэля, будет иметь дело со мной! — Охотников на это не находилось.

Футман только не любит, когда вспоминают один из первых разговоров с Юлькой. Мы всей компанией стояли в коридоре у окна, а в барак то и дело заглядывал то один зэк, то другой. Посмотреть, познакомиться. Особенно забегали наши евреи. Футман и говорит:

— Ну, жидовское племя, забегали, б..., закрутились!

Юлька повернулся к нему:

— Не забывай, что я тоже еврей.

— Да мне один ..., кто ты есть.

Но только после этого разговора Футман при Юльке не говорил неуважительно о евреях.

Вообще, этот парень, подружившись с Юлькой, здорово переменялся. Был из уголовников уголовником, вечный зэк, что называется. В политику он влип, как и другие уголовники. Он на все и на всех плевал, всех крыл матом — и начальство, и зэков, ему море было по колено. При случае он, по-моему, не задумался бы и ножом пырнуть. Он и не собирался жить на воле. Теперь Футман стал куда спокойнее, стал много читать, задумываться о своем будущем. Он, может, впервые в жизни почувствовал к себе человеческое отношение. Начальству это очень не понравилось. Они вызывали то Юльку, то Футмана, пытались настроить их друг против друга, рассказывая каждому о другом всякие гадости. А когда им не удалось разбить эту дружбу, они перевели Даниэля в другой лагерь. Это было, когда я уже освободился. Я узнал об этом уже на воле.

Начальство раздражала не только дружба Даниэля с нами и Футманом. Его полюбили, пожалуй, все в лагере. Он невольно стал центром, вокруг которого объединялись разрозненные компании и землячества. То литовцы его в свой кружок зовут послушать песни, то ленинградская молодежь на чашку кофе, то украинцы почитать стихи. Раз в какой-то компании его угостили «мордовской особой» — лаком, который зэки пьют вместо водки. Валерий не советовал ему пить лак.

— Раньше, — говорил он ему, — ты мог напиваться хоть до потери сознания. А теперь не имеешь права, да и начальству незачем давать повод придираться.

Юлька очень уважал Валерия и прислушивался к его советам.

Прошло некоторое время, к Даниэлю привыкли, и он стал зэк как зэк, как все. Он нам рассказывал, как ехал в лагерь:

— Куда же, думаю, меня повезут? Как в песне поется: Куда, куда меня пошлют? С кем сидеть придется? Политических-то всех десять лет назад выпустили. Слышал я, правда, что одного киевского еврея посадили то ли за связь с Израилем, то ли еще за что-то в этом роде. Он да мы с Андриюшкой — трое; ну, может, еще десяток-другой наберется вроде того еврея. Наверное, посадят с уголовниками. Я уже прикидывал, как я с ними полажу. Вспоминал фронт — у нас в части были уголовники. А в Рузаевке-то, говорят, — тысячи политзаключенных. Здорово нас оболванивают, ничего не скажешь.

А еще смеху было, когда мы узнали, что он с собой взял.

— Жена, — говорит, — перед отправкой вещей на-несла вагон и маленькую тележку. Теплое, видно, все друзья собирали. У кого что было. меховые рукавицы — тестя лагерные; телогрейку, помню, ее товарищ надевал на обмеры; теплое белье — его у меня сроду не бывало. Ну и мое кое-что: свитер, шапка и единственный костюм, белая рубашка. Да валенки новые передала, сапоги вот. Куда мне столько? Я немного теплого отобрал, а еще взял костюм, ботинки, рубашку. В их лагерные времена зэки в своем ходили. А парадная одежда, может, пригодится в самодеятельности выступать, на вечере стихи прочесть. А тут, смотрю, полицаи на сцене поют «Партия — наш рулевой». И все как один в робах...

Мы хохотали, и Юлька вместе с нами. Теперь он лихо носит лагерную «кубинку», прикрывая ею бритую голову.

Он попытался возместить недостачу волос на голове усами, но усы у него выросли какие-то рыжие, пегие. Не понравилось, обрил.

Начальство стало донимать его не мытьем, так кантanjem. В июне 1966 года ему дали пятнадцать суток за «симуляцию и невыполнение нормы». И зэки, и администрация знали, что у него нагноилась старая рана, под гнойником оказался обломок кости. Врач не дал ему освобож-

дения, и тогда Юлька не вышел на работу, вот и угодил в карцер, отсидел пятнадцать суток. Вечером вышел, а утром новое постановление, еще десять суток, и опять все знают, что ни за что, просто допечь хотят. Некоторые эски протестовали по этому поводу. Я знаю, что, например, заключенный Белов написал протесты в ЦК и в Президиум Верховного Совета, требуя прекратить травлю политзаключенного Даниэля и оказать ему медицинскую помощь. Толку от этих протестов, конечно, не было, как и в других подобных случаях. Его продолжали донимать до самого моего освобождения: ни разу не дали полного свидания с женой, даже папиросы не разрешали взять со свидания. Но ведь это все по инструкции, так что и не поспоришь.

Нам всем было приятно видеть, что Юлий не из того теста, чтобы его согнуть. Он никогда ни на что не жалуется и ничего не просит для себя, зато всегда готов вступить за другого.

У нас на семнадцатом, как и в других больших зонах, есть своя санчасть: кабинет врача, аптека, лаборатория. Заболел — можешь обратиться к врачу. Вначале нас было до четырех тысяч эсков, а прием вела одна врачиха. Если она болела или еще почему-нибудь не выходила на работу, больных принимал муж начальницы санчасти, хирург местной вольной больницы. При санчасти стационар на двадцать пять коек. Коек восемь-десять из них постоянно заняты одними и теми же неподвижными паралитиками (теперь таких не «актируют», они так и умирают в зоне, эсками). Остальные койки обычно пустуют. Чтобы попасть в стационар, надо, чтобы тебя на носилках принесли чуть ли не без сознания. Так я туда и попал.

Числа семнадцатого марта нам поставили под разгрузку три вагона березового кряжа — полные вагоны толстых полутораметровых бревен. Выгружали вручную: кран, как обычно, простаивал. Бревна мокрые: сверху дождь со снегом. Кончили работу — постояли еще около часа на ветру у вахты, ждали конвой. Я продрог так, что и на койке под одеялом не мог согреться, меня всю ночь трясло. Ночью подали еще два вагона угля и три вагона такого же кряжа. Бригадир стал меня поднимать, а я не могу встать. Валерий говорит:

— Не трогай его, он болен, не видишь?!

Бригадир оставил меня в покое, но я знал, что утром еще придется объясняться с отрядным, и вполне возможно, что я уже заработал карцер.

Еле дождался утра, чтобы пойти в санчасть. Голову просто разламывало. Я попытался подняться с койки, но голова закружилась и меня вырвало. Я снова лег, авось пройдет, тогда я двинусь. Но становилось хуже с каждой минутой. Я уже не мог и пошевелить головой. Сразу сильное головокружение и рвота. Футман побегал в санчасть и привел нашу врачу. Она осмотрела меня и велела Футману и Валерию нести в больницу. Ребята положили меня на бушлат и понесли.

В этот день меня никто не смотрел. На другой день обход делал хирург из вольной больницы:

— Что болит?

Я даже говорил с трудом. Фельдшер-зэк объяснил, что меня принесли с головокружением и рвотой. А когда врач ушел, фельдшер сказал, что вызовут ушника из третьего лаготделения, а этот доктор лечить не может, не его специальность. Еще через два дня на обходе хирург повторил, что нужен ушник, что он обещал приехать, как только будет свободное время.

— А если у ушника не будет свободного времени? — съязвил мой сосед по палате. Прошло уже пять дней, как я лежал в санчасти, а меня и не думали лечить. Тем временем мне стало еще хуже, я уже не мог переводить взгляд с одного предмета на другой. Пока смотрю в одну точку — ничего, переведу взгляд — сразу головокружение и рвота. Около моего изголовья так и стоял таз: меня очень часто рвало. Хирург на каждом обходе говорил:

— Я ничего не могу сделать, я не специалист, ждите ушника.

Наконец, на шестой или седьмой день, приехал ушник, тот самый, который смотрел меня на третьем. Он держался со мной по-приятельски, расспросил, прописал какие-то уколы. Я спросил его:

— Доктор, что этим со мной?

— Ничего страшного, полежите немного, все пройдет.

Вечером фельдшер решил делать укол. Оказывается, ушник прописал уколы пенициллина, а сам же, помню, говорил мне на третьем, что на меня пенициллин не действует.

Три дня меня кололи, а лучше не становилось. Все это время я не мог ничего есть, мутило от одного взгляда на пищу. Выпью за весь день несколько глотков больничного компоту — и все. А весь паек отдавал соседу по палате.

На четвертый день после посещения ушника у меня поднялась температура — 39,8. На следующем обходе фельдшер сказал об этом хирургу, и тот отменил уколы, раз они все равно не помогают. Он просил, чтобы еще раз вызвали ушника, но его все не было, а потом сказали, что и вовсе не будет. Он уехал на четыре месяца усовершенствоваться.

Так я и валялся на больничной койке дней двадцать, и все это время мне помогал только сосед по палате, Рафалович, подавая пить, меняя на голове холодные компрессы. Мне было так плохо, что я был уверен: здесь я подохну. Тогда все в порядке: зэк скончался в больнице, а не на работе, — что поделаешь? Медицина пока не всесильна. А что меня не лечили, что врач-ушник осматривал меня только один раз, что в течение девяти дней не могли получить результата анализа крови — кого это интересует? Об этом никто и не узнает!

Дней через двадцать мне стало легче, я постепенно стал приходить в себя: сначала мог поворачиваться на койке без головокружения и рвоты, потом стал подниматься и даже ходить, держась за стенку. Только на пищу я по-прежнему не мог и смотреть. Наконец, я выполз на улицу. Была уже середина апреля, тепло, солнечно. Валерий притащил ко мне какого-то врача-зэка: он на воле был врач, а здесь — рабочий, строитель. Он меня расспросил обо всем и поразился:

— Ну и ну! Теперь сто лет будешь жить, раз сейчас не умер. У тебя ведь был менингит!

Температура у меня упала, и я, хоть и нетвердо, уже держался на ногах. Теперь на обходах хирург смотрел на меня с подозрением и выговаривал:

— Марченко, температуры у вас уже нет, пора вас выписывать в зону.

— Доктор, да ведь я еле хожу, куда же мне на работу! И уши-то все равно болят.

— В ушах я не разбираюсь, ваши уши здесь лечить некому, а держать вас в больнице я больше не могу. Еще два дня, так и быть, пофилоните — и все. Через два дня в зону.

Я смотрел на его татуированные руки (знакомое, сто раз виденное «нет в жизни счастья») и думал: «Сам ты филон: сволочь. гад! Врач, называется! Сам знаешь, в каком я состоянии, а посылаешь уголек кидать. Не лучше начальников!»

Я боялся, что через несколько дней разгрузки меня снова принесут на бушлате, а умирать не хотелось, тем более за полгода до освобождения.

В этот же день я написал большую жалобу в ЦК. Написал, что болен, что меня не лечат, хотя дважды и подержали в больничной зоне и один раз в лагерьной больнице. Что меня, больного и глухого, все время заставляют работать в аварийной бригаде на самых тяжелых лагерных работах. Что лагерные врачи каждый раз дают заключение: «З/к Марченко в медицинской помощи не нуждается, работать может на любых работах» — и вот в результате этого я едва не отправился на тот свет. И если мне отказывают в медицинской помощи здесь, у нас, я вынужден буду обратиться за помощью в Международный Красный Крест.

Я заранее знал, что мне от этой жалобы не будет никакого проку, а может, будет и хуже. Знал, что даже на воле мне ни в какой Красный Крест не дали бы обратиться, а не то что отсюда, из лагеря. Но пусть у них хоть этот документ будет — себе я оставил копию. Через два дня меня выписали в зону — и сразу же на работу. Хорошо, что рядом были друзья. Валерий, Толя Футман теперь помогали мне, как и Юльке. Я ходил на вызовы днем и ночью, но работать мне они не давали. Только и меня, и Юльку мучило то, что мы грузом ложились на остальных, а им и без нас тяжело приходилось. Уж лучше карцер до конца срока!

Но ребята нас уговаривали и успокаивали: мол, и мы другим пригодимся когда-нибудь.

Через две недели в лагерь явилась комиссия из САНУ — перекомиссовка зэков, определение категории труда. Два незнакомых мужчины в гражданском, три женщины, наш хирург с татуированными, как у урки, руками. Все хорошо одетые, чистые, сытые. Врачи! Когда меня спросили, я рассказал им о своем состоянии.

— Где работаете?

— В аварийной бригаде.

— Какой характер вашей работы?

Я объяснил.

— Когда приедет ушник, он вас осмотрит. А теперь можете идти. Первая категория.

Я вышел, стиснув зубы от злости.

Месяца два спустя меня вызвали в больницу.

— Вы жалобу писали? Получен ответ. Распишитесь, что он вам объявлен.

На руки нам никаких ответов не дают, можно записать себе номер и от какого числа.

Читаю: «Ваша жалоба получена и направлена на рассмотрение в САНО Дубровлага».

Ну, конечно! На них жалуюсь — пусть они и разбираются. Так всем отвечают.

Читаю дальше: «Медслужбой 11-го лаготделения установлено, что з/к Марченко А.Т. в лечении не нуждается. Нач. САНО Дубровлага майор медицинской службы Петрушевский».

Через четыре месяца после этого ответа, выйдя на волю, я обратился к врачу. Доктор Г.В. Скуркевич, кандидат медицинских наук, осмотрел меня и дал заключение: немедленно оперировать левое ухо, потом нужна будет операция на правом. Он сам и оперировал меня. Потом говорил, что редко к нему попадают больные в таком запущенном и угрожающем состоянии. Григорий Владимирович пытался что-то такое сделать, чтобы восстановить слух, но это уже не удалось — было поздно. Зато вычистил весь накопившийся гной; он рассказал, что, когда вскрыл полость, гной брызнул оттуда, как под высоким давлением.

Хорошо, что я вовремя освободился, а то, наверное, так и загноился бы в лагере от гнойного менингита, по-прежнему «не нуждаясь в медицинской помощи».

МИШКА КОНУХОВ

Весной 1966 года на одиннадцатый прибыл новенький, и его зачислили к нам в бригаду аварийщиков. Это был Мишка Конухов, архангельский портовый грузчик.

Мишка Конухов — парень лет двадцати пяти. Детство у него было тяжелое, рос без родителей. Стал грузчиком, грузил иностранные суда, и, хоть зарабатывал больше, чем если бы грузил наши или, скажем, где-нибудь в железнодорожном пакгаузе, все равно только-только хватало на жизнь. Ведь он один, помогать никому. Это если молодежь в семье живет, так родители кормят, а заработок себе: прибарахлиться и на развлечение. Мишка к тому же рано женился. Жена, правда, тоже работала в прачечной, но на ее мизерный заработок — пятьдесят рублей — и одной-то не прокормиться. Ну, словом, ясно, что за жизнь: работаешь, чтобы есть, ешь, чтобы работать.

А тут он в портах и на кораблях видит иностранных матросов — они хорошо одеты, и хоть по-русски не разговаривают, а понять можно, что на свою жизнь

не жалуются и не рвутся поскорее переехать на жительство к нам, на родину мирового пролетариата. Даже негры, и те.

Конечно, это все была буржуазная пропаганда, но Мишка этого не понял. Он только страшно разозлился, и, видно, вспомнив что-то из своего беспризорного детства, нашел единственно доступную для него форму протеста: наколол поперек всей груди слова «Жертва коммунизма». И разгорелись вокруг грузчика Мишки Конухова политические страсти.

Кто-то из иностранцев сфотографировал его голым по пояс, и этот снимок был помещен у них там в газетах. У нас же Мишку стали тягать в КГБ: пусть, мол, напишет заявление, что он жертва не коммунизма, а блатного мира, что накололся по молодости, по глупости, а вот желтая пресса воспользовалась этим без его ведома. Мишка ничего писать не захотел.

Тогда с ним стали происходить всякие странные истории: то привяжутся на улице какие-то типы, осыпают бранью и оскорблениями; то вдруг рядом с ним закипит драка и его стараются втянуть в дерущуюся компанию; то просто налетят «хулиганы» и избьют его в темном углу.

Мишка на эти провокации не поддавался, в драках не участвовал, в компаниях не пил, а после каждого происшествия шел в милицию, оставлял там заявление, подписывал очередной акт. Милиция почему-то все никак не могла найти виноватых.

Между тем, его продолжали тягать в КГБ и предупреждали, что с ним всякое может случиться, что наша патристически настроенная молодежь возмущена им, дело может дойти до расправы, до самосуда, и милиция, конечно, не в состоянии будет защитить его от разгневанной толпы.

Вся эта комедия Конухову надоела, он сел в поезд и приехал в Москву. Бродил по улицам — искал британское посольство.

Как туда попасть, он обдумал заранее. Знал, что, если замешкаться, его тут же задержат дежурящие около посольства милиционеры. Вот идет он скорым шагом мимо посольства, будто по делу торопится, а прямо против входа — резкий поворот на девяносто градусов и бегом в подъезд. Милиционеры не сразу опомнились, уже за спиной Мишка услышал:

— Куда же вы, молодой человек? Остановитесь!

А он уже там. В подъезде его задержал какой-то служащий — швейцар или дежурный. Мишка объяснил, что ему непременно надо видеть английского посла.

— Посол сейчас занят, но с вами может поговорить один из секретарей посольства; возможно, удастся и без посла уладить ваше дело.

Его проводили в кабинет, предложили сесть. При беседе Конухова с секретарем посольства присутствовал переводчик, но ему, похоже, зря платили зарплату — сам секретарь вполне прилично говорил по-русски. Для начала он предложил Мишке пообедать. Мишка вежливо отказался: он сыт, мол, недавно только поел в столовой. Тогда секретарь попросил принести им обоим кофе — за чашкой кофе как-то лучше беседовать. Ну, кофе можно, Мишка не стал отказываться. Он объяснил, в чем состоит его просьба: он просит помочь ему выехать в Англию, он не хочет больше жить в СССР. Его спросили, кто он, где работает, почему хочет уехать. Все его объяснения секретарь выслушал очень внимательно. Потом заговорил сам.

Он сказал, что для того, чтобы уехать из своей страны, господин Конухов должен сначала отказаться от советского гражданства. Тогда он сможет принять любое подданство, в том числе английское, и посольство поможет ему в этом. Но секретарь советовал ему еще раз серьезно обдумать решение. Ведь нередко бывает, говорит секретарь, что советский турист или член делегации остается в Англии, просит убежища, а потом понимает, что ему трудно жить без своей родины, без семьи и близких: очень долгое время, десятки лет, ваше правительство не разрешает таким людям приехать, навестить их. Некоторые эмигранты рано или поздно решают вернуться на родину. Нам понятны их чувства, и наше правительство не чинит им в этом препятствий. Однако нередко эти люди, возвратясь в СССР, объясняют свое возвращение не тоской по родине и семье, а плохими условиями жизни в нашей стране. Больше того, сочиняют, будто их оставили в Англии чуть ли не насильно, обманом, будто их не пускали на родину. Конечно, такие заявления нам крайне нежелательны, они задевают нашу честь, вызывают дипломатические трения. Поэтому мы вынуждены очень осторожно подходить к решению таких вопросов, как ваш. И вообще, господин Конухов, вы, может, плохо знаете нашу жизнь и идеализируете ее? У нас есть свои проблемы,

свои трудности, и, столкнувшись с ними, вы, возможно, пожалеете о своем поспешном решении.

Словом, англичанин скорее вежливо отговаривал Мишку от бегства в Англию, чем зазывал и заманивал, — этого Мишка уж никак не ожидал. Секретарь под конец объяснил Мишке, что если он не передумает по зрелом размышлении, то пусть идет в МИД и отказывается от советского гражданства. В посольстве не отказывались принять его в английские граждане — но дело явно затягивалось.

Мишка решил идти до конца. Но когда он вышел из посольства, то заметил, что за ним неотступно следуют каких-то три типа, а рядом по мостовой все время медленно едет автомобиль. Мишка попытался смешаться с толпой — но все равно понимал, что ему не удастся скрыться. На одном из перекрестков эти трое подступили к нему вплотную; смеясь и балагуря, крепко обняли его, как старого друга, и втолкнули в машину. Все произошло в одну секунду, в толпе, наверное, никто ничего не заметил и не понял.

Привезли, естественно, куда — в КГБ. Посадили в камеру, начали допрашивать: зачем ходил в посольство? С кем разговаривал, о чем? Не оставил ли там чего-нибудь? Михаил рассказал им все, как было, — скрывать ему было нечего. Здесь же он написал заявление в МИД, что он отказывается от советского гражданства и просит разрешить ему выехать в Англию. С ним беседовали и кагэбисты, и сотрудники МИДа — уговаривали взять это заявление обратно, написать, что он передумал. Но как уговаривали:

— Все равно мы вам выехать не дадим! Вы понимаете?

Мишка настаивал на своем. Через три дня его выпустили, велели ехать в Архангельск, а там взяли подписку о невыезде.

В Архангельске работать на иностранных судах его, конечно, не допустили, перевели на другой участок. Здесь и платили меньше. Его продолжали таскать в КГБ, провоцировать на «хулиганство» на улице. Мишка не поддавался на провокации и не унимался. Он еще несколько раз писал в МИД и, наконец, получил оттуда анкету. На вопрос «Почему хотите выехать из СССР?» — от ответил: «Меня не устраивает политический строй и идеология СССР». Что бы ему соврать — мол, к двоюродному дяде хочу; и так все равно не пустили бы. А тут

его снова тягают в КГБ, в обком, прорабатывают на собраниях, уже все грузчики знают, что Мишка просится в Англию, а его не пускают.

Подходит время очередного отпуска, и, хоть поехать он никуда из-за подписки о невыезде не может, Мишка подает заявление: «Прошу предоставить мне месячный отпуск». Месячный! — а полагается двенадцать дней! С Конуховым беседовал по этому поводу даже первый секретарь обкома. Мишка снова упорствовал, настаивал на своем:

— В Швеции рабочие путем забастовки давно добились месячного оплачиваемого отпуска, вот и я требую того же.

На удивление всем грузчикам он получил месячный отпуск и даже для жены добился того же. Начальство, вероятно, думало: чем черт не шутит, а вдруг отпустят его в Англию, что он там расскажет о нашей жизни!

Вскоре после этого пришло письмо из МИДа — Конухов должен уплатить девяносто рублей пошлины за оформление отказа от гражданства. Мишка выслал деньги. А дня через три к нему приехали на машине, силой взяли его и куда-то повезли. Привезли в какой-то лагерь, в лагерную больницу, положили в отдельную палату. Пришел хирург, спрашивает:

— Конухов, согласны ли вы на операцию, чтобы мы вырезали у вас это украшение на груди?

— А если я не соглашусь, тогда что?

Хирург смеется.

— Рано или поздно все равно согласитесь, уж лучше не тяните. — И Мишка согласился.

Но после операции его отправили не домой, а в следственный изолятор КГБ:

— Вот видите, Конухов, мы вас предупреждали, что посадим, найдем, за что посадить, если вы не уйметесь. Теперь на себя пеняйте.

Его судили за хранение иностранной валюты, какой-то литературы — Бог знает, было ли у него действительно несколько долларов или все липа с начала до конца. Суд, как водится, был закрытый, приговора Мишке на руки не дали.

Вот так и прибыл он к нам в бригаду без пяти минут англичанином. Он осматривался здесь с любопытством, наверное, с таким же, как если бы он оказался в Англии. Особенно его интересовали те зэки, которые возвращались из-за границы: какая там на самом деле жизнь, по-

чему они вернулись, как угодили в Мордовию? Он помнил свой разговор с секретарем британского посольства и проверял себя и его.

У нас таких эзков много, в одной только аварийной бригаде несколько: Володька Пронин вернулся из Западной Германии; Антон Накашидзе, танцовщик из грузинского ансамбля песни и пляски, остался в Англии, а потом вернулся; Петр Варенков, Буденный, Бессонов, осетин Петр Тибиллов также вернулись из-за границы. Все «возвращенцы» рассказывают: материально на Западе живется куда лучше, чем у нас, и, конечно, свобода, никто ни к чему не нуждается.

— Так за каким же хреном вас принесло обратно, если так жилось хорошо?

Отвечают, что стосковались по родине, по семьям — у того отец, мать, у другого жена (биолог Голуб, например, о котором в свое время много писали в газетах, вернулся потому, что жена звала; а когда его посадили, она от него отеклась). Возвращались они до границы вольными, а от границы — под конвоем, в тюрьму, а потом и в лагерь лет на десять-двенадцать. Голуба, правда, и других таких же «знаменитостей» сажают не сразу, а через полгода-год, когда их история забудется.

— Ну вот и радуйтесь. — говорят эски «возвращенцам», — вот вам и родина, и семья — Мордовия и наш дружный лагерьный коллектив.

Может, если эти люди согласились бы выступить и заявить, как плохо им жилось на Западе, как их вербовали в шпионы и еще что-нибудь в этом роде. — может, некоторых из них и не посадили бы или освободили бы по помилованию. Но и то не всех: в лагерь попасть легко, а выйти оттуда до срока мало кому удастся, даже ценой публичного покаяния.

Мишка Конухов уже не надеется уехать в Англию, даже девяносто рублей пошлины ему вернули, так как отказ от подданства не состоялся. Теперь он мечтает о другом: выучиться бы на фельдшера, хоть работа будет почище. И почета больше.

ОЧЕРЕДНОЕ ЧП

Летом 1966 года произошло ЧП — сгорел наш барак. За поджог судили Юрку Карманова, моего старого знакомого по Владимиру и по седьмому. Про это дело говорили по-разному. Кто считает, что это была очередная провока-

ция начальства, чтобы получить повод еще строже закрутить режим. Говорят, будто бы автоматчик с вышки, давая показания на суде, заявил:

— Мне было приказано — как увижу огонь, сразу поднимать тревогу.

Не знаю. Я думаю, что Юрка Карманов мог на самом деле поджечь от отчаяния и от бессилия. Так же, как Ромашов и многие другие лезут на пушку к автоматчику. Как Шерстяной на семерке поджог цех, как режутся, травятся, накальваются. Кто не был в лагере, тот не поймет поступков зэка, его поведения.

« ПЕРЕВОСПИТАНИЕ »

Месяца за два или три до освобождения меня вызвали в кабинет КГБ на беседу. Беседовали со мной трое: кагэбист, начальник ПВЧ и отрядный Усов. Я хорошо запомнил этот разговор: в последний раз они пытались переубедить меня, перевоспитать «по-хорошему».

— Марченко, вы скоро освободитесь. Вы понимаете, что, выйдя на волю, вы должны вести себя и думать, как все? Воля — это вам не лагерь, где у каждого свое мнение.

— Гражданин начальник, вряд ли и на воле сейчас все думают одинаково. Не те времена. Даже и коммунисты, и те перегрызлись между собой.

— Не клеветайте, Марченко! Коммунисты — в едином строю!

— А китайцы? Албанцы? А раскол во многих компартиях?

— Что китайцы. В семье не без уроды.

— Граждане начальники, вот вы все коммунисты, да? А какие вы коммунисты — простые или параллельные?

Они вопросительно посмотрели на меня — мол, чокнулся, что ли? Усов сказал:

— Я от заключенных всякую чушь слышал, но такую слышу впервые. Что это вы мелете.

— А я во вчерашней газете прочел, что правительство Индии освободило из тюрьмы тридцать коммунистов — членов параллельной компартии Индии. Вот я и спрашиваю, вы-то какие: параллельные, перпендикулярные или наклонные?

Кагэбист снял со стены подшивку и стал ее листать. Я со своего места показал, где эта заметка. Тогда они переменили тему, начав сначала:

— Одумайтесь, Марченко! С такими убеждениями снова у нас будете.

— Что-что, а это я и сам знаю. Чуть кто с вами не согласен — в лагерь его! Завтра в другую сторону будете гнуть, — и опять единодушно соглашайся! Слава Богу, за шесть лет навиделся. Таких изменников, как я сам, — полны лагеря. Но одного я не понимаю — как вы, коммунисты, можете мне говорить, что меня посадят за мои убеждения? Ведь в других странах легально существуют целые оппозиционные партии, в том числе и коммунистические, которые ставят своей целью изменить строй. Их, коммунистов, когда они возвращаются к себе из Москвы, с очередного совещания, не судят за измену родине. А меня, рабочего, не члена никаких партий, вы шесть лет держите за провокацию и снова грозите тем же.

— Что вы нам про другие страны говорите! У них свои законы, у нас свои. Все вы на Америку тычете — тоже нашли свободную страну! Была бы там свобода — за чем бы негры бунтовали? А рабочие забастовки?

— А Ленин говорил, что забастовки и борьба негров в США — это как раз и есть признак свободы и демократии.

Когда я это сказал, мои воспитатели так и подпрыгнули. Они накинулись на меня все трое:

— Как вы смеете клеветать на Ленина!

— Где вы слышали такую ложь?!

— Повторите, повторите, что вы сказали!

Я помнил эту цитату дословно и повторил ее, даже назвав номер тома. Начальник ПВЧ направился к двери:

— Какой том, вы говорите? Сейчас, минуточку.

Он принес из своего кабинета книгу в темно-синем переплете — последнее издание, я видел в его шкафу все тома, корешок к корешку, плотно уставленные за стеклянной дверцей. Он дал мне книгу.

— Ну, покажи, где здесь написано то, что ты говоришь.

Пока я листал слежавшиеся страницы, они строем ждали, как собаки на охоте: сейчас меня уличат. Они были уверены, что у Ленина нет таких слов, он не мог такое говорить. Тут еще много значило и то, что в их головах не укладывается, чтобы парень без образования вроде меня сам читал Ленина или что-нибудь еще. Они сами-то его читали «от сих до сих». С эзком-историком они стараются не спорить. А когда такой, как я, ссылается на статью из журнала, на документ, словом, на печатное слово, — они убеждены, что ты говоришь с чужого

голоса, что кто-то из эзков ведет в лагере враждебную пропаганду, и тут же кидаются: где слышал?! Кто тебе такое сказал? Вот сейчас окажется, что я наврал, и на меня обрушатся эти вопросы.

Я подал им раскрытую книгу. Начальник ПВЧ вслух прочел там, где я показал. Усов растерянно уставился на него. Кагэбэшник подошел к начальнику ПВЧ:

— Ну-ка, дай мне.

Они вместе стали листать страницы, наверное, надеясь найти там какое-нибудь подходящее объяснение или опровержение прочитанного. Но ничего не нашли, и капитан КГБ сказал мне, ничуть не смущаясь:

— Вы, Марченко, наверное, неправильно поняли Ленина. Вы с вашими взглядами понимаете Ленина по-своему, а это не годится. Долго вам на воле не прожить!

— А как же по-другому можно понимать эти слова? Ведь и на самом деле забастовки и массовые беспорядки бывают только в демократических странах, а при тоталитарных режимах народ зажимают путем террора. При Гитлере, например, в Германии не было никаких забастовок.

Опять началось:

— Да как вы смеете! За такие слова надо к стенке ставить!

Потом, поостыв, они снова взялись за «воспитание»:

— Народы всего мира идут к коммунизму, он завоевывает все больше сторонников...

— Если бы эти сторонники знали, как они ведут свои народы к тюрьмам и лагерям, так еще, может, задумались бы. Но об этом вы вслух обычно не говорите, разве что когда передеретесь. То чуть не в каждой газете: «Китай на пути к коммунизму!», «Успехи социалистического строительства в Китае!» А теперь что? Сто миллионов китайцев в концлагерях — что же их, в один день посадили, что ли?

— Это вы тоже у Ленина вычитали — сто миллионов? Сто миллионов — это же седьмая часть всего населения. Бред сумасшедшего!

— Тогда это не я сошел с ума, а тот лектор, что приезжал прошлым летом на седьмой. И почему это бред? У нас, что ли, не сидели десятки миллионов? Себе я, может, не поверил бы, подумал, что недослышал про Китай. Но не я один, все эзки слышали и смеялись, что ученики переплюнули учителей.

— Сто миллионов — это клевета! Вот возьмите бумагу и карандаш и напишите, что в Китае сто миллионов заключенных. Знаете, что вам будет, если это правда?

Я взял бумагу и написал:

«Я, з/к Марченко А.Т. ... тогда-то и там-то слышал на лекции, что в Китае сейчас 100 миллионов заключенных. На беседе с представителями КГБ и ПВЧ я упомянул об этом, сославшись на лектора, но мне сказали, что это неправда. Прошу выяснить, правда ли это, и объяснить мне».

Я поставил число и расписался. Потом спросил:

— Когда я узнаю ответ?

— Мы все это проверим. Когда надо будет, вас вызовут. Можете идти.

Но меня по этому поводу так и не вызвали.

Я знаю, что на воле, прочитав про эту беседу, скажут: «Черт возьми, да в лагере куда больше свободы, чем здесь! Да я бы и дома с оглядкой говорил то, что этот Марченко лепил там начальству! Ему там после этого говорят «Можете идти» — да здесь меня бы живо упекли за такие речи!»

Конечно, если бы я в зоне вздумал говорить такое кому попало, стукачи донесли бы об этом и мне добавили бы срок «за агитацию среди заключенных». Но офицер в своем кабинете обязан меня переубеждать, а если выходит наоборот, причем тут я? Не может же он пришить мне агитацию среди самого себя!

Все равно, конечно, могли бы состряпать дело и засадить во Владимир, — но если бы я один был такой, а то все такие, вся молодежь. Так что дальше карцера не упекут, а карцера в лагере и так не минуть.

ЕЩЕ РАЗ В КАРЦЕРЕ

В карцер я угодил чуть не перед самым освобождением, 30 сентября. 29-го мы работали днем с восьми до пяти, потом еще ночью пришлось идти разгружать цемент, а под утро гонят в третий раз. А у меня снова озноб и головокружение. Я не пошел, отказался. Антон Накашидзе (из грузинского ансамбля) тоже остался, он встать не мог от усталости.

Утром я поплелся в санчасть, записался, дождался очереди. Врачиха дала мне градусник, я его сунул под мышку, сижу и думаю: «Температуры у меня, кажется, нет, в тот раз

тоже поднялась только через неделю. Но в больницу не положат: сам пришел, своими ногами. Что же делать?»

Врачиха взяла градусник:

— Почти нормальная. На что жалуетесь?

— Да все то же: головокружение, головная боль.

— Зачем же вы ко мне пришли, Марченко? Вы же знаете, что вам к ушнику надо! Возьмите таблетки от головной боли, а больше я ничем помочь не могу.

Взял я в окошке таблетки и пошел в барак. Ну просто еле ноги переставляю. Наши все уже вернулись с работы, спят, один только Антон не спит. Ему уже отрядный выписал пятнадцать суток карцера. Тут вскоре наш дневальный Давлианидзе приходит.

— Марченко, к отрядному!

Пошел.

— Почему ночью от работы отказался?

Я объяснил, и мне показалось, что Усов поверил:

— Ну ладно, идите.

В секции Антон спрашивает:

— Сколько — десять или пятнадцать?

— Да вроде бы ничего.

Антон даже не поверил:

— Да ну?! Не ожидал!

Я залез к себе на койку и попытался уснуть. Но только было задремал — кто-то толкает меня под бок, тянет за ногу. Открываю глаза — надзиратель:

— Собирайся!

— Куда?

— Не знаешь, куда отказчиков водят?

Ну и черт с ним, карцер, так карцер. Неизвестно еще, что хуже — карцер или лес разгружать. Стали мы с Антоном собираться, надеваем что потеплее, а надзиратель предупреждает:

— Зря обряжаетесь, все равно отберем.

Действительно, отберут. Давно в карцере не сидел, забыл. Взяли мы телогрейки, зубные щетки, мыло, полотенце — и готовы. Я и спрашивать не стал, сколько мне выписали. Уже когда пришли, объявили, что тоже пятнадцать суток.

Нас с Антоном развели по разным камерам. Моя оказалась крошечная, два на три, но сидел я в ней один. Всегда так норовят: либо в одиночку, либо уж в маленькую камеру набьют человек двадцать. Я обрадовался, хоть усну спокойно, да не тут-то было. Вместо коек деревянные полки, как в вагоне, обе подняты к стене и заперты на

замок. Лежать можно только от отбоя до подъема. Хорошо еще, я один, хоть сесть можно. А когда двое, один сядет на чурбачок, приваренный к полу, а другой на ногах: сидячее место одно. Разве что на парашу садись.

На ночь принесли отобранную телогрейку, отомкнули полку. Я лег. Сначала телогрейку подстелил под себя. Но скоро замерз. Холод собачий, на дворе завтра октябрь, а топить начнут только восемнадцатого числа. Вытащил я из-под себя телогрейку, скорчился под ней, укрылся. Теперь холод стал пробираться снизу: полка из досок, в ней щели чуть не в пол-ладони, и в полу такие же. Словом, заснуть так и не удалось от холода. Всю ночь топтался по камере, пытаюсь согреться. Хорошо было Юльке, он сидел в июне!

Утром мою лежанку опять на замок, телогрейку отобрали до следующей ночи, а самого повели во дворик на работу. Работа старушечья, весь БУР и карцер плетут сетки-авоськи. Норма — семь или восемь штук в день. Никто, конечно, не только что норму, но и до полноремы не дотягивает. Мы как-то провели опыт: плели целый день без передышки. И все равно даже самые работающие застряли на третьей авоське. Когда меня посадили, норму с нас не требовали; лишь бы от работы не отказывался, гарантийку получишь. Правда, кроме лагерного пайка, больше ничего. Но через неделю объявили: кто сделает меньше трех сеток, тех переведут на пониженную норму питания. Никто с заданием не справлялся, и всех нас перевели на тысячу триста калорий. Намто в карцере неделю, две недели высидеть голодом ничего, а каково тем, кто в БУРе? У них срок по шесть месяцев — и все это время на голодном пайке! Ведь у них ни посылки, ни ларька. Даже чтобы курица купить, надо писать заявление начальнику лагеря. А тот — кому разрешит, а кому и нет. А в карцере и вовсе запрещено курить, найдут махорку — отберут.

Как и в любой тюрьме, здесь было мучение с оправкой. Умыться не дают, зубы почистить тем более. Уборная на всю тюрьму одна, а в ней всего два очка. Водят же по две камеры сразу, человек двенадцать-пятнадцать, всем нипочем не успеть. Когда сажают в карцер, обыскивают все до нитки, любой клочок бумаги отбирают. А на оправку водят — бумаги не дают:

— Подумаешь, интеллигент! Пальцем ... вытрешь, ничего не делается.

Как еще не додумались до сих пор парашу на замок закрывать?

В этих условиях обмануть начальство для зэка — вопрос жизни. «Они умеют искать, а мы умеем прятать», — говорят в лагере. Даже БУРу и карцеру зона умудряется помочь. Друзья «с воли» — зона по отношению к карцеру, конечно, воля — переправляют своим то курево, то хлеба немного, то сахару, то маргарину. Для такой передачи зэки изобрели «коня». Ребята в зоне заворачивают в тряпочку махорку, хлеб, еще что-нибудь, делают тугой-тугой сверток и спутывают его тоненькой веревочкой с множеством висячих петель — это и есть «конь». Его в удобный момент перекидывают через забор под самые окна тюрьмы. А уж там зэки к этому готовы. Согнут из проволоки крючки, добудут нитки — кто-нибудь пожертвует для этого свой носок — и закидывает эту удочку так, чтобы крючок попал чуть дальше пакета. Теперь тяни потихоньку. Переползая через пакет, крючок непременно зацепится за какую-нибудь из петель. Если сверток с подогревом чересчур велик и не проходит через решетку на окне, его тут же за решеткой разворачивают, разбирают руками и по частям втаскивают в камеру. Лишь бы кто-нибудь втащил «коня», а подогрев, попав в тюрьму, уже дойдет до того, кому предназначен: зэки передадут или на opravке, или на работе, или еще как-нибудь. За передачу из зоны в карцер или из камеры в камеру строго наказывают, но с этим никто не считается. Если в лагере бояться наказания и соблюдать все правила, то и года не вытянешь. А у нас у всех сроки пять, десять, пятнадцать лет.

«Конем» пользовались до лета 1965 года. Так изловчились, что вся операция занимала не больше минуты: в один момент «конь» переброшен и уже в камере. Но это дошло до начальства. Начальник режима распорядился повисить бдительность и прекратить это безобразие. И вот на окна наварили дополнительные стальные прутья. Теперь решетка стала втрое чаще, не решетка, а сетка. Сквозь нее не то что руку, а даже два пальца не протиснешь.

Когда я осенью сидел в карцере, «коня» уже не было, он отслужил свое. Нового зэки тогда еще не придумали. Но придумают обязательно. Я в этом уверен. А как же иначе?

15 октября я вышел из карцера в зону, шатаюсь, как пьяный, от этих научно разработанных тысячи трехсот калорий. До конца срока, до освобождения, мне оставалось семнадцать дней.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Я, как и раньше ходил на разгрузку, таскал бревна, кидал лопатой уголек и цемент. Поднимался ночью по вызову, шел со всеми на вахту, ждал конвоя. Как и раньше, у меня были головокружения, но я больше не отказывался от выхода на работу: не хотелось последние дни просидеть в карцере, я хотел провести их с друзьями.

Каждую свободную минуту мы собирались вместе. Разговоры шли об одном: куда мне ехать, где и как устроиться на воле. Наш начальник спецчасти давно уже предупредил меня, что «по положению о паспортах» мне запрещено жить в Московской и Ленинградской областях, в портовых городах, в пограничных районах. Кроме того, есть режимные города, в них тоже не пропишут.

— А что это такое — режимные города, какие?

— Где не пропишут, там, значит, и режимные.

— Ладно, где же мне можно жить?

— На воле узнаете, а пока куда вам билет и справку выписывать?

— Ну, в Калининскую область, что ли.

Майор усмехнулся.

— В Калининскую не пропишут.

— Тогда пусть Курская.

— Я могу дать вам справку с направлением в Курск. Но, Марченко, прямо скажу: поезжайте лучше на север или в Сибирь по оргнабору, чтоб зря не мотаться.

— Из одного лагеря в другой, такой же, только без проволоки? Нет уж, спасибо! Да и не возьмут меня по оргнабору с моим-то здоровьем.

— Как хотите, дело ваше, а только станете добиваться, опять к нам попадете, пропишем вас в мордовских лагерях лет на пять-семь без всякой волокиты.

Друзья больше всего волновались, удастся ли мне сразу же пробиться на прием к хорошему врачу-ушнику. Строили и более отдаленные планы моего будущего. Валерий настаивал, чтобы я непременно учился:

— Заканчивай вечернюю школу, поступай в институт. Тебе не поздно.

— Валерка, ну какой же из меня ученик? Я же в математике бревно-бревном.

Валерий начинал доказывать, что неспособных нет, кроме клинических идиотов. Просто обычно математике плохо учат.

— Захочешь — одолеешь.

— Да я глухой, урока не услышу.

Юлий сказал, что в Москве можно купить слуховой аппарат:

— Придется денежки выложить. Зато девушки не узнают, что ты глухой. Вот только волосы отрастишь — дужку прикрывать.

Обсуждали все, вплоть до мелочей: как я оденусь в вольное, где что купить, чтоб и дешево и сердито. Ехать-то придется в лагерном бушлате, так получилось, что у меня из своего остался только старый лыжный костюм да ботинки. Скинуть бы этот бушлат поскорей, как он мне осточертел!

Ребята натащили мне вырезок из каких-то журналов: модная мужская одежда, какой галстук к какому костюму. Можно было подумать, что у меня этих костюмов будет по меньшей мере три, что мне только и предстоит поспевать из концертного зала на дипломатический прием.

Последние дни в лагере особенно мучительны, тянутся и тянутся, и кажется, что никогда не кончатся, и не верится, что он действительно наступит, день освобождения, и не знаешь, чего ждать потом.

Еще накануне я сдал все казенное имущество и спецовку. Рано утром второго ноября пришли попрощаться друзья и знакомые, которым идти в первую смену: их сейчас уведут, и мы больше не увидимся. Пришли Буров, два Валерия из Ленинграда — Ронкин и Смолкин, их подельник Вадим, подошли другие, с кем я не был близко знаком. Все желали мне хорошо устроиться на свободе, давали адреса своих родных, просили заехать, если будет по пути. Просили не забывать их — тех, кто остаются в Мордовии, тех, кто сидят во Владимирке. Когда они ушли на работу, остались самые близкие друзья: Валерий, Юлий, Коля, Толик Футман, Антон. Юлий подарил мне книгу Лебедева о Чаадаеве — он знал, что она мне очень нравится. На белой странице он написал:

А в общем неплох
Забавный удел:
Ты здесь и оглох,
Ты здесь и прозрел.
Гордись необычной удачей —
Не каждый, кто видит, зрячий.

*С уважением и самыми дружескими пожеланиями
Толе Марченко от Юлия Даниэля.*

Футман с Валерием подарили на память мне «Манон Леско» Прево — наверное, не без намека. В десятом часу

вся компания проводила меня до вахты. Здесь мы еще раз обнялись и попрощались. Не могу передать своих ощущений. Радость исчезла, в горле стоял комок, я боялся, чтобы не расплакаться. Мне жаль было расставаться с друзьями, оставлять за проволокой тех, кто мне стал так дорог. Хоть назад возвращайся!

— Иди, Толик, иди, на поезд опоздаешь! — торопили и подбадривали они меня.

Я шел по предзоннику, нас уже разделяла колючая проволока. Помахав на прощанье рукой, я вошел на вахту, и дверь вахты захлопнулась за мной. Теперь предстояло совсем другое прощанье.

Меня ввели в кабинет.

— Разденьтесь догола! Станьте здесь. Присесть, вытянуть руки! Отойдите в угол!

После этого стали прощупывать мою одежду. Каждый шов на рубашке, потом на подштанниках, потом все остальное. Проверит рубашку один надзиратель, передает другому, тот прощупает, передает офицеру, тот другому, потом третьему, потом следующему и, наконец, мне. Я надеваю. При обыске присутствовали: начальник режима, старший опер, главный лагерный кагэбист.

Дошла очередь до чемодана. Там почти ничего не было: полотенце, мыло, зубная щетка, несколько носовых платков, тетради с моими конспектами, книжки. Все пересмотрели так же тщательно, как одежду, каждую вещь прощупали пять или шесть пар рук. Тетради и книги проверяли особенно внимательно, перелистывали по одной страничке. Что они ищут? Надзиратель открыл «Чаадаева» и увидел надпись Юлия. Он сразу показал ее кагэбисту, тот взял книгу и вышел с ней из кабинета. С тетрадками они тоже то и дело выходили в коридор, кому-то показывали, с кем-то совещались. Вернувшись с «Чаадаевым» кагэбист отложил книгу в сторону.

Я смотрел, как они копаются в моих вещах, и вспомнил, незадолго до меня освобождался москвич Рыбкин. Когда он пришел на вахту, ему сразу сказали:

— Давайте сюда стихи Даниэля! Мы все знаем!

Рыбкин изумился, он с Даниэлем даже двумя словами не перекинулся, не познакомились. Когда его обыскивали и дело дошло до бумаг, надзиратели вытащили из них тетрадь со стихами:

— Вот они, нам же сказали!

Но они напрасно торжествовали. Это были стихи не Даниэля, а Рыскова (бывшего фельдшера с третьего). Кто-то из стукачей увидел, как Рысков передавал Рыбкину стихи, — и донес. Вот на вахте уже и знали: Рыбкин хочет пронести на волю чьи-то стихи, целую тетрадь. Чьи стихи? Никто не сомневался — конечно, Даниэля. А оказалось, не Даниэля, и, кроме того, сплошная любовная лирика. Какое огорчение! Наверное, и у меня ищут Юлькины стихи. Пусть ищут! Одно уже найдено — надпись на книжке.

Тем временем барахло уже перерыли, начальник режима осматривал, прощупывая, простукивая, прокалывая шилом чемодан, до него уже проверенный остальными. Потом он занялся подаренной мне игрушкой — перлоновым рыбаком с удочкой. Рыбак был весь мягкий и чуть ли не прозрачный. Только голова плотная, чем-то набитая. Начальник ее мял, мял, щупал, щупал, но, видимо, ничего сам не решив, пошел с рыбаком в коридор. Через некоторое время вернулся, бросил рыбака в чемодан, опять ничего!

В кабинет вошел сам майор Постников — глава КГБ Мордовских лагерей. Ему показали Чаадаева. Постников повертел книгу, прочитал надпись и приказал:

— Вырезать и составить акт.

Я попросил объяснить мне, что в этой надписи недозванного, почему ее конфискуют.

— Видите ли, Марченко, по-моему, Даниэль выразил в этом стихотворении свои взгляды.

— Да уж, наверное, свои, а не чужие. Но что в них крамольного?

Постников не ответил. Он стал просматривать мои тетради:

— Я вижу, Марченко, вы здесь всего Ленина прочитали. Вообще-то это хорошо, но... Боюсь, с вашими взглядами вы снова к нам попадете.

С этим напутствием, получив свой чемодан, подвергнутого обрезанию Чаадаева, паспорт и справку, я пошел к выходу. Меня сопровождал майор, начальник спецчасти. Мы прошли несколько дверей, у каждой майор предъявлял в окошко какие-то бумаги, дверь открывалась и тотчас же закрывалась за нами. Открылась и захлопнулась за мной последняя дверь — и я вышел на улицу.

Мимо вахты, по дороге между жилой и рабочей зоной, мимо праздничных плакатов и лозунгов гнали клон-

ну женщин-заключенных. Слышны были грубые окрики автоматчиков-конвоиров: «Разговоры! Кому сказано!» Женщины шли медленно, волоча ноги в больших кирзовых ботинках. Темно-серые телогрейки, ватные брюки, серо-желтые лица. Я всматривался в них — может, эту вот носил на операцию, может, эта говорила: «А моему Валерке уже годик». Нет, я никого не мог узнать. Все они в этой колонне были как одна — зэчки.

Колонна прошла. Я вдохнул полные легкие свежего воздуха, хоть мордовского, но уже бесконвойного, вольного, и зашагал от вахты. Шел снег. Большие снежинки садились и сразу же подтаивали на еще теплой, не успевшей остыть одежде.

Было 2 ноября 1966 года, пять дней до 49-й годовщины советской власти.

ОТ ТАРУСЫ ДО ЧУНЫ

ОТ АВТОРА

Выйдя в 1966 году из лагеря, я считал, что написать и предать гласности то, чему я был свидетелем, — это мой гражданский долг. Так появилась книга «Мои показания».

Потом я решился попытать свои силы в художественном жанре. В пермских лагерях (1968-1971 годы) я задумал и спланировал повесть «Живи, как все» — не о лагере вообще, а о нонконформисте и его трагической судьбе. Я совершенно не могу судить об успешности или неуспешности моей попытки, так как черновые заготовки и наброски повести систематически поглощал Главный Архивариус — КГБ — во время тайных и явных обысков и в лагере, и на воле. Ради сохранности сбереженного от обысков черновика я не рискнул еще никому его показать. Поэтому пока единственными моими литературными экспертами стали работники КГБ, и вот их заключение: «...эти записки представляют собой черновики, которые могут послужить для написания антисоветских произведений».

Я не берусь за перо, ставя себе задачу написать «антисоветское» или «советское». Я пишу свое. Меня увлек мой замысел; судьба моего героя.

Тем временем моя собственная судьба рисует свой чертеж, и вот мне приходится отложить работу над повестью «Живи, как все». Где-то я читал наставление: если ты стал свидетелем стихийного бедствия, иностранного вторжения, порабощения и т.п., то запиши все, что увидишь или услышишь от других, — это твой долг.

Снова долг заставляет меня свидетельствовать о том, что пока еще, по-моему, никто не рассказал, а мне довелось испытать на собственной шкуре. Так появился очерк «От Тарусы до Чуны».

Этот очерк — не дневниковая запись. Он написан уже в ссылке, по памяти. Поэтому кое-что, вероятно, упущено. Некоторые «боковые» эпизоды я опустил специально; может быть, когда-нибудь вернусь к ним. Много осмысливалось мною уже теперь, после событий.

25 февраля 1975 года. В милиции меня, как водится, обыскали. Изымать оказалось нечего: еще в декабре я отобрал для тюрьмы брюки поплосше, они сейчас были на мне, да теплый свитер, да телогрейка; с декабря же дома на вешалке висела авоська, а в ней пара белья, теплые носки и рукавицы, мыло, паста и зубная щетка — и все. Продукты мне не понадобятся. Взяли у меня только пустую авоську и выдали на нее квитанцию. Остальное — со мной в камеру.

Но еще раньше стали заполнять протокол. Я назвал себя, а на прочие вопросы отвечать отказался. Дать отпечатки пальцев тоже отказался. Расписаться в какой-то казенной бумаге — тоже. Я так решил заранее — не участвовать ни в каких их формальных процедурах: раз в отношении меня совершается произвол и насилие, так пусть, по крайней мере, без моей помощи.

Понятой (с обыска) был настроен решительно:

— Все равно даст отпечатки, не добром, так силой. Заковать его в наручники, и катать!

Милиционеры в дежурке возмущались и удивлялись:

— Да мы тут при чем? К нам-то какие претензии?

Сколько раз я это уже слышал и сколько еще выслушаю!

Вот в дежурку вошел один из тех, кто еще недавно тоже был «ни при чем», — мой «надзор» Кузиков. Не он устанавливал надзор, при чем тут он? А велено было — и написал на меня ложный рапорт, и на суде еще даст ложные показания. Ему за это, может, благодарность в приказе, а мне — лагерь... Кузиков остановился в двух шагах от меня, демонстративно вытащил из кармана маленький пистолет и... но я отвернулся и не видел, что он делал с пистолетом, только слышал, как он резко клацнул чем-то прямо над моим ухом. Вот дурак! Палец у него был в крови: пострадал герой во время «операции», когда силой волок нашу гостью в милицию. Гостью я тоже мельком увидел здесь, когда ее привели; мы едва успели кивнуть друг другу. Это, вероятно, моя последняя «вольная» встреча.

В камере я, слава Богу, один. Привычная обстановка, будто и не жил на воле. Бросаю телогрейку на нары: «одно крылышко подстелю, другим укроюсь».

Но уснул я нескоро. Хуже нет в камере вспоминать о доме, но попробуй-ка не думать. Во все предыдущие аресты было куда легче, я тогда был один. А теперь, чуть закрываю глаза, так живо, как наяву, представляется: вот Пашка утречком проснулся, встал на ножки в своей кровати и раскачивает ее изо всех сил. Смеется, зовет меня; он

и ночью и утром только меня признает, мать спит в другой комнате. Я же его и уложил вечером, укачал на руках, пока шел обыск. Так и чувствую вес детской головенки у себя на плече. Как-то там жена управится с малышом и с домашними хлопотами? Мы заранее договорились, чтоб она сразу уезжала из Тарусы в Москву, там ей помогут родные и друзья; но все равно трудно будет, конечно.

Думал и о том, что ждет меня завтра. В Тарусе, ясно, не оставят, да и суд могут назначить буквально через день, расследовать-то нечего, бумажки все уже давно готовы: нарушение № 1, нарушение № 2...

26 февраля. Утром меня разбудил грохот замка в двери. Почему-то все тюремные замки отпираются и запираются со страшным грохотом. Арестант-«декабрист», сопровождаемый дежурным по КПЗ, поставил на нары кружку кипятку и положил пайку хлеба:

— Завтрак.

Я не принимаю пищи.

Объясняться с дежурным по этому поводу я не стал.

Часов около девяти меня снова подняли — на выход. В дежурке отдали мое имущество — авоську. Значит, увозят из Тарусы. Куда же? Из окна «воронка» (тарусский «воронок» — микроавтобус, без боксов, с окном в редкой решетке; в нем нас двое: я да милиционер, а в кабине с шофером еще один, везет портфель) — из окна хорошо видны были полюбившиеся мне старые улочки Тарусы, и я прощался с ними. Если поедем направо мимо автостанции — то в Серпухов или, может, в Москву; налево и вверх — дорога на Калугу. Ехать почти мимо дома, но его не видно за поворотом.

Машина повернула налево. Я чувствовал, уверен был, что Лариса где-то рядом. И даже не удивился, когда увидел ее. Она шла навстречу «воронку», мимо молочного магазина, и катила в саночках Пашку; его красная шубка, одна на всю Тарусу, заметна издали. Лариса тоже увидела «воронку», остановилась, напряженно всматриваясь. Машина поравнялась с ними, и я застучал в окно. Лариса взмахнула рукой, наклонилась что-то сказать Пашке и долго стояла, глядя вслед, пока «воронку» карабкался вверх по обледенелой улице.

Ну хоть будет знать, что в Тарусе меня уже нет. Съедемся ли мы снова все втроем? Когда? Где?

Знакомая дорога — за два с половиной года не раз по ней проехал. Последний раз совсем недавно, в конце

января, когда вызывали в областной ОВИР: мол, оформляйте документы на выезд. А перед тем там же уговаривали и угрожали: подавайте в Израиль, не то вас ждет суд и лагерь. Так оно и вышло.

Вот Петрищево — здесь нам просто чудом удалось зацепиться после двух месяцев безуспешных поисков и попыток прописаться. Дальше Ферзиково — сюда к судье вызывали Гинзбурга, тоже по поводу надзорного нарушения. Может, и меня на суд? Нет, белая скульптура — лось — промелькнула в окне слева, мы едем дальше. Теперь уже точно — в Калугу.

За дорогу я еще раз обдумал выбранную заранее позицию неучастия ни в каких формальностях. Какого черта? И я сам, и те «верхи», кто решил мою судьбу, и исполнители, приложившие к ней руку, — все мы знаем, что дело не в надзоре, что суд будет липовый, по ложным показаниям, что вообще посадили не за то — был, не был дома, а за то, что я, какой есть, не гожусь в этой стране, вечно я им попереk горла, а они мне. Так какого же черта мне вдруг стать послушным и шелковым теперь, за решеткой? Только из-за того, что я не на виду, не среди друзей? С другой стороны, как это противно и унижительно — стычки по мелочам, стычки на каждом шагу, с надзирателем, тюремным чиновником, с любой мелкой сошкой; не с ними я воюю за себя, но — через них; главных-то я не вижу.

Приехали. Ну, сейчас начнется.

— Руки назад.

— Нет, не возьму.

— Подойди к столу, пальцы покатаем (т.е. снимем отпечатки).

— Не дам.

— Что-о?! Кто тебя будет спрашивать — дашь, не дашь!

— Делайте сами, насильно. Я вам не помощник, а помешать постараюсь.

В комнате, куда меня привели для этой процедуры, было несколько человек: фотограф-зэк и трое надзирателей. Один из них, толстый и добродушный на вид старшина, только что неторопливо рассказывавший какую-то историю, опомнился первым (сначала все они казались ошарашенными моей наглостью):

— Ты, герой! Бока не ломаны? Умолять будешь... Закуем на всю железку, сам запросишься... Еще и этого по-

нюхаешь, — и он сунул мне под нос огромный железный ключ (у него в руках была целая связка).

Меня просто поразило, как мгновенно он переменялся. Только что добродушный и шутливый рассказчик, сейчас он налился кровью, вены на толстой шее вздулись, он даже вскочил со стула. Он буквально шипел от ненависти, дрожал от желания немедленно расправиться со мной. Что я ему сделал — оскорбил, обидел?

Остальные тоже возмущались и грозились. По телефону меж тем вызвали дежурного. Пришел молодой еще офицер, ему изложили ситуацию.

— Это еще что за фокусы? — обратился он ко мне.

— Не фокусы. Такая вот форма протеста.

— Протестуй на воле, а перед нами нечего. Нас ваши протесты не ...бут. Будешь катать?

— Нет.

Офицер приказал мне повернуться спиной и подать руки. Я подчинился, и он стал неуклюже надевать мне наручники. Потом проверил, туго ли они затянулись. Тут подскочил старшина и стал затягивать сам. Между делом он осыпал меня отборным матом, бил ключом в спину, а под конец, разведя мои руки за спиной, подпрыгнул и ударил коленом по цепочке между наручниками. Это он на совесть заковывал меня. У меня потемнело в глазах, показалось, что руки вырывают из плечей. К тому же я не мог устоять от удара такой туши и упал бы, конечно, но мне не дали упасть заботливые руки надзирателей. Несколько сильных ударов под бока кулаками и ключом в спину:

— Стой смирно!

Когда я перестал шататься, прекратились и удары.

— Следуй за мной, — приказал офицер.

И мы пошли: впереди офицер, за ним я с закованными сзади руками, вплотную рядом со мной и сзади два надзирателя — сержант и толстяк-старшина. До лестницы меня не били, только страшно материли и угрожали. А на лестничной площадке снова сильный удар ключом в спину чуть не сбил меня, и я привалился к поручням. Офицер обернулся на шум — и внезапно резко ударил меня по ребрам, а второй раз — ниже живота. Вот так меня спустили по лестнице, а там поволокли по коридору, пиная сапогами по ногам, колотя кулаками и ключом под бока, по спине, по животу. В коридоре нам навстречу попался майор (заместитель начальника тюрьмы, узнал я потом). Майор посторонился и дал нам пройти.

Меня втокнули в бокс, напоследок швырнув на цементный пол, — я еще и головой приложился. Вслед мне полетели телогрейка, шапка, носки.

Подняться с пола я не мог и даже не пытался переменить положение, так и лежал вниз лицом. Кисти рук я скоро совсем перестал ощущать, они онемели; но в плечах была страшная боль, я был уверен, что старшина выдернул мне правую руку из сустава. Потом я почувствовал и боль в ребрах (они болели еще недели две). Зато теперь моя позиция получила эмоциональное подкрепление: у меня появились «личные счета» с моими тюремщиками.

Дверь открывается.

— Ну как, будем пальцы катать?

— Не поманивает.

— Ну, лежи, лежи.

На третий или четвертый раз после дежурного вопроса-ответа с меня, к моему удивлению и радости, сняли наручники. Но подняться я смог нескоро. Погодя переполз на телогрейку, а еще отлежавшись, и сел. Ближе к вечеру любезность надзирателей разъяснилась: меня повели к следователю.

Следователь Дежурная. Наградит же Бог фамилией по должности! А у одного известного следователя КГБ фамилия и того почище — Сыщиков.

Дежурная — следовательша Тарусской прокуратуры. Ей лет тридцать пять — сорок, лицо усталое, всегда озабоченное, совершенно невыразительное, без проблеска интереса к чему бы то ни было. И голос тусклый, без интонаций. Видно, что ее работа для нее — утомительный источник зарплаты, и только. Вот приходится ездить к «подопечным» в Калугу, три часа в один конец, дорога — русская, тряская, домой вовремя не вернешься, а дома семья... Это все как вырезано на ее унылом лице. Да и подопечные ее не сахар, должно быть. И я среди них — из самых вредных: отнял и не вернул постановление на обыск, разговаривать отказываюсь, на вопросы не отвечаю, ни одну бумагу не подписываю. Но Дежурная не раздражается и не злится. Устало и равнодушно она что-то там сама пишет, произносит автоматически свои дежурные увещевания: «Ваша позиция вам только повредит... Вы нас не признаете — но это ничего не изменит... Марченко! Вы меня слышите?»

Какие, собственно, у меня к этой Дежурной претензии? Она спокойна (от равнодушия), неназойлива, в ее бормотание действительно можно не вслушиваться, сиди

и отдыхай после бокса. Пожалеть про себя, что ли, эту усталую замороченную женщину?

Каждое слово, записанное ею в моем деле, было продиктовано ей сверху (вероятно, КГБ). Даже на запросы жены о моем состоянии она не отвечала сразу — бегала консультироваться. Даже самостоятельно отклонить ходатайство адвоката не решилась, в руки его не взяла, пока не получила инструкцию. Она-то отлично знала, что дело липовое, что показания Кузикова ложные. У нее был список свидетелей, опровергающих эти показания, — ни одного не допросила. Зато ей подсунули лжесвидетеля Трубицына, и его показания она аккуратно включила в дело. Ни одной бумажки, изъятой на обыске, к делу не приобщила, все, не раскрывая, не глядя, передала в КГБ — так сама и сказала. Нет, пожалуй, я был самым легким ее клиентом: ведь никакой ответственности, никакой личной инициативы, делай, что велят, и никто с тебя за это не спросит. А между прочим, чем она рисковала, если бы проявила элементарную служебную добросовестность? Стоит эта Дежурная на низшей ступеньке служебной лестницы, на следующую не метит. И мается не от тряски дорог, а от непосильного для нее груза ответственности — не перед совестью, а перед начальством.

Не мне ее жалеть — руками этого ничтожества я оторван от семьи, от сына, брошен в тюрьму. Дальше меня подхватят другие такие же руки.

Меня поместили в роскошную камеру: тройник вместо общей, кровать вместо нар, постельные принадлежности — матрац, подушка, одеяло, наволочка, наматрасник. Тишина и покой. Два сокамерника от подъема до отбоя режутся в шахматы и домино, ко мне не вяжутся.

В тюрьме время скорей идет, если ходить по камере; на ходу лучше и думается. Но тройник тесный, ходить нелегко. Да скоро мне это стало и трудно, начались головокружения. Больше лежу, если есть что — читаю. Беда, что читать нечего. Из библиотеки выдают одну книжку на десять дней, значит, нам на камеру — три книги. И не выберешь, сунет библиотекарьша в кормушку пять-шесть книжек, три мы себе оставим, остальные она заберет. Библиотекарьша была вольная, сволочная баба, на просьбы дать выбрать или оставить лишнюю книжку отвечала примерно так: «Вас сюда не книжки читать посадили» или «Всем давать — не успеешь штаны надевать». Интересно, а что ответили бы вы-

ские чины МВД — те, кто придумал это тюремное ограничение: одна книжка на десять дней!

Три койки в камере размещены так: одна против двери, у подоконной стенки, две другие вдоль боковых стен, между ними узкий проход, едва-едва разойтись. Напротив меня — мой тезка, Анатолий, мужик лет тридцати пяти — сорока, ленинградец (сам себя он называл не иначе, как питерцем: «мы, питерцы», «у нас в Питере»). Он уголовник, карманник, не без основания считает себя опытным лагерником: восемь судимостей! А я-то думал, что специальность карманника уже отмерла. Койку под окном занимает калужанин Игорь, он выдает себя за инженера, а может, и есть инженер, не берусь судить. В лагере он не бывал, а под судом, говорит, второй раз. В первый раз судили за то, что ударил милиционера (говорит, пьяного, а сам, мол, трезвый был). Осудили на два года, но сразу же амнистировали. Оказывается, у нас сейчас ежегодно объявляется специальная амнистия для малосрочников с обязательной отработкой назначенного срока на стройках народного хозяйства; одна такая амнистия была как раз при мне, в марте, и в Перми я попал в камеру этих «амнистированных» (их называют «химиками», потому что большинство едет на стройки Большой химии), они ехали на место, как и я, по этапу.

Сейчас Игорь сидит по обвинению в домашней краже: будто бы украл у родственницы триста рублей. Он утверждает, что не виноват, но в его рассказах концы с концами не сходятся. А может, и так, что спьяну взял деньги, спьяну спрятал их в пачку сигарет (где они и нашлись), а сам ничего этого не помнит. Грозит Игорю максимум три года; скорей всего снова амнистируют и отправят на «химию».

Сокамерники — мужики в общежитии не вредные, а это главное.

Вот только одно...

Утром в кормушку подают три пайки хлеба. Одну мы каждый раз возвращаем, и ее уносят; в камере голодающий.

Но двое других принимают пищу.

Мои сокамерники завтракают в два приема. Первый завтрак — казенный черпак каши — съедает каждый у себя на койке. Примерно через час после этого устраивают второй завтрак из своих харчей. У питерца — продукты из ларька, калужанин Игорь к этому получает еще и передачи. Едят они вместе, делятся.

Единственную в камере табуретку ставят в проходе между двумя койками, моей и питерца. Тезка сидит у се-

бя, а Игорь устраивается на моей койке, прямо около подушки (я в это время лежу на своем месте — некуда отойти, не на что сесть). На табуретке, буквально у меня под носом, раскладывают сало, колбасу, печенье, сахар и прочую дозволенную снедь. Чаевничают не торопясь, с трепом.

Еще демонстративнее они ужинают. Часов около пяти надзиратель забирает из камеры чайник — и мои сокамерники сразу же «накрывают стол» к чаю. Снова перед моим носом на табуретке раскладывают харчи, а сами они в ожидании кипятка болтают или слушают радио. Чайник с кипятком возвращается в камеру минут через сорок, а то и через час, и тогда снова начинается долгое чаепитие.

Часа через два после этого приносят казенный ужин — по миске супа. Часто мои сокамерники выливают суп в унитаз: не голодны. Зато перед самым отбоем снова пьют чай с «домашненьким», ритуал тот же.

Притом соседи не забывали и обо мне. Поначалу приглашали к своему столу (тезка, тертый лагерник, излагал свои взгляды на голодовку: пустая затея, с этим «они» сейчас не считаются, а себя угробишь). Поскольку я от приглашений отказывался, они перестали приставать. Зато стали втягивать меня в свои разговоры за чаем. Я не замечал у них ни малейшего смущения, никакой неловкости из-за того, что рядом с ними голодающий, а они тут же жрут сало и печенье (после суда, в другой камере, сосед вел себя совсем иначе: старался есть, когда я сплю или читаю; видно было, что созданная администрацией обстановка ему больше в тягость, чем мне).

Так вот, что это было: издевательство? Нарочно им велено было дразнить мой аппетит? Жестокий способ сорвать голодовку? Или же этим типам, моим соседям, все было, по-лагерному, «до лампочки»? Может, и так. А все равно полагается содержать голодающих отдельно, и обычно их хоть не сразу, но изолируют. Надо сказать, чтобы если был расчет сорвать голодовку или хоть поиздеваться, то он провалился. (А был, наверное. Даже раз прокурор закинул удочку: «Ваша жена жалуется, что вас, голодающего, держат вместе с другими. Анатолий Тихонович, вас что, раздражает, когда они едят?» — вопрос на втором месяце голодовки!). Ни вид, ни запах пищи, ни чавканье жующих ртов не возбуждали у меня чувство голода. Все пятьдесят четыре дня голодовки мне не хотелось есть, и я ни разу не глотал слюнки, глядя на поедаемые рядом сало или печенье. К моему удивлению, сокамерники вообще не

вызывали у меня раздражения — ни бесконечными шахматами, ни дурацкими пустыми разговорами, ни демонстративной жратвой. Раньше бывало иначе, и я теперь думал: видно, старость на подходе, вот я и стал терпимее. Но вскоре после того, как я снял голодовку, я заметил, что меня, как и в былые времена, сокамерники нередко раздражают.

Только однажды я позавидовал еде моих соседей: на обед ко второму им дали по соленому огурцу. Не то чтоб они возбудили у меня аппетит, чтоб мне вообще захотелось есть; нет, вот именно огурца захотелось. Казалось, я слышу, как зубы соседей с хрустом прокусывают кожицу; я ощущал во рту намек на вкус соленого огурца, его аромат, и это дразнило меня невероятно. Но слюну глотать и тут не пришлось: ее просто не было. Рот сводило от сухости, губы потрескались, и я с них скусывал или снимал пальцами полоски сухой кожи. Часто пил — утром, даже нехотя, несколько глотков воды непременно.

А огурцы, видно, были неважные, мои сокамерники их и есть не стали: откусили по разу, и огурцы полетели в урну. У них часто и куски хлеба отправлялись туда же. Интересно: нарочно, мне напоказ? Может, в обед кинут пару кусков, а утром, опорожняя урну, проверят: все ли на месте? Но, честное слово, есть не хотелось — ни в первые три, ни в первые пять дней (приходилось слышать, что они самые трудные), ни в последнюю неделю, ни в последний день голодовки.

Вообще я не могу сказать, что в какой-то период голодовки мои ощущения были особыми, иными, чем в предыдущие или последующие дни. Я не замечал никакой разницы между началом голодовки и ее серединой, хоть это очевидная чушь: первый-то день какая же голодовка? Наверное, каждому случалось не есть и по дню, и по два. Слабость накапливается постепенно и прибывает незаметно день ото дня, так что сегодня чувствуешь себя так же, как вчера, завтра — как сегодня. Конечно, у разных людей ощущения будут разные, может, кто-то другой точнее фиксирует изменения в своем состоянии и сумел бы определить переломные точки. Я же делю свою голодовку на три этапа по чисто внешним приметам: первый — восемь дней до начала насильственного кормления; второй — тридцать семь дней, когда мне насильно вводили пищу; третий — последние восемь дней голодовки, в этапе, вновь без какого-либо питания.

4 марта. Начальник тюрьмы. Калужская тюрьма, в которую меня посадили, называется совсем не «тюрьма», а СИЗО — следственный изолятор № 1. Название голубиное, но, конечно, тюрьма как тюрьма — с боксами, зарешеченными окнами в «намордниках» и всем прочим, что в тюрьме полагается. Однако не без примет века НТР и дизайна: массивные ворота раздвигаются нажатием кнопки, особенно радикально переоборудована комната для свиданий: она перегорожена и разгорожена на клетки сплошным листовым стеклом, кабины снабжены переговорными устройствами (небось, и с подслушивающим аппаратом? Не валютой ли за все это плачено? Или уже сами научились?). Незабываемо сильное впечатление: когда из переговорной трубки до тебя вместо родного голоса доносится какое-то кваканье, чувствуешь себя прямо-таки в светлом будущем.

Проводник всех этих тюремных новшеств — конечно же, сам начальник. Это заметно уже на подступах к его кабинету: вместо унылой серо-бурой масляной краски стены лестничной клетки выложены декоративным кафелем без какой-либо казенной симметрии, а как в современном молодежном кафе. Кабинет выглядит более строго: полированные панели темного дерева, большие светлые окна, слева от письменного стола мигает разноцветными огоньками пульт управления с телефонными трубками и микрофонами. Хозяин кабинета — молодой майор, гладко причесанный, свежесбритый, в меру плотный, в меру деловитый, в меру любезный. На лацкане его кителя голубой вузовский ромбик (может, академия МВД, может, юридический институт, а может, и университет, я не знаю).

Надзиратель, который привел меня, испарился, и в кабинете остались двое: з/к Марченко и начальник тюрьмы.

Я не просился к нему на прием, он сам меня вызвал — сейчас узнаю, зачем. Впрочем, я был намерен держаться в соответствии с избранной позицией, то есть не отвечать на вопросы, не вступать в беседу. Но это не получилось. Майор сразу же взял тон беседы людей, отстаивающих каждый свою точку зрения, — и я не устоял, вступил в дискуссию, прекрасно понимая ее бессмысленность. Собеседник казался таким искренним и к тому же так живо сочувствовал мне, готов был понять меня. А в ответ, конечно, ожидалось мое понимание, уважение — и соответствующее мое поведение; но это ожидание не било в нос, не перло наружу. Майор излагал мне свою систему взглядов, из которой само собой ло-

гически выводилось, что я веду себя неразумно и неправильно, что в моем положении есть другие пути и выходы.

Конечно, это дикость — не пустить человека встретить мать, навестить ребенка; этому нет оправдания. Он сам, мой собеседник, поступил бы на моем месте так же, как я.

— В такой огромной и многонациональной стране, как наша, неудивительны случаи нарушения законности. Но согласитесь, Анатолий Тихонович, это же исключения! Очень редкие! И с ними борьба идет — через печать, через органы контроля.

Вот, оказывается, чем мне надо заняться: писать, писать, жаловаться во все инстанции — законность восторжествует, если, конечно, дело обстоит так, как я рассказываю. Зачем же на дикость отвечать дикостью, самоистязанием?..

Я вглядывался в собеседника — в выражении его лица, в его тоне не было видно фальши, лицемерия, корыстного расчета. Передо мной сидел честный советский человек, верящий и знающий, что с произволом в нашей стране покончено навсегда. Вот он, начальник тюрьмы, может оставаться самим собой — честным, порядочным, интеллигентным, и все обстоятельства этому содействуют, а не мешают. Сама служба такая, что прежде всего требует честности...

— Анатолий Тихонович, с вами, видимо, допущена ошибка, но ваша неправильная позиция ее лишь усугубляет, а можно исправить.

Ведь не докажешь, что ошибки как раз нет, что задумана и осуществлена расправа, и закон тут — только дырявая ширма, где через дырки просвечивают руки, дергающие за ниточки кукол-исполнителей. Кому же и на кого жаловаться?

— По-вашему, Анатолий Тихонович, так вы один порядочный и принципиальный человек, а остальные двести сорок миллионов — все трусливые марионетки? Но это неправда! У меня, например, один наивысший приказ — закон, а наш закон не противоречит самой человеческой морали, наоборот, — он перебирает на столе брошюры, инструкции, как бы демонстрируя мне абсолютную регламентированность своего поведения.

Хоть я и не собирался жаловаться, но тут снова не удержался:

— Ладно, не будем обсуждать сами законы. Но вот меня тут у вас избили — это вроде бы не разрешено вашими правилами. И не за буйство, не за драку... Неподчинение распоряжениям, кажется, должно наказываться иначе? А то — вот я вам не доложил, войдя, а вы бы ме-

ня за это в морду. А «Правила» висят на стенке в камере и никак меня от такого произвола не ограждают.

Начальник тюрьмы не закричал: «Это ложь!» Он и не спешил с показательным возмущением: «Да как они посмели!» Он деловито записал, когда избили, за что и как.

— Но я не хочу никакого расследования, никакого возмездия. Это не жалоба, я сказал для примера...

— Нет, нет! Мы не нуждаемся в вашем снисхождении. Сегодня же я проверю, и, если все подтвердится, виновные будут наказаны. (Это толстый старшина подтвердит, что бил меня ключом? Офицер сознается? И, между прочим, непохоже, чтобы для повстречавшегося нам майора эта сценка была в диковинку.)

Вот спрашивается: какого черта я вступаю в такие беседы? Ведь я знаю: искренним или фальшивым выглядит собеседник, тактичен он или хам, заводится с полоборота или проявляет терпимость, — все равно все это ложь, ложь и лицемерие. Сегодня он со мной через стол беседует, а завтра — прикажут — накидает полный карцер таких, как я, своими руками передушит (а иной, держа нос по ветру, и без приказа проявит инициативу снизу). Вот именно «система взглядов», не сформированная самостоятельно, а запрограммированная в человека в готовом виде, превращает его в автомат: сменяют пластинку — и на выходе получают другие поступки. О чем же с ним спорить? А главное, ничего себе разговор «на равных» — тюремщика и арестанта! Но в эти полтора-два часа я не чувствую разницы положений — неужели покупаюсь на это мнимое равенство?

Ну а он, этот майор? Вызвал меня по поводу голодовки и дактилоскопии, а занесло куда: и про законность, и про эмиграцию, и в психологию ударился... Ведь не надеялся же он таким вот образом сразу обратить меня в свою веру, образумить. Думаю, что нет, он же не дурак. Наш разговор мог быть коротким, но этот деловой и, наверное, занятой человек битых два часа со мной языком трепал. Может, ему поговорить не с кем? Между прочим, какие у него могут быть знакомые? Коллеги? Но среди них столько тупиц, с кем только водку пить, а не разговаривать. А со стороны знакомые — представляю себе: «Это Люсин муж, он (шепотом) начальник тюрьмы...» Вряд ли калужская интеллигенция обрадуется такой компании. Значит, знакомые только из «своих». Но перед ними что же речи толкать про законность, смешно даже.

Вероятно, я для него — вроде боксерской груши: отточить аргументацию, а может, и самоутвердиться.

Но, может, и я втягиваюсь в дискуссию по той же причине? Лариса потом говорила мне, что этот майор с первого раза был ей отвратителен, что уже от порога пошло на нее показухой и фальшью. А я-то после этой «дружеской» беседы почти поверил, что видел белую ворону, а в моей стройной картине мироздания (с основным тезисом «на собачьей должности — собака») чуть было не образовалась брешь. Но пришлось арестанту Марченко и начальнику тюрьмы общаться и на формально-деловой почве...

7 марта. Медицина. Я был голодающий, и это обеспечило мне тесные контакты с медперсоналом во все время пребывания в Калуге. До начала насильственного кормления меня несколько раз вызывали в медкабинет, осматривали, мерили давление, температуру. За сорок пять дней несколько раз брали кровь на анализ. Я в медчасть не обращался (кроме одного раза, незадолго до суда), но от обследования не отказывался. Я только сказал врачу, что не буду сообщать о своем состоянии, связанном с голодовкой; если надо — пусть сами исследуют, сами применяют свои меры.

Врач, немолодая, приятная в обращении женщина, была возмущена: «Медицина никакого отношения не имеет к вашим неприятностям, мы здесь затем, чтобы помогать людям, ваш протест в данном случае направлен не по адресу».

— Да я и не имею ничего ни против медицины, ни против вас лично.

— Тогда в чем же дело? Почему вы отказываетесь от контактов с нами?

Этого я не мог объяснить; не знаю, сумею ли сейчас вразумительно объяснить свое поведение. Оно, действительно, никак не было связано с моим отношением к медицине, даже тюремной.

Голодовка — так голодовка. Я отказываюсь принимать пищу, так и насильственное кормление будет действительно насильственным, добровольно я для этого из камеры не выйду.

И вот на меня надевают снова наручники и волокут (без битья) в медкабинет. Там врач, сестры, со мной вошли четыре надзирателя и офицер. Кабинет — такая же ка-

мера-тройник — полон народу. Все убеждают меня просто выпить питательную смесь:

— Все голодающие у нас так делают, отказываются от шланга. Голодовка все равно считается. Зачем вы нас вынуждаете применять силу?

Весь этот спектакль каждый раз вызывал у меня дурацкое ощущение. Я никак не мог определить для себя, где, в какой точке мой отказ от добровольного подчинения перестает быть протестом, становится просто ослиным упрямством («хохол упрямый» — говорит обо мне жена).

Вот на девятый день голодовки мне предлагают «по-хорошему» выпить пайку голодающего (да ведь насколько это легче! все равно же загонят через шланг). Нет, не выпью. Меня корпусной каждый день уговаривает взять пайку, так уж лучше сдаться и снять голодовку, чем пить из кастрюльки питательную смесь.

Пойдешь сам принимать искусственное питание? Иди «по-хорошему»! Не пойдешь — потащат. Не выпьешь смесь — вольют через шланг. Не откроешь сам рот — разомкнут расширителем.

Я отказываюсь от пищи, этим я поставил под вопрос свое здоровье, а может, и жизнь. Как же, зачем же я смирихонько и с готовностью открою рот для шланга со смесью? Конечно, я знаю, всех голодающих кормят. Но согласиться с этим для себя я не мог. Раз уж решил голодать, то на кой черт мне вообще любая кормежка?

Вот я и сопротивлялся как мог. Но ведь я был абсолютно уверен, что со мной здесь справятся.

Потом идут вообще какие-то дурацкие мелочи: добровольно сядешь на стул или чтоб тебя пригвоздили к нему чужие руки? Пустяк, да? Мне и в этом противно было подчиниться. И подвергаться насилию тоже противно.

Вот ты уже брошен на стул. Восемь или десять рук тебя буквально сжали тисками, нет, не тисками, а мощными щупальцами скрутили, опутали твое слабое тело. Открой рот! Не то его сейчас вскроют, как консервную банку.

Я отказался. Тогда сзади кто-то, охватив меня локтем за шею, стал сжимать ее, еще чьи-то руки с силой нажимают на щеки, кто-то ладонью закрывает ноздри и задирает нос вверх.

Слава Богу, врач велит освободить мне шею. Подступают с роторасширителем. (Концы его, мне видно, обмотаны бинтом — чтоб не оцарапать губы, десны. В Ашхабаде обходились без этого!) Нос зажат — придется же мне когда-нибудь открыть рот, чтобы вдохнуть воздух. Разжав гу-

бы, втягиваю глоток воздуха через стиснутые зубы. Сразу же по ним забегал расширитель, отыскивая щелку. Давят на зубы, на десны — больно!

— Марченко, откройте рот, зачем вы доводите всех нас до озлобления?!

Роторасширитель кочует из рук надзирателя в руки врача. В конце концов его откладывают. Конечно, могли бы забить его в рот, но с риском покрошить зубы. А предстоит суд. Или, может, мои зубы пожалели?

— Будем вводить пищу через нос.

За волосы задирают мне голову вверх, приводят ее в покойное положение, фиксируют. Я по-прежнему весь скован так, что не могу шевельнуться. Врач довольно легко вводит мне в левую ноздрию тоненький катетр, и через него огромным шприцем вгоняют питательную смесь. Вогнали несколько шприцев. Слава Богу, кормление кончено. Меня отпустили. Но раньше, чем отправить в камеру, велели полежать на топчане. Нет, не для того, чтобы отдышался, а чтобы не вызвал в камере рвоту. Тут уж меня не мучили проблемы: лечь добровольно или нет? Лег.

На другой день кормежки не было, и я радовался: авось, это истязание будет не ежедневно. Но зря радовался. Просто 8 марта медчасть, видно, вся отдыхала — праздник. А с девятого стали кормить каждый день. Теперь уже и не пытались кормить через рот, а сразу заталкивали шланг в ноздрию. Не тот, что в первый раз, а втрое, вчетверо толще. Когда с ним подошли ко мне, у меня глаза на лоб полезли; я и потом не мог сам себе поверить, чтобы такая толстая кишка могла войти в человеческую ноздрию. Когда шланг проник в носовую полость и его стали проталкивать в носоглотку, мне казалось, я чувствую, как он раздвигает хрящи, причиняя страшную боль. Не знаю, смазали ли его хоть вазелином (в дальнейшем когда смазывали, а когда нет — какая сестра), но по носовой полости и носоглотке будто наждаком прошлись или рашпилем. Боль была невыносимой, слезы текли ручьем, и я не мог их удержать. Смесь теперь не загоняли шприцем, а вливали через воронку, мне было видно ее через стекло: бордовая, довольно густая. Она убывает медленно, а из кастрюли еще подливают. Когда это кончится! Иногда, видимо, попадались комки, они застревали в шланге, и сестра начинала подергивать шланг, чтобы их вытрясти: то чуть вытащит, то снова засунет глубже. Адская боль! А если это не помогает, то шланг слегка подтягивают и паль-

цами прогоняют по нему смесь, выжимая застрявшие сгустки.

И потом снова такая же боль, когда вытаскивают. И позы вы на рвоту. Подо ртом держат полотенце, чтобы, если вырвет, не залило всех вокруг.

Когда эта процедура оканчивалась, я ободрялся, в хорошем настроении возвращался в камеру: до следующей кормежки целых двадцать четыре часа! А в камере скоро начинал отсчитывать часы до следующей пытки. С какого-то раза я перестал сопротивляться, когда меня вели в медкабинет, шел сам, сам садился на стул, не противился самой процедуре, и мою голову держали лишь потому, что иначе невозможно. Подчинился неизбежности пытки. Но пищу мне вводили только шлангом через нос.

Кроме искусственного питания, мне пытались делать уколы, а я сопротивлялся и этому. Дважды врач предлагала мне уколы (внутривенно и подкожно, вероятно, глюкозу и что-нибудь для поддержания сердца; арестанту ведь не говорят, что ему назначают, какие таблетки дают), и оба раза я отказывался. И тогда повторялось то же, что и с кормежкой: надевали наручники, заламывали руки, выворачивали ноги, давили пальцами за ушами, чтобы я ослабил от боли сопротивление. Я же противился изо всех сил и, пригвожденный к топчану в полной неподвижности, передергивал кожей и мышцами, чтобы не дать ввести иглу. В последний раз, за день до отправки, кончилось тем, что на меня надели какой-то особый наручник. Он сразу сжал мне запястье так, что руку от пальцев до плеча свело судорогой, как от удара током. Кажется, на секунду я потерял сознание. Внутривенное вливание так и не сделали, а подкожное, наверное, сделали, я не знаю, не чувствовал. После этого от боли в руке я не мог ночью спать, ни лежа, ни на ногах не мог найти удобное для руки положение, чтобы она не ныла. До сих пор руки ноют в плечах постоянно, а пальцы немеют; это мешает мне работать. И все ради того, чтобы не дать сделать укол!

— Как это дико! — негодовала врачиха. — Мы вам жизнь спасаем, а вы до чего нас всех доводите!

Я, пожалуй, согласен, что вел себя по-дикарски, по-варварски. Что оставалось делать врачу? Только применить насилие. Сколько-то времени голодающий продержится без поддержки, но рано или поздно если не снимет головку, то непременно умрет. Я держал в тюрьме голодовку сорок пять дней — так меня же кормили! Эта самая врачиха меня мучила, сама мучилась, а кормила! В этапе,

без поддержки, я через восемь дней снял голодовку. А не то умер бы, но умереть можно и менее мучительным, более быстрым способом.

Конечно, я сам заставил применять к себе силу. Я, правда, не могу поверить, что нужно было такое насилие, такая мера мучительства (притягивать затылок к спине, пока в глазах не потемнеет; или — одна рука прикована к стулу наручником, другая сзади перекинута через спинку стула, пропущена под ней изнутри, и надзиратель вытягивает ее за кисть вверх, одновременно заламывая назад, чуть не узлом завязывает; боль адская, а зачем?). Пусть надзиратели теряют чувство меры, зверея от моего сопротивления; и я озлобляюсь. Но за этим наблюдает майор — заместитель начальника тюрьмы. И врач.

Не верю, что четыре-пять здоровенных надзирателей не могут справиться со мной (уже порядком истощенным и слабым), не применяя пыток. Делают же уколы барахтающимся и вырывающимся пятилеткам — обычно одна сестра с этим справляется, не доводя ребенка до шока. Я не ребенок, но четыре мужика могли бы меня удержать полминутки.

Но врач тоже может озлобиться, и не мне быть в претензии, раз я сам ее до этого довел. В итоге-то — она же оказывала мне помощь, выполняла свой профессиональный долг...

Хорошо. А как обстоит дело с врачебным долгом, когда она отправляет голодающего в этап? На сорок пятый день голодовки в общий этап! «Какой ты голодающий! — сказал мне офицер в одной этапной тюрьме. — Тут что-то не так. Был бы голодающий — тебя если б уж этапировали, так в сопровождении фельдшера или медсестры». Больше месяца меня швыряли из вагонзакла в общую камеру (ни сесть, ни лечь; медсестры не дозовешься) и обратно. И в такую дорогу врач отправляет голодающего! В ее воле, в ее полной власти было запретить этапирование общим порядком. Нет: «хочет — пусть подышает»; так что же она мне голову морочила своими причитаниями о гуманной профессии! «Мы вам жизнь спасаем» — да, чтобы ты не у нас подох. Для этого насильно заливали еду — чтобы успеть столкнуть в этап даже без пометки о голодовке. Уколом с этим проклятым «шоковым» наручником жизнь спасали? Как бы не так: себя страховали, чтобы в случае моей смерти на этапе оправдаться бумажками: давление было в норме, сердечная деятельность в норме, кровь хорошая...

«Как это дико!» — да, дико; а вы хотели бы, чтобы все выглядело приличненько, культурненько: гуманный врач, благодарный арестант, — а под конец пихнуть меня под зад коленкой к могиле?

Настоящая голодовка — вообще дикость, варварство, как и всякое самоистязание. Мирно проходит кормление или с боем, по правилам науки или без — все равно дикость. Решаешься на это, когда чувствуешь, что ничего другого тебе не остается.

Я отсчитывал день за днем, размышляя, сколько же будет тянуться следствие. Собственно, следствие замерло. Дежурная не появлялась, я отсиживал просто так. Было абсолютно ясно, что, во-первых, расследовать в моем деле нечего, во-вторых, не Дежурная им занимается (раз уж она даже не знает, что изъяла на обыске) — то есть не расследованием, а подбором бумажек для предстоящего спектакля. Но сколько же на это надо времени? От силы несколько дней, а идут недели. Значит, что-то со мной не решено еще. А вдруг решится не наилучшим образом — но как? У меня мелькало предположение о ссылке, но я не мог себе представить, какие же мотивы выдвинут для «смягчения» приговора такому закоренелому преступнику, как я: пятая судимость! И кто эти мотивы подкинет суду? Не я — еще не хватало! Адвоката у меня, я заранее решил, не будет. Кому же может быть уготована эта роль? В общем, предположение о ссылке я отверг.

А может, наоборот, вместо нарушения надзора мне предъявят что-то посерьезнее, как обещали в КГБ. Тогда следствие придется считать не неделями — месяцами. А срок — многими годами.

Между тем тюремное начальство обо мне не забывало. Задушевных бесед больше не было, а просто настаивали, чтобы я снял голодовку: голодовка у нас вообще «не считается» (то есть с ней не считаются; это я и сам знаю), она есть грубейшее нарушение режима, и только. В одну эту дудку на разные голоса дудели и начальник тюрьмы, и прокурор, и врач, и мой сокамерник.

Силы убывали незаметно для меня самого. Постоянно кружилась голова (но это было и до голодовки — из-за отита). Начались кишечные кровотечения (тоже случались и раньше; авось пройдут). Трудно стало ходить, особенно по лестнице.

Как-то я заметил, что кожа не теле зудит как бы от укусов. Почесываюсь. Зудит! Как лягу на постель — зудит! Сначала я и мысли худой не допускал: вши или клопы —

и автоматика, керамика, пульт управления... Быть не может. Но — зудит! Лезу в наматрасник, ищу — она, голу-бушка, тюремная вошь. Есть такое суеверие, что вши сами собой заводятся, когда смерть близко. Неужто я уж так дошел, сам того не заметив?

— Игорь, смотри...

— Что, вошь? Да их тут полно в постелях. Во всех камерах.

Все же вызываем сестру, говорим ей. Она нисколько не удивилась. Правда, тут же нас повели в баню, все барахло в прожарку, постели забрали, выдали другие. Приходим из бани. Ложусь — зудит! Вошь! Что за черт, и прожарка не берет!

— Ну да, не берет! — говорит Игорь. — Просто вошь теперь хитрая, зачем ей в прожарку лезть? Она в каптерке отсиживается, пока мы в бане моемся. Проведет передислокацию со сданных одеял на свежие — и снова в камеру, в родной дом. Это же давешние знакомые, не узнаешь в лицо?..

В конце месяца мое «дело» закончено.

Вот это да! В него включены материалы из КГБ: предостережение, цитируются передачи западного радио, донос петрищевского лесничего подшит. И все это к нарушению надзора! Тем лучше, я смогу оперировать не догадками, а фактами, что дело не милицейское, а гэбэшное. Я решил в судебном разбирательстве не участвовать, но последнее слово скажу. Главное в нем будет, что этот суд — расправа за мои взгляды, за выступления; и о рабстве, крепостничестве в СССР. Материалов для этого хватает в самом «деле».

Я потому и от защитника решил отказаться, чтобы это меня не сковывало в последнем слове. Конечно, для судей это облегчение: защитника не будет, сам не защищаюсь — бей лежачего! Мы с Ларисой загодя договорились обоим ходатайствовать, чтобы ей защищать меня на суде. Если бы разрешили, судьям можно не позавидовать. У нее логика броневой, так что от кое-как сляпанных юридических декораций остались бы одни клочья. Но ведь не допустят ее, в этом можно не сомневаться. Может, стоило бы все-таки пригласить адвоката? А, все равно — исход предрешен, нечего людей втравливать в неприятности.

Вскоре мне вручили обвинительное заключение. Обычно, как просветили меня сокамерники, одновременно сообщают, когда будет суд. Мне же почему-то не сказа-

ли. Думаю, что скоро. И я начинаю готовиться. Хотя что готовить? Готовлю последнее слово, а чтоб не отобрали, пишу на обороте казенного обвинительного заключения. Его отнять не имеют права.

31 марта. Утром меня вызывают из камеры. Надзиратель велит надеть телогрейку — значит, на улицу. Куда же — снова к начальнику? Может, в тюремную больницу? Или на психэкспертизу повезут? «На суд!» — мелькает в уме, и я быстренько собираю свои записи, кладу в карман обвинилкову. «Никаких бумаг!» — командует надзиратель и, выхватив у меня из кармана листки, швыряет их на кровать.

По дороге пробую узнать, куда же меня ведут.

— Не разговаривать!

Надзиратели сдают меня милицейскому конвою. Эти велют раздеться догола, просматривают, прощупывают всю одежду, отбирают все бумажки, какие еще там есть, и с записями, и пустые.

— Куда везете?

— Не разговаривать! Привезем — увидишь.

Конечно, на суд. Вот гады — мало что не предупредили, еще и все бумаги отобрали. Даже обвинительное заключение, а я-то, дурак, рассчитывал: «не имеют права»...

Может, от тряски в «воронке», или от волнения, или же от злости — закололо сердце и слабость охватила, начало знобить. Когда выгрузили из «воронка», я еле на ногах держался.

— Руки назад!

Я не подчинился, и меня моментально заковали в наручники. Так и привели в зал, идиоты! А здесь хотели снять наручники потихоньку, за барьером — вряд ли их кто заметил, пока вели. Но я нарочно поднял руки выше барьера: уж коли заковываете, так публики нечего стесняться, пусть знают, как нашего брата водят.

Мне пришлось сразу сесть: ноги не держали. Обернувшись, я стал рассматривать публику. Много знакомых, друзей из Москвы, улыбаются мне. Как приятно их видеть! Я никак не думал, что столько народу приедет. Ведь от Москвы до Калуги ехать около четырех часов, когда же им пришлось из дому выйти? И несколько человек из Тарусы в зале. Лариса здесь, а с кем Пашка? Наверное, с Иосифом Ароновичем — достается деду хлопот из-за меня...

Но вот: «Суд идет, прошу встать!» Я не встал.

Спектакль начался. Не буду его описывать. Я видел самиздатский сборник об этом суде «Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики»; по-моему, там все подробно и точно рассказано, добавить мне нечего. Поэтому я попытаюсь передать лишь свои ощущения на суде. Они связаны с избранной мною позицией неучастия в разбирательстве.

Я давно уже слышал от юристов, что подсудимому трудно удержаться на этой точке и мало кто удерживается. Это правда, что трудно: несут о тебе всякую чушь, а ты молчишь. Вот моя начальница сообщает, будто бы я сказал ей: «Может, и поеду в Москву на праздники». А я сказал ей другое: «Успокойте милицию, никуда не поеду, буду в Тарусе». Так и подмывает напомнить ей, да она и сама, конечно, помнит. Но на стандартное предложение судьи задать вопросы свидетелю я повторяю, что отказываюсь участвовать в суде.

Вот тарусский милиционер Кузиков заявляет, что видел, как я уезжал из Тарусы автобусом; врет, врет, даже глаза отводит. Я бы его спросил... Мысленно уличаю Кузикова, а вслух снова говорю судье: «Не участвую».

Московский участковый Трубицын со своей карикатурной квадратной рожой, с глазами навывкате сплел целую повесть: «В таком-то часу провел инструктаж... Попил чайку... Поздравил Марченко с праздником...» Врет, врет, поздравил бы он, как же! Да его от одного моего взгляда в сторону сносило, он моей жене жаловался: «Что это ваш муж на меня волком смотрит?» Я оборачиваюсь, переглядываюсь с Ларисой. Она, наверное, как и я, вспоминает сейчас наш спор о Трубицыне. Она меня упрекала, что зря я в каждом чиновнике вижу врага, что Трубицын мужик добродушный, дурного не делает, до пенсии дорабатывает, без особого рвения выполняет свои милицейские функции. Я же стоял на своем: этот добродушный пучеглазый толстяк — прикажут, и всех нас троих живьем в землю зароет. Вот, пожалуйста, полюбуйся: щеки надувает, красуется, а ведь знает, что его ложь обойдется мне в два лагерных года... Лариса смущенно мне улыбается: мол, ты был прав.

— Не участвую.

Но как же трудно не участвовать, когда они один за другим выходят и лгут! Их легко уличить, я потребовал бы вызова свидетелей, пять человек покажут, что я не...

Что «не»?

Не ехал тогда в автобусе! Позвольте, а если б ехал? Пытался его угнать? Поджег Тарусу и сбежал? Бросил свой ответственный пост? Наконец, сел в автобус без билета? Да нет же, только это: «Сел в автобус и поехал».

Что там такое врёт про меня Трубицын, главный свидетель обвинения? «Видел, как Марченко с женой и ребенком гулял во дворе... Открывал дверь своей квартиры...»

— Не гулял! Не входил в свой дом! А если б входил?!

Что я, украл ребенка, меня судят за киднаппинг? Вломился в чужое жильё с целью грабежа? Или же буянил, сквернословил во дворе? Может, хоть пьян был в светлый праздник Октября?

Нет, гулял со своим ребенком, входил в свою квартиру — и это весь криминал. Потолок.

Что же они не подучили Трубицына соврать чуть больше? Ну пусть я матом его покрыл, что ли!

А зачем? Этого «нэ трэба», сказанного довольно. Гулял со своим ребенком, вошел к себе в дом — этого довольно, чтобы уже месяц держать меня в тюрьме, водить в наручниках. Месяц следователь докапывается (предположим, что ведется следствие), было ли совершено это страшное преступление. Из-за этого я тридцать три дня голодаю. Из-за этого старик-тесть мается с двухлетним внуком в присудебном скверике: что дадут? может, скинут? Из-за этого двадцать моих друзей сидят в калужском суде — он и во сне им не снился! — с лицами, сведенными болью за меня. Вот сейчас это же обстоятельство как главный состав преступления обеспечит мне два года за проволокой! — А не води сына за ручку! Там не погуляешь!

И как особая милость, неожиданная, с неба свалившаяся, — четыре года ссылки в Сибирь.

Четыре года ссылки в Сибирь — за то, что сего числа гулял со своим ребенком во дворе своего дома.

К тому же этого не было.

— Послушайте, это же сумасшедший дом!

— Нет, — отвечает Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. — Таков один из наших традиционных национальных обрядов.

Ваших обрядов! Вашей нации — советских коммунистов! Не моей!

«Я обращаюсь ко всем людям во всем мире и прошу всех, кто может, помочь мне и моей жене с сыном эмигрировать в США. Я продолжаю голодовку...» (мое последнее слово).

Суд и две поездки в «воронке» — туда и обратно — вымотали меня совершенно. Оказывается, сил осталось меньше, чем я думал. А предстоит этап! Как же меня будут этапировать? Раскошелются на спецконвой? Или поместят в больницу, пока не сниму голодовку? Тогда Бог весть на сколько отодвинется встреча с семьей.

На суде меня просто обожгло заявление Татьяны Сергеевны о голодовке солидарности. Сам мучаюсь, да еще втянул в тот же водоворот другого человека. Я понимал ее отчаянный порыв, но не мог с ним согласиться: разве можно связывать друг друга круговой порукой? Что же мне теперь делать? (Через дней десять мне передали очень теплое, трогательное письмо от Татьяны Сергеевны. Она писала: «Не думайте, ради Бога, что вся причина только в Вашем поведении. Отнюдь нет... Поймите и безвыходность моего положения, как я понимаю безвыходность Вашего. Не сердитесь и не переживайте за меня...» Успокоило меня вот это место: «Как только Вы тронетесь в путь... я эту ситуацию изменю», — значит, снимет голодовку и, надо надеяться, скоро. Слава Богу, теперь я мог независимо, сам определять свои сроки.)

Ведя меня на кормежку, надзиратель сказал:

— Что же ты голодовку не снимаешь? Ведь ссылка!

Снятия голодовки ждали и все остальные: добился же ссылки. Тюремщики, видимо, этому изумлялись. Ведь голодовка не «считается», голодовка есть нарушение режима, а вот же добился человек скидки, и какой! Ему бы по судимости и по строптивости в полосатики, а вместо этого ссылка! «На свободу едешь».

Но как же на самом деле быть теперь с голодовкой? Сил уже мало, и вроде бы исчерпался ее смысл.

Обычно голодовка объявляется в поддержку какого-либо требования. Она как бы подчеркивает важность и серьезность этого требования, готовность добиваться его любой ценой, ценой жизни. Ее пытаются держать вплоть до удовлетворения требования, но у нас это практически безнадежно, и все это знают. Хорошо, если удастся добиться чисто символического компромисса; и то редкость. Так что голодовкой скорее надеются привлечь внимание к проблеме, взывают о сочувствии и поддержке. Прислушайтесь к этим призывам, гуманисты Запада! Ведь люди кладут на это здоровье, рискуют жизнью, где ваш отклик?

Моя голодовка не связана с какими-либо требованиями — это протест. Я думаю, протест политический. Нача-

лом этой акции правильно будет считать не 26 февраля — начало голодовки, а 11 октября, день, когда я заявил, что отвергаю надзор и на арест отвечу голодовкой. Этим я не требовал своего освобождения от ответственности перед законом. Закон обернулся против меня дубиной в руках бандита; о чем же мне бандита просить, а тем более чего я мог требовать? Мой протест был реакцией на насилие, и чем грубее это насилие, тем более крайние формы приобретает протест.

Приходилось слышать, что голодовка (или другое самоистязание) как форма протеста — метод уголовников; политзаключенные же голодают, выдвигая какие-либо требования. Я с этим не согласен. Уголовник себя калечит и в знак «протеста» (например, отрезает себе ухо и накалывает на нем: «В подарок съезду КПСС»), и тоже чего-то требуя: «Начальник, не дашь чаю — смертельная голодовка!» Все дело в том, чего ты требуешь, против чего протестуешь; этим определяется, политический ты, или урка, или просто дурак.

Хотя я и не заявлял никакого требования, но, признаваясь, допускал — скажем, один шанс против ста, — что в результате огласки меня могут и не посадить: дело-то уж очень позорное для властей, авось постесняются. Я был бы рад такому исходу. Решение эмигрировать могло, считал я, подкрепить мой шанс: ведь вся карусель с надзором и все последующее — все это было заверчено для того, чтобы заставить нашу семью уехать из страны.

Я хочу объяснить свои поступки до точки (там, где я в состоянии это сделать) и надеюсь, что читатель мне поверит. Поэтому повторю еще раз: заявлением об эмиграции я надеялся повлиять на мою судьбу и судьбу моей семьи. А голодовка была предпринята без такого расчета *, хотя я и допускал, что она может оказать на мою судьбу влияние, привлекая к моему делу внимание мировой общественности.

Однако нельзя протестовать до бесконечности. Естественный предел — это когда кончились силы. После суда силы у меня еще были, хотя и близились к концу. Но существует и другая граница — это когда обстоятельства вроде бы не переменились (насилие продолжается), но как-то стабилизировались, когда кончился момент борьбы; этим пределом, вероятно, должен был стать суд. Продолжать

* Я недоволен своей формулировкой на суде: «Продолжаю голодовку, требуя эмиграции в США». Она искажает суть дела. Добиваюсь эмиграции — это само собой. А голодовка — сама собой.

голодовку — значит теперь привлечь внимание к себе, к своей персоне, а не к сути дела. Пора снимать.

Но я не мог этого сделать. Получается, будто я этого и добивался — смягчения участи. Если б дали лагерь — может, и снял бы. А после «легкого» приговора — не мог.

Ну, а насчет мягкости приговора, так это еще как сказать. Конечно, радостно вскоре увидеть семью, жить без конвоя за спиной. Ссылка — не лагерь. Но что получается? Я отверг надзор, отделявший меня от семьи непреодолимым барьером длиной в двести километров. Взамен же получил — еще более грубо, еще более произвольно — такой же барьер, только в четыре тысячи километров. Там сроку оставалось полгода (впрочем, продлили бы или все равно сфабриковали бы «нарушение»), а теперь — три с лишком. Чему же радоваться? Как — чему? «А ведь мог убить» (Это из анекдота).

Сибирская ссылка изолирует меня от родных и друзей чуть ли не надежнее, чем колючая проволока, чем даже государственная граница: корреспонденцию проверяют (вопреки закону), а доберись-ка в такую даль — времени, денег не напасешься. Изолирует не меня одного, а и жену, если она поедет ко мне (на то, видно, был расчет). Наконец, в ссылке можно не хуже, чем в лагере, организовать против меня новое дело: в сибирском поселке найдется сто кузиковых и трубицыных, а суд пройдет глухо, ведь Сибирь — не Калуга...

На эти темы мы кое-как перемолвились с женой на свидании 1 апреля: намеками, ловя их с полуслова. Особенно не разговоришься, когда на свидание дано полчаса и вы оба сидите в этих стеклянных банках, где друг друга слышите неважно (трубки, что ли, барахлят), зато вас, наставив ухо, с двух сторон прослушивают два сержанта в юбках (а где-нибудь, невидимое, и третье ухо приложено в аппарату). Лариса начала было мне рассказывать о Пашке, но у меня слезы подступили к глазам и я попросил ее не говорить о сыне. Я очень тоскую по нему. Он сейчас совсем рядом — ждет с дедом за воротами тюрьмы. А каково сейчас Иосифу Ароновичу? Что ему вспоминается? Киевская тюрьма сорок лет назад, оставшаяся где-то шестилетняя дочь, которую он увидит потом семнадцатилетней? Воркута, Игарка, друзья, похороненные там? Тестю скоро восемьдесят лет; мы с ним искренне привязаны друг к другу. С каким чувством смотрит он сейчас на двухлетнего внука?

Сижу я в камере, все в той же камере,
В которой, может быть, сидел мой дед.
И жду этапа я, этапа дальнего,
Как ждал отец его в семнадцать лет.

Не дай Бог Пашке судьбу деда, отца и матери!

9 апреля Кончился срок, данный на обжалование приговора. Я им не воспользовался. Сегодня приговор вступает в законную силу.

Днем меня привели в кабинет начальника. Кроме него самого, там еще три майора МВД и уже знакомый мне прокурор по надзору.

— Действительно ли вас, Марченко, избили в тюрьме по прибытии? — спрашивает прокурор.

(Наверное, жена подала жалобу после свидания; не сам же начальник тюрьмы донес на себя. А больше я никому не говорил.)

Я подтвердил этот факт.

— Вас никто не избивал. Вас никто не трогал, — убедительно возразил мне один их майоров — начальник Калужского УМЗа.

Доказывать мне нечем, да и не хочется. Зря Лариса пожаловалась, я ее не просил. Майору из УМЗа тоже доказывать нечем, но от него и не требуют доказательств. Меня же сейчас интересует не он, а начальник тюрьмы — что он скажет? А ничего. Молчит, передергивает рычажки на своем пульте, я стерегу его взгляд; но он не поднимает головы. И то ладно...

(Теперь я узнал, как он отвечал на жалобу самой Ларисе:

— Избили? Мне об этом ничего не известно.

— Муж сообщил мне, что говорил вам...

— Я проверил, это не подтвердилось.

— Вы же только что сказали, что не знаете! Как же вы проверяли — спрашивали тех, кто бил?

— Марченко осматривал врач, следов побоев не обнаружил (опять соврал! Никто не осматривал — ведь я не жаловался; и он это знает).

— Я понимаю, что моя жалоба бездоказательна. Я вам об этом случае сообщила, чтобы вы обратили внимание: других, наверное, тоже бьют.

— Вашего мужа никто не бил.

Следующий вопрос — об отобранных перед судом бумагах. Опять начальник тюрьмы помалкивает, а майор из управления спорит, что не отбирали. Но ведь на суд

меня привезли с пустыми руками, я это и судье заявил, и публика знает! Так, может, сам Марченко нарочно их в камере оставил? Позвать сюда выведившего надзирателя!

Тут вмешивается начальник тюрьмы: он не помнит, кто тогда дежурил, того надзирателя найти никак невозможно.

Прокурор понял, что тут не полный ажур, а потому слишком рьяно уличать меня во лжи — как бы не промахнуться, в своего не попасть. Битый час шло толчение воды в ступе: что же вы конвою не заявили? Ах, конвой тоже отобрал бумаги? Ка-ак не знали о дне суда? Вам же объявили? — Нет. — Этого быть не может! Ведь объявили? (это к тюремному начальству). Начальник тюрьмы молчит — а знает, что не сообщили. Майор из спецчасти трясет головой: сам, лично объявил! Прокурор, вновь почувствовав себя уверенно, требует соответствующую бумагу. А она не оформлена, и подписи моей нет (ни понятых, если бы я от росписи отказался).

Опять разговор возвращается в отнятым бумагам — может, их все-таки не отбирали?

— Это не тот случай, что с избиением. Не отбирали? Да весь зал видел, как мне их принесли и вручили к концу заседания...

— Как?! — вскинулся, как проснулся, управленец. — Так их вам вернули? Так они у вас? Товарищи! — он обе руки простер к коллегам. — Вы слышите, бумаги у него, ему их вернули! А он кляузничает, а мы разбираемся. Вернули бумаги-то!

Прокурор и начальник тюрьмы пытались взглядами остановить его неуместные восторги, но он не унимался: «Да мы вам вот сейчас телеграмму с Ямайки вручили! (Действительно, вручили: сочувствие, поддержка.) Такую телеграмму — отдали в руки! И бумаги, оказывается, вернули! А вы...»

Но тут его настиг наконец остерегающий взгляд прокурора, и он так и остался с открытым ртом, недоуменно переводя глаза с одного на другого. Между прочим, дело серьезное: отобрать у подсудимого обвинительное заключение — значит нарушить его право на защиту, а этого довольно для пересмотра дела. Как управленец мог не знать этого? На мундире у него тоже синий ромбик — высшее образование!

Впрочем, несмотря на неловкие моменты, все обошлось: жене прислали ответ, что меня не били и что бумаги были при мне на суде. Это при полном зале свидетелей об-

ратного! Прокурор врет — какой же с бедняги Кузикова спрос?

...Каков «мой» честный майор? Я торжествовал: мой тезис о собаке на собачьей должности не дал осечки. А к вечеру получил еще одно подтверждение. Мне вручили постановление о лишении свидания с женой — подпись стояла «начальник СИЗО-1 майор Н.В. Кузнецов». Но тут я почему-то не радовался своей проницательности.

12 апреля — день космонавтики, и Калуга, «историческая колыбель космических полетов», отмечает его как свой престольный праздник. С утра на эту тему надрылись все репродукторы, а их полно: в каждой камере, да еще громкоговоритель во дворе. Меня всегда раздражает самодовольное советское бахвальство о покорении космоса, я от него завожусь, как мальчишка: вам ли гордиться? Областная газета информирует о снятии маршрутов городского (!) транспорта в связи с весенней распутицей, из ближних районов в эту космическую колыбель едва добираются на тракторе, а туда же, первые в мире, лучшие в мире!

Кормежка сегодня была часа на два раньше обычно (а вчера медосмотр; не на этап ли готовят?), и, отлеживаясь после нее в камере, я уж и не знаю, от чего меня тошнит — от шланга проклятого или от ликующего тона радиодиктора. Хочу отвлечься и не могу. Наверное, от злости. Передают интервью, документы, воспоминания о Гагарине, все прослоено громогласной оптимистической музыкой. Вот включают запись с космодрома 12 апреля 1961 года (мне тогда было двадцать три года, и я сидел на семипалатинской пересылке на пути в Тайшет).

Сквозь шум и треск из космоса слышится голос Гагарина: «Поехали!»

Дверь камеры распахивается, на пороге улыбающийся надзиратель с моей личной карточкой в руке:

— Ну, Марченко, поехали!

Остается собрать свое барахлишко: мыло, пасту, носки, учебник английского языка.

В тюремном боксе меня принимает конвой. Обыскивают, задают вопросы:

— До машины дойти сможете? — значит, знают, что берут голодающего.

— Есть ли возражения против этапирования?

Я делаю заявление, что голодаю сорок пять дней, а на прочие вопросы не отвечаю.

— Получите этапный паек.

Не беру.

Паек берет сопровождающий машину старшина, а меня запирают в темном боксе «воронка»: со всех сторон железо, железная дверца с крошечным иллюминатором — глазком. Один — и то слава Богу!

Может быть, глядя в окно своего кабинета на отъезжающий «воронок», майор Кузнецов злорадно усмехается: «Поехал!» И облегченно вздыхает тюремный врач: «Поехал наконец-то!»

Вагонному конвою я тоже заявил, что сорок пять дней держу голодовку.

— Чего, чего?! — переспрашивает начальник конвоя.

Офицер из тюрьмы что-то шепчет ему, и он больше не задает вопросов, орет:

— Давай, давай в вагон, чего стоишь!

Старшина пытается сунуть мне паек в руки, но я не беру.

В вагонзаке в тройник вслед за мной вталкивают еще одного калужанина (а третий попутчик здесь раньше нас, едет от Воронежа).

Едва войдя, он протягивает мне сверток:

— Ты Марченко? Старшина велел передать, тут твой паек.

— Я паек не беру: голодающий.

Парень смутился, поняв, что влип в историю, стал оправдываться:

— А х... лишь он мне не сказал, я бы х... взял.

Много раз меня возили этапом, и, хорошо зная прелести такого путешествия, я побаивался, как перенесу его в состоянии голодовки. Но все же надеялся на свои силы и на свое упорство и имел твердое намерение продолжать голодовку и в этапе, и в ссылке. К тому же мне пришлось видеть голодающих в этапе и слышать о них, и я знал, что как ни худо, а все-таки тюремщики как-то поддерживают их силы, не дают умереть. И в тюрьмах, и в вагонзаках их держат отдельно от остальных. Я не мог себе представить, каким непосильно тяжелым окажется этот этап.

Из Калуги меня везли таким маршрутом: через Калинин на Ярославль (пересылка); Пермь (пересылка); Свердловск (пересылка); Новосибирск (пересылка); Иркутск (пе-

ресылка) — и наконец Чуна. На пересылках прокантовали около месяца, да дней десять дороги (вагонзак отцепляют, перецепляют, иногда часов по восемь стоит на путях, а в нем взаперти — люди) — всего я пробыл в этапе месяц и восемь дней.

В сопроводительных бумагах не было пометки о голодовке (но я сам заявлял многократно); ни разу за все время, ни до снятия голодовки, ни после, ко мне не подошел никто из медработников, не сделано было никакой скидки на голодовку. Общая камера на пересылке, общая камера в вагонзаке, общий режим, распорядок, требования. Общий этап. А это значит: втискивайся в битком набитые «воронки», часами стой на ногах в тюремных боксах, валяйся на цементном полу (если еще найдется место!) в пересыльных камерах, по лестнице вверх, по лестнице вниз, в коридор на перекличку, в баню, на прогулку, давай-давай, поспевай, отстал! С матрацем по лестнице вверх — в камеру, с матрацем в каптерку — живей, шевелись! Не задерживай!

Лишенный перед отправкой свидания с женой, я не мог получить необходимые мне в дорогу кружку и посудину для воды. Значит, в вагоне смочишь сохнувший рот лишь три раза в сутки, когда конвой принесет бачок. В одном тебе легче, чем прочим: не приходится мучиться от оправки до оправки, просить конвой вывести тебя в уборную, слыша в ответ: в сапог!

Уже на третьи сутки этапа я почувствовал, что выдыхаюсь.

14 апреля. В Ярославле нас выгружают из вагонзак, колонну принимает ярославский конвой (пересчитывают, сверяют по своим бумагам). Я сообщаю конвою:

- Держу голодовку сорок семь дней.
- Здесь нет голодающих!

В этапной камере обе лавки уже заняты, и вновь прибывшие стоят на ногах. Набили нас столько, что стоим впритирку. Душно, накурено — лиц не видно. Я, наверное, свалился бы, но мой попутчик хлопотал за меня и мне уступили сидячее место.

Часа через четыре повели нас из этого отстойника в баню. На мытье у меня уже не было сил, и я просто так сидел в моечной, пока остальные мылись. После бани — опять отстойник, но уже ненадолго. И наконец, привели меня (нагрузив тюремным имуществом — матрацем, подушкой и

прочим, что полагается) в камеру. Слава Богу, небольшая: тройник, и нас в нем только двое. Я сразу же лег.

В тюрьме я снова заявил о голодовке. Ответ тот же:

— У нас нет голодающих!

Я написал заявление на имя начальника тюрьмы: сообщая, что держу голодовку. Отдаю дежурному офицеру, он не берет:

— О чем заявление?

— О голодовке.

— Голодовку объявляешь?

— Нет, я давно держу, с момента ареста, сорок семь дней.

Он ушел, не взяв заявления, но вскоре вернулся:

— Я смотрел ваше дело, там о голодовке ничего не сказано. Мы не признаем голодовку!

И тут я заикнулся. Едва отдышавшись (то есть через час или два), я стал требовать, чтобы у меня приняли заявление. Я пытался вручить его надзирателям, дежурным, офицерам, добивался, чтобы пришел врач или фельдшер. Колочу кулаками в дверь. Мой сокамерник тоже стучит: в окне камеры ни одного стеклышка, дверь расхлябанная, сквозняк тянет напрямую и прохватывает нас насквозь; а ведь середина апреля, холодно, к вечеру у нас зуб на зуб не попадает.

Наконец появляется корпусной. Сосед мой требует перевода в нормальную камеру, я же — чтобы взяли заявление и чтобы врач пришел.

Далось мне это заявление! Спрашивается, чего я хотел? Врача требовал! Что мне было нужно? Чтобы накормили насильно? Нет, честно говорю, нет. Есть мне не хотелось, голода я не чувствовал. К мучениям не стремился, не получал от них удовлетворения (я это говорю без иронии — слышал, что так бывает). Поддержат ли силы? Пожалуй, нет. На третий день этапа я был уже очень слаб, и надо сказать, что это отвратительное состояние — и физически, и нравственно. Я ощущал, что слабею буквально с каждым часом, и, понимая, что рано или поздно дойду до предела, когда не в силах буду подняться, хотел бы, чтобы этот момент уже наступил. Что будет затем — я не думал. Сниму голодовку (но я боялся, что, не зная, как выходить из голодовки, я могу сразу угробить себя). Или потеряю сознание — и тем освобожусь от ответственности за самого себя (подлая мысль, но так хотелось в этой слабости освободиться от груза, от усилий, даже нравственных). Зато, исчерпав

все силы, можно не подниматься, не двигаться, лежать — и делайте со мной что угодно: я не могу встать.

Но пока еще, выясняется, могу. И приходится тянуться за остальными, сильными и здоровыми.

Вот если бы признали меня голодающим, то не гоняли бы — бегом, бегом! — по коридорам, по этапным камерам, не заставляли бы вставать, когда проверка... Я мог бы лежать. Я хотел, чтобы меня оставили в покое, не дергали.

— Примите заявление о голодовке.

— У нас нет голодающих!

Вот это, оказывается, мне переносить труднее всего — это безразличное отношение ко мне. Не ко мне, Анатолию Марченко, а ко мне, человеку. «Нет голодающих» — и все, и ты не голодовку держишь, а так просто: пообедал или вылил в сортир, твое дело. Да пусть бы никаких скидок, никакого облегчения, пусть бы даже большие тяготы голодающему (скажем, карцер), но чтоб только знали хоть про себя: на ногах держим — голодающего, лечь не даем — голодающему, навьючиваем — голодающего, загнали, упал, умер — голодающий... Так нет же! «У нас нет голодающих!»

— Возьмите заявление!

— Сиди, сиди!

— Врача!

— Жди, будет врач.

И нет врача. А то подойдет, спросит в кормушку, в чем дело.

— Голодовка... Пять дней нет стула... Дайте слабительное...

— Ладно, подождите.

Уходит и больше не появляется.

Первую ночь в Ярославле я не спал, а в каком-то полузабытии провалился до подъема. На следующую ночь, часов в двенадцать, меня вызывают на этап. Я уже не в силах тащить матрац в каптерку, бреду из камеры порожняком. Надзиратель, матюгаясь, дергает меня за рукав обратно в камеру, дергает так, что я валюсь на стенку. Но тем и кончилось: спасибо, сосед вытащил мою постель.

Нас, этаплируемых, ведут в этапную камеру, и здесь мы проводим всю ночь до утра на ногах — сидеть не на чем, лавок нет. Под утро выдают селедку и хлеб — этапный паек.

— Не беру. Голодающий.

— Сколько ж голодаешь?

— Сорок девять дней.

— Сорок девять? И ты еще живой? — Капитан рад развлечению. — Ха-ха-ха! Ну и живучий! Ха-ха-ха!

Огромная туша капитана кóлышется от смеха, брюхо трясется и ходит ходуном. Я взбешен, чувствую себя униженным и бессильным.

Минут через сорок капитан снова появляется на пороге камеры, за его широченной спиной скорее угадываются, чем видны надзиратели.

— Где тут голодающий? Подойди!

Я с трудом поднимаюсь с пола, протискиваюсь из угла камеры к двери, останавливаюсь перед капитаном:

— Я голодающий.

Он стоит, заложив руки за спину, окидывает меня взглядом:

— Голодающий, пойдем, поборемся!

Капитан хохочет, смеются за его спиной. В камере тихо.

Я отхожу от него подальше, чтобы не сорваться, и долго переживаю этот эпизод. Я и потом возвращался к нему, когда был уже далеко от Ярославля и снял голодовку. Почему я не плюнул этому борову в рожу? Или правильнее, что сдержался?

...А все же интересно, чем бы для меня обернулось дело, плюнь я в него или запусти чем-нибудь. Побоями? Судом?..

18 апреля. На рассвете приехали в Пермь. Снова заявляю конвою:

— Я голодающий, голодовка пятьдесят дней.

— А где ваш сопровождающий? Врач или фельдшер?

— Откуда я знаю!

— Тут что-то не так! Был бы голодающий — без врача ни один конвой не принял бы.

«Воронок» — обычное дело — набит битком, и так как я подхожу последним, мне места нет. Зэк передо мной сумел втиснуться лишь наполовину, я останавливаюсь за его спиной. А сзади: «Давай, давай! Видя мое неусердие, два конвоира вцепились руками в решетку, а коленями стали вминать меня в сплошную массу эзков. Вдавили, задвинули дверь-решетку, зацемив ею мою телогрейку на спине. Так я провисел около часа — пока загружали остальные «воронки», да пока ехали по городу, да стояли во дворе тюрьмы... Не знаю, все ли время я был в сознании...

В этот день дважды я подавал дежурным офицерам заявление о голодовке, и дважды оно летело на пол, мне под ноги:

— Паек получил? Сожрал? Голодающий!..

Окружающие сочувствуют мне, возмущаются тюремщиками. Мой попутчик из Ярославля рассказывает им: «Я с ним в одной камере был, и в вагонзаке двое суток на одной полке сидели — он ни крошки в рот не положил. И паек не взял».

— «Да что, по нему не видно?» — Но никто не понимает моего упрямства: «Им не докажешь!», «Подохнешь только им на радость», «Нет правды, где правда была, там х... вырос» и т.п. Все дружно советуют мне бросить бесполезную затею.

Пора кончать голодовку. Завтра сниму.

В этот же день всех прибывших выводят к врачу на медосмотр (называется почему-то «комиссия»). В кабинет запускают по шесть человек, опрос короткий (осмотра совсем нет):

— Жалобы есть? Вшей нет?

Я сообщаю: пятьдесят один день голодовки.

— А где ваш врач?

— В Калуге, в тюремной медчасти.

— Вас должен был сопровождать врач до самого места... Когда вас в последний раз кормили?

— 12-го, в день отправки.

— А сегодня 18-е... — она смотрит на меня с сомнением. — А когда был стул?

— 9-го. Дайте слабительное.

— Но я только принимаю этап. Помощь оказывают другие.

Ни ее, ни «других» я больше не видел.

В течение дня нас водят в баню, проверяют, перепроверяют, сортируют, загоняют в отстойники. Многие мои попутчики едут на «химию», да и в предыдущих этапах, видно, тоже. Стены в боксах исписаны прощальными надписями: Восемнадцать человек из Грозного ушли на «химию» — и число; «22 человека из Кишинева ушли на БАМ» — и число.

В камере, куда я попадаю лишь к вечеру, одни «химики» и ссыльные, человек двадцать пять. Всем нам, в отличие от лагерников, выдали по две простыни — впервые встречаюсь с такой роскошью. Зато четверым, в том числе и мне, не находится места на койках, так что постель стелить негде. На ночь в камеру дают четыре деревянных щита на пол, а утром, в 6.00, забирают, и прилечь негде. Ну, правда, можно на голом полу.

19 апреля. Не так это просто, оказывается, — остановиться. Утром я снова отказываюсь от пищи, пытаюсь безуспешно — вручить дежурному заявление, требую врача. «Врач будет», — обещает надзиратель; но парень, у которого огромный гнойник на ноге, со знанием дела дополняет: «Будет — не чаще раза в неделю; и то надо с боем добиваться».

Я все же жду врача, да и что еще остается? Больше всего хочется лечь и лежать, но у меня нет лежачего места. И врача нет.

Сегодня пятьдесят два дня голодовки. И неделя этапа. Как это может быть, что я еще держусь на ногах? Прав тот капитан: живучий, черт! Хоть бы скорее потерять сознание! Тогда я знал бы, что дошел до предела, и снял бы голодовку. И еще, может быть, мне дали бы полежать, отлежаться (все-таки, оказывается, я надеюсь на какую-то гуманность в родной стране).

Пока же удастся немного полежать на кроватях соседей: то один, то другой на время уступает мне место.

Разносят обед, я снова отказываюсь — а зачем? Нет, я все-таки добьюсь, чтоб меня признали голодающим! Стучать в дверь руками или ногами я уже не могу, то есть пытаюсь, но удары получаются слабенькие, так, какое-то царапанье, и никто даже не подходит: здесь пересылка, и такой ли надзиратели слышали стук и грохот! Тогда сокамерники сооружают мне таран: придвигают к двери стол, на него кладут скамейку вверх ножками — вози ее по столу и бей в дверь. Для многих это развлечение в нудной тюремной жизни, в их глазах любопытство, что сейчас будет, чем это дело кончится? Некоторые подзуживают меня, другие остерегают: «Брось ты эту затею, выведут в коридор, отбуцкают — и в карцер» (вчера вот так после прогулки одного уволокли; да это тут вообще не редкость). Ну и пусть, в карцер так в карцер, мне уже все равно. Бью тараном в дверь, удары получаются редкие, но достаточно громкие. Подошел коридорный, увидел в глазок таран, заорал, заматерился. Я продолжаю свое занятие, как автомат. Коридорный ушел. Через сколько-то времени загредел замок. Камера насторожилась, замерла, мне шепчут: «Скажут выходить — не иди!» Один подходит и тянет меня от двери. Но вот дверь открыли. На пороге три надзирателя, один из них тычет в меня пальцем:

— Выходи!

Два-три парня подают голоса в мою защиту.

— Ну и вы выходите, — тычет он в них.

Голоса стихают. Я ступаю за дверь, в полутемный коридор, в ожидании первого удара. Но вместо того — в стороне у стены замечаю пожилого майора с нарукавной повязкой «Дежурный пом. начальника». (И на кителе голубой ромбик!)

— Что там у вас?

Я подаю заявление. Он его читает — и берет!

— Передам начальнику. Врач будет.

Меня возвращают в камеру к удивлению сокамерников. Но часа через два меня снова вывели в коридор, к тому же майору. У него в руках мое заявление.

— Начальник вас не примет. Какая у вас может быть голодовка? Вы же вольный человек, едете на свободу. Там и жалуйтесь. А мы к вам отношения уже не имеем и ваших заявлений не разбираем. Все.

— А врач? Будет ли?

— А что вам от него нужно?

И в самом деле — что? *

Вот главное отличие старых русских мест заключения (каторги, острогов, тюрем) от нынешних: арестант не видит милосердия. Раньше оно притекало к нему по трем узаконенным каналам: через церковь, через врачей (и сестер и братьев милосердия) и через добросердечие народа, воспитанное тоже церковью. Не каждого они в состоянии пронять и возродить, но только оно могло проникнуть к ожесточившимся, отгородившимся от мира душам преступников. И, видно, милосердия жаждали арестанты, раз, сытые осторожной пищей, просили Христа ради и принимали милостыню на праздники. Это их почему-то не унижало — а вдруг да и возвышало, поднимало со «дна»?

В сегодняшней тюремной системе нет места жалости, доброте, участию, все блага и поблажки отмеряются

* Примечание жены Анатолия Марченко: По-моему, муж хотел одного — милосердия. От него одного ему стало бы легче в эти тяжкие дни, когда он слабел с каждым часом и чувствовал себя совершенно беспомощным. Не конкретной помощи, а милосердия. А почему от врача? А от кого же еще? От надзирателя? От прокурора? На враче белый халат, сумка с красным крестом — устаревшие символы службы милосердия.

Сам Анатолий категорически отвергает мою догадку: «Я же знал, с кем имею дело». Знал, знал... И все же думаю, что я права. Все мы в слабости и страдании ищем добрую руку, участливый голос, сострадательные слова. Но наша жизнь милосердием не богата. Сестру милосердия заменила медицинская сестра, функция которой — умело воткнуть в вас иглу, не перепутать таблетки. Духовную поддержку получить и вовсе не у кого (разве что у парторга?). Наше воспитание со школьной скамьи направлено против жалости: «Не жалеть... Не унижать человека жалостью...»

механической мерой: «заслужи!», «докажи, что достоин!» (даже больных не активируют, даже матерей лишают амнистии). Но откуда взяться милосердию к заключенным, когда его нет на воле?

— Слабительного.

— Я скажу работнику медчасти.

— И лечь мне негде.

Майор оборачивается к коридорному, велит найти мне место.

— А где мне взять? Все камеры переполнены, эта самая свободная.

Я снова в своей камере. Так же без места. И врач не появился, и даже сестра, которая иногда разносит таблетки по камерам «от головы», «от живота», в нашу камеру не заглянула. Отбой.

20 апреля Ночью я проснулся у себя на щите от резкой боли в желудке. Меня трясло, ныло сердце. Боль от желудка разошлась по всему животу — сначала резкими приступами, а под утро стала постоянной.

На поверку я не встал, но это обошлось. Мне уступили на время койку в нижнем ярусе, и я лежал на ней лицом вниз, боясь пошевелиться, так было больно. Я уже не думал о голодовке — снять, продолжать? — не лез с заявлениями, не требовал врача. Лежал и был рад, когда боль немного унималась.

— Прогулка! На прогулку!

Я это слышал, как сквозь вату. Слышал, как нашу камеру вывели в коридор. Я остался лежать.

— Па-чему не выходишь? — надзиратель, молодой кавказец, рывком сдернул с меня телогрейку.

— Не могу.

— Нэ можешь? Гдэ асвабаждэние от врача?

— Врача нет и не было.

— Выходы! — И он рванул меня с койки, как только что телогрейку.

Я не встал и снова повалился на постель. Надзиратель выматерился и ушел — в коридоре выстроены остальные заключенные, и надо их вести на прогулку. Я надеялся, авось меня оставят в покое, и стал моститься, ища удобное положение. Нашел, затих. И боль поутихла, только озноб стал сильнее. Но тут в камеру вбежали два надзирателя (кавказец и еще один) и, ни слова не говоря, сдернули меня с койки, поволокли к двери. Я не держусь на ногах, вернее, не передвигаю ими, и они бьют меня по ногам сапогами.

Может, я и мог еще сам идти, может, то была бессознательная реакция обессиленного тела на насилие? Не знаю.

В дверях камеры я упираюсь ногой в порог. В ответ знакомым приемом выворачивают мне руку за спину, и я получаю удар сбоку в живот...

Я очнулся на полу в коридоре. Прямо перед глазами хромовые сапоги. Кто-то ищет пульс у меня на руке. Другой орет в телефон:

— А если он умрет у меня в камере? Забирайте в больницу и делайте, что хотите, а я отвечать за него не буду! Если он умрет...

Не очень-то приятно слышать такое.

Надзиратель бросает трубку и говорит напарнику:

— Сейчас врач придет, давай его в камеру.

Меня щупают за щеки, слегка трясут, но уже без грубости. Пытаются поднять, но я снова валюсь на пол, теперь уж действительно ноги не держат. Тогда за руки и за ноги надзиратели втащили меня в камеру, бросили на койку и вышли, оставив дверь открытой. Я лег вниз лицом, подтянул ноги к животу — не так больно. Но я же в тюрьме, и надзиратель за меня отвечает. Подошел, перевернул на бок, лицом к двери.

— Мне так хуже.

— Лежи так! — уходит.

Спустя какое-то время слышу, кто-то вошел в камеру, остановился, не подходя к кровати. Открываю глаза — женщина в белом халате стоит от меня метрах в двух (ближе так и не подошла):

— Что с вами случилось?

— Голодовка, пятьдесят три дня.

— Вас должен сопровождать врач... — и так далее, уже слышанное.

— Мне нужно слабительное.

— Хорошо, дам. Когда вас кормили?

— Перед этапом, восемь дней назад.

— И с тех пор нигде, ничего? А оправлялись когда?

— Девятого.

Она открывает свой ящичек с красным крестом, достает пакетик. Но потом вдруг смотрит на меня — и прячет пакетик обратно.

— Вам теперь нельзя. От слабительного вы еще больше потеряете силы.

И уходит. Дверь с грохотом закрывается и тут же с грохотом отворяется снова, в камеру входит офицер — полковник, не то подполковник — в сопровождении надзирателя.

— Встать!

Лежу и головы не поднимаю.

— Встать, кому говорю!

— Я уже лежачий.

— Начальник перед тобой стоит, а ты лежать будешь? Встать!

— Ложитесь тоже!

— Что?! Я ведь и в карцер тебя могу!

— Это и он может, — я показываю на надзирателя.

Офицер заходил по камере, потом снова подошел ко мне:

— Ты за что попал?

— Не тычьте.

— На «вы» я с лучшими друзьями разговариваю, а не с преступниками!

Дурак какой!

Он подошел ближе, и мне почуялся запах водки.

— Голодайте или нет, а мы отправим вас дальше с ближайшим этапом.

А в коридоре уже толпились вернувшиеся с прогулки заключенные. Их не впускали в камеру, пока офицер не вышел. «Хозяин!» — услышал я от них, когда они вошли.

Просился я к нему на прием — не принял, а тут сам пришел.

Целый день я лежал на койке, никто меня не дергал, не тревожил. После отбоя перебрался на свой щит. Боль в животе совсем утихла, озноб стал меньше, только сердце продолжало ныть.

С заявлением покончено. От врача мне тоже ничего не нужно. Самому непонятно, зачем я рыпался, чего добивался. Лежу, не поднимаюсь, мне покойно и ничего больше не надо. Давно бы так — не встану, хоть убейте.

Теперь я стал думать.

Так, меня отправили из Калуги общим этапом за четыре тысячи километров. Отправили голодающего, после полутора месяцев голодовки, и не только без сопровождения, которое, оказывается, полагается в таких случаях, но даже не сделав в сопроводилровке пометки о голодовке. Вряд ли калужская тюремная администрация и врач взяли на себя такую ответственность сами, без чье-то указания — того, кто за кулисами распоряжается моей судьбой.

На что же был расчет? Что я умру в пути? Или сниму голодовку? Но в условиях этапа и это не гарантирует меня от гибели. Сообщат жене о смерти, вписав любую причи-

ну, для себя же решив: сам себя угробил, туда и дорога, «собаке — собачья смерть». И никто не только не понесет никакой ответственности, но даже не почувствует вины.

Да и что мне в том?.. Но все-таки обидно было бы дать себя убить вот так, безнаказанно, безвозмездно. Да я и не собирался умирать.

Три месяца до ареста жена уговаривала меня не объявлять голодовку, хоть не бессрочную. «Двух недель достаточно. Ну пусть три недели — ты же ничего не требуешь, для заявления протеста этого довольно», — торговалась она со мной, а я смеялся и говорил, что вытану несколько месяцев и непременно сниму, не доводя дело до крайности. Я и сам не стремился к смерти.

Сколько я мог бы продержаться без искусственного кормления (то есть если бы меня не накачивали вообще, с начала голодовки)? Мне кажется, что месяца полтора-два, а то и больше — но, конечно, не в этапе, а в покое. Может, я и ошибаюсь. А теперь — мог ли бы я голодать дальше? Кто знает? Кто знает? Я слышал, что при голодовке можно умереть не от истощения, а от паралича сердца; так в какой же день дополнительная нагрузка на сердце — беготня, духота, давка и т.п. — окажется последней каплей? Оно и так уже болит, ноет, прежде здоровое сердце... Да и без того — саданет кулаком надзиратель в расчете на здорового, и конец. Это могло и сегодня случиться.

Если б меня оставили в покое (да не в общей камере!), я мог бы и дальше не есть. Ну еще три дня. Потом все равно пришлось бы снимать голодовку — не умирать же на самом деле, тем более кому-то на радость.

Наверное, надо было прекратить ее еще в начале этапа, ну, скажем, в Ярославле. Но вот это «у нас нет голодающих!» — и я, дурак, завелся. Да и недосуг все было: вагонзак, бокс, «воронок», баня, «паек не беру» — когда тут затормозиться, отвлечься от сиюминутной суеты, с толком принять решение? Психологически переориентировать себя — для этого тоже покой нужен, а не так: не ел, не ел — дай-ка пожую маленько.

Пятьдесят три дня. Хватит. Завтра утром сниму голодовку.

21 апреля. Это значит, что утром я беру пайку — полбуханки черного хлеба. Но вот проблема: что с ним делать?

Я не знаю, как выходить из голодовки, спросить не у кого, да хоть бы и знал, мало толку. Научные рекоменда-

ции были бы бесполезны: кроме обычной тюремной пищи, я все равно ничего не получу.

Пайка лежит пока нетронутая. На завтрак дают черпак каши, с нее я и начинаю. Я не знаю, из какой крупы эта каша, и не берусь догадаться; арестанты зовут ее «кирзовой», потому что она шершавая и дерет горло. А на цвет синеватая. Вот эту кашу я и жевал чуть ли не до обеда: пережевывая, пока она не превратится в жидкий клейстер (через некоторое время после начала жевания появилась слюна), процеживал ее несколько раз сквозь зубы и лишь потом с усилием глотал. Сама пища оставляла меня равнодушным, занимал лишь процесс еды, от которого я совсем отвык. После каши я таким же образом съел граммов сто хлебного мякиша и запил кипятком с пайковым сахаром. Обеденные щи есть не стал (и еще недели две обходился без них, не ел и соленую кильку — а это, между прочим, значит, что в пути ничего не ел, кроме хлеба: этапный паек состоит из хлеба, кильки или селедки и двадцати граммов сахара в сутки). Вечером похлебал жижи из рыбного супа.

Надо сказать, что кормежка сейчас лучше, чем лет пять назад. Еда на пересылках более удобоваримая, дневная норма сахара увеличена на пять граммов: вместо пятнадцати — двадцать. Мало? Улучшение на тридцать процентов за пятилетку!

На вторые сутки — и во все последующие дни — появился аппетит, да какой! Приходилось бороться с желанием съесть всю дневную пайку сразу, приходилось стыдить себя за мысль, не попросить ли добавки баланды (в тюрьме это не считается зазорным; другое дело, что редко когда получишь). О чем я точно знал — так это об опасности после голода наесться сразу, и поэтому долго еще соблюдал полуголодную диету. Это в заключении так легко!

В этот же день — очередной (раз в месяц) обход прокурора. «Хозяин» (начальник тюрьмы) представляет ему нашу камеру:

— А это люди вольные! — все у нас в камере «химика» да двое ссыльных.

— Вопросы к прокурору будут?

Вопрос у всех один: когда отправят дальше? Большинство здесь кантуется уже три недели. Нам, ссыльным, время в этапе засчитывается в срок из расчета день за три. «Химики» же идут либо из лагерей, либо из зала суда по «химической» амнистии (то есть они действительно

«вольные» — амнистированные, однако едут этапом, под стражей). И им зачетов нет. Ссылным они завидуют.

Прокурорский обход — развлечение. Никто его всерьез не принимает. По-шутовски ломается начальник тюрьмы, арестанты встречают и провожают прокурора смехом. Это устраивает обе стороны.

22 апреля. Я уже в Свердловске. Хотя я больше не голодающий, но перенести этот перегон мне было не легче, чем предыдущие. Те же набитые «воронки» и вагонзаки, то же выстаивание часами в тюремных боксах. Пока дошло до бани, я уже вконец вымотался и мечтал поскорее добраться до камеры, чтобы лечь.

Камера № 11 на Свердловской пересылке заслуживает описания. Это большой зал, примерно в сто двадцать квадратных метров. Посредине, отступя от стен метра полтора-два, двухъярусный помост-нары; это сооружение имеет метров десять в длину и четыре метра в ширину. Проход — только круговую, по-за нарами. Остаток площади занят длинным столом со скамьями, а также «туалетом».

Я пробыл в этой камере четыре дня. В это время в ней находилось сто шестьдесят три человека. Как мы там помещались? Днем еще ничего: сидя, человек занимает меньше места. А ночью!.. Лежат на нарах, под нарами, на столе, под столом. Проходов нет — лежат в проходах. Впрочем, не лежат: там, где от стены до нар всего полтора метра, не ляжешь в полный рост, а либо свернувшись калачиком, либо сидя спиной к стене, зато ноги вытянуты. Вот такая полусидячая плацкарта досталась и мне. Берегись распрямиться во сне — заедешь ногой в рожу спящему под нарами. Береги и сам себя — ночью через тебя переступают, на тебя наступают пробирающиеся к туалету (унитазов всего два, и за день всем просто не успеть ими воспользоваться).

На поверки камеру выгоняют в коридор, выстраивают в затылок по трое и пересчитывают. Общие объявления надзиратель делает через рупор, перекрывая постоянно висящие в камере шум, крики, брань. А если кого надо вызвать, то это делается методом «передай по цепи»: «Петров — на выход» — «Передай Петрову» — «Петрова!» — «Петрова!» Спишь — пинок тебе в бок: «Ты Петров?.. Передай дальше!»

Приносят хлеб. Не зевай! Останешься без пайки. Миски с баландой баландер подает в кормушку по счету. Находятся шустряки: караулят обед у двери, получают первыми, и

пока дойдет твоя какая-нибудь сто пятидесятая очередь к кормушке, они уже съели свою баланду и затесались снова среди дружков. Баландер отсчитал: «Сто шестьдесят три!» и захлопнул кормушку. Ты и остальные — без обеда.

Еще пуще ног береги обувь: ноги разве что отдавят, а сапоги уведут запросто, и с концами. И не только сапоги, а любую «вольную» тряпку с тебя пытаются содрать, украсть, обменять на лагерное рваньё. Сначала подъезжают «по-хорошему»: «Земляк, махнемся!» — и тебе всерьез предлагают сменять свитер или приличный костюм на рваный лагерный бушлат. Идут уговоры, намеки. Устоял? Успишь — пропало все, и сменки тебе уже не дадут. Мой свитер и сапоги (импортные!) вызвали особенный интерес, и ко мне тоже подъезжали «по-хорошему». А ночью приходилось дремать вполглаза, оберегая свое имущество. Раздевшись, я подложил свитер под спину, сапоги — под ноги — не спать же в них! Рядом уселась компания с картами, галдят, но мне, глухому, это не мешает. Сквозь дрему чувствую — кто-то сапог подергивает: дернет — и передышка, потом снова. Я чуть приоткрыл глаза, вижу, парень из картежников потихоньку тянет у меня сапоги из-под ног. Я одну ногу снял с сапога, задрал ее на стояк нар, будто во сне, а сам жду, когда он, голубчик, рванет их — тут я и уроню ногу ему на шею. Но он с сомнением переводит взгляд с сапог на поднятую ногу, потом на мою физиономию — сплю ли? — переглядывается с остальными и уходит к столу. За ним и компания. Ну и слава Богу, не хватало мне драки. Эти-то парни — «шестерки», работают на паханов (их в камере два, оба борцовского вида малые лет по двадцать пять-двадцать семь, сначала обрабатывают новичка уговорами, а потом сдают «шестеркам»). После этого случая меня оставили в покое — угадали мой лагерный опыт, что ли? А ведь могли запросто ободрать, сил на драку у меня не было. Но эта шпана открыто отнять все же не решается*.

В камере № 11 и лагерники, и «химики», и ссыльные. «Химиков» больше всего, как раз в марте прошла очередная «химическая» амнистия, и через Свердловск в Тюменскую область шел этап за этапом. А ссыльные (в основном алиментщики: «За что попал?» — «За золотые яйца!») и поселенцы отправляются главным образом в Иркутскую область, на трассу БАМ.

* А в Находке, рассказывал сокамерник, сдирают, не стесняясь. Едва ты вошел в камеру, с нар слышится: «Рубашку забил!», «Брюки забил!» Опомниться не успеешь, а уж на тебе ни того, ни другого, и уже шпана играет на твое барахло в карты.

По всей длинной стене камеры арестанты выцарапали этапный маршрут от Москвы до Владивостока. Не хуже, чем на рекламе международного туризма, выведены все изгибы железной дороги «от края и до края». Обозначены все пересылки, сколько ехать от «вокзала» до «вокзала» (вагонзаком, конечно, фирменным гулаговским экспрессом). И на север от основной магистрали, где пунктиром, а где сплошной линией выцарапан БАМ — «стройка века» не обойдется без зэка.

Не знаю, много ли таких камер, как одиннадцатая, в Свердловске. Местные арестанты хвастаются, что в этой тюрьме одновременно содержится от двадцати пяти до тридцати тысяч заключенных; может, и так. Официальных данных нет, они засекречены. Я могу сказать только одно, то, что видел своими глазами: тюрьмы набиты битком, переполнены, и в основном молодежью. Официальная информация сообщает нам о сокращении преступности — откуда же берутся эти тысячи и тысячи этаплируемых от Подмоскovie до Тихого океана? Сколько их на самом деле? Как необходима настоящая, подлинная информация, с цифрами, а не с голословными успокоительными фразами. Можно предположить, что нефальсифицированные данные о преступности насторожили бы нашу общественность; еще большее беспокойство должен бы вызывать рост преступности несовершеннолетних. «Изнутри» наглядно видна порочность системы «воспитания» людей через тюрьму и лагерь; малолетних она тем более развращает и калечит.

Но голос «изнутри» (из тюрьмы, лагеря, с поселения) не слышен общественности. А «снаружи» ей не видно — государственная тайна.

23 апреля. Объявили этап на Иркутск — семьдесят шесть человек, и среди них я. Слава Богу, прямой этап, минуя Новосибирскую пересылку! Ночь все мы, семьдесят шесть, провели в этапной камере, где места на тридцать человек от силы. До утра просидел у стены на корточках, а утром — всех обратно, в одиннадцатую камеру. Нас узнают и встречают дружным хохотом. За сутки из камеры ушло на этап человек шестьдесят, но столько же принято с нового этапа, просторнее не стало.

Я забыл сказать, что такая формальность, как выдача арестанту матраца, в Свердловске соблюдается неукоснительно (и кто в камере без места, тех матрацы общей грудой свалены на полу). Итак, 22-го я волок матрац в ка-

меру; 25-го опять оттащил и сдал в каптерку. Снова ночь на корточках в этапной камере, и 26-го, наконец-то, в пути. На Новосибирскую пересылку.

Был бы я в таком состоянии на воле — лежал бы не поднимаясь. И не в силах был бы подняться. Но прикосновение к земле ГУЛАГа вливает в человека неведомую энергию — и ты бредешь, плетешься, бежишь, стоишь стоямя, висишь, зажатый между другими. А куда денешься? «Партия сказала — «надо», комсомол ответил — «есть!»»

27апреля—21мая. Так я и знал, что если к праздникам не доберусь до места, то недели на две застряну. Этапы прекращаются за несколько дней до праздников, а тут два кряду: Первомай и День Победы. Оба я провел почти на родине: от Новосибирска до Барабинска четыре часа поездом. И барабинский земляк угостил меня в камере колбасой и огурцом из передачи. Я рискнул взять угощение, хоть и опасался за желудок. Вроде бы сошло; значит, за пищеварение можно не беспокоиться. Голодовка на нем не отразилась. А в остальном — время покажет.

В Новосибирске меня настигла вторая за время отсидки амнистия, юбилейная (до нее — «химическая»). А в Иркутске догнала «женская» — в связи с Международным годом женщины. Естественно, ни одна из них меня не касается: я не женщина, в войне не участвовал, к тому же пятая судимость. Но и никто, никто из политических не будет амнистирован — ни участники войны, ни даже женщины. И пятилетнему сыну Нади Светличной и дочке Ирины Калынец еще ждать и ждать своих мам...

На Иркутской пересылке я снова первым делом влип в историю, хоть к этому и не стремился. После нескольких часов стояния на ногах в душном боксе мой попутчик упал на пол, то ли потеряв сознание от духоты, то ли из-за боли — его еще в вагонзаке схватил приступ радикулита. Чувствуя, что и сам скоро свалюсь, я пробился к двери и начал методично стучать в нее сапогом. Подошел надзиратель:

— Выведу — не обрадуешься!

Да выводи, черт с тобой, хуже не будет! И я снова бухаю в дверь — прямо в него. Ушел, пришел с дежурным офицером:

— Выходи! Почему безобразничаешь? Карцера захотел? На этап не отправим, — и тому подобное.

Но все-таки, услышав от меня, что кто-то в боксе потерял сознание, капитан заглянул в глазок и распорядил-

ся забрать больного в медчасть, а из остальных половину вывести в другой бокс. При мне надзиратель отпер соседний бокс — чудо! Совершенно пустой! Может, и другие в этом коридоре такие же? А нас держали, как кильку в банке, столько часов!

Больной после укола снова был водворен к нам. Он тоже был ссыльный, алиментщик. Вместе мы сидели в Иркутске, вместе ехали до Чуны, вместе нас выпихнули из Чунской милиции с наказом немедленно трудоустроиться. А месяца через три я встретил его в Чуне на улице, несколько даже растерянного:

— Кончился мой ссылка! Получил инвалидность, а она освобождает от ссылки.

Моя же — только началась еще.

В Чунском отделении милиции на столе у коменданта я увидел сопроводительный формуляр, наклеенный на пакет с моим «делом». Крупным типографским шрифтом вверху набрано:

СКЛОНЕН К САМОУБИЙСТВУ

Неправда! У меня никогда не было мысли покончить с собой. Зачем же эта надпись? Может, чтобы, если голодовка в этапе меня доконает, иметь оправдание: мол, сам себя довел, к тому и стремился?

Формуляр переkreщен по диагонали двумя широкими красными полосами. Знакомый знак, он перекочевал сюда из моего старого лагерного «дела». Его значение: СКЛОНЕН К ПОБЕГУ. Надо же! За арестантом, который тянет голодовку почти два месяца, нужен глаз да глаз: «склонен к побегу». Зато о голодовке в формуляре ни слова.

Выпроваживая нас из милиции на улицу (ночлега нет — ищи сам; денег нет — перебьешься), комендант напутствует:

— Немедленно устраивайтесь на работу!

А направление на работу мне уже выписано — на лесозаготовительный комбинат. Здесь я отработывал свой надзор в 70-м году, у меня здесь много знакомых. И рабочее место определено — подавать вручную к пиле сырой шестиметровый брус. Не всякому здоровому по силам. Для меня это не ново: в Пермских лагерях бригадиру было приказано использовать Марченко на самых тяжелых работах.

Я иду на территорию ЛЗК, и меня не узнают знакомые. Оглядываются на отросшую в этапе черную бороду и гадают: откуда? из лагеря? из больницы? с того света?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если бы кто-то спросил у меня совета, объявлять ли ему голодовку, я бы сказал: «Нет». В принципе я против голодовки, как и против самоистязания в любой форме. И такое мое отношение не есть результат личного опыта марта-апреля 1975 года. Оно сложилось раньше, я был против голодовки до, после и даже во время своей голодовки. Личный опыт добавил только то, что теперь я на самом деле ощутил и последствия этой губительной акции. Полгода спустя я чувствую себя инвалидом, не способным работать (хотя это не признано врачами в ссылке), и боюсь, не навсегда ли такое состояние.

И все-таки я не могу себя осудить за то, что, поддавшись эмоциям, объявил и долго держал голодовку. Более того, я не зарекаюсь, что в какой-то ситуации не пойду на нее снова. Чувство бессильного протеста, когда тебя держат за горло, может толкнуть на любые крайности. Таким же сильным может оказаться и сочувствие другому человеку, другим людям, доведенным до отчаяния.

Политические голодовки в СССР стали массовым явлением. Известия о них (но не обо всех!) прорываются через колючую проволоку и через тюремные стены. Но, к сожалению, чем больше таких известий, тем менее острой становится реакция на них общественного мнения. Люди воспринимают факт — но забывают о его причинах. И не представляют себе его последствий.

Причина голодовки — крайняя степень жестокости и бесчеловечности, беззаконие и произвол властей.

Последствия голодовки — утрата здоровья, угроза жизни. Я начал голодовку «с воли», держал ее около двух месяцев, через месяц после снятия оказался в домашних условиях — и то мое здоровье подорвано. А Валентин Мороз держал голодовку почти пять месяцев, начал ее после трех лет тюрьмы, закончил в тюрьме же, там он и сейчас. В условиях лагеря держали длительные голодовки инвалид Иван Светличный и другие политзаключенные Пермских лагерей. Политзаключенные женщины в Мордовии несколько раз объявляли голодовки, и после них для «поправки здоровья» заключались в карцер и в БУР!

Помните: голодовки кончились, но жизнь голодавшего в опасности.

Помните: политическая голодовка — свидетельство преступного отношения властей СССР к правам своих граждан и к самой их жизни.

Я не берусь что-либо советовать. Но мне кажется, что долг порядочного человека, гражданина СССР, не оставлять без внимания обстоятельства, которые доводят их соотечественников до такой крайности, как голодовка.

Мне кажется, что международное сотрудничество с советским режимом в области культуры и экономики без активного влияния на его обращение со своими гражданами поощряет его на жестокость и деспотизм. Наличие политзаключенных в стране, а тем более — их трагическое положение в наши дни уже не является внутренним делом этой страны. Контакты с жестокими диктатурами понижают нравственный уровень всего человечества. К тому же эти свойства — жестокость, бесчеловечность, власть силы — имеют тенденцию распространяться по всему миру.

*10 октября 1975 года
пос. Чуна, Иркутская область*

ЖИВИ КАК ВСЕ

«Живи как все» — эти слова, ставшие заглавием книги, говорили автору на протяжении всей его жизни — одни с заботой и беспокойством, другие — с обывательским осуждением или насмешкой, третьи — с угрозой и ненавистью.

Таким людям, как он — кристальной внутренней честности, с готовностью пойти ради защиты своих принципов на любые жертвы, — выпадает на долю трагическая и счастливая судьба! Перебирая мысленно страницы жизни Толи — то, что мне известно, — я неизменно вижу рядом с ним его жену Лару — не разделяя их ни в чем.

О чем же книга? Хронологически — о периоде, лежащем между тем, что описано в «Моих показаниях», и тем, что произошло в 70-х и 80-х годах и лишь частично отражено в его хронике «От Тарусы до Чуны». В то же время — это в какой-то мере итоговая книга (хотя и не вполне законченная и «отшлифованная» автором), содержащая больше оценок и размышлений, чем обе названные.

В книге описаны первые месяцы пребывания на воле после освобождения, мытарства бывшего (и будущего) заключенного, поездка к родителям. Живые и внешне бесхитростные описания, но проникнутые болью и горечью, приоткрывают перед читателями мир, в котором живут миллионы людей «там, где кончается асфальт» (так называлась то ли повесть, то ли кинолента о Южной Америке). Вторая часть новой книги Марченко — история того, как были написаны «Мои показания», история творческих мук автора и борьбы с то неявным, то вполне откровенным сопротивлением врагов будущей книги.

«Мои показания» — первая книга о послесталинских лагерях и тюрьмах, первое развернутое свидетельство об этой позорной изнанке нашего общества. Она сыграла огромную роль в нравственном формировании движения за права человека в СССР и во всем мире. Власти никогда не могли простить Марченко его подвига. Ему был вынесен приговор. Двадцать лет последующих мучений и гибель в чистопольской тюрьме — это и было замедленное приведение в исполнение этого приговора.

Третья часть — игры кошки (КГБ) с мышкой, суд и опять — лагерь. Вновь лагерная жизнь изнутри, множество деталей, дополняющих «Мои показания» (в большей степени, чем там, отраженных в событиях, происходивших с автором). Кончается книга описанием фарса лагерного суда по статье 190–1. То был один из первых процессов по этой статье, в нем отражены многие трагикомические (а по существу просто трагические) черты последующих ритуальных инсценировок этого рода.

Открыв последнюю книгу Анатолия Марченко, читатель вновь прикоснется к судьбе и душе одного из замечательных людей нашего времени.

23 января 1987 г.

Андрей Сахаров

ОТ АВТОРА

Под этим названием я начал было повесть, наброски которой у меня столько раз отбирали на обысках *, что я ее пока отложил. А когда я стал писать эти воспоминания, то понял, что слова «живи как все» как раз ко мне и относятся. Эту присказку я слышу всю мою жизнь. Пришлось украсть у самого себя это название для нового произведения.

«Живи как все», как и «Мои показания» и «От Тарусы до Чуны», — произведение документальное. По хронологии оно должно встать между ними.

Те, кто знаком с двумя первыми книгами, без труда обнаружат отличия третьей.

Во-первых, в этой книге больше, чем в первых двух, таких элементов, как рассуждения, попытки осмыслить прошлое и настоящее, попытки, так сказать, увидеть и завтрашний день — и свой собственный, и своей страны, и мира. Поэтому книга «Живи как все», хотя и построена тоже на конкретных фактах, на авторской биографии, — более субъективна.

Во-вторых, в этой книге почти нет имен. На это я пошел умышленно. И вот почему. Мне не хочется оказаться виновником неприятностей для хороших людей. Я согласен с принципом: «Страна должна знать своих стукачей». И таких всегда готов назвать. Ну, а как быть с людьми честными и порядочными, с теми, кто, рискуя не меньше меня, помогали мне? Да и не только мне одному. Тем более невозможно рассказать о тех, кто делал полезное и нужное сам по себе, делал, не афишируя свою причастность или даже скрывая свои занятия от властей. Даже то, что сегодня не считается криминалом, — завтра вполне может оказаться таковым.

Я не всегда решаюсь назвать и тех, кто, сделав много доброго и нужного, потом вынужден был покинуть страну и эмигрировать. Вроде бы они уже в безопасности и можно было бы выразить им свою признательность или восхищение. Но, учитывая особенности нашего историче-

* В открытом письме в газету (май 1977) А. Марченко и Л. Богораз сообщают, что за девять лет у них было одиннадцать обысков. — *Ред.*

ского развития и наши «национальные традиции», я не могу позволить себе и этого. У нас ведь «никто не забыт и ничто не забыто». Может случиться, что кто-то из эмигрантов пожелает вернуться на Родину или навестить родных; назови я их — и вот для властей повод шантажировать этих людей (к сожалению, такую перспективу сейчас принято не учитывать).

По этой же причине я не могу в этой книге рассказать о некоторых фактах и случаях, хотя они, по-моему, достойны упоминания. Они настолько конкретны, что угадать причастных или участвующих лиц ничего не стоит. Предположим, сотрудник КГБ или должностное лицо с глазу на глаз выражает мне сочувствие или даже предлагает помощь. Кто он: провокатор или искренний доброжелатель? Я не знаю. Во всяком случае, я не вправе поставить его под удар, конкретно рассказав о таком эпизоде. А жаль, что такие факты должны остаться неизвестными.

Я стремился к тому, чтобы за измененными инициалами, за анонимными действующими лицами и в зашифрованных эпизодах читатель увидел и ощутил людей — тех, благодаря которым написаны мои книги и относительно благополучно (в отечественном понимании!) сложилась моя судьба. Тех людей, благодаря которым еще как-то возможно жить и дышать в нашей стране.

Шесть полных лет я провел в политлагерях и тюрьмах. Но никто, никогда, нигде не упоминал о наличии в Советском Союзе политических заключенных. Мир был встревожен и обеспокоен положением политзаключенных в ЮАР и Португалии, франксистской Испании и Южном Вьетнаме, но только не в СССР. Нас просто не существовало. И от этой несправедливости мы готовы были лезть на стенку.

Это было отчаяние обреченных на забвение. Меня возмущало позорное молчание мировой и отечественной общественности по отношению к советским политзаключенным. Но меня возмущало и наше собственное поведение: мы сами должны хотя бы заявить о себе во весь голос.

Сколько людей вышло при мне на волю! Украинские, литовские, латышские националисты, проклинавшие «тюрьму народов» — СССР; люди, сидевшие «за войну»; такие, кто сел уже в послесталинские времена. Среди них были люди думающие и даже пишущие. И каждый из них, пока был за колючей проволокой, вместе со всеми возмущался и негодовал, обвиняя весь мир в соучастии с Хрущевым, а потом с Брежневым. А как выйдет — он уже

вольный и ему нет дела до страданий тех, кто там остался. Неужели все объясняется обыкновенной человеческой слабостью — трусостью?

Я не сомневался тогда и не сомневаюсь сегодня, что среди освободившихся было немало умных, порядочных людей. Но и сейчас, когда я пишу об этом, встает передо мной давний вопрос: почему?

Конечно, каждый может правдиво и искренне ответить: я не писатель. К тому же мало просто написать, нужно обеспечить гласность написанного.

Были у меня в заключении друзья, с которыми я мог откровенно делиться мыслями и планами. Сколько раз мы обсуждали этот вопрос! Там, за колючей проволокой, под сторожевыми вышками, мы не видели никакой другой возможности дать о себе знать, кроме как прорваться за границу, найти там журналиста, который этим заинтересуется, и рассказать ему все, что знаешь.

Лучше всего, считали мы, было бы сделать это дело, не покидая страны: важно, чтобы это был голос изнутри. Никто из нас не сомневался, что судьба того, кто выполнит эту задачу «дома», решится мгновенно и бесповоротно — его либо сгноят в тюрьме, либо прикончат втихую. У меня накопилось столько злости за себя и за других, что я готов был бы пойти на это, но я чувствовал, что мне самому не справиться с «писаниной» и с передачей.

Под конец моего срока в нашей печати проскользнуло сообщение о Тарсисе. Мы также внимательно читали все газетные статьи о Синявском и Даниэле, и я обратил внимание на такую деталь, как передача ими на Запад своих рукописей. Но я мог только позавидовать их способности писать плюс возможностям и связям. Никакие мои «связи» не давали мне и слабой надежды найти хотя бы щелку в свободный мир. Итак, оставался только первый вариант, и я решил попытаться его осуществить.

Вообще зэки в лагере нередко сочиняют всякие авантурные проекты, кто во что горазд: от плана побега из зоны через подкоп или на воздушном шаре до вооруженного прорыва на волю. А люди деятельные и кидаются в авантюру, не считаясь с риском. Как ни удивительно, некоторые попытки удаются, хотя и крайне редко; большей же частью они кончались трагически. Но об удачах рассказывали легенды. Ходили слухи, что кому-то еще в сталинские времена удалось сбежать из лагеря — и за границу! — и там он опубликовал книжку.

Прорваться через границу? — задуманное дело, на мой взгляд, стоило риска.

В день освобождения, когда я прощался с друзьями, у меня не хватило духу заверять их в том, что наши разговоры не останутся обычным лагерным трепом. И я, стыдясь громких слов, не обмолвился, не намекнул даже, что окончательно решился осуществить нашу мечту — открыть систему политлагерей для всеобщего обозрения.

Я не собирался после лагеря оседать где-нибудь на постоянное жительство: я считал, что имею лишь короткий отпуск, данный мне для подготовки к переходу границы. Но, хоть и временно, надо было где-нибудь, все равно где, прицепиться, найти жилье и прописаться, а затем хорошенько осмотреться на свободе. И еще мне хотелось в последний раз побывать в родных местах, повидаться с родными.

В Москву я ехал всего на день-два: у меня было несколько поручений от эзков к их родственникам. Но этот визит в столицу затянулся и оказался решающим для всей моей дальнейшей судьбы. Нет, я не отказался от задуманного в лагере. Я лишь изменил план осуществления.

С первой же встречи в Москве, с первого дня появления там я увидел и почувствовал внимание и доброжелательность к себе как к человеку «оттуда». Теплота и сочувствие были искренними и откровенными, и мне становилось неудобно, что получаю их ни с того ни с сего, не за какие-то мои заслуги или качества, а просто потому, что я освободился из политлагерей. Ну и, конечно, благодаря рекомендациям.

В нашей стране судимостью никого не удивишь, в Москве особенно: трудно в Москве найти семью из интеллигенции, которая не была бы затронута сталинским террором. Благодаря Хрущеву поток реабилитированных «врагов народа» захлестнул Москву. Эта небывалая для советской власти практическая гуманность создала на какое-то время впечатление, что больше нет в советской стране ни политических процессов, ни лагерей и тюрем с политическими заключенными.

В Москве меня с большим интересом расспрашивали о положении в нынешних политлагерях, и я видел, что это не просто любопытство, что мои слушатели готовы что-то сделать, чем-то помочь тем, кто сидит. Вот, например, одна из знакомых, А., сразу же начала писать моему другу В., который сидел уже восемь лет — а впереди у не-

го было еще семь лет. Она посылала ему книги (тогда еще книжные бандероли были разрешены в любых количествах), писала о московских выставках и спектаклях, отправляла новогодние подарки его детям, съездила к его матери. А. и В. остались друзьями и после его освобождения из лагеря.

Если бы где-нибудь велась статистика корреспонденции в лагерь, то с шестьдесят шестого — шестьдесят седьмого годов она показала бы резкий скачок вверх, потоком пошли книги, репродукции. Особенно важно, что отправляли их не родственники, а совершенно незнакомые люди. Оказалось, что изоляция политзаключенных объясняется отсутствием информации о них, а не безразличием общества. И теперь власти вынуждены изобретать искусственные преграды, чтобы нарушить связь воли с зоной.

Я не хочу приписать все заслуги в этом деле себе. Были и другие источники информации, да и само время было такое — активное. Сидя в лагере, я никак не ожидал такой активности от нашей интеллигенции. А здесь увидел, что даже разговоры за чашкой кофе не пропадают даром. И это побудило меня изменить способ осуществления взятой на себя задачи.

Одним словом, прожив некоторое время в Москве и осмотревшись, я пришел к выводу, что если мне есть что сказать или написать, то это можно сделать и в собственной стране.

Вообще мои представления об интеллигенции за короткое время изменились на противоположные. Эти представления, по-моему, были типичными для провинциала из захолустья. Я рос среди детей железнодорожников. Наши родителей не называли паровозниками или вагонниками, для всех рабочих железной дороги было одно название: мазутник. Зимой и летом мазут с их одежды буквально капал, так они им пропитывались.

В нашем двухэтажном деревянном доме было двадцать четыре комнаты и жили двадцать четыре рабочие семьи: в каждой комнате по семье. На три семьи приходилась одна маленькая кухня. Нас, слава Богу, было в семье всего четверо. Но семьи-то разные бывают! На таких же шестнадцати квадратных метрах жило и по семь-восемь человек.

Вот отец возвращается из поездки домой. Иногда у нас в это время кто-нибудь посторонний: соседка или родственники из деревни. Умывается отец тут же у печки. А когда ему нужно переодеться, мать берет в руки одеяло с

постели и, встав около отца, загораживает его. Эта сцена была настолько обычной, что соседка не считала нужным выйти хотя бы на время. Так жили мы все. Только если переодевалась женщина-мазутница, гости-мужчины обычно выходили.

От своих родителей мы слышали одно напутствие: не хочешь быть, как отец, всю жизнь мазутником — учись! Жизнь и профессия родителей объявлялись детям проклятыми. Жить — мучиться, работать — ишачить. Другой философии своего существования наши родители не знали.

В пример для подражания нам ставились немногие в нашем городке люди «чистых» профессий: учителя, врачи, начальник депо, директор хлебозавода, секретарь райкома, прокурор. Все они считались интеллигентами. Правда, учителя и врачи материально жили не лучше, а многие хуже нас, но зато их работа считалась чистой и легкой. Остальные перечисленные мной в глазах всех были вершиной благополучия и довольства.

В самостоятельную жизнь я вошел с устоявшимся представлением об интеллигентах, что это люди, которые не ишачат, в общем, те, кому деньги платят не за труд, а даром.

А уж каково было мнение о тех, чьи имена украшались гипнотизирующими приставками: «кандидат наук», «профессор», «доктор наук»! Обладать такой приставкой, казалось нам, все равно что обладать волшебной палочкой. Жизнь этой публики представлялась нам сплошной масленицей (в нашем городке таких и не было), а труд — не только легким и приятным, но и гарантирующим удобную и роскошную квартиру, автомобиль и прочие блага, о которых наши родители и не мечтали.

И совсем особо, как боги, представлялись нам академики и писатели. И к тем, и к другим отношение было двойственное. С одной стороны, всем было известно, что занимаются они делом бесполезным и даже смешным: писатель — писака — брешет, как собака! ученый — как-то мух разводит. В разговорах между собой над ними пошучивали и даже насмехались. С другой стороны, все преклонялось перед их всеведением и всемогуществом (но только не в отношении обыденной жизни: всем известно, что никакой писатель «нашу жизнь» не понимает и что никакой академик не сумеет вылечить даже чирей, а одна только тетя Мотя).

Вообще людей интеллигентных профессий объединяли с властью: с «начальством» — а уж начальство за что

ж любить? Это хозяева, которые норовят взять с тебя побольше, а дать меньше. Учитель же, врач, инженер, а тем более судья, прокурор, писатель — у них на службе. К тому же обычно начальство и интеллигенция (и их дети) в провинции ведут знакомство между собой, а не с простыми мазутниками.

И в то же время власть натравливала простых людей на интеллигенцию: то инженеры-вредители, то врачи-убийцы, то вообще «враги народа». И «народ» охотно поддерживал эту безопасную для себя травлю.

Никто не скрывал зависти к материальным благам, о которых и знали-то понаслышке и дополняли собственным воображением на свой вкус и лад (как когда-то про царя говорили: «Сало с салом ест и по колено в дегте стоит»).

Полоса отчуждения между интеллигенцией и основной частью населения не исчезла у нас и по сей день.

Среди политзаключенных было предостаточно людей интеллигентных профессий, но я не сходился с ними настолько, чтобы мое сложившееся с детства представление претерпело значительные изменения. Однако, поразмыслив, я стал разделять понятия «интеллигентность» как культуру и образзованность человека — и так называемую «интеллигентную» (т.е. не физическую, не мазутную) работу. И к людям интеллигентным в первом смысле у меня возникло уважение, так как обычно это свойство сочеталось с порядочностью, с нравственными принципами, которые особенно начинаешь ценить в жестоких лагерных условиях. Я близко сошелся с молодым заключенным Валерием Румянцевым — бывшим офицером КГБ. Несмотря на поганую прежнюю службу, Валерий, по-моему, был по-настоящему интеллигентным человеком, и я ему многим в себе обязан. К концу срока я познакомился с писателем Даниэлем, с инженерами Ронкиным и Смолкиным. К моему удивлению, я не почувствовал того отчуждения, которое ощущал на воле; я пришел к выводу, что отчуждение отчасти рисовалось собственным моим воображением, а отчасти поддерживалось древним предрассудком и обстоятельствами. И если я не был среди этих людей чужеродным элементом, то в этом большая заслуга их самих.

Но одно дело подружиться с интеллигентным человеком в лагере, а вот каковы будут наши отношения на воле?

В лагере мы все на общем положении: один конвой для всех, одни нары шлифуем своими опавшими боками, и пайка и карцер одни и те же, и даже одеты в одно и то же. И разговоры общие, и в интересах много общего. Да и

в лагере они оказались, потому что они не такие, как все, белые вороны в своей среде, думал я.

И вот на воле я внезапно окунулся в эту до сих пор чуждую мне среду.

Несмотря на предвзятость, которая еще крепко сидела во мне, я при общении с этими людьми ни разу не почувствовал фальши в наших отношениях. Первое время я зорко следил за этой публикой. Внимательно вслушиваясь в речь каждого, следя за тоном, я боялся пропустить или не уловить что-нибудь, подтверждающее мое прежнее представление об интеллигенции. Это было не от неуверенности в себе, не от сознания собственной неполноценности перед более культурными и образованными. Это было выяснение и знакомство с новым.

Сам я намеренно не утруждал себя приспособлением, не старался понравиться окружающим. Если не считать излишней подозрительности и настороженности, которую я проявлял первое время, то можно сказать, что я вел себя вполне естественно. Впрочем, со стороны виднее.

Между этим первым знакомством с москвичами-интеллигентами и сегодняшним днем лежит десять лет. И, оглядываясь назад, я вижу, как мне здорово повезло в жизни, как много я приобрел за это время благодаря им.

А я-то считал, что советская власть давно уничтожила все живое в стране и в лагерях пытается добить остатки. Так называемый советский народ в моих глазах был покорным стадом, где из каждого в отдельности вытравили индивидуальность. И вот я встретил не одного-двух, а целый слой людей, опровергающих «успехи» советской власти в деле воспитания «нового человека, человека будущего».

Хотя круг моих знакомств в Москве был обширным и все больше расширялся, но, конечно, это были всего лишь десятки, ну, пусть за сотню людей. «Подумаешь, слой, — могут сказать, — да это все те же недобитые остатки, которыми рано или поздно найдется место в том же лагере». И ведь действительно, многие из моих тогдашних (и более поздних) знакомых за эти десять лет прошли тюрьму, лагерь, ссылку. Еще больше — эмигрировало на Запад. И все-таки я теперь убежден, не маленькая группа, не отдельные выдающиеся личности, а целый слой составляет оппозицию обязательной официальной идеологии, режиму в целом и распространенной в нашей стране системе двоемыслия. Этот слой, по-моему, лучшая часть нашей интеллигенции. Он действительно очень тонкий, но он постоянно пополняется и возобновляется, затягивая брешу

от репрессий и эмиграции. Ведь двоемыслие, ложь противны человеческой натуре, и этот слой имеет большой внутренний резерв.

Теперь я знаю, что такая ситуация характерна не только для Москвы, но и еще для нескольких больших городов. Правда, в провинции более трудные условия для инакомыслия: там все у всех на виду и репрессивная деятельность жесточе, поэтому компании, подобные столичным, более узкие и живут более замкнуто. И все-таки они есть, и главное нравственное достижение послесталинских десятилетий, по-моему, в том, что люди стали с доверием относиться друг к другу — хотя бы к друзьям и близким знакомым. Чуть смягчился режим — и порядочность стала объединять людей. Конечно, есть риск столкнуться и с непорядочностью, с трусостью, а то и с прямым агентом КГБ или провокатором, но я говорю не об исключительных случаях, а об отрядном и неожиданном явлении.

Меня часто приглашали куда-нибудь в гости или приходили компаниями или поодиночке в дом, где я остановился. Я попал в квартиру, которая еще до моего там появления превратилась в своеобразный центр информации: сюда приходили друзья и знакомые, чтобы узнать от Ларисы* что-нибудь о Даниэле, о Синявском, а то и просто поговорить, обменяться новостями. Разговоры затягивались почти до утра. И разговаривали здесь свободно обо всем, в том числе и на «запретные» темы. Здесь было с кем спорить и с кем согласиться и даже остаться в одиночестве со своей точкой зрения не считалось чем-то непозволительным или предосудительным.

Вскоре с познакомился с составителем «Белой книги» Александром Гинзбургом и с самим его сборником. Прочел несколько других самиздатских произведений. Для меня все это было так неожиданно и так ново: ведь из современной литературы я никогда в жизни не читал ничего, кроме официальной пропаганды и произведений, одобренных Главлитом. Это было мое приобщение к живой мысли и к свободному слову.

В конце шестьдесят шестого я как раз застал письма-протесты по делу Синявского и Даниэля (они все вошли в «Белую книгу»). Каково было мне, только что из политлагеря, читать их? Люди открыто вступаются за право на свободу мысли и творчества, вступаются за осужден-

* Л.И. Богораз. - *Ред.*

ных, да еще тех, кто осмелился публиковать свои произведения на Западе! И под этими заявлениями ставят собственное имя, да еще указывают профессию! Ничего себе! В лагере немало эзков, угодивших за проволоку за гораздо меньшее.

Я познакомился с некоторыми из авторов и увидел, что это обыкновенные люди, что они не лезут в герои или вожди. Кто они были? Учитель истории, ученый-физик, преподаватель математики, художник, редактор, несколько литераторов и научных работников (некоторые с той самой «волшебной» приставкой: кандидат, доктор). Мне стало стыдно за мое недавнее мнение о таких людях. Протестующая интеллигенция рисковала куда больше, чем если бы они были простыми «работягами», и, конечно, больше нас, лагерников. Эзку почти нечего терять, он может сказать о себе словами Окуджавы: «Забуду все домашние заботы, не надо ни зарплаты, ни работы...» Вот мы в лагере и прем, как говорится, на рога. А на воле человек рискует своей любимой работой, карьерой, благополучием семьи, и не на какой-то определенный срок, а, как говорят в лагере, до конца советской власти*. К тому же никто из них не гарантирован от ареста.

Со многими из тех, с кем я познакомился в первые дни в Москве, я сдружился, и мы друзья по сей день.

Между прочим, мои представления о материальном положении интеллигенции, конечно же, не выдержали проверки опытом. Первая семья, пригласившая меня в гости, была семья Садовой и Шрагина. Муж и жена, научные работники (он — кандидат наук), жили в пятнадцатиметровой комнате в коммунальной квартире. Обоим надо заниматься, но если один печатает на машинке, другому и пристроиться негде. В общей кухне толкуются соседки, одна из них постоянно злобно шипит. Зарплата у Бориса чуть выше средней рабочей (помнится, сто семьдесят руб.), а у жены, пока она не защитила диссертацию, была гораздо меньше. Но и после ее защиты не помню самого Бориса в приличном костюме, а Наташу так и запомнил в шубе, которую она носила все эти годы и которая досталась ей, поди, еще от матери.

Так живет большинство интеллигентов. Чтобы заштопать прорехи в бюджете, кто дает уроки на дому, кто подрабатывает переводами или рефератами; я знаю не-

* Многие мои знакомые позднее заплатились за свою активность: кого уволили с работы, кого понизили в должности, кого долго мытарили на собраниях, требуя, чтобы раскаялся, а потом все-таки уволили.

скольких человек, которые во время отпуска уезжали в Сибирь подзашибить деньгу в строительных бригадах.

С жильем, пожалуй, у них еще хуже, чем у рабочих: у тех хоть есть надежда на квартиру от завода. А учитель, врач, научные сотрудники большинства институтов в Москве будут ждать квартиру от горсовета лет десять, да и на очередь их поставят только в случае крайней нужды. Вот Шрагиных не поставили бы: пятнадцать метров на двоих считается достаточно. И они, как и еще некоторые мои знакомые, вступили в кооператив. Но для этого им пришлось влезть в такие долги, что они их и по сей день не выплатили бы. Когда они решились эмигрировать (Борис как неблагонадежный остался без работы), то перед отъездом сдали свою двухкомнатную квартиру, получили обратно пай — только так и рассчитались с долгами...

Из неофициальных документов и самиздатской литературы я узнал и о том, в какой нужде жили многие писатели в сталинское время. Да и после Сталина не каждого писателя советская власть кормит, многих только подкармливает, а иным и отказывает в куске хлеба.

Любопытно, что такое же представление, как было прежде у меня, сохраняется еще и сегодня у людей, так сказать, государственных работников: работников милиции, прокуратуры, КГБ и т.п.

Следователь Синявского Пахомов, к примеру, при допросе одного из свидетелей говорил: «Какой он писатель? У него всего одни штаны!» Следователь московской прокуратуры Гневковская после обыска в одном доме иронизировала в своей компании: «Тоже мне интеллигенция! Да у них в шкафу всего один костюм висит!»

В Тарусе младший лейтенант милиции Кузикова обнаружила в одном «неблагонадежном» доме непрописанного гражданина. Вот она проверяет документы, списывает на листок все данные о нем (чтобы в точности передать в КГБ) и узнает, что он научный сотрудник НИИ.

— И сколько ж вам платят?

— Сто пятнадцать.

— Хм... Научный сотрудник! — и на лице Кузиковой презрительная усмешка. — Я и то получаю сто семьдесят.

Вот и видно, кто у нас нужнее и кого больше ценит наша страна.

...Что же касается «легкого» интеллигентского труда, то один его вид — сиди себе, да чиркай пером по бумаге! — я вскоре узнал, что называется, на собственной шкуре...

Знакомство с новыми людьми, с самиздатской литературой, неожиданные впечатления — все это шло у меня попеременно с другими заботами. А их хватало. В первую же неделю на воле пришлось обратиться к врачу: у меня не проходили головокружения, конечно, из-за недавно перенесенного менингита.

Врач платной поликлиники, осмотрев меня, написал заключение: необходима госпитализация и операция на левом ухе. Но он не мог дать мне направление в больницу, для этого нужно было обратиться в районную поликлинику. А так как я все еще нигде не был прописан, то никакая поликлиника меня не могла принять. Пришлось обращаться в Минздрав, там мне дали направление в Боткинскую больницу на консультацию к отоларингологу. Здесь слово в слово повторили предыдущее заключение, добавив: «...по месту жительства».

По месту жительства! А где оно у меня? И когда будет?

Попробовал я объяснить свое положение врачам, но они отвечали: «Мы больше ничего не можем...»

Наверное, они считали, что можно повременить с операцией. А я по опыту знал, как неожиданно наступает критическое состояние: полтора года назад в лагере меня внезапно свалило, и я чудом выжил, переболев менингитом без медицинской помощи.

Конечно, если бы я упал в Москве на улице, то меня сразу на «скорой помощи» отвезли бы в больницу без всякой прописки и места работы. Но не доводить же себя до такого. А симулировать я и в лагере не пробовал.

Однако москвичи приняли самое деятельное участие в моей послелагерной судьбе: и к платному врачу сводили, и в Минздрав, и, в конце концов, пристроили меня в одну из московских больниц к знакомому врачу-хирургу. И не просто пристроили, а отдали меня, как говорится, в очень хорошие руки.

Почти каждый день кто-нибудь из моих новых знакомых навещал меня. Приносили еду и лакомства, развлекали разговорами, снабжали книгами. Решив, что я особенно интересуюсь марксистской литературой, Люда Алексеева приволокла том Плеханова. Для кого-нибудь, может, существенны различия между Лениным и Плехановым. Я же, прочитав несколько статей, убедился, что Ленину было у кого поучиться беспринципности.

В больницу мне принесли только что опубликованный в журнале «Москва» роман М. Булгакова «Мастер и

Маргарита». Вся Москва жила этим событием и ожиданием продолжения романа.

Интерес к роману Булгакова был так велик, что обычно мало кому нужный журнал «Москва» стало невозможно достать. (Я тогда еще и не мог подозревать даже, что пройдет ровно год, и я сам столкнусь с этим журналом, так сказать лицом к лицу.) Все в этом случае было удивительным: сам роман, его неожиданная публикация после тридцатилетнего лежания под запретом и то, что опубликован он в журнале «Москва».

Булгаковское «рукописи не горят» — не только призыв и напутствие, но и напоминание-предупреждение всем гонителям и душителям литературы.

После больницы, наряду с другой самиздатской литературой, я прочитал и еще одно булгаковское произведение — «Собачье сердце». Сколько же это будет храниться еще под печатями? Или ему так и не быть опубликованным на родине писателя?

Так я познакомился с одним из лучших писателей России советского периода. А письмо Булгакова Сталину показало мне, какой смелостью и достоинством обладал Булгаков.

Выписали меня из больницы дня за три до моего дня рождения, но так как 23 января в том году приходилось на понедельник, то мы решили отпраздновать днем раньше, в воскресенье, 22-го числа. Я был приятно удивлен, когда увидел, что вместо тихого вечера в кругу нескольких друзей образовалась многолюдная пирушка. Вероятно, это был повод для встречи за одним столом многих знакомых между собой людей и для знакомства тех, кто до этого знал друг друга лишь заочно. Такие встречи были хороши еще тем, что сюда стекались все московские новости.

Вряд ли кто из присутствующих догадывался, что в последний раз перед арестом видит Александра Гинзбурга. Завтра ночью его возьмут во дворе его дома, даже не позволив ему предупредить о своем аресте мать.

Пока же он принимает комплименты как составитель «Белой книги»: каждый здесь либо уже прочитал ее, либо подробно слышал о ней. Сам-то он чувствовал, что его вот-вот арестуют, его преследовали по пятам агенты КГБ. Но держался он естественно, несуетливо, в меру выпил, в меру был оживленным. А ему оставались всего одни сутки...

Пока я лечился в больнице, знакомые нашли мне жилье в деревеньке под Малоярославцем. И после праздничного вечера, на другой же день, я отправился в Калуж-

скую область, но вернулся в тот же вечер в Москву со своим заявлением о прописке, исполосованным отказными резолюциями: отказ районного отделения милиции, отказ областного отдела внутренних дел. Мотивировок никаких, одно слово: «Отказать». Устно же мне и там, и там заявили: «У нас таких, как ты, своих хватает!»

С этих пор и по сегодняшний день я убежден: наши мучения начинаются после освобождения из лагеря.

Сколько я исколесил областей, сколько объездил городов, городков и рабочих поселков, сколько обошел пешком деревень в попытке пристроиться! То милиция отказывает, потому что рядом проходит трасса Москва-Ленинград (такую же мотивировку отказа получил год спустя другой освободившийся политзэк — Леонид Рендель). То по генеральному плану застройки города та часть улицы, на которой я нашел себе угол, через тридцать три года, в двухтысячном году, будет снесена. Отказ. Или, оказывается, в найденном жилище не хватает на меня одного квадратного метра до санитарной нормы, и т.д. Смеются при этом мне в глаза.

Все эти поездки-разъезды трепали мне нервы, съедали мои скудные лагерные сбережения. Главное же, время уходило напрасно. А его у меня было в обрез. Проживание без прописки свыше трех суток уже считается нарушением паспортных правил. Три таких нарушения — и суд, лагерь... Вот и создают нашему брату заколдованный круг, из которого не каждый выбирается благополучно: закон тебя обязывает прописаться, но вот милиция тебе отказывает и делает тебя умышленно «преступником». Очень удобно, особенно в стране безгласной.

Но этого мало. Мы автоматически станем судимыми и по другой статье: если ты не работаешь подряд четыре месяца, то уже «тунеядец», тоже уголовная ответственность (хотя ты перед тем проработал в лагере без единого отпуска хоть шесть, а хоть и пятнадцать лет! И, может, за эти годы накопил денег на полгода жизни — все равно). Но поди устройся на работу без прописки!

У меня уже истекли и эти четыре месяца. Захотят или случайно заловят — в любой момент могут посадить. Нужно было срочно что-то предпринимать и на что-то решаться.

Единственное, что приходило мне в голову, — лихорадочно метаться в поисках жилья и пытаться прописаться. И каждый раз все слабее и слабее верилось, что, авось,

на этот раз меня пропишут, авось, на этом месте смиловится милиция и позволит мне — *что?! — жить законно.*

А чего стоит у нас — в стране с самым дешевым в мире жильем — найти (не квартиру или дом, нет) хотя бы угол или просто койку под крышей! Описывать все мои метания подробно — утомительно будет читать, да и неинтересно, везде повторялось одно и то же. Расскажу только об одной поездке — в Курск.

Там у моего приятеля жила какая-то не то родственница, не то просто знакомая. Вот к ней-то он и решил съездить вместе со мной, отпросившись у себя на работе.

И вот мы в Курске. Весна 1967 года была ранней, и к нашему приезду в конце февраля было тепло и сытно. Морозно было лишь по ночам. Знакомая работала в медицинском институте, и мы быстро ее отыскали. К нашему огорчению, она не только ничем не могла нам помочь, но и вообще с пессимизмом отнеслась к нашему предпринятию. По ее словам, Курск был очень перенаселенным городом и искать квартиру в нем было занятием безнадежным. И мы ей верили, так как работала она на административной должности — обеспечивала студентам жилье.

— Общежития всем не хватает, — пояснила она, — так мы только прописываем у себя, а уж устраиваются студенты на частных квартирах, углы снимают.

Но не уезжать же, не попытаться счастья. Целый день мы бегали по городу, но нам так ничего и не попало. В городе полно объявлений: «Сниму комнату или угол», «Муж и жена снимут комнату или угол» и т.п., но ни одного объявления с предложением жилья.

Мы обходим окраинные улицы дом за домом — этот метод тоже ничего не дал. Зато уж рассмотрелся я здесь такого, чего не мог бы и вообразить. Я с детства не избалован жилищными условиями, но все же у нас в Сибири десять лет назад до такого не доходило, как здесь, в центральной России, в 1967 году — на пятидесятом году советской власти.

Частные дома забиты квартирантами, одинокими и семейными. Хозяйка предпочитает сдавать жилье одиноким девушкам, реже — парням. Сдают место для койки. Хорошо, если квартиранту принадлежит отдельная кровать: нередко же на одной кровати спят двое. В одном доме мне согласились дать место на кровати еще с одним парнем — за десять рублей в месяц. Я бы, после стольких неудачных поисков, согласился, но пускали-то без прописки. Здесь жили несколько студентов, кроме моего потенциального «сокоечника», все квартиранты были прописа-

ны в институтском либо в рабочем общежитии. Так что и этот вариант сорвался.

Везде висело много объявлений: «Требуются рабочие». Пошли по этим объявлениям — там нет мест в общежитии, там и самого общежития нет.

Так мы попали на кирпичный завод. Мой приятель, не в пример мне, оказался очень пробивным и контактным человеком. Он легко знакомился с людьми. Отыскал он на заводе какого-то начальника участка, к которому отдел кадров набирал рабочих, и они быстро сошлись настолько, что вот мой приятель уже дает ему свой московский адрес, а тот обещает заехать к нему в первую же свою поездку в Москву.

— У нас общежитие переполнено и милиция категорически отказывается кого бы то ни было прописывать, — ввёл нас в курс дела наш новый знакомый, — мы берем на работу новичков без прописки, а когда они немного поработают, добиваемся для них и прописки.

Он дал нам адрес, куда мы должны были сейчас же сходить и узнать насчет жилья.

— У этих хозяев жил полгода без прописки один парень, тоже москвич, у нас работал. Заработал себе хорошую характеристику и поехал к семье. Несколько дней как уехал. А когда договоритесь с жильем, приходите оформляться на работу.

Мы мигом кинулись по полученному адресу. Всю дорогу я не переставал думать о том, пустует там угол или уже сдан. Нам повезло: улица и дом оказались совсем рядом с заводом, не более десяти минут ходу. Улицу я хорошо запомнил, называлась она Хуторским проездом. Место было очень овражное, и к домику пришлось спускаться по крутой тропинке. На наше счастье, хозяин с хозяйкой соглашались взять меня на квартиру. Они проводили нас в какой-то закуток, отгороженный от кухни печкой и переносной самодельной ширмой. Маленькое и темное окошечко почти не пропускало света, и в закутке стоял сырой полумрак. Изголовьями к окну стояли здесь две железные кровати. Одна из них была заправлена, под ней стоял чемоданчик. Вторая — голая, с древней, местами прорванной сеткой, густо покрытой ржавчиной. Между койками проход не более метра. Посередине прохода натянута на гвоздях проволока от окна к двери, на этой проволоке висит какая-то пестрая тряпка, стянутая гармошкой. Это еще одна ширма, разделяющая кровати. Таким образом, и закуток делился на две самостоятельные половины.

— На этой вот, — хозяйка указала на заправленную кровать, — спят две девушки-студентки. Вторая свободная сейчас. Если вас устраивает, можете занимать.

А меня сейчас устраивала любая нора. Я устал мыкаться и искать, мне уже все эти поиски осточертели. Я ждал этого «своего» места жительства с таким же желанием, как ждет ээк в переполненном столыпине, где невозможно встать, лечь, потянуться, ближайшую пересылку — в надежде повалиться на голые нары в самой паршивой камере. Хотя и там эти надежды не всегда сбываются.

— Сколько будет стоить мое жилье?

— С девчат я беру по десять рублей, — отвечала хозяйка, — а с вас за отдельную койку — пятнадцать. Ну, и иногда, может, дров наколете, воды натаскаете...

Мне был обещан соломенный тюфяк и что-нибудь под голову вместо подушки: это пока я обзаведусь своей постелью.

Я сразу же уплатил хозяйке свои пятнадцать рублей за месяц вперед. Мне было страшно потерять место.

И снова завод. В отделе кадров мне без лишних разговоров подписали заявление, взяли рабочим на погрузку сырца.

Здесь тоже пообещали, что как только я немного поработаю, так для меня добьются прописки в общежитии. А пока меня на работу принимают, но штампа в паспорте не ставят. Короче говоря, я какое-то время должен жить и работать на птичьих правах. Но в тот день я еще толком не способен был это осмыслить. Я был счастлив, что хоть как-то я начинаю устраиваться. И на все странности и неясности смотрел как на временные формальные неувязки, которые вскоре утрясутся.

Меня тут же познакомили с мастером, и я договорился, что завтра утром получу на складе спецовку и рукавицы, а на работу выйду во вторую смену.

Вечером я проводил своего приятеля на поезд. Сам же от вокзала домой решил пройти пешком, чтобы лучше познакомиться с городом, в котором буду жить. Когда мы бегали в поисках жилья, мне было не до того, чтоб рассматривать город. В общем, Курск мне не понравился. Тогда там даже асфальта было мало, и стоило только сойти с центральной улицы чуть в сторону, как можно было увязнуть в грязи или покалечить себе ноги в ямах и кочках на каждом шагу; и освещался ночью тоже только центр, а по овражным окраинам бреди в полной темноте.

На работу я первый день шел с радостью. Не потому, конечно, что ожидал там чего-то хорошего или приятного для себя. Просто, начав работать, я мог увереннее себя чувствовать.

Но к концу дня от этой радости не осталось и следа, ее сменило огорчение, уныние, ощущение безнадежности. И не оттого только, что работа была настоящей каторгой. Это было еще ничего. Меня привело в уныние совсем другое.

От бригадников я узнал, что все мужчины, как и я, из освобожденных. Это были москвичи. Они затолкали сюда свои головы ради того только, чтобы жить и работать поближе к семьям, которые у них в Москве. Раньше, чем через полгода, здесь никого не прописывают. Некоторые из этих людей и живут прямо здесь же, наверху печей. Я сначала этому не поверил, думал, меня, как новичка, просто разыгрывают. Но во время перекура я забрался по лестнице наверх и действительно обнаружил там «жилые углы». Старые телогрейки, лагерные бушлаты и другая грязная ветошь, служили постелью, постланной прямо на теплоизоляцию. Каждый из жильцов выбирал себе место по вкусу: слава Богу, хоть здесь не было недостатка в метраже. Несколько человек под электрической лампочкой резались в карты. Были они все грязные, с давно не мытыми физиономиями, как беспризорники в фильме «Путевка в жизнь». По всей площади печей валялись банки из-под консервов, обедки и бутылки из-под вина и водки. Двое прямо в телогрейках спали на ветоши в разных углах.

Какое-то человекоподобное существо, такое же грязное, как и остальные, согнувшись, бегало по печам и в полумраке открывало-закрывало печные задвижки. На меня никто из присутствующих не обратил внимания. Только тот, что бегал, кончив возиться со своими задвижками и направляясь мимо меня к лестнице, задержался на минутку и равнодушно полюбопытствовал:

— Новенький? От хозяина?

— Да.

— Давно откинулся?

— Четвертый месяц.

— Место выбираешь?

— Да нет, я устроился на квартире.

— А-а...

И он спустился вниз. Я еще немного постоял и спустился тоже.

Когда находишься под сводами цеха и глаз не натывается на такие приметы времени, как электрические провода или вереницы грузовиков, то кажется, будто ты не на современном предприятии, а чудом перенесся на заводы петровского времени.

Тогда я еще не был избалован легким трудом. Довелось глотнуть вредных и тяжелых работ на золотых и урановых рудниках. В карагандинских лагерях работал на каменных карьерах, где камень добывался ломом, кувалдой и клином, а штабелевался вручную. Так что не мне было удивляться и жаловаться на тяжесть труда.

В Курске я оказался на современной каторге, разве что без кандалов на рабочих. Рабочие толкают по рельсам к печам тяжело нагруженные вагонетки с кирпичом-сырцом. Дорога, как и завод, древняя, как говорят у нас, старшие советской власти. Трое-четверо (а среди них и женщины — равноправие!) упираются в вагонетку спинами и толкают ее, птясь и что есть силы отталкиваясь ногами от шпал под рельсами. Иногда на повороте или на плохом стыке вагонетка забуривается, т.е. сходит с рельсов или останавливается. У толкачей не хватает «мощностей» протолкнуть ее через трудное место. Тогда, побросав работу, на помощь приходят остальные бригадники и общими усилиями поправляют дело.

Я должен был снимать сырец с вагонетки и подавать другому рабочему, который стоит у печного проема. Тот, в свою очередь, передает дальше в печь. Там стоит третий и укладывает сырец для обжига. Эти двое, с кем я работал, были женщины.

Чтобы выполнить дневное задание на сто процентов, мы должны уложить за свои восемь часов двенадцать тысяч штук сырца. И зарабатываем мы при этом по два рубля и восемьдесят пять копеек каждый.

Зарабатывая в день около трех рублей, не прокормишь и сам себя. Дважды в сутки я ходил в ближайшую столовую около рынка. Хотя цены там были умеренные, но каждый раз приходилось выложить копеек восемьдесят: щи «на мясном бульоне», какая-нибудь котлета или гуляш да стакан сметаны — лишнего я себе не позволял. Дважды в день — это рубль шестьдесят копеек. Останется от моего дневного заработка рубль двадцать пять копеек, дай Бог, чтобы хватило перекусить еще пару раз. Да и в выходные, т.е. неоплачиваемые, дни тоже ведь надо есть. Одним словом, работай, как каторжник, только ради того, чтобы завтра снова хватило силы для работы. Ни на что

другое не останется ни копейки. И пятнадцать рублей за койку в закутке — больше пяти дней каторжной работы! — эти деньги придется экономить на еде.

Но моя работа была еще полегче, чем у других. Я видел, как парни работали на выемке готового кирпича из печей. Вот это была настоящая каторга! Кирпичу давали мало времени для остывания, вынимали очень горячими, лишь бы поскорее: «план горит!» Парни работали по пояс голыми. Они накладывали горячий кирпич в огромные тачки и по дощатой дорожке вывозили на улицу. Пот с них так и тек. Спецовочные брюки насквозь промокали от пота. Как они умудрялись, выскакивая на улицу, не простужаться! Ведь ночью на улице были еще морозы.

В обеденный перерыв рабочие никуда не уходили, ели здесь же, на битом кирпиче, в пыли. И тут хватало шуток и подначек, чаще всего непристойных. Каждую шутку встречали хохотом. Бригада состояла в основном из молодежи, которой всегда хочется веселиться, как бы там они ни утомились, что бы их ни окружало. Некоторые, как и я, не имели прописки — и ничего, жили, не унывали, наделялись, наверное, на авось.

Мне мысль о прописке не давала покоя. Для меня это было очень важно: я хотел бы иногда наведываться в Москву к друзьям. Мне нужны были их советы и помощь, если я попытаюсь писать о лагере. И вообще я чувствовал, что мне трудно совершенно оторваться от той общественной активности, с которой я едва успел познакомиться в Москве. Ездить же туда с паспортом без необходимых штампов было рискованно. Если вдруг меня задержит милиция, то я не смогу ничем доказать, что я не бродяга. Вряд ли мой завод станет вырывать меня из рук МВД. А мне сейчас ни за что не хотелось получать срок за просто так. Вот отработка неделю: думал я, зайду в отдел кадров и выясню этот вопрос. Тот начальник, который меня устраивал и обещал помочь с пропиской, куда-то пропал, не показывался на глаза (потом я узнал, что он так пристроил сюда не одного меня, и многие поминали его матом).

Вне работы жизнь моя тоже была однообразной. Приходя домой, я заваливался спать. После лагеря я уже четыре месяца не работал, да еще провалялся в больнице, так что сильно уставал. После ареста, сидения в тюрьме под следствием, да пока доедешь до лагеря, тоже отвыкаешь от тяжелой работы, в лагере постепенно втягиваешься и потом работаешь наравне с другими.

В лагере мы обычно давали новичку несколько дней передышки, помогали немного, чтобы он втянулся в работу не через силу, а постепенно. А здесь, на воле, новичок сразу должен был не отставать от других и не задерживать темп работы.

Уматывался я даже себе на удивление. Перекидав двенадцать тысяч кирпичин, я не чувствовал рук. Да и тело все становилось чужим. Мои бригадники, угадывая мое состояние по собственному опыту, только посмеивались и подшучивали надо мной. Шутки все были одного сорта: насчет того, охота ли мне сейчас затащить какую-нибудь Валюху в угол. А сама Валюха тут же и тоже за матерным словом в карман не лезет.

Мне и сейчас непонятно, что гонит наших Валюх на такую каторгу. Они-то местные жительницы и могли бы выбрать себе в Курске работу почище и полегче.

Почти все свободное от работы и сна время я тратил на поиски другого жилья. Конечно, я мог чувствовать себя королем по сравнению с теми, кто жил на печках. Но я согласился бы платить половину заработка, урезая свои столовские обеды, лишь бы иметь отдельный угол.

С хозяевами и девчатами-соседками у меня были самые лучшие отношения: мы почти не видели друг друга. Девчат за занавеской я чаще слышал или ощущал их присутствие. Иногда между полом и занавеской видны были две или четыре девичьи ступни. А четверых девушек, что жили в другой комнате, я лишь раз видел в воскресенье, да и то не всех. Хозяева ко мне относились хорошо, наверное, им было нехлопотно иметь квартиранта-невидимку.

Через неделю я зашел в отдел кадров и напомнил о себе, что, мол, как бы там устроить мне прописку. И услышал в ответ то, что мне говорили работяги в бригаде: «Поработаете месяцев пять-шесть, тогда и пропишем!»

— Что ж, мне полгода жить на птичьих правах?

— Ага, мы вас пропишем, а вы завтра же сбежите. Много у нас таких в бегах ходит.

— Это ж жизнь до первой встречи с милицией! — пробовал я уговорить кадровичку.

— Не надо попадаться в милицию! — было мне ответом.

Так и ушел я ни с чем. Настроение было — хоть удавись. Полгода, легко сказать! Да ведь и точно, не намерен я был гнуться на этой каторге за семьдесят пять рублей в месяц. Подыскивая жилье, планировал я сразу же, как

пропишусь, уволиться и поступить на другую работу. Но найти жилье с пропиской оказалось невозможно.

На следующий день я сдал спецовку и попросил расчет.

В Москву ехал в отвратительном настроении. В который уж раз возвращался со своими балетным чемоданчиком — а в нем мыло, полотенце да пара белья. Мне уже стыдно было приезжать без результата, как будто я сам был виноват, что никак не устроюсь.

Съездил еще в пару мест по добытым для меня адресам — снова милиция отказала в прописке.

И я решил уехать в Сибирь к родителям. Там пропишусь (в Барабинске вряд ли откажут, а если что, родня поможет, найдут знакомого) и сразу же устроюсь куда-нибудь на работу. Тем временем московские друзья подыщут несколько вариантов жилья ближе к Москве. Из Сибири я приеду с паспортом, в котором будут штампы о прописке-выписке, о приеме и увольнении с работы. Лагерь тем самым как бы отодвигается в прошлое: не экз призраивается, а гражданин переезжает на новое место жительства. Авось, милиция не придерется.

Как раз в день отъезда Наташа Садомская пригласила меня на защиту диссертации. Мне, конечно, прежде не приходилось присутствовать на защите и было любопытно посмотреть и послушать, что это за действо.

Наташа — этнограф, диссертация ее была о басках, об их этнографических особенностях и национальном самосознании. Хоть я и не мог понять научной стороны проблемы, но вопрос о национальном самосознании басков вызвал у меня вполне отечественные аналогии — в лагере было много «националистов», которых интерес к этой же теме привел не на кафедру, а на скамью подсудимых и за проволоку.

Я не помню уже, были ли какие-нибудь возражения, спор вокруг Наташиной работы. Из выступавших мое внимание привлек молодой испанец Гарсиа (потом я узнал — из «испанских детей», привезенных в СССР в 1938 году, после победы Франко). Он очень живо говорил — помню, рассказывал о каком-то своеобразном способе рыбной ловли у басков, еще были конкретные детали быта — а Наташа-то, испанистка, могла узнать их только из книг, из чужих наблюдений; побывать на месте своих этнографических исследований ей тогда не светило. Вообще же Гарсиа хвалил диссертацию.

Когда я вошел в здание института этнографии, то чувствовал себя довольно неуверенно: всякий встречный — ученый, все чужие, и я здесь посторонний. Но в зале было несколько человек знакомых, своих, остальные на меня не обращали внимания, и я скоро освоился.

Вот по рядам пошел большой лист бумаги, где каждый ставил свою фамилию и называл место работы: университет, институт истории, издательство «Наука» и т.п. Лист дошел до меня, и я машинально расписался. Но из какого я заведения? Что указать? Разве что ГУЛАГ?

У меня мелькнула озорная мысль, и я поставил рядом со своей фамилией: «Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС». Ведь и правда, в лагере я полностью проштудировал Владимира Ильича. Издатель его сочинений этот институт, и я в каком-то смысле действительно его выпускник. Или, если угодно, сам лагерь можно считать институтом марксизма (правда, не при ЦК, а при КГБ-МВД), только после окончания «курса образования» многие выпускники остаются марксистами.

После защиты, как обычно, готовился маленький банкет. Но я уже опаздывал на поезд и попрощался с друзьями. Наташа, посожалев, что мне не посидеть с ними на банкете, куда-то убежала и скоро вернулась со свертком. В нем оказался большой кусок торта, который предназначался для торжества.

И вот я на родине. Барабинск — небольшой городок между Новосибирском и Омском. Десять лет я не был здесь. Шел от вокзала к дому моих стариков — это минут пятнадцать ходу — и с любопытством осматривался. И ничего-то нового! Как будто не десять лет прошло, а десять дней.

Не знаю, сильно ли переменялся и вырос Барабинск с 1967 года по сей день, появились ли там какие-нибудь новые предприятия, может, заасфальтировали еще одну-две улицы. Тогда, весной 1967 года, все улицы, кроме двух центральных, утопали в пыли и грязи. Окраинные были чище — летом зарастали травой. Стал ходить городской автобус, но по-прежнему в основном едут по дороге грузовики, обдавая прохожих тонкой, как мука, пылью. Легковых машин мало, собственных почти нет. Правда, мотоциклов стало больше — с тарактением проносятся мимо меня.

Как и десять лет назад, все дворы украшены деревянными будками-сортирами. Люди с ведрами идут за водой к уличным колонкам.

Заворачиваю в короткий, заканчивающийся тупиком переулочек Школьный. В нем всего восемь домов — по четыре с каждой стороны. Наш дом виден от самого угла. Мы построили его в 1954 году. Мне тогда было шестнадцать лет, и я помогал родителям строить; а пожил в нем всего только год.

Это была давняя мечта моих родителей — иметь собственный дом! Все здесь мечтали жить в собственном доме. На покупку денег не было, зато были дармовые рабочие руки — отца, матери и мои. Если лить стены из цемента со шлаком, то материал обойдется не очень дорого: железнодорожникам разрешено брать шлак бесплатно. На соседнем участке строились Радченки, наши соседи по казенной квартире.

Для литья домов нужно было много воды. Стали копать общий — на два двора — колодец. Этот же колодец должен нам обеспечить и поливку огородов летом. Вода оказалась не совсем пригодной для питья — отчасти из-за свежего деревянного сруба. Поэтому для питья и готовки воду нужно было брать из уличной колонки. Ближайшая из колонок находилась в полукилометре — на центральной улице Ленина. Летом воду носили в ведрах, зимой ездили за ней на санках. А колодец наш так и остался единственным в переулочке. Воды в нем хватало на все огороды даже в самое жаркое время года.

Мы объединили наши силы: день заливаем стены нам, а на следующий, пока у нас ряд сохнет, Радченкам. Дома одинаковые — пять на восемь метров, т.е. комната метров двадцать и такая же кухня. Месяца за полтора вылили оба дома. После этого еще работы хватало: крышу крыли, отец настилал полы, а я и даже маленький брат Борька помогали ему, как могли. Все делали сами, только печника пришлось нанять. К осени въехали в собственный дом, а штукатурили его следующим летом, когда стены хорошо просохли, так что, как говорится, собственными боками сушили. Зато уже с весны засадили свой приусадебный участок. Хлопот у матери прибавилось. И в казенном доме у нас было хозяйство: корова, поросенок, куры (самочинные сараи, стайки окружали наш дом-барак), да еще за городом засаживали свои десять соток картошкой. Без этого не проживешь, семью не прокормишь. Не то одно, что зарплаты отца на четверых (а в других семьях и на семерых) не хватило бы, а вот что: где их взять, продукты, хоть бы и было на что купить? За все мои семнадцать лет житья в Барабинске я ни разу не видел в магазине сливоч-

ного масла, только маргарин, комбижир, и то не всегда. Между тем масло вагонами отправляли куда-то: мне самому приходилось таскать ящики, когда я в каникулы подрабатывал на погрузке. Мы же иногда, очень редко, покупали масло на рынке или родня привозила из деревни. Своего не было. Не принято было, что ли, масло есть, привыкли обходиться, как все в городке. Молоко пили вволю, материн варенец я до сих пор помню. А масла не ели. Впрочем, сейчас в Чуне (не знаю, как в Барабинске) уже год как нет ни сливочного масла, ни растительного, ни маргарина. И рынка нет, и в деревне не купишь, жена из Москвы привозит за пять тысяч километров.

Мы жили лучше многих, особенно многодетных семей.

«Мои дети голодом не сидели. И одеты были, как принцы: Толику гармонь купили, кожаную куртку», — хвастается мать. У меня и велосипед был, а позднее даже баян (на покупку его пришлось продать и куртку, и гармонь).

Каждую вещь, купленную хоть двадцать пять лет назад, мать помнит, а пересчитать их — хватит пальцев на одной руке. Какого труда это стоило родителям! Корову и поросенка тоже накормить нужно; сенокос отводят где-нибудь в дальних и неудобных местах — и за то спасибо! Проблема не столько накопить сено, сколько вывезти его. Сейчас хозяева, у кого есть скотина, подкармливают ее печеным хлебом, а тогда нам самим хлеба не хватало. Да огород, да стирка, починка. Всю свою жизнь мать ведрами таскала воду: из колодца, из колонки, на стирку, на готовку, на мытье, скотине, на каждый корень на огороде.

Заполучив же свой дом, она без конца его мыла, скоблила, подбеливала, подкрашивала что-нибудь. Мать так втянулась в непрерывный тяжелый труд, что и сейчас, в свои шестьдесят семь лет и при плохом здоровье, ни минуты не сидит без дела, разве что в праздник в гости пойдет. Отдыхать она вообще не умеет. То же и отец: едва отоспавшись после поездки, он принимался за домашние дела — дрова надо заготовить, сарай отремонтировать, да еще он сапожничал и тем подрабатывал... Санаториев, домов отдыха он в своей жизни и не нюхал, как и другие наши соседи и знакомые. Отпуск старались приурочить к необходимым сезонным работам — к сенокосу, к уборке картошки, а то договаривались рубить дом кому-нибудь или копать колодец. Наверное, если б дали ему даже бесплатную путевку (но не давали ни разу за двадцать лет!) — он не взял бы: некогда. Правда, два или три раза мы с ним ездили в гости к родне — это когда его отпуск выпадал на

«бездельное» время. Билеты железнодорожник может раз в год получить бесплатно на себя и на семью. Какой радостью была для нас с братом дальняя поездка! Но и эти поездки должны были оправдать себя, т.е. оправдать трату времени и денег. Кто везет из Оренбурга несколько пуховых платков, кто с юга яблоки — не себе, а на продажу. Мы привезли от тетки из Средней Азии яблок, и я продавал их на железнодорожном мосту поштучно. Зато и сами поели их вволю во время отпуска!

...В Барабинске тоже весна, хоть и не такая, как в Курске. Снег сошел, в домах на подоконниках в ящиках зеленеет рассада помидоров. У матери наверняка тоже окна заставлены рассадой.

Я не сообщил старикам, что выехал из Москвы. Отец-то на работе, а мать должна быть дома.

Конечно, были неизбежные слезы и причитания, что вот какой я стал страшный, худущий да черный. Но и причитая, мать не стояла на месте: сразу взялась кормить меня и стряпать. Она была такой же шустрой, быстрой, какой я ее всегда помнил, только заметно постарела и стала как будто еще ниже ростом, чем была (она и от роду-то маленького роста, сухощавая). Наверное, моя непутевая жизнь прибавила ей морщин.

А отец почти не переменялся, только сильно усох. Седины не больше, чем когда вернулся в 1946 году из армии, перенеся всю ленинградскую блокаду. Он уже несколько лет работает не помощником машиниста, а плотником: в Барабинске появились электровозы, и паровозников, у кого позволяло образование, переучивали для работы на новой технике, а неграмотных и малограмотных, как мой отец (он только расписывается кое-как и в газетах может прочесть только одни заголовки), переводили на любое место, куда придется. Конечно, плотнику легче, чем паровознику. Но заработок меньше раза в два-два с половиной, а от этого будет зависеть и размер пенсии.

Пока ждали отца с работы, мать успела мне выложить кучу новостей: отец дорабатывает последние дни и уходит на пенсию. В следующую субботу они устраивают гулянку, на которую приглашена вся отцова бригада. У матери поэтому полно хлопот: нужно запастись выпивкой и приготовить угощение человек на двадцать, нужно навести в доме праздничную чистоту, все перемыть, перечистить.

В углу я вижу старый, знакомый еще по строительству дома сорокалитровый бидон. Тогда мать в нем постоян-

но варила брагу и поила своих «строителей». Да и потом бидон редко когда пустовал.

В детстве мне частенько перепадало от матери колодезной веревкой за дело и без дела: за участие в налете на чужой огород, за школьные проделки, за «неподходящих» приятелей. Но у нас в семье в заводе не было прятать от детей то, что было в доме: ни еду, ни деньги. То же относилось и к браге. Лет в четырнадцать я, на зависть своим сверстникам, имел открытый доступ к бидону. И я иной раз выпивал стакан, но ни разу не напивался.

Позднее я стал пить больше, но не потому, что вырвался из-под родительского надзора. Просто у меня стало больше поводов для этого и больше друзей-субутильников. Мне повезло начать трудовую жизнь на комсомольских стройках, в геологоразведке, среди шахтеров, т.е. как раз там, где пьют больше, чем где-либо. Не знаю, чем бы кончились мои контакты с бутылкой, если бы не один случай. Он сделал меня трезвенником. Произошло это зимой с 1957 на 1958 год. Работал я тогда буровым мастером в геологоразведке в Томской области. Выходное время в маленьком поселке заполнялось выпивкой. В одно из воскресений, просидев за выпивкой весь день и захмелев основательно, я надумал пойти на танцы. На улице было ниже сорока, я вышел из дома, где пили, в одной рубашке, в легких туфлях. И некому было удержать меня или хотя бы заставить одеться. Да я прошёл бы и по такому морозу, не привыкать. Но, перелезая через прясла, я свалился в снег, а подняться уже был не в состоянии. Так и замерз бы, да, на мое счастье, мимо проходила молодежь на танцы, меня подняли и притащили в клуб. Там я очухался, под конец даже танцевал и какую-то девушку провожал домой, успев сбежать за пальто и шапкой.

На следующий день на работе я полностью осмыслил происшедшее. Хоть я пил много, но никогда еще не напивался до горизонтально положения и до беспамятства. Я гордился этой своей способностью. Теперь же меня утратило не то, что я мог замерзнуть насмерть. Страшно было остаться калекой: а что, если бы отморозил себе руки-ноги! Под мерный гул и скрежет своего допотопного КА-2М-300 я припомнил барабинского дядю Мишу Михеева. У него не было обеих рук. Их ему ампутировали после того, как он здорово обморозился, свалившись по пьянке в снег. Еще в детстве он пугал меня своими черными культяпками. Я реально почувствовал себя без обеих рук, а воображение рисовало всю мою беспомощность: ширинку и

то не застегнуть! В девятнадцать лет остаться с черными культ.пками! Нет уж, лучше веревку на шею. И отшибло у меня интерес к выпивке.

Д'сять с лишним лет я и в рот не брал хмельного. В Москве в первый же день я вызвал удивление моих знакомых отказом от традиционной рюмки. Почти все они пили, а кое-кто и здорово. Но меня почтительно оставили в покое.

А тут сразу замаячили три застолья подряд: в честь ухода отца на пенсию, в честь моего приезда, а недели через две обещает приехать на побывку с флотской службы младший брат Борис.

Встречать приехавшего солдата, зэка или родственника принято обильной выпивкой. Каждая семья, даже самая бедная, ради этого идет на непосильные расходы. Большинству и сейчас не по карману поить большую компанию вином и водкой из магазина. Так что самогон и брага водятся у всех и для всякого случая. Даже у одиноких старух стоит какая-нибудь посудина — авось, заглянет кто из родни, или шоферу, привезшему дрова, поднести стаканчик, печнику за ремонт печки, плотнику, да и мало ли кому.

Мне не хотелось вгонять родителей в расходы, и вообще я терпеть не могу пьяных компаний. Насилу уговорил я своих стариков подождать Бориса и отпраздновать его и мой приезд одновременно.

С первого дня мои старики стали спрашивать: как я собираюсь устраивать жизнь после лагеря? Им больше всего хотелось, чтоб жил я при них, в Барабинске, женился бы, завел детишек — матери внучат. Словом, жил бы «как все», раз уж не пришлось выбиться в люди. У меня же было не то на уме! Но я не стал заранее огорчать стариков своими планами, успеют еще нагореваться, если мне удастся их осуществить. Да и не поняли бы они меня. Я знаю, что от них услышал бы: «Тебе что, больше всех надо?», «Справедливости все равно не добьешься», «Себя угробишь, а спасибо никто не скажет». Еще такую советскую посылвицу: «Россию всю продали, Правды больше нет, один Труд за две копейки остался» («Правда», «Советская Россия», «Труд» — названия газет).

Эти общежитейские народные афоризмы для моих родителей были и сейчас остаются кровно выстраданными. Не принял их сыночек народную мудрость; как был, так и остался непутевым, загубил свою жизнь...

Несколько дней я просто отдыхал. Навестил немногих оставшихся здесь школьных товарищей и, конечно же,

посетил двухэтажный деревянный дом, в котором прошло все мое детство. Посмотрим, как живут «все люди».

Из моих товарищей детства в 1967 году в этом доме жил уже только один Григорий. А когда-то нас тут набиралось две футбольные команды в полном составе — только моих однодокков, да старшие, да меньшие, да еще девчонки. Теперь Григорий сам отец двух ребятишек. Хоть по-прежнему здесь «все удобства — во дворе», зато живут просторнее: не по семье в каждой комнате, а по две комнаты на семью, третью комнату в квартире занимают старики-пенсионеры. Григорию еще больше повезло: третью комнату у них дали его матери, так что, считай, трехкомнатная квартира в их владении. Мать на пенсии, он и жена работают — нужды нет, денег на жизнь вполне хватает. Григорий — помощник машиниста на электровозе, вроде бы та же работа, что была у моего отца, и заработок не меньше. Та же, да не та: родители наши в мазуте купались, а нынешние машинисты идут на работу в белых рубашках. Отцы, бывало, по двое-трое суток в поездке, и неизвестно, когда их ждать домой; а теперь все расписано по графику, лишнего часа не переработает. Старики, насили на пенсии отмывшие руки от мазута (а я думал, никогда их не оттереть), смотрят на электровозников не без зависти. А сами молодые опять находят поводы для неудовольствия: «Что толку с наших заработков, когда купить нечего: ни колбасы, ни мяса, ни товаров в магазине», «Разве это работа, ни выходных, ни праздников, как у людей!»

«Как у людей» — это значит, чтобы в праздник как следует выпить; а график праздников не признает. Другие за стол, к бутылке, а электровознику надо ехать. Если другой раз отдых и совпадает с праздничным днем, так выпить все равно нельзя: на носу висит поездка. На железной дороге с пьянством строго, так что «погулять, как люди», остается только в отпуск раз в году или когда ходишь на больничном.

А в общем, как и раньше: «Не дай Бог нашим детям быть простыми работягами, как мы, пусть в люди выбиваются, то ли дело за столом бумажки подписывать или языком молоть». (Но это, конечно, теоретические рассуждения, а практически — подрастет лентяй и шалапут вроде нас десять лет назад, и родители рады спихнуть его куда угодно: в военное училище, в ПТУ, в армию раньше призыва, на работу).

Вот такого же рода жалобы услышал я от Григория и от других моих бывших товарищей, торящих ту же дорожку, что и наши отцы-мазутники.

Однако многих прежних приятелей постигли настоящие беды и невзгоды. Григорий рассказывал: Филипп Павлов спивается окончательно, тетя Паша, его мать, умирает от рака (и точно, вскоре она умерла). Вася Гребенщиков поступил в вуз — да недоучился, сошел с ума, сидит в Томске в желтом доме, говорят, никого не узнает. Николай, старший брат Василия, который раз отсидживает в лагере. В лагере и Ромка Цыганков, Витька Чернов («Черный»), Женька Глинский, наш дворовый атаман Юрка Акимов по кличке «Маля». Иван Сорокин сел на большой срок за грабеж еще при мне, под конец срока «освободился» — умер в лагере от туберкулеза. «Как из нашего двора все поразлетелись — кто куда, навсегда, на до-о-лгие года».

Вадим Павлов утонул по пьянке вместе с двумя своими собутыльниками, его брат умер от рака. Мой тезка, Толик Копейко, — расстрелян по приговору суда за изнасилование и убийство. Знаменитость Барабинска, капитана городской сборной по футболу Михаила Чеснока, прыгнули ножом, и он умер. Чесноковых было три брата-богатыря, младший — наш сверстник, а зарезал Михаила какой-то пацан в пол его роста, зарезал просто так, ни за что. Сестру моего приятеля Володи Глушанина муж зарубил топором. Одноклассник Володя Несмеянов, по кличке «Академик-Президент», сошелся как-то с блатной компанией, и не слишком близко, случайно стал невольным участником грабежа — пришел после этого домой и застрелился (пожалуй, единственная осмысленная, хотя и трагическая смерть — из всего поминального повествования). Еще один знакомый повесился...

Десять лет я не был на родине — и столько безвременных, большей частью бессмысленных смертей в не очень широком кругу моих дворовых друзей и одноклассников. Когда живешь в большом городе, то чаще всего ты не узнаешь даже о несчастном случае у соседей по подъезду, хотя в большом городе самоубийств или драк с поножовщиной, может, не меньше, чем в глухой провинции. А в маленьком городке каждый такой «случай» пересказывается от дома к дому, обсуждается «устной газетой» — у колонок и колодцев, в магазине и около пивного ларька. Но проходит месяц-другой, и прошедшая трагедия вытесняется из памяти очередной подобной сенсацией. Когда же все такие события за несколько лет обрушиваются, как на меня, в один раз — страшно становится, возникает ощущение какой-то эпидемии.

Сколько самоубийств, нелепых, просто по пьянке! Сколько людей по пьянке разбилось в автоавариях, на мотоциклах, замерзло в снегу на морозе! Особенно в праздники — обычно сразу несколько таких смертей. Сейчас, когда я пишу об этом, мне вспоминаются и другие известные мне трагедии, о которых почти никогда не пишут в газетах.

Жители ближнего к Чуне поселка геологоразведки первыми пришли к месту, где упал потерпевший аварию пассажирский самолет: несколько человек были еще живы. Жив и, как потом выяснилось, неповрежден был грудной ребенок, он громко плакал. Дело было в декабре, мороз под пятьдесят градусов. Мужики и бабы — не бандиты, а мирные жители — ограбили мертвых и ушли. Ребенок вскоре замерз — плач прекратился, стоны тоже умолкли. В живых остался один пассажир — солдат с перебитым позвоночником, его спасли. Он лежал в чунской больнице и все рассказал.

Вокруг Чуны — тайга, и случается, теряются, пропадают маленькие дети. Вот недавно трехлетняя девочка пропала: родители ушли пьянствовать, бросили ее на весь день и ночь одну, а хватились только утром. По Чуне расходится слух, что ребенка украли и убили изуверы — «баптисты», «святые», словом, верующие, такие слухи подогреваются общим тоном публичной антирелигиозной пропаганды.

Если разом перечислить все преступления, известные мне за несколько лет жизни в Чуне, — волосы дыбом встают! Случаются и настоящие убийства: отец застрелил взрослого сына из охотничьего ружья — а мать убитого свидетельствовала на суде в пользу убийцы; в другой семье подросток-сын застрелил пьяного отца; жена порезала мужа в сообщничестве с его братом и выбросила его, умирающего, под чужой забор, там он и замерз; отец с матерью убили двухлетнюю дочку (она им мешала жить!); одинокая женщина опоила своего новорожденного димедролом и тело (а может, еще живого ребенка) сожгла в печке; приезжего из Одессы убили ради денег; солдат стройбата изнасиловал и убил старуху, другой солдат изнасиловал шестилетнюю девочку...

Никто не говорит, что в Советской Армии служат насильники и убийцы, но женщины остерегаются ходить в тайгу за брусникой поодиночке.

Я живу замкнуто, «устную газету» не слушаю, и до меня лишь случайно доходит часть здешней хроники происшествий — наверное, не больше половины. Но, по-моему, названных событий за три года на поселок в 14-15 тысяч

жителей достаточно, чтобы прийти в ужас. Если бы эта хроника публиковалась в газете, чунари, небось, так же боялись бы ночью выйти из дому, как, пишут у нас, боятся американские обыватели. Другие, может, задумались бы, среди кого мы живем? что за новый человек, воспитанный социалистической системой? Сегодня сосед пришел ко мне взять трешку взаймы, а завтра — мертвых обобрал, ребенка бросил замерзнуть! Сегодня он горит энтузиазмом, выполняя пятилетку досрочно, а завтра ни с того ни с сего удавился у себя в сенях. Нет, я не хочу сказать, что это результат встречных планов или районных школ политпросвета. Это же очевидно: дело не в системе, социалистической или капиталистической (и зря у нас непрерывно обличают язвы капитализма, боюсь, что наши собственные ничуть не доброкачественней), а в каких-то более общих особенностях времени, уровне развития всего человечества, единого, несмотря на пограничные полосы и политические устройства. Тут бы всем сообща, всерьез и поскорее, заняться анализом, искать средства лечения общих злокачественных язв, все равно как от рака. Так нет, где там! «Они» — и «мы», «их нравы» и «советский образ жизни», «в мире насилия» — и «так поступают советские люди» и т.п. Чтобы не подорвать это искусственное противопоставление, закрыта вся статистика: болезней, несчастных случаев, катастроф, преступлений. Какой там общий анализ, когда отечественные специалисты не знают своих же данных, их прячут не только от чужих глаз, но даже от самих себя.

В результате о масштабах преступности лучше, чем специалисты, могут судить сами преступники: например, по степени наполненности — а верней сказать, набитости — тюрем и лагерей. Это непривлекательный способ исследования, но мне довелось его испробовать.

С 1958 по 1975 год я прошел через десятки этих сборных пунктов уголовщины. Но никогда, ни в какой этапной тюрьме не обнаруживал пустующих — не камер, нет! — мест. За великое счастье в наших пересылках считается иметь с первого дня положенное по инструкции МВД отдельной спальное место. Начинаешь обживать в переполненной камере — твое место на цементном полу у двери, параша или унитаза, кого-то увозят, ты передвигаешься вглубь, а на прежнем твоём месте уже новенький. Камеры переполнены вдвое, втрое и вчетверо против всех норм.

Вот в переполненную камеру с очередным ежемессячным обходом входит прокурор по надзору. Он останавливается в дверях — шагнуть некуда — с блокнотом в руке: «Жалобы, вопросы у кого есть?» Основная масса зэков,

уже привыкшая жить, как кильки в бочке, не обращает на него внимания. Только новички, впервые увидев этого блюстителя закона, жалуются на скученность. Прокурор привычно, заученно отвечает: «Ну, в вашей камере еще ничего!»

Если же новичок начинает «качать права», то ему есть другой стандартный ответ: «Кто вас сюда звал? Я не виноват, что вас больше, чем мы можем принять!»

Наверное, у нас меньше, чем на Западе, организованной преступности. Но вот хулиганства, преступления по пьянке, безмотивных преступлений — мое мнение, что страшно много, несмотря на неусыпный надзор за каждым человеком все равно как за потенциальным преступником: прописка постоянная, прописка временная, приехал на десять дней — заполни анкету, куда, откуда, с кем, к кому, зачем, на сколько; за нарушение этих правил — уголовная ответственность, лагерный срок до года. В милиции еще посмотрят, разрешить ли тебе прописку, а нет, так убирайся. Милиционер может явиться в любой дом, к любому гражданину с проверкой: а нет ли здесь непрописанных? Фактически это осмотр квартиры. Обнаруживает непрописанного, кто он ни будь — вполне добропорядочный гость твой, сват, брат, жена, сын, — отвечает перед властями не только приезжий, но и хозяин (мою жену несколько раз штрафовали: впервые — за то, что не прописала своего трехмесячного сына, потом — что я, законный ее муж, находился в ее квартире, а год назад оштрафовали меня за то, что, приехав ко мне, она пропустила установленный срок прописки).

Так вот, при контроле поголовно за каждым — новый советский человек умудряется создавать такую уголовную статистику, что ее боятся опубликовать. Притом ему хватает подручных орудий преступления: кулака, кирпича, топора, даже охотничий нож не всякий может иметь, на то надо специальное разрешение, иначе — лагерь до трех лет. Вот у нас в народе и говорят: «Чтоб у нас, как в Америке, каждый мог купить пистолет, винтовку? Тогда трупы на улицах некому будет убирать!»

Из отцовской бригады я никого не знал. Пришлось с каждым знакомиться, когда они по одному и парами стали подходить в назначенную субботу. В основном это были люди молодые, лишь двое-трое средних лет. Бригада состояла из плотников, штукатуров, каменщиков и считалась комплексной. Отца все они называли «деда» — наверное, как и на работе. Одеты все были прилично, добротнo, и

это очень бросалось мне в глаза, когда я сравнивал их с прежней барабинской публикой.

С матерью все были хорошо знакомы, вели себя у нас очень свободно. Чувствовалось, что собрались действительно свои люди. Я смотрел на них и думал: «Каковы же вы будете под конец вечера, все ли из вас уйдут домой своими ногами?» Но зря я так о них думал. Сильно пьяных никого не было до конца, и разошлись с вечеринки все нормально.

После двух-трех обязательных тостов все заметно захмелели и оживились, стали петь, танцевать, заводить разговоры. Вместе с новыми песнями пели и старинные, знакомые мне еще с детства. Без них и раньше не обходилась ни одна гулянка: «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла», «Я остался сиротой», «Бежал бродяга с Сахалина», «По диким степям Забайкалья», «Скакал казак через долину», «Тонкая рябина», «Среди долины ровныя», «Вы не вейтея, русые кудри» и другие.

Все гости знали о моем недавнем прошлом. Знали даже, что освободился я из политического лагеря. И я с опасением ждал «вопросов-расспросов», неприятно о серьезных вещах говорить с подвыпившими людьми. По пьянке каждому не терпится выложить «своему» человеку все, что на душе, похвалиться храбростью и принципиальностью, обматерить родную власть; на завтра, трезвый, он опять станет послушной скотинкой, из-за трусости и безразличия поддержит и одобрит любую подлую акцию, а подзаведут его, так и сам поучаствует с большим энтузиазмом. Ни собственной мысли, ни ответственности. Может, потому спяну так и распускают языки, что чувствуют себя свободными от ответственности. То за них вино ответит, а то очередной руководитель. Терпеть не могу эти пьяные излияния и хвастовство.

Но за весь вечер никто меня, слава Богу, ни о чем таком не спросил.

Когда напелись, стали налаживать музыку: трое гостей, и я с ними, с трудом разобрались, как подключить к сети только что подаренную отцу радиолу. Я сказал:

— Прямо как в газете: «Провожая труженика на заслуженный отдых, местком преподнес ему памятный подарок».

Помогавшие мне женщины громко засмеялись, а парень сочно выматерился:

— От нашего месткома дожدهшься! Х... съешь, а два выשרь.

Оказалось, местком-профком никакого отношения к подаркам не имеет. Бригадники по собственной инициативе купили вскладчину приемник с радиолой и наручные часы. Они знали, что у нас в доме никогда не было приемника и часов отец мой за всю свою трудовую жизнь не собрался приобрести. Он с часами и обращаться-то не умел. Когда эти, подаренные, в первый раз остановились, то он еще кое-как завел их сам. Но вот через неделю, когда нужно было их немного подзавести, он со смущением просил меня показать, как это делается. Я этим был смущен больше его: уж что-что, а часы отец мог бы иметь и от родного сына.

Производство же проявило свое внимание лишь в форме напоминания: зайти через два дня в бухгалтерию и узнать точный размер пенсии. Она оказалась пятьдесят пять рублей в месяц; пятьдесят пенсии плюс пятерка на жену-иждивенку. Это за сорок лет непрерывной работы, в том числе около тридцати на паровозе, в том числе за все годы войны, с первого и до последнего дня.

Когда все гости разошлись, а мы стали прибираться дом, я спросил, всегда ли бригадники так пристойно ведут себя на гулянках.

— Всяко бывает, — ответил отец, — другой раз и до драки доходит.

Мать была очень довольна, что все обошлось тихо и мирно. Долго еще будет она вспоминать эту вечеринку и рассказывать знакомым при случае: хоть выпивки хватало, а за весь вечер никто друг другу грубого слова не сказал! Так принято говорить у нас, когда вечер обходится без того, чтоб кому-нибудь расквасили морду. Все, что предшествует мордобою, скандалом не считается.

Вечеринку по случаю приезда моего и Бориса — младших Марченков — справил у себя дядя Федор, материн брат. Собрались барабинские родственники, из Тюмени приехали два сына-студента дяди Федора — старший, Василий, и младший, Вовка; средний, мой тезка, жил с отцом, работал штатным инструктором Барабинского райкома комсомола.

На этой вечеринке тоже пили самогонку, пели песни, а когда большинство кое-как разбрелось по домам, мы с дядей Федей и с братьями просидели за разговором до утра. То ли из-за меня — «политического», то ли так у них в семье повелось — все подкалывали среднего брата. Анатолий не скрывал от родни, что намерен делать партийную карьеру. Он обладал некоторыми необходимыми для

этого качествами: с первого слова в нем виден был демагог и циник, карьерист, любыми средствами претворяющий в жизнь любые руководящие указания вышестоящих товарищей. С нами — даром что родня — он держался выскомерно-снижодительно, как посвященный с непосвященными, не опускался до спора, а небрежно поучал:

— Собрание — мероприятие организованное, и никто не позволит пустить его на самотек, — обрезает он Вовку, который, как Моська, наускаивает на него:

— А спрашивают: кто желает выступить? Какие будут предложения?

— Вот и выступят, кому следует, и предложат то, что надо.

— А я что, не могу?

— Когда нужно будет, тебя подготовят. Хотя с твоими настроениями — вряд ли...

Дядя Федор весело толкает меня локтем, хохочет и пьяно кричит:

— Видал их е...ю демократию!

Между прочим, сам дядя Федя — член партии с довоенных лет еще, только никогда никаких постов не занимал, руководил разве что своим дизелем: много лет проишачил в нефтеразведочных экспедициях. Никакой корысти от своего партбилета он не имел, мировоззрение его вряд ли чем отличалось от мировоззрения моего беспартийного отца и прочих работяг, груза ответственности за действия родной партии, как, впрочем, и гордости за нее, он никогда не чувствовал: «У нас не спрашивают, а против начальства не попрешь». Бессознательно он отграничивает себя от «начальства» (в лице родного сына): «их е...я демократия». Сын же, сознавая свое превосходство, свысока объясняет:

— Демократия — это тебе не анархия. Думаешь, просто, например, собрание провести? Это тебе не мешки на горбу таскать. Если без подготовки — охламоны вроде Вовки такого наголосуют, сами после не рады будут. Так что сначала собираешь актив, надежных людей, доводишь до них поставленную задачу. Обсуждаем, решаем, как ее внести в массы. Когда актив подготовлен, тогда собрание...

Вовка кипятится и заводится еще больше:

— А я захочу — и скажу без вашей шпаргалки! Кляпом, что ли, заткнешь?

— А ты пробовал?

Младший смешался, сбился, но хорохорится:

— А хули ты сделаешь?

— А ты попробуй. Если жопы не жалко.

— Причем тут жопа?

Отец снова хохочет, снова толкает меня в бок:

— А притом, дурак, что тебя за жопу и в КГБ!

— С такими и без КГБ справляемся. Тем более — студент.

Я задал двоюродному тезке только один вопрос:

— У тебя ни разу не было осечки с собранием?

— У меня — нет, — самодовольно ответил он. — У других бывало. Но ведь это, в конце концов, неважно...

— Ну, а тогда что?

— Баламутов за жопу и в КГБ! — кричит дядя Федя.

— Ты, папка, отстал от жизни. Кому охота с ними мараться, с мелкотой этой? Подумаешь — покричал на собрании! А что он скажет, Вовка наш. Ему ж и сказать нечего. Выгонят из института, всего делов. Инструктору, конечно, неприятности. Выговор могут дать или даже хуже, карьере конец. С людьми надо уметь работать...

Все-таки Тольке не удалось сделать карьеру партийного работника. Может, не хватило изворотливости, не сумел держать нос по ветру (подвело так называемое политическое чутье), может, не завязал нужных связей, а ближайший покровитель сам оказался недостаточно пробивным. Конкуренция на этом попроще очень велика, отпихивают друг друга — ладно, сейчас хоть головы не летят, а в конце 30-х годов каждая следующая ступенька завоевывалась ценой жизни предшественника. Брежнев с поста секретаря техникумовского парткома влез на самую верхушку пирамиды; читая его биографию, поневоле думаешь: а кто был его предшественником, скажем, на посту...? почему не назван?

...Всего пять лет пройдет, и троих из этой компании не станет. Дядя Федя, крепко выпивши, врезался на своем мотоцикле во встречный грузовик и разбился насмерть. Василий, старший брат, разбился на автомашине в Тюмени. Дядя Гриша Первухин, тоже бывший тогда на вечеринке, вскоре утонул в бензине: оскользнулся и упал в открытый люк железнодорожной цистерны.

Прописка в Барабинске прошла без придинок, никто мною не поинтересовался: отдал я паспортистке паспорт с военным билетом и получил тут же обратно со штампом.

Через несколько дней после приезда я стал подыскивать себе работу. Делал это тайком от родителей: они уговаривали не торопиться. А я не хотел сидеть у них на шее.

К тому же мне надо было скопить денег на обратную дорогу и на первые месяц-два на другом месте.

Я мог рассчитывать только на самую черную работу, ни одна из моих прежних вольных профессий теперь не годилась из-за глухоты и хронического отита. Но мне повезло: на хлебозавод требовался грузчик. Меня сразу приняли.

Конечно, таскать мешки с мукой дело не из легких, но я через неделю втянулся в работу и таскал их наравне с остальными. Нас в бригаде было трое, и наше дело было доставить муку с элеватора на завод.

Работали только днем. Лишь когда вагон с мукой приходил не на элеватор, а прямо на завод, приходилось разгружать его в любое время.

Мешки с мукой уложены на элеваторе штабелями в два человеческих роста и выше. С верхних рядов каждый сам снимает свой мешок и тащит. А доходит до нижних, двоим приходится стоять на подаче: бросать мешки на спину третьему, и он их таскает в машину. Так же таскаем и из вагона.

На хлебозаводе тоже приходится штабелевать мешки до самого потолка. Так что сначала бросаем мешки под ноги, мостим себе из них лестницу и по ней бегаем с мешками под потолок. За смену мы завозили где-то тонн около сорока — более десяти тонн на каждого из нас, с погрузкой и разгрузкой выходило каждому перетаскать более двадцати тонн. Получали мы там в месяц рублей сто шестьдесят-сто семьдесят. Лучшего мне в Барабинске было не найти.

Жизнь провинциального городка меня угнетала: я не находил себе занятия в свободное от работы время, а его было предостаточно. В половине пятого я всегда был дома. Отдохнув пару часов и час-полтора повозившись дома, я от нечего делать уходил на последний сеанс в кино. Я заводился каждый вечер от сознания того, что трачу драгоценное время на ерунду. При такой жизни я очень скоро могу оказаться таким же, как и большинство из тех, кто освободился до меня. Втянусь в ежедневные житейские заботы, а на главное дело времени не найдется. И по-прежнему никто в мире не будет знать ничего о мордовских лагерях — теперь уже и по моей вине.

Я стал по вечерам садиться за тетрадку. Решил попробовать набросать хоть что-нибудь: изложить некоторые факты, записать имена, события, даты, а то потом все это может и забыться. Пусть будет никуда не годный черно-

вик — все равно это хоть что-то, из чего можно будет отобрать потом нужное.

Я сам отлично понимал, что у меня ничего не получится. Я тонул в подробностях совершенно ненужных, мелочился в деталях и не мог отсеивать, отбирать. Я злился сам на себя за неспособность свою, за неумение. И не с кем было посоветоваться, некому было показать. Именно в это время я особенно остро почувствовал, как мне необходимы мои новые друзья, как мне нужна Москва.

Я решил не дожидаться, пока достаточно «разбогатею» на хлебозаводе, а ехать, как только напишут из Москвы, что нашли где-нибудь жилье. Пока же, чтобы подзаработать, я — опять-таки втайне от родителей — ходил на железную дорогу разгружать вагоны с гравием, углем, цементом, известкой. Деньги платили здесь сразу же по окончании разгрузки.

Романтические воспоминания о мальчишеской дружбе в первое время тянули меня к друзьям детства — тем, кто, не превзойдя науки, так и не вышел «в люди» и остался в Барабинске (несколько моих одноклассников, окончивших технические вузы, осели в больших сибирских городах).

Мало кто из моих друзей детства удержался и не запил горькую. Нет встречи без бутылки, все разговоры вертятся вокруг выпивки, да еще футбола, да чужой или своей семейной жизни: тот женился на такой-то, та вышла замуж, те давно развелись, эти сошлись снова в пятый раз, этот муж ушел, а тот, наоборот, жену выгнал из дому — «и поделом!», другие же не расходятся, хоть живут как кошка с собакой. И тому подобное. Меня в этих разговорах поражало равнодушие ко всему на свете — даже к собственному завтрашнему дню. И, в общем, безучастие друг к другу. Пока были мальчишками, парнями, ходили одной компанией, вступались «за своих», а переженились — и компания осталась только для выпивки. Конечно, сослуживцы денег соберут между собой — на похороны кому-то или, как моему отцу, на пенсионный подарок; и сяди погорельцев приютят. Но это больше в силу еще сохранившейся традиции, чем из-за живого участия к ближнему — а тем более к дальнему.

А уж брюзжание и ругань по адресу наших порядков, наших властей — мне надоело и противно было слушать. Всегда, у всех одно и то же, и слова одни и те же, и рецепт от всех бед один: перевешать их, блядей; перестрелять, перерезать, пере.. пере... А чего хотят взамен? В об-

щем, сами не знают. Если вдуматься, так того же, что имеют: хозяина над собой и над страной, владыку живота своего и ответчика за все.

Двенадцать лет назад барабинское окружение ужасно угнетало и раздражало меня. Я чувствовал себя чужим в родном городе. Сейчас я живу в совсем маленьком городке, еще дальше от Москвы. И люди здесь такие же, как в Барабинске: такие же интересы, те же разговоры. Но нет у меня прежнего раздражения. С годами я понял, что был несправедлив к своим землякам. Они жили обыкновенной жизнью, теми интересами, какие эта жизнь им диктует. Равнодушие к чужой и к своей судьбе, пустопожнее брюзжание, может, даже наше пьянство — это, скорее всего, результат многовекового крепостного состояния, которое длится и по сей день.

Могу ли я презирать соотечественников за то, что они не знают, чего хотят? В конце-то концов мое собственное неприятие советских условий жизни не более конструктивно, чем общее бесцельное неудовольствие. Насильно замурованные, отгороженные от мира идейно и физически, лишённые информации не только о мире, но и о самих себе, — мы способны только к разрушительной критике (кто во что горазд) и к выработке идей, не соотносенных с реальностью.

Тогда, в Барабинске, мне казалось, что вот сейчас все должны бросить свою привычную жизнь и кинуться бунтовать, обличать и добиваться своей правды. Не бывай я сначала в Москве, а еще ранее не задумай разоблачения режима политлагерей, может, взялся бы тогда «раскрывать глаза» своим землякам, набиваться со своей активной жизненной позицией. И, конечно, в конце концов, попал бы в поле зрения местного КГБ и вернулся бы набираться ума-разума в отстойник.

Но, опасаясь спалиться понапрасну, не выполнив задуманного, я не пускался сам в крамольные разговоры, а лишь выслушивал застольные жалобы и ругань.

Единственное внешнее событие нарушило обычный круг застольных тем — гибель космонавта Комарова. Об этом было много разговоров и слухов. Вообще в подобной трагедии нет ничего удивительного: они сопровождают человека на всем пути познания и прогресса. Жертвам этих трагедий человечество поклоняется, как героям и мученикам, создает о них легенды. В нашем закрытом и зараженном манией «вредительства» обществе, где все неудачи и

несчастья засекречивают, легенды очень своеобразны. В официальную версию гибели Комарова никто не поверил.

Говорили, что новый (после Королева) Главный конструктор не захотел противостоять нажиму правительства и разрешил полет на еще не опробованном корабле. Что Комаров предвидел свою гибель, но не посмел отказаться от полета. Что, когда возникли неполадки, он просил разрешения прекратить полет, но этот вопрос чересчур долго утрясали в высших инстанциях. Что американцы предлагали Комарову свою помощь, а наши, мол, отказались. Вновь всплыли слухи о том, что Гагарин — не первый космонавт, а до него было несколько неудачных взлетов со смертельными исходами («Даром, что ли, нам сообщают о взлете, только когда корабль уже на орбите?»). Что вообще первыми космонавтами после Белки и Стрелки были заключенные-смертники (эта параша особенно распространена в лагерях). Что и Терешкова — тоже не первая женщина в космосе, но имя ее предшественницы мы не узнаем, так как она погибла. Что с Титовым после полета не все в порядке и его чуть ли не взаперти держат... Словом, возникло и всплыло множество самодельных версий, от фантастических до похожих на правду.

Но некоторые распространялись властями, очевидно, для того, чтобы нейтрализовать невыгодный для них фольклор.

Один мой знакомый рассказывал, что на инструктаже активистов (он сам был в их числе) чуть ли не в милиции им так объяснили эту катастрофу: Комаров, мол, сам виноват в своей гибели, он самовольно, без приказа и разрешения, отправился в космос, когда аппаратура не была еще как следует проверена. И подтвердили широко распространенный слух об американском предложении помощи в таком варианте: патриот Комаров отказался изменить Родине, не принял помощь американцев, предпочитая погибнуть в космосе.

Может, эта сказка состряпана не в верхах, а где-нибудь на уровне райотдела милиции, уж очень она дурацкая: в самом паршивом колхозе лошадь из конюшни без разрешения не дадут вывести, а тут космический корабль с космодрома угнали!

Сам я тоже с недоверием отнесся к официальному сообщению — хотя бы потому, что оно официальное. Но ведь правду все равно не узнаешь, так что ж тут обсуждать?

Другое событие произвело на меня сильное впечатление: письмо Солженицына съезду писателей (я получил

его текст из Москвы, конечно, тайком). Было радостно, что есть люди среди писателей, кого не запугали и не купили, что есть кому и у нас сказать правду без оглядки на последствия для себя.

Хотелось узнать о реакции нашей интеллигенции на это письмо. Я не сомневался, что многие готовы поддержать Солженицына, даже, пожалуй, большинство сочувствует требованию отменить цензуру Главлита. Письмо своей смелостью и искренней заботой о духовном возрождении страны может и должно возбудить тех, кто пока молчит или не понимает, даже твердолобые и безнадежные должны хотя бы задуматься.

В 1977 году, прочитав «Теленка»* Солженицына в ссылке в Чуне, я узнал, что 60 человек членов ССП публично поддержали его письмо. Это, по-моему, немало для нескольких тысяч советских писателей — «инженеров человеческих душ» и «совести народной».

В Барабинске мне некому было показать это письмо, не с кем поделиться впечатлениями. Я знал заранее, что забота Солженицына о свободе творчества не будет понятна моими земляками: не о мясе и не о барахле! Разве что из желания подудеть в одну дудку со мной сказали бы: «Да, дает мужик! Теперь его, конечно, посадят» или «Хорошо ему вякать! Писатель, такому ничего не будет, а нашего брата за рога бы, да и в стойло».

...Родители мои время от времени твердят свое: не уезжай никуда, оставайся в Барабинске! И здесь люди живут. Мать так больше о моей женитьбе заговаривала: «Сколько будешь в холостяках ходить? до белой бороды, когда ни одна старуха не согласится?» Я отшучивался: «Подберу невесту поздоровее да поязыкастей, потаскаете друг друга за волосы, не обрадуешься тогда женатому сыну». А она шуточки понять не хочет: «Живите отдельно, вы — себе, а мы со стариком — себе. Бывает, что не уживаются вместе две хозяйки, — это не беда!»

Не дай Бог, зайдет к нам в дом потенциальная невеста — старики тут же угощение на стол и сделают все, чтоб гостья задержалась подольше и чтоб ей у нас понравилось. Мать надеялась, что женитьба образумит меня, приклеит к дому, и я, наконец, устрою жизнь «по-человечески».

К моим связям с Москвой мать относилась враждебно-ревниво. Иногда и высказывала, что у нее на душе:

* «Бодался теленок с дубом». — Ред.

«Чует мое сердце материнское, опять будешь в тюрьме с этой Москвой!»

Родители не раз слышали от меня «крамольные» речи, по их понятиям, святотатственные (хоть сами — и наедине, и в компании — не раз проклинали и свою жизнь, и власть) и ведущие прямо в тюрьму. Вот они и начинают выговаривать: что тебе не живется нормально? что тебе нужно от советской власти?

— Хотя бы того, чтоб меня и других не били по голове!

— Почему нас никто не бьет? Мы всю жизнь прожили и тюрьмы не боялись!

— Мам, да ведь и Гитлер не всех бил по голове. Живи по его законам, кричи вместе со всеми «Хайль Гитлер!» — и можешь спать спокойно.

— Любая власть, если ты против нее, будет тебя бить и по голове, и по жопе.

— А в Америке компартия открыто заявляет, что бьется против власти капиталистов, — и никого там за это не сажают.

— А ты откуда знаешь? Ты что, был там, сам видел?

— Но ведь об этом пишут в газетах!

— Нашел чему верить! Все вранье.

— Так пишут-то наши газеты, советские!

— Да ну тебя, — мать безнадежно машет на меня рукой. — И в кого ты у нас такой умный? Ни у отца в роду, ни у меня никто никогда в тюрьме не был. А тебя уже дважды угораздило, и так дураком и остался. Других хоть тюрьма учит. Лучше бы пил: пьяница проспится, а дурак никогда. Правду ведь пословица говорит, что в семье не без урода.

— Ага, а отцова-то отца Колчак расстрелял? А дядя Афоня, сама говорила, добровольцем к красным ушел еще несовершеннолетним.

— Так не в тюрьму же? Да и время не такое было. Чего вам сейчас не живется? Мы в лаптях ходили, а вы ежегодно новые туфли покупаете, и все вам не так!

Ох, уж этим мне родительские лапти! Это, как они думают, самый веский аргумент в пользу советской власти. Задумайся они, что туфли, мотоциклы, телевизоры и прочие блага цивилизации уже везде в мире, а нашему народу обошлись слишком дорого, в миллионы жизней, — так, наверное, обожгло бы им пятки в этих туфлях.

У таких людей, как мои родители, жизненный опыт берет начало с предреволюционного времени, символом которого понаслышке, от пропаганды, стали лапти: «ла-

потная Россия» (между прочим, в Сибири и батраки ходили в сапогах). И получается у них, что советская власть заменила им лапти на туфли. Этого представления из них ничем не выбить.

Известие, что мне нашли жилье недалеко от Москвы, пришло, когда я уже подзаработал немного денег. Но до отъезда мне хотелось побывать у деревенской родни: доведется ли с ними еще увидеться? Рассчитавшись с хлебозавода, я попросил двоюродного брата отвезти меня в деревню на мотоцикле. Мы решили сначала заехать к материному брату дяде Афанасию в Здвинск. Это большое сибирское село — районный центр — на берегу реки Каргат, в ста километрах от Барабинска. По хорошей дороге ушло бы у нас часа полтора, чтобы доехать. А мы, выехав в обед, добрались туда только к вечеру.

Дом дяди стоит на самом берегу. Живут они вдвоем, дядя Афоня и тетя Дина, шестеро их детей поразъехались из дому. Дядя очень схож с моей матерью: такой же маленький, сухощавый и лицом очень похож. Я помню его даже еще до войны, как он приезжал к нам в Барабинск на санях и водил поить лошадь к водокачке: сажал меня верхом, а сам шел рядом, одной рукой придерживая повод, другой — меня.

С войны он вернулся весь увешанный орденами и медалями, был несколько раз тяжело ранен. После войны сумел, несмотря на малограмотность, окончить курсы взрывников и работал на дорожном строительстве. Тогда он часто бывал у нас. А теперь (1966 год) дяде уже шестьдесят пять лет, он получает пенсию, но слишком маленькую, так что подрабатывает истопником в конторе. И огород служит им подспорьем.

Дядя Афоня нам с братом очень обрадовался. Конечно, накрыл на стол, выставил традиционную бутылку — но так и не распили ее. Дядя сказал, что совсем бросил пить: «Все, что мне полагалось выпить в жизни, — выпил раньше времени, а чужое прихватывать не полагается». И точно, моя мать рассказывала, что в молодости дядя был хороший пьянчуга, и притом, даром что малорослый, большой любитель подраться. Хоть ему частенько крепко перепало, он все не унимался. Но с годами появились у него «сухие периоды», когда он в рот не брал спиртного.

Анатолий, единственный сын дяди Афони (остальные — дочери), видно, не «урод в семье», пошел в отца и даже гораздо дальше. Он здорово пил еще до армии, пил и в ар-

мии, а после и вовсе запился. Лихо шоферит, ездит, накачавшись водкой, с ветерком по бездорожью. Было, что и машину разбивал, и наезды у него были, но все как-то ему сходило с рук и прощалось.

Жена Анатолия повесилась — может, не выдержав такой жизни. Дядя Афоня взял к себе двух маленьких: внука и внуку. Растит их без помощи сына. Да еще по-прежнему работает кочегаром, хотя ему сейчас уже больше семидесяти.

До отцовой деревни, куда мы держали путь, от Здвинска было еще около двадцати километров. Официально деревня имеет название Верхний Урюм (она стоит на берегу реки Урюм), но местные жители и окрестные называют ее почему-то Лохмоткой, хотя здешний колхоз имени Мичурина считается в районе зажиточным, богатым.

У меня в Лохмотке полдеревни — родня. Наша фамилия здесь самая распространенная, и когда называют какого-нибудь Марченку, то добавляют уличную кличку или приметку, чтоб не перепутать: «те Марченки, что коло магазина», «Бабки Любки Марченки»...

Говорят в Лохмотке на устоявшейся смеси русского и украинского, есть местные словечки, каких я нигде больше не слышал. Например, крестных называют «лельками». Лохмотка — переселенческая деревня, в 10-х годах сюда переселились украинцы из восточнoукраинских губерний. Теперь они считают себя русскими, но жители ближних деревень по-прежнему дразнят лохмотинцев хохлами.

Семья моего отца переселилась из Харьковской губернии в Сибирь в 1914-1915 году. Перевезли свой сельскохозяйственный инвентарь (отец и сейчас вспоминает какую-то особенную бричку на рессорах), получили здесь надел — восемьдесят десятин. Кони были, о прочей скотине и говорить нечего. Жили зажиточно, как и другие переселенцы. Во время гражданской войны Лохмотка поддерживала красных, мужики партизанили против Колчака. Мой дед ковал пики для партизан. Видно, он был азартный мужик: не вышел из кузни, даже когда колчаковцы входили в деревню. За этим занятием они его и прихватили — и расстреляли.

Лишившись кормильца, семья обеднела. Конечно, где там было вдове с ребятишками обработать свой надел. Отец ребенком еще пошел в работники к богатым крестьянам. Зарабатывал, говорит, хорошо — что за лето получит, того семье хватало на год. Хозяева попадались разные: один к работникам относился, как к своим, вместе

работали, вместе и ели, а при расчете добавлял еще сверх договоренного, а другой был скуп, рассчитывался в обрез, кормил плохо. Когда всех их раскулачивали, щедро и доброго жалели, скупого никто не жалел. Отец говорит, что его заставляли подписывать постановление о раскулачивании, а он против хорошего хозяина не стал; может, хвастает, он у нас любит прихвастнуть и силой, и храбростью («Я одному как дал — он набок, я другому ка-ак дал!...»). Ну, раскулачили и сослали, конечно, и тех, и этих. Был бы жив дед — и их, может, раскулачили бы, хотя бы из-за знаменитой брички. А так мой отец остался деревенским гегемоном, кто был ничем, стал всем, но без возможности заработать кусок хлеба. Хорошо еще, вовремя успел смыться в город. Точно так же и мать росла сиротой в бедной семье (только в другой переселенческой деревне, русской, из Орловской губернии, т.е. из «кацапов»), с детства батрачила, а после коллективизации тоже ушла в город на заработки.

В детстве я частенько проводил лето в Лохмотке. Около деревни Урюм разливается широко и больше похож на озеро, чем на реку. Ребятне благодать, мелко, идешь-идешь, чтоб зайти по горло; и ни тебе ям, ни омутов. Местами берег песчаный с белым и мелким, как мука, песком. Здесь полно чаек, от них над речкой стоит постоянный гвалт, который смешивается по вечерам с таким же гвалтом воронья и грачей за околлицей.

Подальше от деревни берега густо заросли камышом, в котором раньше кишели утиные выводки. Мы, ребяташки, промышляли уток древним способом, на волосные петли: здесь это называлось ловить пленками. Развесим петли гирляндами по кромке камыша, перегородив ими проход к чистой воде, а утка сама, плывя, сунет голову в петлю, сама и затянет ее. Но иногда эти петли брали под свой надзор коршуны и ястребы, и тогда мы обнаруживали в них только перья да лапки.

За своей дичью мы лазали по шею в воде и тине, резались до крови о камыши и завидовали взрослым охотникам, имевшим старенькие ружья. Конечно, уток мы ловили не для забавы: в голодное военное и послевоенное время мы подкармливали этим промыслом свои семьи.

И еще тогда в реке было полно рыбы. Про удочки здесь и не знали, ловили сетями или неводами. Вся речная гладь, бывало, густо уставлена тычками, меж которых натянуты сети: у каждого рыбака свое место на реке. А когда тянули невод, нас, мелкоту, звали помогать с того края, который ближе к берегу.

В 50-х годах ловить рыбу сетями запретили. Уполномоченные из райцентра ездили по деревням и отбирали сети. Приехал я как-то в те годы в очередной раз в деревню поздно ночью. Шофер дядя Миша — тоже Марченко — высадил меня возле дома бабушки, когда там уже все спали. На мой стук в окно никто не откликнулся, а просто кто-то молчком открыл дверь. В темноте я не мог узнать, кто мне открыл, и спросил вместо «здравствуйте»:

— У вас свет есть?

— Какие сети?! — услышал я ворчливый голос бабушки, — еще в прошлом году все отобрали, чтоб вам лихо стало!..

Кроме бабушкиного дома, был для меня родным здесь и дом «лельки» — моей крестной. Отец лельки, мой двоюродный дед, когда-то, как говорят, был по-цыгански смуглым, с густой шапкой черных волос. Но уже к моему первому приезду в деревню он был древним стариком. Полчерепа у него было совершенно голо, а другая половина едва прикрывалась волосами, легкими и белыми, как тополиный пух. У него постоянно тряслись голова и руки — трясушка осталась от контузий и ранений на империалистической и, на гражданской. Он был несколько раз проколот, прострелен и порубан. Руки тряслись настолько сильно, что он редкую ложку мог донести до рта, не расплескав. Так что щи ему наливали в миску, и он пил их через край.

Сколько я помню деда Прокопа, он всегда что-нибудь делал дома для колхоза: грабли, вилы, лопаты, косы, топоры. Мне и сейчас он видится строгающим зубья для грабель или косовища под густой черемухой, где находился его верстак. Я забирался на эту черемуху повыше за крупными ягодами, и мне сверху сквозь листву хорошо был виден дед — в белой самотканой рубахе и таких же штанах. Ветерок легко шевелил на нем это белое одеяние и белый пушок на затылке. Дед был тонким и щуплым, так как давно усох, и казалось, если ветер захочет, то ему ничего не стоит поднять деда от земли и понести над ней, как белую паутину.

Дед Прокоп было малоразговорчив, да и слаб уже на уши стал под старость. Но любил разыграть людей, подшутить над ними. Меня он разыграл в первый же день приезда.

Бабушка Лукерья подала нам с ним на стол по миске щей. Я заметил, что мои щи по цвету отличаются от щей в миске деда: мои светлые, а его очень красные. И я с любопытством посматривал на его красные щи. Дед, заметив это, подмигнул мне украдкой от бабушки и кивком головы пригласил попробовать из его миски. Я тайком от бабушки

почерпнул полную ложку. Я знал, что щи не горячие, и поэтому без опаски схлебнул всю ложку сразу. Рот так обожгло, что я поперхнулся, закашлялся. Бабушка от печки повернулась ко мне. Из моих глаз текли слезы. Я не выдал деда, но бабушка сразу догадалась, стала его ругать:

— Да разве ж можно так шутить с малым ребенком, дурень старый...

Дед сидел невозмутимо и как бы не слышал бабушки. И так же невозмутимо, к моему удивлению, трясая головой и руками, продолжал неспешно хлебать свои огненные щи.

Долго еще после этого, когда мы садились за стол, дед тайком от бабушки подмигивал мне, предлагая угоститься его щами. Но я больше не любопытствовал и отказывался. Потом я узнал, что дед заранее сам натирал себе в миску несколько стручков красного перца, и миска эта стояла до обеда.

Сколько раз покупал меня дед на чем-нибудь! Я зарекался ему верить, но, как назло, не мог угадать, когда. Не поверю пять раз — и все невпопад. На шестой поверю — обязательно влипну. Дедова внешняя угрюмость часто подводила не только меня: от такого человека обычно не ждут подвоха и розыгрыша.

Дед Прокон прожил около ста лет. Он умер, когда я был в мордовских лагерях.

В послевоенные годы в Лохмотке (как в других деревнях, и даже в Барабинске) было полно земляных домов — не временных землянок, а именно домов, сложенных из толстых пластов земли с дерном, с земляным полом, который хозяйки к празднику подмазывали и заглаживали глиной с навозом. В таком вот доме жили мои бабушка с тетей Домной и ее тремя детьми, а летом я был шестым обитателем. Кроме того, здесь же помещались другие временные жильцы: квочка с цыплятами в закутке под печкой, где обычно стояли кочерги и ухваты.

Печка продолжается дощатыми полатами — верхняя спальная плацкарта, одна на всех детей и стариков. Обстановка в избе обычно вся самодельная: стол и лавки на кухне, кровать и пара табуреток за перегородкой в горенке. Да еще по стенам — в рамках или просто наклеенные на газете — фотографии ближней и дальней родни.

Все было просто, ничего-то лишнего. И просторно — не то, что нынче.

Лишь похоронив вождя народов и лучшего друга всех колхозников, деревня начала прибарахляться и обрастать излишествами.

Я вспоминаю нищую и голодную деревню сороковых — шестидесятых годов и пытаюсь понять, насколько неизбежна была эта страшная нищета народных кормильцев. Это правда, что после войны в деревнях не хватало работников — мужиков-то повыбили. Однако же деревня худо-бедно кормила страну. А при этом сама голодала, отдавая государству все, что производила. Справедливости тут, конечно, нет, но, может, благодаря временной несправедливости крестьяне смогли к 1955 году надеть покупные штаны вместо домотканых. Еще через десять лет обзавелись велосипедами, а теперь, еще десять лет спустя, покупают мотоциклы и пианино и мечтают о своем автомобиле? Может, мудрое государство (в лице и под руководством) лучше, чем сами граждане, знало их нужды и потому решало: пусть нынче Ванюшка бегаёт с раздутым от макухи брюхом, зато его дети когда-нибудь покатают в авто?

Зато, зато... «Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Все равно, и сейчас в стране не хватает мяса, масла, а также автомобилей, хлеб покупаем у Америки, расчитываясь богатством недр — «народным достоянием».

Я не могу судить о возможностях советской экономики и о наилучших путях ее развития. Но ведь общеизвестно, что многие другие страны, разоренные войной, возродили свою экономику и подняли ее на более высокий уровень, чем наша, без бесконечных вынужденных жертв (выдаваемых за всенародный героизм и энтузиазм). И, значит, эти жертвы бессмысленны.

У самого въезда в Лохмотку нас встретила растущая при дороге огромная, издалека видная береза. Ночью она похожа на человека — великана, раскинувшего изуродованные ветром и грозой руки-ветки, то ли приглашающего путника в деревню, то ли преграждающего ему дорогу. В детстве этот великан пугал меня.

Вторая от края избушка — бабушкина. В ней давно никто не живет: бабушка умерла, тетя Домна с детьми переехала на жительство во Фрунзе. Хоромы эти никому стали и даром не нужны: люди теперь селились в нормальных рубленых избах, строились, бросая свои земляные допотопные сооружения. Бабушкина избушка стоит с пустыми выбитыми окнами, с зияющим проемом вместо двери. Даже огород никем не засажен: земли хватает, у каждого колхозного двора огромный огород.

Мы проехали мимо одичавшей бабушкиной усадьбы, направляясь к дому лельки.

Оба мы — и Лелька, и я — рады были встретиться после стольких лет. За столом, тут же сразу накрытым и увенчанным, конечно, бутылкой, вспоминали родню — живых и уже умерших, и народившихся за это время. Обе лелькины дочери уже давно замужем, внуков ей народили («А ты отлыниваешь!»). Сама она все еще работает — поваром в артели армян-шабашников, которые и живут у нее в доме. Эта артель приезжает в Лохмотку уже второе лето, строит колхозу новые объекты. В это лето они строят коровник. К осени рассчитывают получить много денег — и получают, это точно. Во всяком случае, раз в десять больше, чем уплатили бы за эту же работу своим колхозникам. Но свои не управляют и с полевыми работами, вот и приходится колхозу за большие деньги нанимать строителей со стороны.

В те годы, когда я посетил Лохмотку, артели шабашников работали чуть ли не в каждом колхозе нашей области. Заехали мы на обратном пути в совхоз — там тоже шабашники строят зерносушилку. И не дальние приезжие, а земляки-новосибирцы, молодые инженеры. Отпуск, да еще по две недели за свой счет — и каждый привезет приблизительно половину своего годового заработка.

Мой зять — муж двоюродной сестры — работает в этом совхозе начальником отделения. «Замотался вконец», — жалуется он мне.

Утро, например, начинается с того, что он с бригадиром бегают по домам, пытаясь уговорами или бранью выгнать женщин на дойку коров. Не всегда это удается, и бывает, что буренки до обеда не доены.

— Может, платите дояркам мало, — предположил я.

— Мало! Не меньше двухсот в месяц! Разбаловался народ, — возмущается зять. — Раньше за горсть зерна пахали от зари до зари, и гнать не надо было: сами бежали. А теперь кланяйся каждой! На работу, с работы ли — машинами возим, а раньше на полевом стане всю неделю...

— Так ты б хотел, чтоб как раньше, за горсть зерна?

— Не в том дело. Теперь за труд получай не трудов день липовый, а деньги, и немалые. Работай только. Так видишь — не хотят. Хозяина в стране нет!

— Сталина хочешь?

— А что Сталин? При нем хоть порядок был. Плохо было, зато слушались.

— Твое начальство тоже о Сталине вздыхает: такие, как ты, при нем по струнке ходили. Чего же ты не ходишь?.. Лучше сталинской системы ты ничего не можешь предложить, чтоб хозяйство не буксовало.

— Это чтоб опять капитализм, это ты имеешь в виду, да?

Но притереться к социалистическому сельскому хозяйству зятю не удалось. Он ушел из одного совхоза, из другого; в конце концов, уехал от земли и устроился на более спокойную, менее рискованную должность где-то в управлении.

Как и в Барабинске, никто не расспрашивал меня в деревне, за что я сидел, с кем, каковы сейчас политлагеря. Лишь один родственник, уже подвыпив, прихватил еще бутылку самогона и поманил меня во двор: «Есть разговор». Но и во дворе он не нашел подходящего места и повел меня в баню. Выпив стакан, он спросил:

— Скажи, правду говорят, что ты продался?

— А кому, как говорят?

— Заграничной разведке!

— Ну, раз заграничной, то правда.

— А за что же ты продался? Твой дед здесь расстрелян колчаковцами. А отец всю войну прошел!

— Платят хорошо, очень хорошо. За добросовестный труд здесь столько никогда не будут платить.

— А если поймают?

— Так сейчас не ловят. Что ты! Кому это нужно: ловить шпионов. Это осталось только для книжек да для кино.

— За шпионаж не судят? — он надолго задержал занесенную над стаканом бутылку и смотрел на меня во все глаза.

— Ты же видишь меня живым и на свободе...

— А органы знают?

— О чем? Что я на свободе или что я шпион?

— Что шпион.

— Наверняка.

— А ты откуда знаешь?

— Сам же говоришь, что все говорят. А раз все говорят, то органы и тем более обязаны знать.

Бутылка отставлена в сторону. Стаканы так и остаются не налитыми.

Потом вполголоса:

— Ну, а сам-то ты как? Против своей страны, против народа...

— Понимаешь, по мясу соскучился.

— Какое еще мясо?

— Именно, что все дело в мясе. Шпионам платят иностранной валютой или натурой. Заходишь в специальный

магазин для иностранцев, и там все, что твоей душе угодно. И ни очереди, и по дешевым ценам. Мяса — навалом.

Собеседник мой задумался, молчит. Потом чуть улыбнулся:

— Врешь ты все! С тобой по-серьезному хотят поговорить, а ты...

— А как можно об этом по-серьезному-то? Все говорят, что я шпион, а госбезопасность смотрит, слушает и ничего не предпринимает! Какая уж тут серьезность!

— А я откуда знаю? Люди говорят, вот я и спрашиваю по-свойски.

— Говорят, а ты уши развешиваешь!

— Ну, а за что же тебя судили? Мать же сама говорила, что ты сидел с политическими.

— Точно, сидел с ними.

— И много их там?

— За десять тысяч я ручаюсь.

— Как при Сталине? — он удивлен.

— Да нет, при Сталине были миллионы.

— Все равно много... А за что все же они сидят?

— Каждый за свое: кто за книжки...

— Писатели? И такие есть?

— Есть.

— А я думал, что они все продажные твари.

— Выходит, не все.

— А еще кто?

— Студенты есть. Есть такие, кто выступал на собраниях, писал листовки, агитировал, создавал организации, составлял программы. Есть еще и за войну...

— Этих перестрелять надо было! Предатели!

— И такие есть. Но есть и такие, кто и немцев бил, и советских тоже.

— А, бендеровцы! Тоже не чище!

— Эти чем тебе насолили?

— Они нам проходу не давали, били нас в лоб и спину.

— Кто к кому пришел с оружием — украинцы в Москву или наоборот?

Под конец, совсем уж окосев от самогона, мой собеседник накинута на Америку:

— Ты думаешь, мы Америку не расколошматим? Еще как. Жаль, Сталин не послушал Жукова и не объявил ей войну в сорок пятом.

Очень распространенная эта байка! Она, видно, родилась в пылу окончательного разгрома Германии и торжества отечественного оружия.

— А что вам плохого сделала Америка?

— Да она только и ждет, чтоб завоевать нас!

Я не стал доказывать моему собеседнику, что в сорок пятом Америка могла это сделать, если б хотела, а теперь не может, если и пожелает.

Сейчас я бы добавил: не вздумайте присоединять Америку к соцлагерю ни мирным, ни военным путем! Если это произойдет, то кто нам поможет хлебом и продуктами в неурожайные годы и даже в урожайные? Где мы будем выпрашивать кредиты на строительство коммунизма? У Эфиопии или у Ким Ир Сена?

...К началу лета шестьдесят седьмого я вернулся от родителей — надо было устраиваться поближе к Москве. Полгода назад я поделился с двумя-тремя московскими друзьями своим замыслом; при этом не скрыл, что, видимо, попытаюсь уйти за границу, так как не смогу сам осуществить задуманное. Надо сказать, что мои друзья отнеслись к этому плану скептически: они были уверены, что попытка перехода границы окончится моей гибелью. «Напиши сам, напиши так, как ты нам рассказываешь, — убеждали они меня. — Посмотрим, что из этого получится». Я же предпочитал выступить в своей стране по другим причинам, о которых уже говорил. Рассчитывая на помощь новых друзей, я решился попробовать писать, как сумею.

Я раньше считал, что труд писателя самый легкий. Придумай о чем писать, да знай грамоту. А мне и придумывать не надо.

Еще в Барабинске я записал несколько эпизодов и отправил по почте в Москву. Но я увидел, что получается совсем не то. Все расплывалось, тонуло в массе подробностей; я не знал, что надо оставить, что выбросить, меня кружило, как по заколдованному кругу, и я чувствовал, что повторяю одно и то же, и не знал, как этого избежать. Пока писал, изматывал все нервы, и все равно ничего не получалось. Как начать повествование, чем кончить? Какое-то должно быть начало, какое-то «жили-были», но я не мог его найти.

Я приехал в полной неуверенности. Еще раньше Лариса показала присланные мной письма другим посвященным друзьям, и они по-прежнему советовали: «Пиши, как умеешь». Мы с Ларисой посидели над моим текстом; в результате от трех пухлых писем — в общей сложности не меньше тридцати тетрадных листов — осталось страниц пять. Прежде всего она заставила меня выбросить все де-

кларации против лагерного режима и режима вообще. Оказалось, что моя писанина наполнена именно этим. Я считал, что должен все и всех назвать своими именами, чем резче, тем лучше. «Это совершенно никому не нужно и не интересно, — говорила Лариса. — Ты должен рассказывать конкретные вещи, а выводы пусть делает сам читатель». Я спорил, думая, что она смягчает мои выражения ради моей безопасности. Вначале мне приходилось просто подчиняться: раз она взялась помочь мне, я вынужден с ней считаться. Потом, когда я перечитал то, что было в конце концов оставлено, то почти поверил, что она права. Но все еще внутренне сопротивлялся и, когда писал дальше, норовил в очередной раз высказаться на всю катушку, как мы это делали в стычках с лагерным начальством или с лекторами. «Ты же не для них пишешь», — убеждала меня Лариса и снова вычеркивала. И лишь когда ее поддержал еще и Б., я окончательно успокоился насчет того, что читатель обойдется и без моих подсказок.

Лариса расспрашивала меня: так что же было дальше, как я объясняю ту или иную ситуацию. «Вот это и надо дописать». Я дописывал, и текст приобретал какую-то форму.

В процессе редактирования этих первых в жизни написанных мной страниц я понял: надо писать простые фразы, как говоришь, не надо втискивать в одну фразу все, что вообще хочешь сказать, как будто это твоя последняя возможность высказаться. Даже не понял, а *уви-дел*. И дальше старался писать именно так, хотя и сейчас это у меня не очень получается.

Словом, сама работа придала мне смелости. К тому же я надеялся, что, как я ни напишу, мой добровольный редактор сделает из этого удобочитаемый текст (но эти надежды не оправдались, вернее, оправдались не совсем так: Лариса ничего не переписывала вместо меня, а заставляла меня самого переделывать и переписывать; только вычеркивала, выбрасывала куски фраз, абзацы, а то и целиком эпизоды).

Объем написанного рос, хотя и очень медленно. И то, что я успел сделать к концу лета, все еще никак не связывалось в одно целое.

Между тем условия у меня были такие, что писание превращалось в какую-то скачку с препятствиями. Я, конечно, не мог жить в Москве. Хотя нашлись бы знакомые, которые дали бы мне угол, но ведь меня никто не прописал бы и не взял бы на работу. Люда Алексеева помогла мне снять угол во Владимирской области в Александрове — это в

двух часах езды на электричке. С большим трудом мне удалось там прописаться. Устроился грузчиком на ликеро-водочный завод. Прописка и устройство на работу — это была целая проблема, на это ушло полностью полтора месяца.

Я снимал у одинокой старухи на дальней окраине городка. Тетя Нюра хорошо ко мне относилась, особенно когда убедилась, что я действительно не пьянствую и готов помочь ей по хозяйству: наносить воды из колодца, сложить дрова, натаскать торфяных брикетов. Но работа на заводе да эти мелкие услуги хозяйке отнимали почти все мое время; еще ведь надо и в столовую забежать или самому что-то настряпать на керосинке.

К тому же жил я в одной комнате с хозяйкой. И вообще ее изба состояла из одной комнаты: посреди избы — печка, и то, что перед печкой, называлось кухней, а за печкой наши с тетей Нюрой апартаменты. Она поставила мне деревянную кровать с соломенным тюфяком, перегородила жилье шкафом и даже занавеской отделила мой угол. У меня, кроме кровати, помещался еще стул, а на нем чемодан с моим бельем, на стене над стулом — вешалка; еще стоял крохотный стол-шкафчик с посудой и припасами.

Где писать? Где хранить написанное?

Если я засиживался допоздна, тетя Нюра утром обязательно поинтересуется:

— Толик, что это ты ночь не спишь? Чуть не до утра свет не гасил...

Раз скажешь: письмо писал, другой раз, а дальше что?

Вначале меня выручала летняя пристройка-коридорчик. Я сказал, что люблю спать на свежем воздухе, и до сентября жил там. А на выходные дни, спрятав в карманы пару тетрадок, уходил «гулять» в лес. Но подошла осень, начались дожди, и пришлось прекратить эти «прогулки» и занять свое законное место за занавеской. Меж тем следовало очень торопиться. Больше всего я боялся, что власти как-то пронюхают о моих литературных занятиях. Засадят меня под любым предлогом — в Александрове прощае простого состряпать любое «дело». И задуманное так и останется невыполненным, и сяду зря. Сам-то я тогда вряд ли привлекал внимание (хотя — кто знает? может, за бывшими политзаключенными особый надзор?), но ко мне приезжали Лариса и другие москвичи, бывшие на примете у КГБ, да и сам я ездил в Москву. А без этих поездок было не обойтись. Вдруг в мое отсутствие обыщут мое нехитрое имущество? Или тетя Нюра любопытствует, что я пишу

по ночам — как мне знать? — испугается, донесет. И я брал с собой на работу все исписанные листки, рискуя, что они, того и гляди, вывалятся из карманов.

Опыт моих лагерных коллег свидетельствовал, что всякую подпольную работу надо делать рывком, иначе только спалишься без толку. Словом, надо было торопиться, торопиться.

У Ларисы тоже не хватало времени заняться моими черновиками: в будни служба, и она приезжала в выходной день такая усталая, что, едва взявшись за свою редакционную работу, сразу же засыпала.

И тут мне повезло.

Одна приятельница на сентябрь и октябрь получила путевку на базу отдыха для творческих работников. Поскольку была уже осень, база почти пустовала, лишь в нескольких домиках жили пять-шесть человек. Особенно пустынно было там в рабочие дни: некоторые отдыхающие приезжали лишь на воскресенье. Моя приятельница снимала отдельную большую комнату и тоже приезжала только на выходной. Она предложила мне пожить там и договорилась с администратором. Меня здесь никто не знал, а целодневной писаниной на этой базе никого не удивишь.

На мое счастье, на работе мне без особых затруднений дали двухнедельный отпуск за свой счет. Лариса на это время тоже взяла отпуск.

И вот мы на базе. Ее территория покрыта смешанным лесом, это сплошной парк. Высокая ограда не совсем глухо изолирует ее от внешнего мира; полно дыр и проемов, через которые удобно выходить в любом направлении, нет необходимости делать петлю через главный вход. Минутах в десяти, в деревне, есть столовая, и можно раз в день позволить себе дешевый обед.

И место это оказалось исключительно грибное, и год оказался удивительно обильным на грибы. А ходить за грибами было тоже недалеко. Они росли буквально за оградой базы. Это нас здорово выручало: мы их и варили, и жарили, две недели кормились грибами.

Когда на воскресенье приезжала наша приятельница, мы позволяли себе маленький отдых. Вечерами втроем уходили подальше и жгли ночью костер. Приятно было отдыхать вот так, подкидывать хворост в костер и трепаться обо всем на свете.

Но в будни мы сидели над рукописью буквально часов по восемнадцать в сутки. Никакая тяжелая физическая работа меня так не выматывала, как эта. И каждый

вечер, усталый хуже собаки, я отодвигал рукопись неудовлетворенный: все еще не видно было, получается ли работа, и не видно было, где же конец. А эти две недели — мой последний шанс, потом пойдет опять круговерть: работа на заводе — быт — угол за занавеской... Скоро год пройдет, как я вышел, и еще год пройдет так же без результата, и того гляди КГБ пронюхает и схватит. Я страшно нервничал и злился, даже время на обед казалось мне потраченным зря, я изводил Ларису, что она тратит лишние минуты.

У нее в это время было чуть ли не больше работы, чем у меня, ведь у меня все-таки был уже довольно большой задел. Наступило время как-то организовать все написанное и понять, что еще нужно написать. Надо было нанизать отдельные эпизоды на какую-то одну нитку, Лариса предложила: «Пусть это будет твоя собственная история: кто ты такой, как попал в Мордовию, а дальше по порядку — Владимирская тюрьма, лагерь, что там видел». Я взял листок и написал: «Меня зовут Анатолий Марченко». Дальше пошло более или менее гладко. Спор у нас с Ларисой получился только по одному поводу: она хотела, чтобы я написал, как меня в первый раз посадили якобы за драку. Я этого описывать не стал. Она расспрашивала меня, но я и рассказывать не захотел. Мне было бы неприятно доказывать, что я в драке не участвовал и меня посадили зря. Во-первых, все зэки так говорят, что, мол, не виноваты. Во-вторых, мой рассказ выглядел бы как попытка оправдаться. Да и не в том дело, зря посадили, не зря, не о том ведь речь.

Я думаю, хорошо, что я послушался Ларису; и для книги хорошо, и вообще. Потом, когда моих друзей разные следователи шпыняли: «Да вы знаете, с кем связались? Он же уголовник, бандит, хулиган» — каждый из допрашиваемых со спокойной совестью говорил: «Знаю, он сам об этом написал».

Написанные раньше эпизоды нанизывались на мою собственную хронологию, как бусы на нитку. Некоторые, к моему удивлению, шли почти без правки, они так и вошли в книгу в виде отдельных небольших главок (например, «Самоубийцы», «Цветы в зоне»). С другими же Лариса проделывала все ту же работу: вычеркивала декларативные фразы, вычеркивала лишние подробности, показывала мне, что здесь нет начала, здесь конца, и я дописывал. Немало эпизодов она совсем забраковала и заставила меня их выбросить: они лишь повторяли уже сказанное. А мне жаль было выбрасывать: столько труда стоила мне

каждая написанная страница! Я спорил, иногда отспори-вал, но чаще в конце концов соглашался.

И сейчас я жалею, что мы так торопились, и послед-ние главы книги получились слишком бедные и беглые, как раз в них-то и было над чем подумать. А я писал их еще более торопливо, чем предыдущие, и они, вероятно, получились поверхностной отпиской. Кроме спешки, меня в работе над этими главами сковывало еще одно обстоя-тельство. Там речь идет о последнем годе моего заключе-ния (1966), когда я ближе познакомился с новым набором политзаключенных, с набором шестьдесят пятого года. Среди них были люди очень известные, и мне казалось, что, называя их, я как бы примазываюсь к их известности. Совсем не назвать их тоже не годилось (хотя вначале я именно так и хотел сделать). В конце концов, посовето-вавшись с друзьями, я решился только бегло упомянуть об этих новых кадрах политэзков, не набиваясь, так сказать, на тесный контакт с ними или на понимание их внутрен-него состояния. Да и на самом деле я не мог бы об этом написать. Но и так у меня было неприятное чувство, будто я спекулирую на известных именах, создавая своей книге рекламу.

Я вынес с собой из лагеря две странички записей, по-нятных только мне: на тетрадной обложке фамилия, или имя, или какая-нибудь оборванная фраза. Когда меня шмо-нали перед выходом, на эти странички не обратили внима-ния. Итак, кое-что у меня было записано, но основную ин-формацию я держал в памяти. Интересно: как только это было записано — немного времени прошло, и я уже не по-мнил деталей, забыл многие имена. Через какой-нибудь год я уже не мог бы восстановить свою книгу по памяти.

Сейчас, когда я вспоминаю эти дни на базе отдыха, мне кажется, что они заняли месяцы. А на самом деле — всего две недели. И к концу этого нашего «отпуска» оказа-лось, что книга почти закончена: около двухсот двойных тетрадных страниц, исписанных моим мелким почер-ком. Последние страницы загодя, за два-три дня, сложи-лись у меня в голове, как будто кто продиктовал мне их. Их совсем не пришлось исправлять.

Через несколько дней в Москве мы втроем — Б., Ла-риса и я — обсудили несколько вариантов названия. Они одобрили «Мои показания». Так и пошло. Тогда же с по-мощью Б. были написаны вступительные страницы.

Теперь предстоял завершающий и особенно спеш-ный этап работы — перепечатка рукописи. Только после

этого можно было относительно успокоиться: если удастся хорошо спрятать один экземпляр, то, что бы со мной ни случилось, сделанное не пропадет.

Еще когда мы были на турбазе, я отдал Б. сделанную часть рукописи, и он взялся ее перепечатать. И вдруг оказалось, напечатав десять-двадцать страниц, он бросил это дело! Я был страшно зол на него: сам взялся — и так подвел. Б. оправдывался тем, что ему запретила жена, она упрекала его: «Ты, видно, хочешь помочь Толе сесть!» Тоже мне благодетельница! А если не перепечатанная еще рукопись попадет не к читателю, а в архивы КГБ — лучше будет? Мою судьбу это, во всяком случае, не облегчит, все равно посадят, без огласки даже еще скорее.

Я злился на Б., на его жену. Придется заняться перепечаткой самому — а я тогда совсем не умел печатать на машинке. Но уж если сумел кое-как написать, то хоть по буковке, а напечатаю, решил я.

Съездил в Александров, уволился с работы. Все равно ведь скоро посадят, а время мне сейчас нужнее всего.

И снова мне на помощь пришли мои московские друзья. Я сумел убедить их, что им теперь ничего другого не остается, как только «помочь мне сесть» хотя бы с толком. К тому же шел октябрь шестьдесят седьмого года, приближалось 50-летие, и можно было ждать большой амнистии. Хотя «параши» об амнистии распространяются по лагерям перед каждым юбилеем и каждый раз не оправдываются, но всегда в сознании присутствует «а вдруг на этот раз...» Если успеть дать книге ход до объявления амнистии — и если она коснется «особо опасных преступлений», к которым, без сомнения, отнесут «Мои показания», — то, возможно, мое деяние попадет под амнистию. Сам я в это слабо верил. Но, кажется, этим доводом больше всего убедил моих друзей, что надо торопиться.

Вместе обсудили, как быстрее напечатать рукопись... Т., снимавшие отдельную квартиру, предложили работать у них. Достали три машинки, правда, одна из них сразу сломалась, так что четверо, умевшие печатать, работали, сменяя друг друга. Те, кто не умел печатать, диктовали им, раскладывали экземпляры, правили опечатки. Одна пара с машинкой устроилась на кухне, другая в комнате (а смежной комнатеенке спал ребенок хозяев). Треск машинки стоял на всю квартиру, да, наверное, и в соседних было слышно. Квартира была завалена бумагой, копиркой, готовыми страницами. На кухне постоянно кто-нибудь варил кофе или готовил бутерброды, а в комнате на тахте и

раскладушке кто-нибудь спал. Работали подряд двое суток, а спали по очереди, не различая дня и ночи.

Кое-кто из пришедших помогать только что услышал о книжке и еще не читал ее. Ю. и хозяин квартиры, Т., сразу же уселись за чтение. Т., горячий и склонный к преувеличениям, время от времени вскакивал, бегал по квартире, размахивал руками: «Если бы Галина Борисовна (так он называл госбезопасность, ГБ) знала, что здесь сейчас печатается, дивизией оцепила бы весь квартал!» По ходу чтения он предлагал поправки и, когда я соглашался без спора, восклицал: «Ну, старик, ты даешь! На все согласен, прямо как Лев Толстой». Ю. тоже предлагал кое-какие исправления. Он не мог оставаться на все время, поэтому прочел лишь несколько глав. Уходя, сказал: «Пожалуй, сильнее атомной бомбы». Я не воспринимал буквально этих данных сгоряча оценок, но думал: значит, моя книга достигает своей цели.

К рассвету третьего дня работа была закончена, и мы с чемоданом, набитым черновиками и готовыми экземплярами, вышли из квартиры. Один экземпляр остался у хозяев — для чтения и сохранения.

Улицы было по-утреннему пусты, никакая дивизия нас не стерегла. Не заезжая домой к Ларисе, мы отправились с чемоданом к К. и Т. Это были не очень близкие нам люди (впоследствии мы с ними крепко сдружились). По дороге позвонили им из автомата: «Можно к вам сейчас приехать» — еще и шести, наверное, не было. «Сейчас? Приезжайте». Сонные хозяева открыли двери, проводили на кухню — в комнате спали дети. Лариса сказала: «Вы не можете на время спрятать подальше вот эту рукопись?» Они и понятия не имели, что за рукопись, но ничего не спросили, просто взяли и сказали: »Хорошо». Я не стал предлагать им познакомиться с книгой: если их случайно поймут с этой рукописью, они смогут сказать, что ничего о ней не знают, просто выполнили мою просьбу, и не соврут при этом. К. и Т. прочли книгу значительно позже.

Один экземпляр надо было поскорее переправить на Запад, а уж потом можно было дать книге ход на родине. Вскоре нашлась такая возможность. И началось томительное ожидание: хотелось дожидаться сигнала, что рукопись дошла благополучно. Куда, в какое издательство, я совершенно не знал и не интересовался этим. Никакого сигнала я так и не получил; из-за этого еще два-три раза (сам или через друзей) передавал экземпляры и так и не знаю, который из них (или все?) добрался до издательства. О

том, что книга издана на Западе, я узнал больше года спустя, уже в лагере.

Отдав друзьям два экземпляра книги на сохранение и три — для Самиздата, один отправив на Запад, один я оставил себе, чтобы отнести в редакцию какого-нибудь журнала. Там при регистрации поставят число, когда сдать рукопись, — а вдруг повезет, и я попаду под амнистию!

Когда я решил еще в лагере обязательно предать огласке положение в политлагерях, то ни на какое снисхождение не рассчитывал и никаких амнистий не учитывал. А вот теперь, когда дело сделано, я начинаю гадать и рассчитывать, надеяться на счастливую звезду в своей судьбе.

Моих московских знакомых я считал людьми сведущими в литературе; я имел от них положительные отзывы о своей книге. Но это был пока очень узкий круг друзей, безусловно, не беспристрастных в суждении. Мне не терпелось услышать мнение, так сказать, со стороны, от людей посторонних, кто бы мог дать объективную оценку. Поначалу, когда я только работал над рукописью, мне и в голову не приходило, что я буду так сильно интересоваться чьими-либо оценками и замечаниями. Я собирался дать общественности факты, открыть ей ту действительность, которую от нее тщательно скрывает правительство. Вот и все. И мне было все равно, на каком уровне я это сделаю и что скажут об этом уровне. На возможные упреки в этом отношении у меня был искренний ответ: я не писатель. Но вот оказывается, что я не чужд авторского тщеславия.

Отзывы, которые доходили до меня, были положительными — может, другие просто не доходили? Читатели сравнивали сталинские лагеря с нынешними (многие — на основании своего прежнего опыта) и находили, что система не переменялась. Многие говорили, что само существование в наши дни политлагерей в такой устоявшейся жестокой форме — для них неожиданность и открытие. Говорили также, что книга хорошо написана, что в ней ощущается достоверность показаний свидетеля — к чему я и стремился. Весной 1968 года «Мои показания» прочел знакомый мне по Мордовии и недавно освободившийся Л. Он страшно разгорячился, разволновался: «Как же это получилось, что это написал ты, простой парень? Почему никто из нас, интеллигентов, не взялся?» Книгу он хвалил.

До самого моего ареста в июле 1968 года до меня дошло два критических замечания. Один известный ученый сказал, что, возможно, книга и правдива, но лагерь и

тюрьма в ней выглядят слишком страшными. «Люди будут бояться ареста», — сказал он.

И еще мне передали мнение А.И. Солженицына, которому нынешние заключенные, как я о них рассказал, показались чересчур уж смелыми, слишком нарывающимися на карцер и прочие наказания: «Не верится, чтобы так было на самом деле».

Но это было потом. Пока же «Мои показания» прочел К. — известный литератор. Книга ему очень понравилась.

— Что вы хотите с ней делать дальше?

Я сказал, что передал ее на Запад, а сейчас хочу отдать в какой-нибудь журнал потому-то и потому-то. Тогда он сам договорился с редакцией одного из журналов, что они примут рукопись, но постараются хранить ее так, чтобы она не попала на глаза никому из заведомых стукачей.

Прошло не больше недели, и мне передали, что меня просят поскорее зайти в редакцию и забрать рукопись. Оказывается за это время ее прочли несколько сотрудников редакции. Они высоко оценили книгу и, как мне передали: «мужество автора»; «автор решил пожертвовать собой, буквально жизнью, но зачем он тогда тянет за собой и других? В конце концов, пострадает наш журнал». Конечно, я сразу же забрал рукопись — но никак не мог взять в толк, почему может пострадать журнал, принявший неизвестную рукопись у неизвестного автора и *не* напечатавший ее. Мне потом объяснили, что по каким-то не то писаным, не то неписаным законам редакция обязана крамольные, вроде моей, рукописи передавать в КГБ. Они же, порядочные сотрудники редакции, не хотели быть доносчиками, но и боялись оставить рукопись у себя, они да же не зарегистрировали ее.

К моему сожалению, эти люди в своем страхе за журнал готовы были даже приписать мне какую-то неискреннюю, хитрую тактику — будто я пытался свалить ответственность за распространение книги на редакцию журнала, сделать вид, что это от них книга попала в Самиздат. Может, им уже приходилось иметь дело с такими бесчестными авторами. Не знаю, поверили ли они, что ничего подобного у меня и в мыслях не было, я не собирался заваливать таким образом не только порядочных людей, но и подонков. Объясняться было тем труднее, что переговоры велись через третьих лиц. Сам я только пришел за рукописью — и, несмотря на эти подозрения относительно меня, никакого недоброжелательства со стороны сотрудников редакции не почувствовал. «Мы с большим волнением

читали ваше повествование», — сказали мне, а на прощание угостили яблоком. (Это был мой второй гонорар за книгу. Первый гонорар, вернее аванс, я получил в грибном лесу за турбазой: в густой траве, где не видно было никаких человеческих следов, нагнувшись за грибом, я вдруг нашел десятку. Она была мокрая, мятая, как старый потрепанный осенний лист, но все же годилась в дело. Я купил себе на нее кирзовые сапоги).

С рукописью под мышкой и с яблоком в руке я прямо из этой редакции направился в редакцию «Москвы» — мне сказали, что здесь никто не смутится необходимостью доноса и, значит, я никого не подведу. И никто меня им не рекомендует, я действительно иду сам по себе. С этого дня — со второго ноября — завертится круговерть.

Вот и Арбат. Редакция «Москвы» — по правой стороне от метро.

— Почему экземпляр такой плохой? — недовольно, но не враждебно спрашивает секретарша, записывая в карточку мои данные. Я что-то бурчу в ответ. Им действительно достался самый последний экземпляр, а не тот, что я только что забрал из другой редакции. Ничего, ничего, прочтут. Меньше всего меня заботили удобства тех, к кому отсюда попадет моя книга.

— Это что, роман, повесть?

— А я не знаю. Ну, ладно, пусть будет повесть.

— Художественная или документальная?

— Документальная, документальная.

Секретарша записала все сведения и сунула мою рукопись в стол — не прочитав ни строчки даже на первой странице!

— Приходите за ответом что-нибудь через месяц. Или мы можем прислать ответ по почте.

Где будет рукопись через месяц? И где буду я сам?

Всех друзей беспокоила моя участь. Вначале мне советовали публиковать книгу на Западе под псевдонимом и не соваться с ней ни в какие редакции. Сколько споров было у нас на эту тему! Уговаривали меня коллективно и поодиночке, в доме и специально выводя погулять по ночной Москве. Все предсказывали: этого тебе не простят. Предсказывали все виды расправы: от закрытого суда («а в лагере прикончат») до «случайного» убийства в драке или несчастного случая. Между прочим, это показывает, какова среди населения, в частности, среди интеллиген-

ции, репутация КГБ, какую славу создала себе эта организация к 1967 году.

Я не соглашался на псевдоним не из-за безумной смелости, а по трезвому расчету: в книге говорится о конкретных местах, людях, фактах, об определенном времени, по всему этому заинтересованные лица легко установят автора. Не говоря уже о том, что какие ж это «показания» — под псевдонимом!

После того как я отдал книгу в «Москву» и пришел Указ об амнистии — как и следовало ожидать, бесполезный для политических, — друзья и даже малознакомые люди стали убеждать меня скрыться, так сказать, перейти на нелегальное положение. Помню, Н. часа два водила меня по двору (разговоры такого рода велись не в доме — мы опасались прослушивания квартир) и уговаривала, ни дня не медля, завтра же сесть в поезд и уехать на Северный Кавказ — там у ее мужа есть друзья, они меня спрячут: «Ты что, не понимаешь? Тебя же просто убьют! Кому нужен твой героизм, подумаешь, герой нашелся!» И. нашел мне надежное убежище и даже, кажется, работу где-то на северо-западе, К. предлагал укромное местечко в Архангельской области. И все единодушно сходились на одном: в Александров я не должен показываться даже за вещами, там просто пристукнут из-за угла в первый же вечер.

Идея капитально скрыться меня не привлекала. Во-первых, если станут искать, то — я знаю, как это бывает, — объявят всесоюзный розыск и, вероятнее всего, рано или поздно найдут. А тогда любой «укромный уголок» ничем не лучше моего Александрова. Во-вторых, я написал свидетельские показания и хочу сохранить за собой возможность подтвердить их лично, вот он я, он самый Анатолий Марченко, — кто говорит, что «Мои показания» — фальшивка? Другое дело, надо постараться протянуть на свободе подольше, пусть книга будет опубликована, получит известность, а власти успеют подумать, а то ведь у них в первую очередь срабатывает хватательный рефлекс.

Итак, я не поехал в Александров, а в Москве попытался устроиться уединенно, что называется, не мельтешишь в глазах. Дело, правда, бездоходное, я для себя нашел: решил без спешки еще раз перепечатать свою книгу, на ходу научаясь машинописи. Первые экземпляры все разошлись, а мой собственный, оставленный для себя, трагически погиб: я дал его почитать одному знакомому, очень хорошему человеку, сделавшему мне много добра, а

он во время какого-то переполоха (как выяснилось, напрасного) сжег на всякий случай рукопись.

Вот теперь времени у меня хватало. Друзья снабжали меня книгами. Кроме того, я стал практически готовиться к будущему аресту и суду. Сочинил для суда свое последнее слово и выучил его наизусть, а текст отдал спрятать: ведь на суд никого не пустят, так чтобы после стало известно, что я там скажу. Еще одна забота — обзавестись среди московских знакомых «родственником», который после ареста имел бы право хлопотать обо мне, договариваться с адвокатом, добиваться свидания. Одна очень славная незамужняя знакомая, Ира Белгородская, вызвалась быть моей «невестой». Мы пошли с ней в ЗАГС и подали заявление о браке — таким образом, наши «отношения» были формально зафиксированы.

До десятых чисел декабря я прожил спокойно. То ли меня еще не искали, то ли не могли найти (маловероятно: ведь я не прятался), а может, и следили, но я этого не замечал.

Лариса с Саней уехали в Мордовию на очередное свидание, а я напросился остаться в их квартире присмотреть за собакой.

Числа 10-15 декабря сижу я в пустой квартире и тюкаю потихоньку на машинке. Мне показалось, что кто-то скребется в окно (работал-то я без слухового аппарата *, поэтому скорее угадал, а не услышал). Я резко отдернул штору и увидел за окном молодого человека, упитанного, прилизанного, торжественно одетого, как с дипломатического приема. Поодаль за деревом прятался второй, в отличие от первого одетый небрежно и даже неряшливо. По губам его читалось:

— Откройте дверь!

— Будете через окно входить?

— Откройте! Открывайте!

— Хозяев дома нет. Без них я никого не пущу. А тех, кто ломится в окно, тем более.

— Откройте дверь!

— Еще чего! Кто вы такой?

— Говорят вам, откройте!

— Кто вы?

Он медленно, как бы нехотя, лезет во внутренний карман своего черного пиджака. Достал красную книжечку и показывает мне ее лицевой стороной. И я читаю золо-

* А.Марченко потерял слух в результате болезни в детстве и затем менингита в заключении. С 1966 года он пользовался слуховым аппаратом. — *Ред.*

том на красном фоне под золотым гербом: Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР.

«Ну вот и началось!» — мелькнуло у меня.

Я ждал встречи с этой организацией. Вот она.

А гебешник все еще держит свои корочки перед стеклом, очевидно, рассчитывая ими воздействовать на меня в нужном направлении. Я чуть приоткрываю окно, подаюсь ближе к нему и говорю быстро:

— А теперь вали отсюда вместе со своими корочками!

И мгновенно захопываю окно, поворачивая ручку замка. Гебешник запоздало ломанулся в окно рукой. По губам снова читаю:

— Откройте! Откройте, вам говорят!

Я быстро задергиваю штору и начинаю лихорадочно собирать в кучу раскиданные по всей комнате листы бумаги и копирку. Решаю все это жечь в уборной. Бросив кучу бумаги в унитаз, бегу в кухню и мечусь по ней в поисках спичек. Спичек нет — вот так номер!

В дверь беспрерывно звонят. Боюсь, как бы Павел Ильич, сосед, не вышел на звонок. Я знаю, что он у себя в комнате, — но почему-то не выходит открыть.

Забегаю снова в туалет и под беспрерывный трезвон начинаю рвать бумажные листы на четвертинки. Потом спускаю воду, и она безвозвратно уносит «улики». Снова рву, снова нажимаю на рычаг для спуска воды, но вода не идет: нужно время, пока наполнится бачок! Таким способом мне и за час не управиться. Они не станут ждать, выломают дверь. Либо Павел Ильич все же не выдержит и отпрет им.

В этой спешке пытаюсь соображать: так, меня сейчас возьмут, и об этом никто не узнает. (Павел Ильич, насколько я успел его понять, как и сейчас, будет держаться так, будто его здесь нет и не было.) Притом возьмут все раскиданные по комнате мои бумаги — к тому же у меня была книга Джиласа «Новый класс» и произведения Терца и Аржака. Всю эту «крамолу» ГБ радостно припишет Ларисе, хозяйке квартиры, — на нее уже и так точат зубы. Моя версия: меня оставили присмотреть за собакой в квартире, а чем я собирался там заниматься, об этом хозяевам не говорил. Если бы удалось Ларису убедить, чтоб она поддержала эту версию! Надо предупредить ее, надо с ней увидеться!

Я выскакиваю из уборной, бросив там кипу листов машинописи. Накидываю пальто, всовываю ноги в туфли — зашнуровывать некогда. Хватаю паспорт, а в нем последние

мои пятнадцать рубликов, и кидаюсь к окну. Осторожно выглядываю из-за шторы: «интеллигента» нет, зато поодаль маячит второй — неряшливо одетый, с бандитской физиономией. Я еще тогда приметил, как он из-за куста выглядывал. Стоит, черт, на том же месте, караулит окно.

Иду в другую комнату, открываю осторожно окно. Оно выходит в закрытый двор, огороженный высокой, метра в два, железной сеткой. Выглядываю — ни души кругом, как обычно. Выскакиваю через окно и бегу во весь дух вдоль дома к проспекту. Добегаю до забора-сетки и мигом оказываюсь наверху. Впервые на мгновение оглянувшись, я вижу, как за забором в другом конце двора мечется гебешник, тот, с бандитской рожей. Поди, не может сообразить, что ж ему теперь делать: увидел меня, да поздно.

Я спрыгнул с забора и кинулся к троллейбусной остановке. Едва успел вскочить в отходящий троллейбус, и за моей спиной закрылась дверь. Я еще раз увидел, как из арки выскакивают оба гебешника и нервно мечутся среди прохожих.

Проехав одну остановку, я вышел и забежал в первый же двор. Дворами пробрался к рынку: там полно народу и полно будок с телефонами-автоматами. Мне нужно успеть сообщить хоть кому-нибудь из своих о случившемся. Слава Богу, номер сразу ответил. Рассказываю все в двух словах и слышу:

— Приезжай к нам или жди, мы сейчас за тобой приедем!

Благополучно добравшись до этой своей знакомой, я стал спокойнее обдумывать случившееся и решать, как быть дальше.

Теперь, когда знакомые предупреждены и смогут все рассказать Ларисе, может быть, следует вернуться в квартиру и посмотреть, что там происходит.

— Известно, что происходит, — шмон! И тебе там делать нечего, — решительно запротестовали друзья. — Еще чего, самому идти! Пусть поищут, им за это деньги платят.

На квартиру Ларисы поехала Ира Белогородская со своим приятелем. Всем на удивление, они там застали все так, как я оставил: открытую пишущую машинку, разбросанные по комнатам бумаги, клочки и целые машинописные листы, сваленные грудой в уборной, незапертое окно. И посреди этого хаоса, как бы не видя его, невозмутимо расхаживал сосед. Никто посторонний, как видно, в квар-

тире не побывал. Почему? Это одна из загадок поведения ГБ, которую нам не разгадать.

Ира с приятелем привели все в порядок и ушли, унеся с собой улики моей преступной деятельности. Непонятное поведение ГБ озадачило нас еще больше. Зачем они приходили? Кто им был нужен — Лариса или я? Все равно, надо предупредить Ларису раньше, чем она вернется домой.

И я решил поехать вслед за ней, встретить на обратном пути в Потье или в Явасе. Меня отговаривали. Но я так хотел увидеть ее еще раз перед тем, как меня посадят...

Я не мог никому рационально доказать необходимость своей поездки, и друзья свалили все на мое хохлацкое упрямство: «Марченко не переубедишь». Ну, раз такое дело, они взялись помогать мне.

Прежде всего надо было надеть на меня более приличные штаны: я сбегал через окно в чем был, т.е. в старых сатиновых шароварах с большой прорехой на колене. Найти лишние целые брюки у наших знакомых — проблема. Однако нашли, правда, несколько большего размера, чем нужно.

Чтобы я не мельтешил на вокзале, приятельница отравила за билетом своего сына — студента. Он купил мне билет со скидкой и отдал свой студенческий билет. Он знал, что, если меня схватят с его студбилетом, его выгонят с последнего курса института. Я же, к моему стыду, понял это только на другой день, плотно окруженный в вагоне кучей гебешников, которые сопровождали меня даже в вагонную уборную. С трудом улизнув от них и запершись в уборной, я рвал студбилет на мельчайшие клочки и постепенно отправлял их через унитаз на волю. В дверь колотили мои «охранители». Благополучно раздевшись с чужим документом, я думал: «А что, если бы мне это не удалось?»

Конечно, вся эта моя поездка в Мордовию была чистой авантюрой и кончилась бесславно. Меня же в Потье каждая собака (в форме) знает. Первым встречным оказался кум 11-го лагеря Афанасьев. Он узнал меня издали, несмотря на мой «штатский» вид и маскарадные чаплинские штаны. Ждали меня здесь, что ли? Сейчас же Афанасьев побежал в Управление, и вскоре меня догнали начальник КГБ Дубровлага майор Постников и уполномоченный КГБ 11-го лагпункта капитан Круть. Разговор короткий: «Убейся с первым же поездом отсюда, здесь тебе делать нечего». Я для виду попрепирался:

— А если не уеду?

— Тогда мы вас, Марченко, посадим на пятнадцать суток за хулиганство, — спокойно объясняет Постников. — А пока будете сидеть, подберем что-нибудь более подходящее. Что-нибудь от трех до семи...

Действительно, раз попался им на глаза, то здесь делать нечего, каждый шаг проследят. Остается ждать Ларису с Саней на Потье.

Но на Потье рядом со мной откуда-то вынырнул Афанасьев:

— Бери, Марченко, билет до Москвы и уматывай к е...й матери!

Я огрызнулся:

— Вали от меня! Ты мне здесь никто, и я тебе тоже...

— А ты помни, что тебе Постников обещал!

Гляжу, а он не один — с ним человек шесть. Взяли меня в кольцо плотно, сопроводили к кассе, оттуда (без билета — билетов не было) — таким же манером к подошедшему поезду:

— Не вздумай остаться! И без билета доедешь! — И толкнули с толпой безбилетников в вагон. Может, им надо только, чтоб я уехал? Но когда поезд отошел от Потьмы, я обнаружил, что еду в той же компании. Они сменяли друг друга, одни (например, сам Афанасьев) сходили на станции, другие являлись им на смену, перенимая меня с рук на руки. В Рязани я попытался смыться, выскочив из вагона перед самым отправлением. Не тут-то было: сопровождающие — а их оказалось больше, чем я думал, — выскочили вслед за мной сразу из обоих тамбуров, навалились на меня, скрутили и толкнули обратно в уже отъезжающий поезд. Я орал на весь перрон:

— Смотрите, это КГБ! Смотрите, как КГБ хватает человека! Я еду из мордовских политлагерей!..

Люди останавливались, толпились, но не вмешивались. Сами же гебешники считали нужным оправдываться:

— Никакое не КГБ, обыкновенные пассажиры. Вот водительские права, я шофер...

— Так чего же вы меня хватаете?!

— Успокойтесь, товарищ, вы душевнобольной, мы должны доставить вас в больницу.

Так, значит, арест? Станный арест: еду вроде как сам по себе, но не по своей воле и под охраной.

Вот в этот момент я и уничтожил студбилет, сначала растер его в кашу в кармане, а потом прорвался в уборную и отправил его по частям в унитаз.

Потом я попытался использовать свое необычное для арестанта положение: незаметно на верхней полке написал несколько записок Ларисе и потихоньку перебрал их безусловно посторонним пассажирам. Я видел, как они подобрали эти записки; но, как потом выяснилось, ни один не доставил их по адресу.

Вот таким образом я скоротал время до Москвы.

На перроне около вагона меня встретили несколько человек в штатском и милицейских, и мордовский эскорт передал меня им буквально в руки. Московский конвой подхватил меня под руки прямо со ступенек и поволок по перрону, тихо приговаривая:

— Спокойно, спокойно, не сопротивляться...

А я опять орал изо всех сил про КГБ и про мордовские политлагеря. Тут уж мне досталось и кулаками под бока, и пинками по ногам.

Я хочу объяснить: я орал не со страху и даже не от избытка эмоций, а вполне сознательно. Как-то в компании шла речь о том, что при столкновении с властями интеллигент ведет себя слишком интеллигентно. Его подхватывают с двух сторон под руки и тихо-тихо говорят: «Пройдемте, нам надо побеседовать». Или: «Следуйте за нами спокойно». И он спокойно следует. Даже не спросит, кто, зачем, по какому праву. Тем более не упрется, не подымет крика: ему это неудобно, неловко.

Зато очень удобно КГБ. Схватят человека на улице — никто не обернется, никто ничего не заметит, никакого лишнего шума и беспокойства. Черт их возьми, пусть будет неловко мне, зато и им тоже! Я не интеллигент, как-нибудь переживу эту неловкость.

Пиная ногами, они протащили меня через весь вокзал, поволокли куда-то за угол, а там втащили на второй этаж, втолкнули в какой-то пустой кабинет и усадили на стул, приставив по бокам двух типов в штатском. Здесь я уже, конечно, не орал, поскольку аудитории не было.

Сижку, жду: вот сейчас предьявят мне постановление об аресте и повезут в тюрьму. Вдруг заходит еще какой-то тип в штатском и вежливо говорит мне:

— Анатолий Тихонович, сейчас еще рано, никого из начальства нет («Когда это для тюрьмы было «рано»?». Побеседовать с вами некому («Какие беседы? Шмон — и в «воронки!»»). Так что сейчас можете быть свободны, а к нам зайдите, пожалуйста, часам к десяти.

Не сон ли это?! Я был настолько ошарашен, что сдурить меня понесло:

— Никуда я не явлюсь ни утром, ни вечером! Схватили, везли-везли неизвестно зачем, беседы какие-то...

Ну, опомнился, конечно, выскочил из кабинета, кинулся на улицу, а все не верю, что отпустили. Что все это значит? Может, просто играют, как кошка с мышкой, вот сейчас снова схватят: «Эй, Марченко, ты куда же?!» Может, какие формальности не довершили, а довершат — догонят и за решетку.

Я кинулся к телефону-автомату: поскорей позвонить кому-нибудь, пока я по ошибке на свободе. Позвонил Н.П., поднял ее с постели. Она обрадовалась:

— Бери такси и поскорее ко мне.

И вот я уже мчусь по пустынной рассветной Москве и все еще не верю, что я на свободе.

Одна из больших удач в моей жизни после Мордовии и до сего дня — это знакомство и дружба с Н.П. Женщина необыкновенной доброты, с высоким понятием о человеческом долге, она постоянно помогает всем, кто нуждается в помощи, попадает в поле ее зрения, даже сама разыскивает таких людей. Что мне особенно нравится — Н.П. делает это не напоказ, незаметно, по потребности своей души. Ее подопечные — не только политзаключенные, политссылные и их семьи. Она помогает никому не известным старушкам, молодым людям, своим дальним родственникам. И ее помощь никогда не тяготит, не создает у вас ощущения неполноценности. У Н.П. с ее подопечными отношения на равных, дружеские, не формальные. Ко мне она всегда относилась как к родному, как к младшему брату, и у нее я чувствовал себя не как в убежище, а как в родном доме.

Я рассказал ей о своих приключениях, и мы вместе гадали, что может значить загадочное поведение властей. Когда наступило настоящее, но все еще раннее утро, мы позвонили Ире Белгородской и просили ее встретить Ларису и Саню на вокзале и привезти их к нам. Я опасался, что они могут возвращаться из лагеря с какой-нибудь письменной информацией и, не ожидая плохого, нарвутся на Ленинском проспекте на шмон. Этого еще не хватало!

Н.П. в этот день не надо было идти на работу с утра, и она принялась готовить завтрак на всех. Я от нечего делать вышел на площадку. Инстинкт или предчувствие толкнули меня выглянуть в окно. Сверху хорошо видна противоположная сторона улицы, проезжая часть со сквером посередине. Прохожие в утренний час спешат к автобусным остановкам. Но вот вижу: какие-то мужчины никуда

не спешат, прохаживаются в сквере против подъезда Н.П., переговариваются между собой, поглядывая в сторону подъезда. Тут же стоит машина — тыфу, черт, прямо как в детективном фильме, именно черная «Волга». В ней трое или четверо в штатском, и к ним иногда подходят те, что следят за подъездом, что-то им говорят.

Я сразу понял, что это «мои» топтуны персональные. Проследили от вокзала или засекли по телефону? Будут ждать, пока я выйду, или сами придут в квартиру? Значит, все-таки «кошки-мышки»!

Я вернулся, Н.П. вышла на площадку, посмотрела и подтвердила, что да, ей тоже кажется, что за подъездом следят.

Вскоре приехали Лариса с Саней, а с ними Ира и ее приятель. Ира рассказывает, что на вокзале обнаружили слежку, какая-то машина преследовала их от вокзала, но где-то по пути исчезла.

— Ничего, здесь у нас есть своя! — смеемся мы с Н.П.

После завтрака Н.П. должна ехать по служебным делам. Мы решили не оставаться в квартире без хозяйки, а выйти вместе с ней — там будет видно, что дальше. Но прежде Н.П. позвонила своему брату и просила его приехать, прихватив с собой кинокамеру.

Ю.П. — человек солидный, депутат райсовета, ученый, инвалид войны (ходит на протезе). Его даже пускали в заграникомандировки. Тем не менее он спокойно выслушал сестру (Н.П. хотела взять у него кинокамеру) и сказал, что выйдет вместе с нами. Восьмая в нашей компании — подруга Н.П.

Итак, мы выходим из подъезда. Сейчас же агенты оживились, произвели какие-то перегруппировки, рассеялись кто куда, «Волга» зафырчала мотором. Мы переходим на противоположную сторону к стоянке такси. Идем медленно: Ю.П. сильно хромает. За нами следуют несколько типов, дежуривших у подъезда. Один из них, в меховой шапке, забегает вперед, и вот мы видим, как он выглядывает из витрины булочной. Лариса вошла в стеклянную будку телефона-автомата, он мигом очутился в соседней будке и подглядывает, какой номер она набирает. Не позвонив, она вышла и присоединилась к нам — «меховая шапка» тоже выскочил, бросил трубку, выражение лица у него какое-то паническое, запыленное, как будто он плохо вызубрил урок и боится получить двойку.

Ю.П. бормочет:

— Какая наглость!

Снимает кинокамеру с плеча и на ходу ловит в объектив преследователей. Их внимание обращено на идущих впереди — Ю.П. немного отстал, — и они не сразу замечают съемку, а когда замечают, стараются отвернуть лица, даже закрываются руками.

Когда мы подошли к стоянке, «наша» «Волга» была уже там — успела развернуться. Около нее стоит крытый «газик», которого я до этого не видел. Обе машины — с выдвинутыми антеннами.

Мы решили не разъезжаться в разные стороны, а ехать всем вместе до Белорусского вокзала, куда нужно Н.П. Оттуда, если ничего не случится, поедет каждый по своим делам. Нам пришлось занять два такси: в одном Н.П., ее брат, Саня и я, в другом Лариса, подруга Н.П., Ира с приятелем. Тотчас же агенты попрыгали в свои две машины, и вся колонна двинулась почти разом. Впереди шла их «Волга», потом друг за другом наши такси, замыкающим — «газик». Нам было видно, как в их машинах пассажиры суетятся, вертятся, оборачиваются на нас, переговариваются друг с другом по радио. Иногда их машины менялись местами: первая замедляла ход и пропускала нас, а последняя в это время увеличивала скорость, обходила нас сбоку и занимала место в голове колонны. В эти моменты мы могли видеть этих типов, что называется, нос к носу. Наши таксисты, конечно, обнаружили преследование, и, как это часто бывает с шоферами в подобной ситуации, их охватил азарт. Они пытались обогнать идущую впереди машину, но это не удавалось (впоследствии я видел не раз такую же реакцию шоферов на погоню: не пытаюсь узнать, кто гонится, зачем и почему, они прибавляли газу, делали резкие повороты, неожиданно меняли маршрут и т.п.).

Все это время Ю.П. снимал гонки на кинопленку.

Наша машина подъехала к вокзалу и затормозила недалеко от метро. Сразу же остановилась и черная «Волга», агенты выпрыгнули из нее и заняли позиции вокруг нас. Приметная «меховая шапка» топчется перед входом в вокзал, курит, не спуская с нас глаз. Тут как раз прибыла вторая наша машина, а за ней «газик».

Пока мы расплачиваемся с таксистами, Саня подходит вплотную к «меховой шапке».

— Разрешите прикурить?

Тот испуганно шарахается, шипит:

— Иди, иди, иди отсюда!..

И все-таки странно: буквально наступают на пятки, а брать не берут. Зачем же ходят следом?

Лариса, Саня и я быстро, почти бегом идем к метро (остальные наши поотстали), я опускаю пятак, мигом пропускаю через контрольный автомат и бегу вниз по эскалатору. Агенты кидаются за мной, не успев опустить пятаки (может, не приготовили?), автоматы срабатывают и перекрывают проход. Тогда агенты, недолго думая, перепрыгивают через преграду и, расталкивая пассажиров, мчатся вниз. За ними, возмущенные такой наглостью, бегут контролеры метро, вслед им свистит милиционер. Я наблюдаю это картину снизу: стою и жду друзей. Спрашивается, зачем бежал, куда? И сам не знаю. Тот же азарт ухода от погони охватил и меня.

Лариса, Саня и агенты оказываются рядом со мной все одновременно. Лариса и Саня с двух сторон крепко берут меня под руки — чтоб не вырвали. А сзади в самое ухо противный голос бормочет: «Куда бежишь, куда бежишь?»

К ним подбегают запыхавшиеся работники метро, а за ними следом милиционер. Этим до нас нет дела, они тянут нарушителей за рукава, требуют подняться наверх, в комнату милиции. А нарушители твердят какие-то смутные слова, что, мол, без нас они ни шагу, что мы все вместе. Тогда милиционер приглашает и нас:

— Граждане, пройдемте, там разберемся.

Некуда деваться, приходится подчиниться службе порядка. В комнату милиции набивается полно народу: четверо агентов — это «нарушители», нас восемь человек — «свидетелей», несколько служащих метро и милицейских. Мы видим, как «меховая шапка» в стороне что-то шепчет милиционеру, тот шепотом докладывает начальству — офицеру милиции, показывая глазами на нас. Офицер кивает. После этого «меховая шапка» и милиционер куда-то смылись, а офицер начал довольно вялые и бестолковые расспросы, что да как. Видно, что происшествие его уже ничуть не интересует, он просто тянет время, занимая нас «делом». Явно ждет чего-то или кого-то.

Так оно и есть. В комнату входят двое в штатском, в шляпах: один маленький, круглый, другой высокий, сухощавый. Офицер вскакивает, уступает свое место маленькому, и тот располагается по-хозяйски: сразу видно, начальство.

— Что произошло? — спрашивает маленький.

— Вот они, — женщина-контролер показывает на агентов, — нахально проскочили...

— Ладно, ладно, вы идите на свой пост, товарищ старшина в курсе? Он доложит. Вы идите, идите...

Офицер ловко выпроваживает ее из комнаты.

Тогда маленький обращается сразу к нам:

— В связи с происшествием — предъявите документы.

Мы понимаем, что у них какой-то свой план и что спорить бесполезно; но начинаем базарить: какие-то типы нас преследуют, нарушили порядок в метро, а нас из-за них здесь держат, да еще и документы требуют. Пусть они предъявят свои!

— Пожалуйста, можем начать с них. Давайте ваши документы, — протягивает он руку к агентам.

Те поочередно подают ему — не паспорта, а какие-то служебные удостоверения. Он просматривает и зачитывает вслух:

— Мастер завода... Работник склада... слесарь... Ну вот, мы это все запишем.

— Запишите еще, что эти мастера и слесари гонялись за нами по всей Москве.

— Я не гонялся, — говорит «меховая шапка». — Я ехал по делу и случайно влип в эту историю.

— Случайно! В одной машине вот с этими случайно ехали вслед за нами от дома, случайно все вместе побежали за мной в метро, окружили там меня тоже случайно? И через барьер на эскалатор без пятаков тоже прыгали случайно?

— Почему вы так думаете, что он за вами ехал? — останапливает маленький. — Кто вы, собственно?

— А вы кто? Мы вас не знаем, и вы без формы.

— Мы оба, и я и вот этот товарищ, — он показывает на своего молчаливого сухопарого напарника, — мы из угрозыска. Моя фамилия Медведев. Мы разыскиваем одного человека, некоего Марченко. Может, он среди вас. Предъявите документы.

У Ю.П. не оказалось никаких документов, только бесплатный проездной билет (с фотокарточкой) на городской транспорт — привилегия депутата райсовета. Медведев бегло просматривает паспорта — кроме моего. Немного дольше вертит в руках депутатский «мандат» Ю.П. Записывает фамилии моих друзей на клочке бумаги — и принимается за изучение моего паспорта.

Тем временем высокий, пошептавшись с одним из агентов, обращается к Ю.П.

— Товарищ, откройте кинокамеру и засветите пленку.

— Почему? — спрашивает Ю.П.

Мы тоже ввязываемся в спор. Высокий настаивает. Медведев, держа в руке мой паспорт, переговаривается с «меховой шапкой». Потом он вмешивается в разговор о кинокамере:

— Вы делали съемки на улицах Москвы и в метро...

— А это не запрещено. Около секретных объектов мы и близко не были.

— Засветите пленку, просим вас, — опять разговор с нами ведет один Медведев, а высокий отошел в сторону.

— Я не стану этого делать, — упирается Ю.П. — Объясните, в чем дело, почему вам не нравится кинокамера?

— Вы должны засветить...

— Вы меня засняли, — влезает «меховая шапка», — а я, может, не хочу. Это нельзя.

— А выслеживать нас можно? Я этого тоже не хочу.

Медведев пытается перевести все в шутку:

— Поверьте, не каждому вообще приятно сниматься. Вот я, например, не хочу с моей прической красоваться на фотокарточке.

Он театрально снимает шляпу и гладит себя по голому черепу.

— Мы снимали этих людей, потому что они преследуют нас. На пленке доказательства.

Шутки шутками, но появился и угрожающий тон: если вы добровольно не согласитесь, отберем кинокамеру и засветим сами. Услышав это, Ю.П. был взбешен. Тогда остальные, видя, что этот очень сдержанный человек в ярости может наделать глупостей и нажать себе неприятности, стали его успокаивать и уговаривать согласиться. И Ю.П. в конце концов засветил пленку.

Медведев объявляет:

— Все могут быть свободными. Идите по своим делам. А Марченко нам нужен, — он оборачивается ко мне. — Прошу за нами.

Мои друзья в один голос запротестовали:

— Мы без него никуда не пойдём! Одного его с вами не отпустим!

И опять меня крепко держат под руки мои друзья — милиции без применения силы не подступиться. А потасовки они не хотят.

— Что вы так расстраиваетесь за своего Марченко, — опять шутит Медведев, но в тоне его слышно недовольство, — ничего с ним не случится. Поговорим и все: вы в него так вцепились, будто его у вас собираются вырвать из рук!

— Пусть себе идут все вместе, если им так хочется, — вмешивается высокий.

И теперь чувствуется, что настоящий начальник не Медведев, а он.

Я уговариваю друзей оставить меня и подождать где-нибудь, пока мы «объяснимся». Но они и меня не слушали.

Большой компанией мы выходим из метро и, возглавляемые Медведевым и вторым, идем в отделение милиции. Агенты идут сзади на почтительном расстоянии от нас.

В кабинет все же ввели меня одного, остальным пришлось ждать в коридоре.

В кабинете мне указали на стул около стола. Медведев отошел чуть дальше, как бы уступая первую роль высокому, а тот стал прохаживаться по кабинету. Потом он остановился рядом со мной.

— Марченко, вы постоянно нарушаете паспортные правила. Длительное время проживаете в Москве без прописки.

И он делает паузу, видно, ожидая моей реакции на сказанное. Но я молчу. Тогда он продолжает:

— Если вы в течение трех суток не выедете из Москвы, вас будут судить за нарушение паспортных правил. Предупреждаем: не задерживайтесь в Москве более семидесяти двух часов после нашего разговора.

Мне опять не верится: отпускают, что ли? Так и хотелось спросить: а брать-то когда будете? Я не чувствовал к своему «освободителю» никакой благодарности.

Выдержав паузу, он сказал:

— Нам с вами, Марченко, необходимо поговорить. Вы сами знаете, о чем.

— Говорите, я послушаю.

— Не здесь и не сейчас. Давайте договоримся, когда.

— Ни о чем не собираюсь с вами договариваться...

— Эти трое суток вы будете жить в квартире Богораз? Я вам туда позвоню, и мы условимся.

Напряжение последних дней прорвалось у меня настоящим взрывом:

— Не понимаю, что вам нужно от меня! Ваши молодцы преследуют меня по пятам, ловят, волокут — а вы: «поговорить», «условимся»! Лучше я эти трое суток с друзьями проведу!

— Нам все равно придется встретиться и побеседовать, и вы, Марченко, это отлично понимаете.

С тем он меня и отпустил. Я вышел, меня окружили друзья. До этой минуты они не верили, что меня отпустят: боялись: а вдруг в кабинете есть другой выход и меня тайком увезут в тюрьму.

Это первое мое столкновение лицом к лицу с ГБ так и остается для меня загадочным. Все мои друзья ломали голову над неожиданной, новой тактикой этой организации, в большинстве случаев прямолинейно-сокрушающей, бьющей наотмашь всегда, когда она может ударить. Каждый выдвигал свою версию, но все сходились на одном:

верить им нельзя, они задумали что-то хитрое и коварное. Опять мне советовали исчезнуть и во всяком случае не возвращаться в Александров: раз меня так настойчиво провожают туда, значит, именно там меня ждет наибольшая опасность... Мне самому это казалось вполне вероятным: в городке у меня ни одного знакомого, живу на дальней окраине, пробираться домой приходится через железнодорожные пути, пустыри и трющобы, по зимнему времени в полной темноте — очень удобная обстановка для любой провокации, для того, чтобы разыграть несчастный случай, драку с поножовщиной, да что угодно.

И я решил съездить в Александров буквально на несколько часов: показаться хозяйке, успокоить ее, что я не сбежал. А потом скрыться где-нибудь на пару месяцев.

Теперь я спрашиваю себя: если бы у меня и у всех окружающих не было абсолютной уверенности в том, что власти непременно расправятся со мной за книгу, если бы я пусть не вполне поверил, но хоть надеялся, что меня не ждет со дня на день тюрьма, — как бы я вел себя в этом случае? Даже в том состоянии, в каком я был тогда, я строил планы своего образования и самообразования — но они мне казались маниловскими проектами, у меня не хватило самообладания начать их реализовывать. Другое дело, если бы я не думал, что мое время на свободе отмерено. Может, я постарался бы устроиться в том же Александрове или еще где-нибудь вблизи Москвы более основательно, найти более удобное жилье, лучшую работу...

Но стоило ли укореняться в «вольной» жизни, раз она мне заказана?! И я жил, как на вокзале в ожидании поезда.

За прошедшие десять лет я привык к нестабильности своего существования, обзавелся семьей, и теперь, где бы и на какой срок мы ни устраивались, как бы ни было неопределенно наше ближайшее будущее, мы примащиваемся так, будто здесь будем жить до конца дней, как будто и детям, и внукам оставим гнездо: приспособливаем по себе жилье, сколачиваем мебель, кладем печь, сажаем деревья, покупаем книги, обзаводимся утварью. За десять лет трижды начинали все заново, и через несколько месяцев, даст Бог, примемся в четвертый раз — после ссылки. Живем, как жили русские крестьяне под татаро-монгольским игом.

И еще я себя спрашиваю: может быть, все мы сильно преувеличивали грозившую мне опасность? То есть, наверное, так и есть. Ведь за книгу меня так и не посадили, и вообще посадили только через семь месяцев.

Действительность оказалась значительно мягче, чем мы ожидали: и в лагере, и на воле все думали, что того, кто на весь мир расскажет о лагерях, власти сотрут в порошок, к этому я и готовился. А мне дали всего один год. Правда, в лагере добавили еще два; но три года лагеря почти не наказание по нашим меркам, а так, отеческое внушение. У нас до сих пор жива поговорка: «Не ври, что десятку ни за что отсидел, за «ни за что» пять дают».

Если бы после «Моих показаний» я не проявлял никакой общественной активности — может, меня и вовсе не посадили бы? Ведь непосредственной причиной ареста было мое письмо о Чехословакии в июле 1968 года.

Но могло быть и наоборот: не был бы я в 1968 году, как говорится, на виду, оборвались бы мои связи с москвичами — и безвестного автора разоблачительной книги упекли бы так, что и концов не сыскалось бы.

Что гадать! Из этой истории я для себя сделал одно полезное умозаключение: в нашей стране, где постоянно и закономерно говорится одно, а подразумевается другое, я не должен давать формальных посторонних поводов к уголовному преследованию. Не то, чтоб это гарантировало мне свободу, но все же уменьшится фактор риска. К сожалению, выполнить это правило у нас крайне трудно, почти невозможно. Почти каждый наш гражданин является нарушителем чего-нибудь: паспортных правил, закона о тунеядстве, бродяжничестве и попрошайничестве или еще какого-нибудь административного установления, внесенного в уголовный кодекс. Конечно, никакой милиции не вздумается сажать в тюрьму человека, приехавшего в гости к родителям и не прописавшегося, или старушку из деревни, которая у детей в городе без прописки нянчит внука, или подмосковных жителей, регулярно два выходных в неделю проводящих у друзей в Москве, или тех, кто прописан в одном городке, а работает в другом, соседнем. Но все эти люди — нарушители закона о прописке, и в случае надобности их можно оштрафовать, насильно выселить и даже посадить в лагерь. А обстоятельства у любого человека могут сложиться так, что ему легче умереть, чем не нарушить этот закон.

Но зимой 1967-1968 годов я и не старался соблюдать дурацкие формальности, считая, что моя судьба и без того решена однозначно.

Сейчас для определенного круга людей подобные детективные истории — слежка, преследование на машинах, дежурство топтунов под окнами и у дверей подъездов и тому подобное — стали деталями быта, не только

привычными, но и надоевшими. В конце 1967 года лишь немногие сталкивались с КГБ на допросах, а в будничной жизни недреманное око над собой еще не ощущал, пожалуй, никто. Я имею в виду тех, кто оставался на свободе и над кем не висела угроза ареста в ближайшие дни. Зато все знали о стукачах, топтунах, подслушивании, прослушивании и прочей «технике госбезопасности», и всевидящее око и всеслышащие уши казались явлением мистическим, потусторонним и потому особенно грозным.

И еще все знали по слишком недавнему историческому опыту, что контакты с человеком, удостоенным внимания КГБ, опасны, как чума. Всего двадцать-тридцать лет назад эта зараза косила многоквартирные дома, дружеские компании, выкашивала до одного разветвленные семьи. И сколько дружб и семей распалось тогда из-за страха оказаться вблизи зачумленного!

Что произошло с советским обществом в середине 60-х годов? Никто из друзей (почти никто) не откачнулся от семей арестованных Синявского и Даниэля, незнакомые люди, не таясь, предлагали им помощь. Лагерные цензоры не управлялись с работой: письма, книги с авторскими автографами шли от знакомых, малознакомых и совсем чужих людей, бывало, Даниэль получал по шесть-десять писем в день.

После ареста Галанскова, Гинзбурга, Лашковой и Добровольского то же повторилось с их семьями. Не помню, чтобы когда-нибудь, зайдя к Людмиле Ильиничне, матери Гинзбурга, я застал ее одну: всегда у нее было двое-трое знакомых сына или тех, кто пришел высказать матери свое сочувствие и предложить помощь.

(Впрочем, однажды мы с Ларисой пришли к ней, когда она была не то чтобы одна, наоборот, в большой компании, но в относительном одиночестве. Это было летом 1967 года. Мы собрались днем к ней в гости и позвонили, чтобы предупредить о визите. Трубку взяла соседка:

— Людмила Ильинична подойти не может.

— Она что, нездорова?

— Нет, здорова, — как-то неуверенно отвечает соседка.

— Ее дома нет?

— Дома.

— У нее обыск?

— Да.

И трубку повесили.

Мы, не раздумывая, сразу поехали к ней. Да еще купили по дороге огромный арбуз, с ним и явились.

Нас впустили, проверили документы, записали фамилии, обыскали сумку Ларисы.

— Что вы, разве на обыск идет с самиздатом? — смеется она.

— Как вы узнали, что у меня обыск? — удивляется Людмила Ильинична.

— А у нас своя агентура. А весь самиздат и даже атомную бомбу замаскировали в арбузе.

Подлая служба своего требует. Пришлось гебешникам вскрыть и раскроить арбуз — и мы его тут же съели.

Через пару дней все знакомые от старушки знали, что «Лара с Толей нарочно пришли на обыск». Потом нас обвиняли, что мы зародили традицию: как только кто узнает, что у кого-то обыск, так сразу, позвонив знакомым, отправляется туда — поддержать хозяев своим присутствием.)

В рассказанной здесь истории друзья наперерыв предлагали мне помощь и убежище, парень-студент отдал свой студбилет, совершенно не знавшие меня люди — Ю.П., подруга Н.П., приятель Ирины — молодой научный работник — составили как бы мою охрану, не дали КГБ столкнуться с жертвой один на один, без свидетелей.

И снова я поражался московской интеллигенции — ее смелости, ее духовному сопротивлению деятельности властей. Мне, откровенно преследуемому всемогущим КГБ, предлагали жилье, на глазах у агентов и под их фотоаппаратами сопровождали меня, чтобы не оставлять один на один со шпиками и не допустить провокации, а уж от общения со мной не отказался ни один даже из малознакомых людей, хотя я всех предупреждал о слежке. Я не искал общения, дружбы или даже помощи, но и не мог уклониться от этого. Люди, наверное, считали своим долгом поддержать меня. И они считали мужественным мой поступок, не замечая собственной отваги!

Некоторых из таких вот случайно оказавшихся рядом людей мне не пришлось больше видеть, а некоторые, наоборот, втягивались в круг тех, кто активно заявлял о своем «инакомыслии». Другие же под давлением или сами собой отходили от этого круга, но, по-моему, это не значит, что они переменили свои взгляды и стали разделять предписанную идеологию.

С удивлением и досадой прочел я в мемуарах А.И. Солженицына об «открытии», которое он сделал в 1974 году: когда его арестовали и выслали, нашлись люди, которые

самоотверженно помогали его жене и детям. Весь тон этого рассказа таков, будто вот как власти просчитались, вот какую неожиданную реакцию получили в ответ на расправу с писателем. А на самом деле этому общественному явлению — открытому сопротивлению и взаимопомощи — к 1974 году было уже лет десять или около того. Мог ли Александр Исаевич не знать этого? Мог ли писатель не заметить реакции общества на процесс Синявского и Даниэля? Не задуматься и об их деле, о его глубокой сути? Имена Синявского и Даниэля появляются в «Теленке» только как временные ориентиры — а ведь их работа, их процесс составили целую эпоху русского общественного развития.

Не могу поверить, что Солженицын этого не знает и не помнит. Но в своих *литературных* мемуарах он не нашел этому места. Как будто в пустыне жил, где были только Дуб — советская власть, да он сам, одинокий и отважный Теленок.

Уклонившись от встречи с анонимным представителем КГБ, но сопровождаемый до самого Александрова его соглядатаями, я съездил к тете Нюре, уплатил ей еще вперед за два месяца и, вернувшись в Москву, постарался исчезнуть, скрыться с глаз. И это мне удалось.

Но сколько можно скрываться? И сколько можно обременять добрых стариков своим присутствием? Я вышел из «подполья» — и через несколько дней меня снова схватили на улице и привезли в какое-то отделение милиции. В кабинете меня уже ждал тот же человек, что и в прошлый раз. Теперь он уже не стал маскироваться:

— Я работник госбезопасности Семенов. Никаких вопросов не задавайте, говорить буду я. О вас, Марченко, мы все знаем: и о вашей книге «Мои показания», и о том, что вы передали ее за границу и распространяете по стране. Никто не собирает вас за это преследовать. Поймите это не как нашу слабость, а как нашу гуманность. Езжайте в Александров и живите, работайте, как все советские люди. Вы никому не нужны!..

Что за сон? Госбезопасность проявляет гуманизм? Такого не бывало и не может быть, я не верю этому. Какая-то своя у них цель, непонятно, какая (я и сейчас ломаю над этим голову). Вот и в голосе Семенова слышны стальные нотки:

— Если вы не уедете из Москвы, вас будут судить не за книгу, а за нарушение паспортных правил. Живите, как все. Прекратите поливать грязью родину и советский

строй. Если вы не перестанете клеветать, вас предупреждают, вы будете высланы из страны.

— ?!?!? В Мордовию, что ли?

— В любую страну за границу. Вы же когда-то сами хотели бежать, — язвит Семенов. Видимо, уже сверх программы, от себя добавляет: — Герой! Да вы просто трус, прячетесь от наших сотрудников, убегаете в окно. Сами все кричат: как при Сталине, как при Сталине. Что от вас осталось бы — при Сталине? Кто с вами стал бы разговаривать?!

На этот раз у меня снова потребовали подписку о выезде из Москвы. И я уехал в Александров.

Кто знает, если бы я выполнил распоряжение Семенова и в дальнейшем «жил, как все», — может, меня действительно не тронули бы? Во всяком случае, предсказание Семенова исполнилось, и в августе 1968-го меня судили не за книгу и не за последующие выступления, а «за нарушение паспортных правил».

Судили других — за чтение книги «Мои показания».

« В газеты:
«Руде право»
«Литерарни листы»
«Праце»
«Юманите»
«Унита»
«Морнинг стар»
«Известия»
редакции радио Би-би-си

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

На только что закончившейся сессии Верховного Совета РСФСР все депутаты останавливались на одном вопросе: о событиях в Чехословакии. Депутаты единодушно высказались в поддержку Пленума ЦК КПСС по этому вопросу, одобрили так же единодушно Варшавское письмо пяти компартий в адрес ЦК КПЧ. Они одобрили и поддерживали всю политику партии и правительства по этому вопросу. Если эту политику одобряют коммунисты как образец настоящей марксистско-ленинской политики партии в отношениях между братскими компартиями, то это дело коммунистов, дело их партийной совести.

Но здесь, на сессии, эту политику единодушно одобрили депутаты Верховного Совета РСФСР, которые выра-

жают мнение избирателей, т.е. населения, подавляющая часть которого (в том числе и я) некоммунисты.

Не успели еще «Известия» с сообщениями о работе сессии дойти до всего населения, как уже в следующих номерах началась кампания в поддержку решений, принятых сессией, со стороны «всего населения», «всех трудящихся». Я имею на этот счет собственное мнение и хочу воспользоваться правом, гарантированным Конституцией, высказать свое мнение и отношение к этому вопросу.

Я внимательно (насколько это возможно в нашей стране) слежу за событиями в Чехословакии и не могу спокойно и равнодушно относиться к той реакции, которую вызывают эти события в нашей печати. На протяжении полугода наши газеты стремятся дезинформировать общественное мнение нашей страны и в то же время дезинформировать мировое общественное мнение об отношении нашего народа к этим событиям. Позицию партийного руководства газеты представляют как позицию всего населения — даже единодушную. Стоило только Брежневу навесить на современное развитие Чехословакии ярлыки «происки империализма», «угроза социализму», «наступление антисоциалистических элементов» и т.п. — и тут же вся пресса, все резолюции дружным хором подхватили эти же выражения, хотя наш народ сегодня, как и полгода назад, ничего по существу не знает о настоящем положении дел в Чехословакии. Письма трудящихся в газеты и резолюции массовых митингов — лишь повторение готовых, данных «сверху» формул, а не выражение самостоятельного мнения, основанного на знании конкретных фактов. И вслед за партийным руководством послушные голоса повторяют: «Решительная борьба за сохранение социалистического строя в Чехословакии — это задача не только чехословацких коммунистов, но и наша общая задача»; «Я поддерживаю выводы Пленума о необходимости борьбы за дело социализма в Чехословакии» и т.п. («Известия», № 168).

Авторы этих писем и заявлений, наверное, даже не задумались над тем, почему решения о борьбе за социализм в Чехословакии принимаются Пленумом ЦК КПСС, о том, что наше обращение к «здоровым силам» Чехословакии — это, может быть, обращение к антигосударственным элементам, подстрекательство их к вооруженному выступлению против своего законного правительства, о том, что слова «это наша задача» могут обозначать как минимум политическое давление на суверенную страну, а

как максимум — возможность интервенции наших войск в ЧССР. Наверное, авторы этих писем, одобряя политику ЦК КПСС, не задумались также и о том, что она поразительно напоминает сто раз разоблаченную в нашей печати политику, например, США в отношении Доминиканской Республики.

Основываясь на статьях в чехословацкой прессе, на сообщениях по западному радио и немногочисленных фактах, приводимых в нашей печати, я думаю, что в ЧССР происходит естественное развитие здорового общества: борьба идей и мнений, свобода критики, попытка воплотить на практике декларируемые идеалы социализма, до сих пор существовавшие повсюду в виде лозунгов и отдаленных перспектив. Поэтому Варшавское письмо пяти компартий и решения Пленума ЦК КПСС, единодушно поддержанные нашей печатью, вызвали у меня возмущение и стыд. Столько у нас говорилось о том, что каждый народ должен сам решать свою судьбу — так почему же судьбу чехов и словаков решают не в Праге, а в Варшаве или Москве? Почему Брежнев или Ульбрихт думают, что они лучше могут оценить обстановку в Чехословакии, чем Дубчек, чем сами чехи и словаки?

Я не верю ни в мифические заговоры империализма против ЧССР, ни в «наступление сил внутренней реакции». Я думаю, что в эти мифы не верят и сами сочинители их. Обвинительные формулировки придуманы для приличия и для затуманивания мозгов своих граждан.

Беспокоит ли на самом деле наших руководителей то, что происходит в ЧССР? По-моему, не просто беспокоит, но и пугает — но не потому, что это угроза социалистическому развитию или безопасности стран Варшавского содружества, а потому, что события в ЧССР могут подорвать авторитет руководителей этих стран и дискредитировать сами принципы и методы руководства, господствующие сейчас в социалистическом лагере.

Вот уж, кажется, что может быть ужаснее и безобразнее китайского коммунизма? Наши газеты ежедневно разоблачают китайский кровавый террор, развал хозяйства, теоретические ошибки КПК и т.п. Китайские руководители не остаются в долгу. Не может быть и речи о содружестве недавних братьев — великих народов. Однако ни на каких совещаниях, ни на каких пленумах ЦК КПСС не принимались решения о необходимости защитить дело социализма в Китае, не говорилось об ответственности братских партий перед собственными народами и народа-

ми Китая, уже несколько лет утопающими в крови. Действительно, компартия Китая не выпустила бразды правления из своих рук — так что же, от этого результаты ее правления лучше, чем перспективы свободного, демократического развития ЧССР? Открытая враждебность КПК к нашей стране лучше, чем дружеские отношения нынешнего чехословацкого правительства? Но наши руководители не прекают китайское руководство тем, что мы освободили их от японского империализма, и не претендуют на этом основании на роль защитников китайского народа от внутренней реакции. Мы не взываем к «здоровым силам» и к «верным коммунистам» в Китае и не обещаем им, «...что коммунисты, все советские люди, выполняя свой интернациональный долг, окажут им всемерную помощь и поддержку!» (Подгорный Н.В. Выступление на третьей сессии Верховного Совета РСФСР 19 июля 1968 г. // Известия. № 168). Хотя, вероятно, китайские братья, уничтожаемые физически, нуждаются в этой помощи куда больше, чем «верные коммунисты» ЧССР, где они не только в безопасности и на свободе, но пользуются той же свободой слова, как и все граждане. Наши руководители занимают в отношении Китая позицию сторонних наблюдателей — и секретарь парткома В.Прокопенко, бригадир Ахмадеев, кандидат наук Антосенков (Известия. № 168) единодушно не проявляют инициативы во «всемерной» помощи китайскому народу. Неужели кровавый террор, развязанный ЦК КПК против собственного народа, меньше вызывает к коллективной ответственности, чем принципиально мирное развитие демократии в Чехословакии? Как объяснить такую противоречивую реакцию?

Во-первых, по-моему, дело в том, что с Китаем мы не решаемся разговаривать с позиции силы, а с Чехословакией — по привычке — позволяем себе начальственные окрики.

Не менее важно то, что внутренняя политика Китая, несмотря на его враждебность по отношению к КПСС, не подрывает, а скорее укрепляет позиции ЦК КПСС внутри своей страны: «В Китае происходят публичные казни — а у нас нет!» — ликует наша пресса (см. «Ответ читателю» Чаковского в «Литературной газете»). По сравнению с режимом в Китае наш нынешний режим — не террор, а всего лишь зажим, почти либеральный, почти как в XIX веке. А вот если Чехословакия действительно сумеет организовать у себя демократический социализм — тогда, пожалуй, не будет оправданий отсутствию демократических

свобод в нашей стране, тогда, чего доброго, и наши рабочие, крестьяне и интеллигенция захотят свободы слова на практике, а не на бумаге.

Вот про это по-настоящему и говорится в Варшавском письме «не можем допустить», а вовсе не про мифическую угрозу социализму в Чехословакии.

Наши руководители забеспокоились о «верных коммунистах», которых будто бы оклеветали, подвергли «моральному террору» чехословацкие антисоциалисты, захватившие в свои руки средства пропаганды (можно подумать, что в Праге произошел вооруженный захват почты, телеграфа и радио). Почему-то забывают при этом отметить, что эти коммунисты сами имеют возможность публично выступить с опровержениями клеветы. Правда, оправдания, например д-ра Урвалека, бывшего Председателя Верховного суда ЧССР, звучат неубедительно — но причем тут антисоциалисты? Он сказал все, что хотел и что мог сказать. Понятно, почему наши руководители спешат заступиться за таких, как Урвалек или Новотный: прецедент личной ответственности партийных и государственных деятелей перед народом опасен и заразителен. А вдруг и нашим придется отчитываться в деяниях, которые стыдливо называют «ошибками», «перегибами» или еще мягче и туманнее — «пережитыми трудностями героического прошлого» (когда речь идет о миллионах несправедливо осужденных и убитых, о пытках в застенках КГБ, об объявлении врагами целых народов, о развале сельского хозяйства страны и о тому подобных *мелочах*).

Сегодня чехи и словаки спрашивают с Урвалека и с Новотного — а завтра, пожалуй, наш многонациональный народ задаст вопрос самому Брежневу: «А чем вы занимались до... 1953 года?» — и до выяснения этого временно отстранит его от занимаемого поста...

В Варшавском письме к КПЧ пять партий ультимативно предлагают использовать для борьбы с «антисоциалистическими» силами все средства, имеющиеся в арсенале социалистических государств. Жаль только, что братские партии не уточнили, не конкретизировали, что это за средства: Колыма? Норильск? Хунвейбины? «Открытые» суды? Политические концлагеря и тюрьмы? Или всего-навсего обыкновенная цензура, внесудебные расправы вроде увольнений со службы?

И при создавшемся положении мы еще обижаемся, что в Чехословакии потребовали вывода советских войск со своей территории! Да ведь после наших заявлений и

это уже не войска союзного государства, а угроза суверенитету страны.

В этом своем письме я хочу не только высказать свое собственное отношение к событиям, отличающееся от «единодушной» поддержки решений Пленума ЦК КПСС. Газетная кампания последней недели вызывает у меня опасения — не является ли она подготовкой к интервенции под любым предлогом, который подвернется или будет создан искусственно.

Авторам писем, участникам митингов и собраний в поддержку политики ЦК КПСС мне хотелось бы напомнить, что все так называемые ошибки и перегибы в истории нашей страны происходили под бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию, под клики единодушного одобрения наших высокосознательных граждан. Послушание, как выяснилось, не самая ценная гражданская добродетель.

И еще мне хотелось бы напомнить о более древних исторических событиях: как доблестная русская армия, освободив народы Европы от Наполеона, столь же доблестно утопила в крови польское восстание. Тогда русский герой войны 1812 года Давыдов больше гордился своими подвигами в расправе над польскими патриотами, чем своими подвигами в Отечественной войне.

Мне стыдно за свою страну, которая снова выступает в позорной роли жандарма Европы.

Мне было бы стыдно и за мой народ, если бы я верил, что он действительно единодушно поддерживает политику ЦК КПСС и правительства по отношению к Чехословакии. Но я уверен, что на самом деле это не так, что мое письмо — не единственное, только такие письма не публикуются у нас. Единодушие наших граждан и в этом случае фикция, создаваемая искусственно, путем нарушения той самой свободы слова, которая осуществляется в ЧССР.

Но если бы я оказался даже один с этим своим мнением, я и тогда не отказался бы от него. Потому что мне его подсказала моя совесть. А совесть, по-моему, надежнее, чем постоянно испытывающая перегибы линия ЦК и чем решения различных сессий, принимаемые в соответствии с колебаниями этой генеральной линии.

Прошу вас принять мое уважение и сочувствие процессу демократизации в вашей стране.

*СССР, г. Александров Владимирской обл,
ул. Новинская, д. 27. Марченко А.Т.*

22 июля 1968».

21 августа меня вызывают из камеры на суд. Сначала ведут в тюремную парикмахерскую: перед судом и присутствующими в зале ты должен предстать в приличном виде.

Попробовал я побриться лезвием, которое мне дал парикмахер-экз, но от первого же прикосновения к щетине чуть не взвыл от боли. Этим лезвием, поди, уже не один десяток побрили таких, как я. Попросил я другое лезвие, но на меня так посмотрели, будто я попросил гранату.

— Ведите меня обратно, — сказал я надзирателю.

И тот с равнодушным видом препроводил меня обратно в бокс. Скоро ко мне втиснули еще одного: молоденького грузина. Он был здорово исполосован бритьем и то и дело слюнявил носовой платок, обтирая с лица кровь на многочисленных порезах.

Мой сосед оказался очень разговорчивым человеком. Он с одинаковой скоростью и интересом расспрашивал меня и рассказывал о себе. Я ему рассказал коротко только то, что говорилось в обвинительном заключении. До него никак не могло дойти, за что же меня собираются судить, если я был прописан и даже работал.

— Х... какая-то, — наконец проговорил он, сомневаясь в искренности моего рассказа, — если ты только не загибаешь. Как тебя можно судить? С суда домой пойдешь.

Этот парень подробно рассказал мне свое «дело». Он полгода как освобожден из лагеря. Имел не то два, не то три года за карманную кражу и освобожден по половине срока. После освобождения поехал в Грузию к матери. Там он и прописываться не стал, а только погостил пару недель и уехал в Москву. Здесь он жил у какой-то женщины, даже и не пытаясь прописаться и устроиться на работу. Жил на заработок по своей профессии: где выгрузит чужой карман, а где залезет в дамскую сумочку. Однажды его поймали с поличным: в магазине он залез к женщине в сумочку, дружинники и милиционер повели его в милицию, он по дороге сбежал. Но дело на него завели и описали наружность с особыми приметами. Потом он попался вторично на карманной краже, и на этот раз ему не удалось убежать. И вот сейчас он тоже едет на суд. В обвинительном заключении ему вменялись в вину две кражи. То же, что он жил полгода вообще без всякой прописки, никогда нигде не работал, ему в вину не вменялось, об этом только упоминалось в характеристике.

Итак, мне он предсказывал освобождение из зала суда.

Статья, по которой его будут судить, предусматривает до трех лет лишения свободы, и он говорил мечтательно:

— Если дадут год, целый день буду на руках по камере ходить!

В суде мне дали короткое, в несколько минут, свидание с моим адвокатом Диной Исааковной Каминской, а потом повели в зал. В коридоре полно народу, я узнаю друзей и знакомых: Павел Литвинов, Боря Шрагин, Ира, Лариса, Н.П., К.Б., К.И. ...Шныряют меж ними и те, кто пришел сюда по службе: топтуны и агенты КГБ. Они пришли не просто посмотреть на меня или послушать суд. Они пришли хвостами за многими из моих друзей.

Хотя меня вели очень быстро, я успел заметить необычное возбуждение моих знакомых. Несколько человек демонстративно держали в руках газеты. Но я не понял этого знака, я сам был напряжен перед предстоящим процессом.

Необычным было и то, что всю публику — «своих» вперемежку с «чужими» — впустили в зал суда. Судебное заседание по такому пустяковому делу, как мое «нарушение паспортных правил», тянулось с десяти утра часов до шести вечера. Мне казалось, что его затягивают нарочно, — вероятно, так оно и было, может, хотели задержать самых активных людей на весь этот день, 21 августа 1968 года.

Я не знал, в чем дело, но чувствовал в зале наэлектризованность.

Спектакль начался действительно театрально, как на сцене: из зала летит и падает почти мне в руки маленький букет цветов. Оба милиционера-конвоира кидаются на букет, стараются вырвать его, я не отдаю — жалко. Судья Романов призывает публику к порядку и меня тоже, требует, чтобы я отдал цветы, но я крепко сжимаю их и не могу выпустить. Только когда я увидел рассерженное лицо Дины Исааковны и понял, что она мной недовольна, я разжал руку. Милиционер схватил букет, бросил его на пол и затоптал.

Я заранее решил на суде держаться в рамках предъявленного обвинения: у меня было такое ощущение, что если я заговорю о настоящих причинах моего ареста, то это будет выглядеть как спекуляция на моем авторстве и известности. Одним словом, мне было неприятно заговаривать самому на эту тему. Дина Исааковна одобрила эту мою позицию. Ведь юрист не может выступать на «посторонние» темы, хотя бы сто раз знал, что они-то и есть настоящая суть дела. Это было бы непрофессионально, «суд

это не интересует». И вот получилось, что я принял участие в чужой игре.

Судья Романов задает мне дурацкие вопросы о моих родителях, их доходах и т.п. Какое это имеет значение! Это всего лишь попытка создать видимость объективного разбирательства, маскировка. Я в ответ что-то мямлю, чувствуя себя буквально не в своей тарелке, и в то же время продолжаю подыгрывать суду.

Задача прокурора Жукова состоит в том, чтобы доказать, что я «проживал» в Москве без прописки. Доказать это так же трудно, как и опровергнуть. Полтора месяца я лежал в московской больнице — «проживал» я в это время в Москве или нет? Сотни больных находятся в таком же положении. Но в это время Лариса отправила по моей просьбе по почте деньги за квартиру, и вот изъятый у тети Нюры почтовый перевод используется как улика: Марченко в это время в Александрове не жил. А это и доказывать не требуется, есть больничная справка.

Работая над книгой, я прожил летом несколько недель в палатке в лесу, в полутора километра от места прописки. Ежедневно ходил на завод к шести утра, но не каждый день бывал у тети Нюры: время жалел. Прокурор утверждает, что это время я жил в Москве. «Да не мог бы я поспеть на завод из Москвы, проверьте расписание поездов!» Но суд принимает версию прокурора.

Житель Александрова может хоть трижды в неделю бывать в Москве — в театре, в гостях; многие, как и я последние несколько месяцев, работают в Москве — «проживают» они там или нет?

При обсуждении закона о прописке вполне проявляется не только его ограничительная сущность, направленная против любого гражданина, но и идиотизм, бессмысленность его формы. После трепанации черепа я просил милицию дать мне временную прописку в Москве для долечивания у оперировавшего меня врача; мне отказали. Я не уклонялся от закона о прописке, нарушил его не я, а милиция. Но отвечать буду я — за то, что «проживал».

Меня схватили на улице, проверили документы и, выяснив, что я «иногородний», штрафуют, выдворяют, судят. Да что это, военное время — время патрулей и облав? Москва на осадном положении?

Мне сейчас стыдно, что я принял участие в этом балаганном представлении.

После перерыва зачитывают приговор: год лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима. Это

максимальная мера наказания по предъявленному мне обвинению.

Когда меня быстро ведут из зала суда в «воронок», подогнанный почти к самой двери, я на минуту снова вижу всю публику. Толпа во дворе суда разделилась надвое, агенты стоят ближе к двери, отгораживая друзей от меня, а те — лицом ко мне, к «воронку» — прорываются вперед. Два фотоаппарата направлены почти объектив в объектив: агенты фотографируют толпу, а кто-то из «своих» пытается поймать то ли агентов, то ли меня в дверях, с конвоирами за спиной. И снова я ощущаю необычную напряженность, неприкрытую взаимную озлобленность этих двух частей толпы. Почти стенка на стенку, две тучи, заряженные противоположными зарядами электричества.

«Свои» мне что-то кричали, а что — я не расслышал из-за глухоты.

И лишь когда запертый «воронок» трогается с места, я слышу стук кулаком в стенку машины и сильный женский крик:

— Толя, прочти сегодняшнюю «Правду»!..

Всю дорогу до Бутырок я думал: что же там, в газете? Я связал этот возглас с возбуждением друзей в этот день и понял, что речь идет о чем-то очень серьезном. Неужели Чехословакия? Дина Исааковна ничего не сказала (я потом понял: она не хотела взвинчивать меня перед судом; и действительно, если бы я знал об оккупации, неизвестно, как бы я себя повел; собственный суд был бы мне до лампочки, это уж точно).

В камере я сначала попытался узнать что-либо, не прибегая к расспросам. Прислушивался к разговорам окружающих — бесполезно. В камере стоял обычный шум и гам. С верхнего яруса меня окликнули: «Земеля, смотри!» Я поднял голову и узнал моего соседа по боксу, грузина. Он встал там на голову и так стоял, глядя на меня и подмигивая.

— Что, год дали, да? — спросил я, вспомнив его обет.

Он ловко перевернулся, сел и тогда лишь ответил:

— Шесть месяцев. А тебе?

— Год.

— Свистишь!

Несколько других осужденных, знавших мое обвинение, тоже не поверили мне: «Брось, земляк, не темни! Это полстраны пересажали б!»

Что ж, они были правы, я и на самом деле «темнил».

Как узнать сегодняшние новости? Я спросил у своего соседа, занимавшего место рядом со мной на полу возле унитаза:

— Газету сегодня давали?

— Давали.

— А где она? — вообще-то я догадывался о ее судьбе.

— На курево порвали. А что там? Не амнистия?

Наконец, расспрашивая другого-третьего, узнал: советские войска вошли в Прагу. Мне сообщили об этом с полным равнодушием, все здесь были заняты собственной судьбой, никак не связывая ее с политикой. «Сужденка» жила своей жизнью. Ночью обокрали какого-то деда: кто-то разрезал его сидор и вытащил весь остаток полученной накануне передачи до последнего кусочка сахара. Дед не возмущался, не скандалил: дело обычное, либо ешь все сразу, либо карауль свой сидор.

Я ночью почти не спал, хоть мне и нечего было караулить. Ждал утра — последних известий по радио и газете, которую надеялся перехватить раньше других. Были бои или Дубчек сдался без сопротивления? А вдруг там началась такая же резня, как в Венгрии в 1956 году?

В шесть утра, когда сокамерники еще не очухались со сна и не затеяли шума и свар, я подошел поближе, к репродуктору. Бессодержательная, пустопорожняя мура! «Интернациональный долг», «братская помощь», «верны принципам», «трудящиеся Советского Союза одобряют», «все, как один»!

Я ведь не сомневался, что так и будет, точно знал, как будто сам присутствовал на обсуждениях в ЦК: задушат Чехословакию. Но вот это произошло — и как будто камень на меня свалился. С чехами обошлись так же, как с нами самими, и это было все равно что личное оскорбление, унижение.

Что делают сейчас мои друзья на воле? Что делал бы я сам, если бы не оказался запертым в тюрьме?

26 августа я узнал о демонстрации семерых на Красной площади.

Павел, Лариса, Наташа, Костя — это были мои друзья. С Делоне я тоже был знаком. Дремлюгу и Файнберга не мог припомнить — может быть, встречались где-нибудь в компании. Сначала меня это сообщение ошеломило. Слишком много дорогих мне людей оказалось в тюрьме, и дальнейшая их судьба была неизвестной.

Как я отнесся к этому поступку моих друзей?

Я знаю, были разные мнения на этот счет. Что касается меня, то мое отношение вначале было двойственным. Теперь власти расправятся с ними и надолго избавятся сразу от нескольких активных участников Сопротивления — получается, что этот поступок даже наруку властям. В то же время я понимал, что это их самопожертвование не является необдуманым шагом или эффектным жестом. Каждый участник демонстрации прекрасно понимал, что с Красной площади им только одна дорога — в тюрьму. Но они, видимо, не могли смириться с позором своей страны, переживали его, как свой собственный позор, и нашли единственный способ активно выразить свои чувства. Этот поступок был как бы итоговой чертой развития каждого из вышедших на площадь.

Конечно, многие русские были возмущены военным вмешательством в дела суверенного государства. Особенно широко это возмущение было среди интеллигенции. Но, как и всегда, не все решаются на активный протест.

Семеро — решились.

Позднее мне довелось услышать оценку демонстрации из уст участников национально-освободительного движения на Украине и в Прибалтике. Казалось бы, уж этим-то, с оружием в руках защищавшим свою землю от огромной советской военной машины, не приходится удивляться и восхищаться трехминутным выступлением на площади. Но эти украинцы и прибалты объясняли: «Мы сражались с оружием в руках, а в бою ведь не всегда и не всех убивают. У каждого остается маленькая надежда, что, авось, как-нибудь обойдется. А вот выйти открыто с протестом, без оружия, семерым против всех — на это нужно особое мужество».

Из Москвы на этап я отправился, не зная окончательной развязки судьбы демонстрантов. На душе было тревожно и беспокойно, мысли о друзьях занимали меня днем и ночью.

Перед отправкой из Бутырок на Краснопресненскую пересылку я, как и прочие этапники, сдал администрации почтовую открытку с адресом, по которому надлежит сообщить место назначения заключенного. Я надписал адрес Н.П., и она таким образом узнала, когда и куда я буду отправлен. За те три дня, что я провел на Пресне, Н.П. успела передать мне передачу и деньги, и мне удалось до этапа купить в ларьке продукты на законную десятку в месяц. Просто удивительно, как Н.П. ухитряется всегда все успеть вовремя.

Что за дурацкое положение! Хочешь сказать доброе слово о хорошем человеке — и не смеешь назвать его по имени, шифруешь инициалами, все равно как тайного заговорщика. А назови — так у Н.П. могут быть неприятности по службе, ГБ непременно возьмет ее на заметку. То есть она, конечно, и так на заметке (и неприятности по службе уже были), но открытое упоминание ее имени в моем тексте — это уже вещественная улика, свидетельское показание. Где еще, в какой стране может реализоваться *тайное* сообщество добрых дел и благородных поступков? заговор недоносительства? *подпольная сеть* помощи детям?.. Бред какой-то!

Еще в вокзальной камере на Пресне стало известно, что наш этап идет на Киров и Пермь «Высадят в Кирове или повезут дальше в Пермь?» — гадал каждый зэк в столыпине.

Если ссадят в Кирове, значит, лагерь где-то в Кировской области или дальше на север — на Ухте, в Коми АССР. Если же провезут на Пермь, то еще неизвестно, оставят ли в Пермской области с бесчисленными лагерями по всему Уралу или отправят еще глубже на Восток. Бывалые зэки обсуждали преимущества и недостатки обоих вариантов: впрочем, все равно выходило, что «оба хуже».

Поезд подъезжает к Кирову (хотя заключенным не только не объявляют станции, но держат маршрут в строгом секрете, зэки обычно знают даже больше, чем нормальный пассажир: знают, какие лагеря в ближней к станции окрестности, кто там и какой хозяин, какая в городе пересылка и куда с нее идут этапы. А простой пассажир знает разве что станционный буфет да сортир. В вагонзаке объявляют список тех, кому готовиться на выход с вещами — т.е. оставаться в Кирове. Называют и меня.

За свою зэковскую жизнь сколько раз я проезжал через Киров в вагонзаке, но ни разу меня не ссаживали. Впервые знакомлюсь с пересылкой, столь известной в Союзе. Она оказалась грязной, холодной, вшивой. Я не избалован комфортом лагерей и тюрем, но Кировская пересылка мне показалась хуже прочих. Затолкали нас в этапные камеры в полуподвальном этаже, продержали часа три на ногах: голые стены, скамеек нет, а только цементный пол, жидкая липучая грязь под ногами, в которую даже в сапогах противно ступить.

Здесь, как и на большинстве пересылок, процветали грабеж и мордобой. Несколько уголовников успели сгруппироваться и шныряли в толчее в поисках добычи. Приста-

вали к каждому, у кого был в руках чемодан или сидор. Они уговаривали «подарить, «угостить», угрожали, доходило до драк. Из рукава они демонстрировали строптивым лезвия безопасных бритв.

Вот один из блатной компании уже трется около меня, плотнее прижимается к моей полупустой наволочке и тайком прощупывает ее руками. И лет-то ему всего каких-нибудь девятнадцать, не более, а наглости и нахальства уже не занимать.

Вот он вполне доброжелательно спрашивает у меня:

— Что у тебя в мешке хорошего, земляк?

— Твоего там ничего нет.

— Х... ты орешь, будто тебя грабят, — и в голосе уже угроза, — тебя по-хорошему спросили...

— А тебе тоже по-хорошему ответили. Не ори.

Стараюсь говорить как можно тише и не сорваться, но чувствую, как меня начинает трясти. Он, что-то бурча себе под нос, расталкивает локтями ближайших мужиков, пробираясь в другой конец камеры. Там они обосновались всей компанией. Я уже знал по старому опыту, что на этом мои отношения с блатными не кончатся. Так оно и оказалось. Скоро ко мне протиснулись вместе с тем парнем еще двое. Начинают тоже издали и вполне пристойно:

— Откуда, земляк?

Конечно, в этом вопросе нет ничего особенного. Но я уже много раз был свидетелем подобных сцен. Все это, так сказать, прелюдия. Потом будут вопросы: «за что?», «сколько дали?», «куда идешь?», «откуда идешь?» — и, наконец, главный вопрос: «что с собой везешь?» — и глазами показывают на мешок или чемодан. А дальше варианты разные, в зависимости от изобретательности любителей поживиться на чужой счет, на куске или тряпке. Если ты говоришь, что ничего хорошего у тебя нет, следует требование: «Покажи!» или «Давай посмотрим!» Одни показывают, и жулье «угощается» или «одаривается». Если же им не позволяют осмотреть содержимое мешка, то тоже по-разному бывает: либо после грызни и угроз оставят в покое, либо отнимут мешок, заберут нужное для себя, а остальное милостиво возвратят. Бывает, что избыют и все отберут.

Я отлично знаю эту публику. Поэтому стараюсь сократить объяснения до минимума:

— Вас не я интересую, а содержимое моей наволочки. Только покажу я вам в лагере, если угадаем в один и

тот же. Если у вас к тому времени не исчезнет интерес к чужим мешкам.

На этот раз мне повезло, и мой расчет оправдался. От меня отстали.

В лагерях строгого режима, насколько я знаю, сейчас такого уже нет. Лагерные грабежи и террор блатных здесь изжиты. Зато произвол и грабеж — все еще довольно частое явление в лагерях для первой судимости, в колониях для несовершеннолетних и на транзитных пересылках.

С пересылки зэки разъезжаются по лагерям и тюрьмам в разные концы страны. Грабители и жертва, скорее всего, никогда больше не встретятся, и бандит не опасается ни мести, ни огласки. Теперь эта публика не афиширует своих подвигов. Наоборот, они боятся, что их разоблачат. Поэтому, каким бы ни был наглым и дерзким уголовник, он боится попасть в один лагерь с тем, кого ограбил.

Когда нас перевели из этапной, я оказался в камере тоже в полуподвале. Огромная, набитая битком, как бочка селедкой, она и причудливой формой напоминала лежащую бочку, разрезанную пополам по оси. Койки идут вдоль обеих длинных стен, да еще в два раза посередине, проходы заняты деревянными щитами, на которых тоже спят зэки, да на полу сидят, скорчившись. Свод низок, утесняет лежащих в крайних рядах так, что они еле ноги втискивают между койкой и потолком. Крохотное отверстие, которое лишь условно назовешь окном, находится в яме, ниже уровня земли. Оно забрано двумя решетками, но и яма перекрыта двойной сварной решеткой. От махорочного дыма, пота, дыхания, от параши в углу — воздух в камере густой, зловонный, липкий, такой же липкий, как пол около параши. Должно быть, в тюрьме большая экономия на топливе: хоть и совсем не топи в зиму, все равно в камерах клейкая духота, зэки раздеты до трусов и потные с головы до ног.

В конце коридора маленькая грязнущая уборная, туда нас выводят дважды в день. Вся камера там не помещается, и нас заталкивают туда, как в «воронок», притискивая дверью. После крупного скандала нашу камеру все же стали водить на оправку двумя партиями, соответственно сократив время на оправку наполовину. Каждый раз перед оправкой в камере вспыхивают ссоры: никто не хочет выносить парашу. Иной раз надзиратели, которым надоедают вечные свары из-за параши, плюнут и не заставляют выносить ее. Тогда содержимое льется в камеру

через край. Эски ругаются, но в другой раз снова такая же ссора, кому нести.

В большинстве тюрем теперь уже на оправку не водят и параша в камере нет — цивилизация достигла того уровня, когда вместо ржавого бака екатерининских времен угол камеры занимает унитаз. И хотя он обычно протекает, и хотя мало хорошего в том, что сто человек справляют большую и малую нужду в том же помещении, где спят и едят, — все же унитаз великое благо, колоссальный шаг вперед по пути прогресса. На это достижение ушло почти столько же времени и усилий, сколько на освоение космоса.

На Кировской пересылке обобрали и меня, как того деда в Бутырках. Было-то у меня всего ничего: остатки пресненского ларька и передача. Тоже вечером поделился с ближайшими соседями, а ночью обнаружил свой мешочек опорожненным. Я никому об этом даже не сказал. Как-то стыдно, унижительно быть обокраденным и злость разбирает: ты не знаешь, кто это сделал, а приходится общаться с окружающими, в том числе и с теми, кто обокрал тебя. Есть и порядочные люди вокруг тебя, да пооди отличии, когда знакомство длится день-два, и прощай!

Из Кирова я ждал этапа в крайнем случае на север, а меня отправили в Пермь. Надо было снимать с этапа, который шел туда же, и мариновать в этой полубочке!

Пересылка в Перми, еще один этап — и вот к середине ноября я в Соликамске на управленческой пересылке. Чтобы одолеть тысячи две километров, ушло два месяца, в среднем получается по 30-35 км в день. Везли бы меня в кибитке, с двумя жандармами, доехал бы я до места раза в три-четыре скорее. Да пешком этапом дошел бы за это же время!

Слава Богу, конец этапного путешествия, из Соликамска отправят только в лагерь.

Но в Соликамске меня тормознули еще на полтора месяца: на ближайшие этапы я не попал, а потом пришлось ждать, пока станут уральские реки. Весной и осенью в лесные лагеря — на Красный Берег, на Ныроб — пути нет.

Вообще по тюремному медицинскому заключению («работоспособен, запрещены работы, связанные с высотой, и на лесоповале») меня должны бы оставить в самом Соликамске — сразу за пересылкой и находится здесь лагерь строгого режима. Здесь работы строительные, а в лесу, известное дело, — лесоповал. В Соликамске и условия лучше, и кормежка, а раз так — это не для меня.

Ожидание на Соликамской пересылке, такой же перенаселенной и грязной, как Кировская, было все же веселее переносить. Одно то, что это уже конец пути, а другое — эски здесь ведут себя иначе. Ведь никто не знает, не угодит ли он в один лагерь с соседом, значит, надо держаться с ним более терпимо и не наглеть.

В нарушение общих тюремных правил здесь не существовало ни подъема, ни отбоя. Круглые сутки в камере шла картежная игра. Играли, почти не таясь от надзирателей. Ночью устраивались с картами на верхних нарах, поближе к лампочке, которая слабо светила из ниши в стене над входной дверью.

Играли на все: от новенькой одежды, денег, продуктов — до всякого старья. Тут можно было проследить за везением. Кто-то начинает играть, имея в своем распоряжении не более как пару поношенных носков или застиранный носовой платок, — через несколько часов он становится обладателем несметного количества тряпья, денег и жратвы. Сегодня ты видишь франта в шелковой рубашке, приличном костюме и с мешком добра. Он демонстративно отказывается от тюремной баланды и заказывает у тюремной обслуги запрещенный чай, анашу и даже морфий, не говоря уж о продуктах. Завтра он будет сидеть на голых нарах в затасканных лагерных штанах и куртке тридцать третьего срока носки, в которых, как говорят эски, уже семерых похоронили.

Один из заядлых игроков, Жора, особенно мне запомнился. Я его застал в камере в немыслимом рванье. Несколько раз он пытался отыгаться и садился с разными компаниями, не знаю, что он мог предложить партнерам. Но ему не везло. После каждого проигрыша, отлежавшись часа три молчком на нарах, он выходил на середину камеры, прислонялся плечом к стояку и пел вполголоса старинные русские романсы. У него был приятный голос, и пел он самозабвенно, совершенно отключаясь от окружающей обстановки. В камере становилось неприятно тихо, даже картежная игра прерывалась. На того, кто осмеливался нарушить тишину, прикрикивали.

Жора почти никогда не пел по чьей-либо просьбе, а только когда у него возникало желание. Он не выжидал тишины и мог начать в разгар спора и общего гвалта в камере. Однажды он проигрался, как обычно, и стал пробираться на свое место на верхних нарах, чтобы молча пережить проигрыш. Кто-то с издевкой обратился к нему:

— Ну, Жорик, а теперь спой!

— С таким настроением не до пения, — беззлобно и равнодушно ответил он, падая лицом в замусоленный бушлат вместо подушки.

Вот еще один игрок — экземпляр, типичный для уголовного мира. Он роскошно одет и со всеми разговаривает свысока. Другие играющие обращаются к нему за посредничеством в спорах. А он поддерживает свой авторитет частыми рассказами о том, как он где-то в камере во время игры одному выбил глаз, другому поломал руку, кого-то загнал под нары. И все это отстаивая справедливость и картежный закон.

Дня через три после моего появления затолкали в камеру очередной этап из Перми. Вечером наш франт уговорил посидеть за картишками новичка. Просидели они почти до утра и кончили дракой. Новичок не то «справедливо» обыграл франта, не то как-то сжульничал. Они крепко начали спорить, доказывая каждый свою правоту. Обычно картежники в таких условиях просят кого-нибудь третьего рас судить их. Эти же ни к кому не обращались, брань становилась все яростнее и оскорбительнее. В конце концов новичок сильным ударом ноги сбросил франта с нар на пол. Пол бетонный, а тот летел со второго яруса. Здорово ударившись, так что и встать не мог сразу, он больше не спорил, а молчком забился в угол на нижних нарах и там отсиживался пару дней, не вылезая даже на оправку.

Новичок тоже недолго проходил в королях, на следующий же день проигрался до нитки. А когда я уходил на этап, то эти двое уже жили душа в душу, хотя и были оба камерными «крахами» (ничтожествами, ничего не имеющими нищими).

Кроме картежной игры, на пересылке вовсю идет торговля. Зэки продают хозобслуге все, что имеют при себе или на себе: все равно в лагере свое не наденешь, а казенное тем более нечего жалеть. Зэки из хозобслужбы в доле с надзирателями и приносят в камеру запрещенный чай, анашу и водку. Цены соответствуют степени дефицита: при мне один сокамерник отдал новенькое пальто (рублей девяносто-сто в магазине) за семь пачек чаю; приличный неношенный костюм стоил четыре-пять пачек, брюки или рубашка шли всего за пару пачек. А пачка чаю в магазине около лагеря стоит тридцать восемь или сорок восемь копеек; неплохой барыш и у надзирателей, и у обслуги!

Ну, а что делать в камере мне? Я не играю, не торгую. Писчей бумаги нет у меня и ни у кого из сокамерни-

ков. Книги ни одной, библиотеки на пересылке нет. Хоть берись поневоле за карты!

Я догадался отправить письмо в Москву — на всякий случай, чтоб дошло, подписал его первой пришедшей на ум фамилией: в этом пересыльном шалмане авось не разберут чье. И вот через две недели получаю сразу несколько писем (первые письма и телеграммы из Москвы дожидались меня еще в Перми) и бандеролей. А в бандеролях — книжки, бумага, шариковые ручки (тут же в кабинете цензора и в его присутствии зэк из obsługi предлагает мне за них две пачки чаю — но чай мне не нужен, а ручки нужны), в каждой бандероли по плитке шоколада — это запрещено, но благодушный цензор, поворчав, отдает их мне. И мыло, завернутое в старую газету «Вечерняя Москва», — я сразу понял, что это неспроста.

Вечером пью кипяток с шоколадом. Книжки пошли по камере нарасхват. А я просматриваю «Вечерку». Так и есть: вот сообщение о суде над демонстрантами. Лариса, Павел и Костя получили ссылку, Дремлюга и Делоне — лагерь. Это известие от друзей и о друзьях немного успокоило меня: лагерь все же миновал троих. Но и ссылка не мед; а уж дорога, если отправят этапом! Я особенно беспокоился о Ларисе: как-то она перенесет этап, как-то ей удастся устроиться в ссылке: куда ей «повезет» попасть? Среди осужденных она была единственной женщиной. Тогда еще никто не предполагал, что Наташе Горбаневской суждено несколько лет провести в психушке.

О мужчинах я меньше волновался: полезно почувствовать на собственной шкуре все тяготы арестантского быта, да и твердость духа проверяется здесь основательней.

Теперь у меня в камере было занятие. Я читал и перечитывал несколько присланных книжек, хоть они и были ерундовыми (я так и просил в письме: лишь бы чтиво, жаль, если хорошие книги пропадут). Зато я взялся за другое.

Еще в Перми мне отдали телеграмму от Л.З. Она заканчивалась так: «Вы можете и должны стать настоящим профессиональным писателем». Конечно, Л.З. имел в виду необходимость самообразования, профессиональной учебы. Но пока это неосуществимо, нет ни книг, ни плана, ни представления о том, как и чем надо заниматься. Зато в избытке то, чего мне недоставало на воле и чего не будет в лагере: время. И вот я стал обдумывать и развивать планы повести, потом второй, третьей. Сюжеты трех повестей переплетались, расходились, наполнялись деталями, их герои, выдуманные мной, постепенно приобретали био-

графии, портретные черты, изменялись, притирались друг к другу и к жизненной обстановке. Каждый день я как будто смотрел фильм — по выбору или отрывки из всех трех. Было ужасно интересно, наперед зная судьбу героя, наблюдать его в разных ситуациях — он-то своей судьбы не знает. Но я стал путаться, наткаться на проблемы и неувязки — надо было записывать, хоть шифром, хоть план развития сюжета.

Я успел составить в Перми схематические, недетализированные планы двух повестей и записал их условными фразами. Но во время внезапного шмона камеры мои тетрадки исчезли. Я кинулся добывать их — где там! «Какие тетрадки? Пропали? Да кому оно нужно, ваше бумагомарание?» — отвечал мне на мои претензии заместитель начальника тюрьмы. Пришлось примириться с потерей.

Ладно же! В Соликамске, получив бумагу и ручки, я начал все заново. Исписал несколько тетрадок — опять так же, условными, одному мне понятными фразами. Хотя в этих фразах не было ничего похожего на криминал, я знал, что все равно при шмоне тетрадки отберут, и старался придумать для них заначки похитрее. Но на всякий случай — записанное запомнить, заучить. Советский писатель, не надейся на бумагу, на письменность! Лучше всего освоить бы тебе гусельный лад и сочинять «по былинам сего времени». Так ведь и гуслей нет, а были бы — отберут проклятые шмональщики!

Пока я в камере крутил свои фильмы, наступила середина декабря. Реки стали, и нас собрали на этап на Ныроб.

Этап собрали немалый: человек сто пятьдесят на строгий и на особый. Повезут нас машинами, по зимней гладкой дороге езды часов семь. По североуральскому декабрьскому морозцу недолго и обморозиться, и нам велят надеть на себя всю выданную одежду: от подштанников до телогреек, а поверх бушлаты. Каждый зэк превратился в неповоротливую толстую ватную куклу. Конвоиры одеты в полушубки и сверху еще в огромные тулупы, которые тянутся по земле. Тоже как куклы, только силуэт другой.

На машину — огромный трехосный «Урал» с высоко нашитыми бортами — приходилось человек по сорок зэков, да еще передняя часть кузова отгорожена деревянным щитом — для трех-четырех конвоиров и собаки. Казалось, нам никак не поместиться, но конвой опытный: нам приказали всем встать в кузове на ноги, построившись по шесть человек. Затем объявляют: «Слушай команду, всем поднять руки вверх, считаю до трех, по команде «три»

всем сесть, не опуская рук». И точно: с поднятыми вверх руками мы более или менее благополучно сели на пол кузова. Но опустить руки теперь оказалось проблемой. Каждый стал ворочаться, толкать соседей, сжиматься всем туловищем в комок и как-то втискивать руки. Этим конвой уже не интересуется. Мы сидим к нему спинами, нам запрещено оборачиваться в его сторону, придерживаясь за борта руками.

От Соликамска до Ныроба дорога идет сплошной тайгой. Очень красиво кругом. Тайга одета снегом, на елях он лежит особенно толстыми шапками. Когда машины поднимаются на вершину сопки, то видно огромное пространство вокруг, и все тайга и тайга.

По дороге проезжаем Чердынь. С интересом рассматриваю знаменитый поселок: здесь в ссылке были Мандельштамы, я как раз прочел в Москве мемуары Надежды Яковлевны. Кто бы знал эту Чердынь, если бы не Осип Эмильевич? Жилые домишки — а кругом тайга! Но нет-нет да и попадет старый дом кирпичной кладки, и им залюбуешься. Старые дома построены из добротного красного кирпича, даже дворовые постройки тоже кирпичные. Видно, до революции жили в них купцы-лесопрмышленники или богатые охотники.

Из такого же кирпича сложена красивая, но запущенная и обшарпанная церковь. Чердынь стоит на берегу Вишеры. Переезжаем ее по льду.

В Ныроб приезжаем в сумерках, зимой они здесь наступают очень рано. В самом Ныробе находятся две зоны: строгого и особого режима. Пока ждем запуска в зону, мимо проходят колонны эзков в полосатой робе. Все полосато: бушлаты, телогрейки, брюки, куртки, шапки.

Особый работает на лесобирже и готовит лес к сплаву. На лесоповале и на сплаве их не используют из опасения побегов.

После шмона нас проводят краем зоны в отдельно огороженный барак: он и шизо, и внутрилагерная пересылка. Отсюда отправляют на дальние таежные командировки. Но наутро я узнал, что меня в тайгу не отправят, оставляют здесь, в самом Ныробе. Другие завидовали: буду жить, можно сказать, в столице!

Меня вызывают в штаб к начальнику лагеря для «знакомства».

— Как вас сюда направили с таким сроком? — недоумевает он.

— Мне не объясняли и у меня не спрашивали.

— Год сроку, да пока доехал, остается всего семь месяцев!

Начальник просматривает мои бумаги и натывается на медицинскую справку об ограничениях в труде:

— И зачем присылают таких! Мне волосы нужны, у меня лесоповал. Куда я вас поставлю?

Я молчу. К начальнику из угла подходит офицер и что-то шепчет, низко наклонившись над самым столом. Начальник слушает внимательно, посматривая на меня с любопытством.

Больше не задавал он мне вопросов.

В этот же день состоялось еще одно знакомство — с кумом, старшим лейтенантом Антоновым. Кум зовет — иди, не моги отказаться. Разговор был тягучий, противный и угрожающий. «Ты не надейся, Марченко, здесь отсидеться. Тебе сидеть да сидеть, сгниешь в лагере. От меня на свободу не выйдешь, если не одумаешься. Здесь не Москва, помни!..» — и тому подобное. Я сказал:

— Вы мне прямо скажите, что вам от меня надо?

— Я прямо и говорю. Не понимаешь? Думай, думай, пока время есть. А надумаешь — приходи. Вместе напишем, я помогу.

— Что я хотел, то без вас написал.

— Смотри, Марченко, пожалеешь.

Меня, можно сказать, «честно» предупредили. Но откуда ждать удара?

Разговор оставил очень неприятное впечатление. В лагере всякое бывает. Подрались двое эков, и один другому всадил нож в спину. Или конвой пристрелит «при попытке к бегству». Кирпич ли на голову свалится. Или сожгут сортир и обвинят меня в поджоге зоны. Ходи и оглядывайся, и жди каждую минуту какой-нибудь провокации. Так и чокнуться недолго. И я решил выбросить эти мысли из головы.

И без того мое положение в лагере было непростым. Меня определили в строительную бригаду — это была работа более легкая и более удобная, чем основная работа в лагере, лесоповал. «Лесников» возят на делянки и обратно машинами, дорога занимает в один конец часа полтора, да шмон, да ожидание, да машины, бывает, ломаются. Поломается машина в дороге — жди на морозе в открытом кузове, пока починят или пригонят другую. Другой раз лесники приезжают в зону часа в три-четыре утра. А утром в семь опять должны быть на разводе.

А наша бригада, четырнадцать человек, работала в поселке, в пяти минутах хода от жилой зоны. Уже одно это было великим счастьем. Сюда, договорившись с начальством, попадали «на отдых» заслуженные «лесники», несколько лет безропотно пахавшие в лесу. Или отличившиеся стукачи и проныры. А меня назначили к ним прямо с этапа. Это было непонятно, подозрительно, и бригадники косились на меня с недоверием, прощупывали: за какие заслуги и для какой цели попал я в их бригаду.

Не успел я здесь прижиться, как меня перевели в другую бригаду, тоже строительную, тоже без дальних поездок на работу. Но эти заработали свою «льготу» совсем другим способом: здесь все были большесрочники, тяжеловесы со сроками от десяти до пятнадцати лет, т.е. с максимальными «исключительными» мерами наказания. Это бывшие смертники, которым заменили впоследствии расстрел лагерем или тюрьмой. Сроки получены ими за особо опасные преступления: убийства и изнасилования при отягчающих обстоятельствах, разбой и грабежи. Большинство бригадников переведены после половины срока со спеца, и, когда наша колонна встречалась с колонной «полосатых», в обе стороны летели слова приветствий, происходил запрещенный обмен информацией, несмотря на окрики конвоя. Эту мою новую бригаду в лес не водили из-за того, что большесрочники считаются — и не зря — склонными к побегу. Для них была оборудована рабочая зона с усиленной охраной, обнесенная сплошным дощатым забором высотой в два метра и двумя рядами колючей проволоки, со сторожевыми вышками и автоматчиками на них. Кроме обычного пересчета при разводе и съеме, бригаду считали и пересчитывали, впуская в рабочую зону, проверяли по личным карточкам во время работы, и, если начальнику конвоя покажется, что кого-то недостает, выстраивают всю бригаду, считают по пятеркам, сверяют с личными карточками.

И вот к этим тяжеловесам кидают меня — со сроком год (а к этому времени до конца оставалось чуть больше шести месяцев) за какое-то там нарушение паспортных правил. К тому же меня перевели вместе с поваром из моей первой бригады Германом Андреевым — известным всему лагерю и за его пределами провокатором, «штатным свидетелем» на всех лагерных процессах. Он был наркоман и потому на крючке у начальства. Конечно, бригадники считали, что к ним специально послали осведомителей режима и оперчасти. Подумали бы лучше, какой из

глухого стукач! Да и зачем засылать новых, когда своих стукачей в бригаде хватает? Впрочем, это иногда делается кумом для проверки работы стукачей, как говорится, над каждым шпионом должен быть тоже шпион. И насчет Германа у меня были свои догадки — неспроста его присоединили ко мне при переводе. Эта моя догадка впоследствии подтвердилась. Но об этом потом.

Я решил все соображения и объяснения держать при себе — тем более, что впрямую никто ничего не говорил мне. Оправдания ничего не дадут, а излишняя откровенность просто опасна. И я никому ничего не рассказывал о себе, кроме того, что написано в приговоре. Чтобы не быть втянутым в обычный зэковский треп, брал с собой на работу книгу, газеты, тетрадь (вообще-то это не разрешается, и если на шмоне найдут, то отберут: «Не в библиотеку идешь!»), но зэк, когда ему что надо, пронесет). Времени на чтение хватало. Нас выводили на работу утром, когда температура была ниже пятидесяти: пятьдесят шесть — пятьдесят семь градусов. Мы торопливо топали на объект и, как только нам открывали ворота, наперегонки бежали в курилку. Поскорей растапливали печь и час-полтора грелись, толпясь около нее, а потом расползались по углам и проводили время кто как умел. Начальство смотрит на это сквозь пальцы: был бы день не сактирован, был бы записан выход бригады на работу, а уж месячный план и норма из зэков так и так выжмут в другие дни.

Вот я сижу в курилке на своем законном месте — его уж никто не занимает, — читаю. В другом углу собралась картежная компания. Здесь, как и на пересылке, тоже играют на все: казенную одежду, деньги, посылку от родных, будущий ларек. Кто-то шустрит: ищет, как бы через вольного достать водку, самогон или одеколон.

Деньги в лагере, конечно, запрещены, но они есть у многих. Добываются они нехитрой почтовой операцией: заработанные деньги зэк переводит с лицевого счета родным и одновременно тайно сообщает им адрес местного вольного, с которым он уже договорился. Родные пересылают их обратно в Ныроб по указанному адресу, а уж вольный сумеет передать их зэку или купить, что тот закажет. Конечно, за комиссию отчисляется соответствующая доля.

Я тоже мог бы воспользоваться этой разработанной методикой, но мой срок можно было дотянуть и на казенных харчах.

В политлагере такие операции почти невозможны: начальство строго следит, чтобы у заключенного не было

связей с вольными. А в уголовном лагере строгостей меньше, возможно даже, что администрация знает о таких каналах — либо сама в доле, либо контролирует их, чтобы держать бразды в своих руках.

За деньги можно купить все, и не только продукты, выпивку, наркотики, но и откупиться от работы: плати бригаде наличными рублей пятнадцать на водку и на чай — и можешь месяц не работать, тебе бригадир поставит все выходы, а бригадники сделают за тебя норму.

Была у заключенных Ныроба еще одна отдушина — женщины. Вот, говорят, «мне сидеть неинтересно, я там бывал, ничего нового не увижу». Нет, каждый срок что-нибудь новенькое выдает. С подпольной проституцией в лагере я в Ныробе познакомился впервые. До Ныроба я только слышал все это с чужих слов и не всему верил. Здесь этой своей самой древней профессией промышляли тунеядки, высланные из Москвы и Ленинграда. Хотя среди заключенных и солдат большой голод на женщин, нельзя сказать, чтобы дело приносило им большой доход. Расплачивались с ними кто чем богат: когда деньгами, когда тряпками, в когда договаривались и за черпак лагерной каши. Так что женщины занимались этим скорее из любви к искусству и чтобы быть, как говорится, при деле, не терять квалификации.

Правда, несколько тунеядок обслуживали офицеров и начальство — эти жили получше, были недоступны для солдат и заключенных, на своих менее удачливых товарок смотрели свысока. Офицерские жены люто их ненавидели, крыли последними словами прилюдно на улицах поселка, но те не оставались в долгу, тоже за словом в карман не лезли — а необходимый словарный запас был у них побогаче, чем у «законных».

Для колонны эзков подобные сцены заменяли театр.

Но как же могли происходить свидания тунеядок с эзками, отделенными от воли запретками, лышками и автоматчиками?

Рабочие объекты и лесные делянки охраняются только во время работы, после съема заключенных уходит и охрана. И вот эзки в рабочее время строят в рабочей зоне тайник, бункер, и сообщают об этом тунеядкам по тайной почте. Ночью дамы свободно проходят в зону оцепления, заселяют бункер и живут там по месяцу и больше, не выходя на свет Божий даже по нужде: в бункере имеется па-

раша, которую вытаскивают и опоражнивают сами ээки. Сюда им приносят пищу и выпивку.

Обычно тунеядки объединялись по три-четыре в кампанию и обслуживали постоянно одну бригаду. На каждой делянке имеется свой бункер со своими дамами, и ни одна из них не забредет в чужую зону влияния. Если такое случится, то это считается «изменой» и вызывает бурные склоки и баталии.

Устройству бункера ээки отдают много сил и изобретательности. Внутри сколачиваются нары, снаружи тщательно маскируют от посторонних глаз. Чтобы конвойная собака не учуяла, обсыпают вокруг махоркой, хлоркой, поливают бензином и т.д.

В нашей особо строго охраняемой бригаде тоже был свой бордель. Первые несколько дней, когда бригадники меня еще хорошенько не знали, они всячески скрывали это от меня. Вначале им это легко удавалось, так как я вообще ничем в их жизни не интересовался. К тому же они знали, что я очень плохо слышу, и вполголоса переговаривались и обсуждали насущные вопросы этой стороны жизни бригады, не опасаясь, что я могу подслушать. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь, а уж живого человека тем более. Сначала я догадался, а потом и увидел все воочию.

Курилка у нас состояла из двух проходных комнат. В дальней, большей из них, под полом ээки оборудовали еще одну комнатку. И там жила тунеядка. Временами, когда в бригаде появлялись наличные деньги, жила не одна, а несколько.

У нас тунеядкам жилось лучше, чем в лесу: ночью они могли безопасно выйти на свежий воздух или хотя бы вылезти из подполья и находиться в комнате. У нас даже жили гастролерши — из самой Чердыни.

В подполье провели скрытый электропровод, и там было и освещение, и отопление: электропечкой служил самодельный «козел».

Наш объект был — строительство гаража. Стены, потолок уже были, и теперь мы долбили в этой коробке ямы на месте будущих стоянок для машин. Бригадники решили построить здесь новый капитальный бункер-бардак. Выкопали рядом со строящейся ямой для машин другую большую яму, забетонировали крышу. Вход сделали в яме через нишу, предназначенную для инструмента: заднюю стенку ниши — бетонную плиту — укрепили на специально приваренных шарнирах. Она была очень тяжелой и

плотно закрывалась изнутри, ее невозможно было открыть снаружи, разве что взорвать.

Новый бункер был просторнее прежнего. Там были настоящие нары человек на четырех, столик и даже пара скамеек. Провели туда скрытый электрокабель и оборудовали свет и отопление. Имелась там и электроплитка.

В строительстве этого бункера я принимал непосредственное участие. При мне он и начал «работать».

Наш бардак не найти было и с собаками. И хотя в нашей бригаде, как и в других, хватало стукачей, никто не заложил тайник и прятавшихся там женщин: естественная тяга мужчин к женщине пересиливала и страх, и прочие шкурные интересы. Начальство нюхом чуюло баб в зоне, но, сколько ни искали, ни разу так и не нашли.

Существовали забавные принципы оплаты услуг. Когда у кого-нибудь в бригаде были деньги, дамам платили по рублю за визит. Тогда доступ к ним имел только тот, кто имел рубль или хоть что-нибудь для оплаты. Я видел, как два приятеля спускались в бункер, имея на расчет всего лишь пару застиранных носков, то есть по одному на брата. Им хватало и этого.

Но когда ээкам платить было нечем, тунеядки оказывались в безвыходном положении: им даже поесть на воле было негде и не на что. Здесь хоть черпак каши или баланды найдется. А так как пища идет из общего бригадного котла, то в этот критический период каждый имеет право наведаться в бункер.

Эти женщины никогда не были трезвыми. В бункере всегда была какая-нибудь выпивка: водка, самогон, брага, одеколон, тормозная жидкость...

Наши жрицы любви пьяны, грязны, одеты в немислимое тряпье, потрепаны настолько, что не определишь их возраст (на самом деле возрастной диапазон довольно велик: от девятнадцати-двадцати до пятидесяти и даже выше, как говорится, «от пионерок до пенсионерок»). Они так непривлекательны, что иногда только что спустившийся в бункер ээк тут же вылезает обратно, мотая головой: «Нет, не могу, ничего не получается!»

И все-таки на их внимание претендуют не только заключенные, но и солдаты охраны. Тунеядки, очевидно, из солидарности с ээками люто ненавидят охранников и отпускают их только при посредничестве ээков.

Два солдата из нашего конвоя посещали наш старый бункер тайно друг от друга и от остальных. Однажды я присутствовал при такой сцене: вся бригада уговаривала

тунеядку «дать» менту, то есть солдату. Она его только что выгнала из бункера, и он приплелся в бригаду жаловаться. На нее не действовали никакие уговоры, и только угроза, что он, обозлившись, выдаст и ее, и бункер, сломила ее гордость.

(Я забыл сказать, что наши тунеядки нередко вылезали из бункеров и ошивались среди эзков, зимой переодетые в эковскую мужскую одежду — ватные брюки, бушлат, шапку — и неотличимые от мужиков. Так что разговоры и выяснения отношений происходили и при мне в курилке. Бункер же служил для иной, главной цели, то есть как отдельный кабинет.)

Знаю, найдутся такие, кто с брезгливостью прочтет эти страницы, презрительно обронит: «Уголовщина! Что с них взять?» Но вот что читаем о политических: «Под вечер девку посадили в пустую бочку, часовой растворил ворота острога, и, выпущенная во двор, девка проведена была другим часовым в арестантские комнаты. Тем же порядком на следующее утро девку вывезли из острога... После этого несколько раз удалось повторить ту же проделку... Сколько было благодарностей от арестантов!..»

Эти арестанты — не уголовники, это каторжане-декабристы. Устроила для них «разговение» жена декабриста Анненкова — наняла девку, подкупила водовоза и часовых, не с брезгливостью и презрением, а с пониманием нужд человеческой природы. И так же рассказывает об этом эпизоде М.М. Попов, сотрудник III Отделения: «Большая... часть арестантов Петровского острога были холосты, все люди молодые, в которых пылала кровь, требовавшая женщин. Жены долго думали, как бы помочь этому горю...» (Воспоминания Полины Анненковой. Красноярск, 1977, с. 291).

Что касается самих тунеядок, то это люди «дна», опустившиеся, выбитые из жизни создания. На мой взгляд, у них произошел необратимый распад личности. Искать корни этого явления — дело социологов, психологов, медиков. Я далек от мысли приписать вину за существование «дна» нашему общественному устройству. Политико-экономическими причинами объясняют все социологи-марксисты, поэтому они вынуждены утверждать, что «дно» порождено капиталистическим строем, а у нас этого явления нет. Как же, нет! Дальние провинциальные городки и поселки наполнены «тунеядцами» и «тунеядками» — своих хватает, и еще сосланные из столиц. У них нет семьи, нет пристанища — и не будет, они не ищут его, оно

им не нужно. У них нет имущества: все, что есть сегодня, — на них. У них одна цель — найти, что выпить, чем оглушить себя. В Чуне их можно безошибочно отыскать в любой день на пустыре около магазина: напившись, они валяются здесь — мужчины и женщины, старые и молодые, высланные и местные — на слое битого стекла и пробок, а проспавшись, едва поднявшись на ноги, снова бредут к магазину в надежде раздобыть выпивку. Больше им ничего не надо. До них тоже здесь никому нет дела.

В больших городах они, вероятно, не так заметны. А в столицах и городах, посещаемых иностранцами, их и вовсе не видно: милиция выселяет их, используя закон о тунеядстве, о бродяжничестве, о паспортных правилах. И вот какая-нибудь заезжая знаменитость вроде Мохаммеда Али в восторге сообщает миру: «Я был поражен тем, что в СССР нигде не встретил ни проституток, ни нищих». Если сам Мохаммед Али не встретил, о! — значит, их действительно нет (как и агентов секретной службы, которых он тоже «не встретил» — зато, я думаю, они его и встретили, и проводили). Для кого вещают наши пропагандисты? Неужели я больше поверю залетному гостю, чем собственным глазам?!

Бог с ним, с Мохаммедом Али, — ему ведь, в общем, наплевать на нашу страну, погостил и укатил. Опасно, что мы сами — наша пресса, наши ученые, наши власти — нарочно закрываем глаза на язвы собственного общества, не исследуем их и не лечим, а прячем под парадной одеждой фестивалей и олимпиад, прикрываем хвастливой газетной трескотней. Но примухайтесь: из-под роскошного наряда смердит!

Зима 1969 года была холодная. У нас в Ныробе каждое утро было минус пятьдесят шесть-пятьдесят семь градусов. Лариса писала мне из Чуны, что у них там тоже всю зиму день начинается с минус пятидесяти восьми градусов. Прочел я в первом письме: «поселок Чуна Иркутской области». А что за Чуна — Чума? Солагерники мне рассказали: место проклятое, и правда чума; от Тайшета до Братска — лагеря, лагеря, лагеря. Так это ж туда меня везли в 1961 году, да не довезли, политлагеря оттуда перевели в Мордовию. Сейчас в Чуне, да и в ближней окрестности, да и вблизи трассы Тайшет-Братск лагерей не видно. Но пришлось мне в 1971 году лететь в Чуну из Братска самолетиком местной авиалинии, и я узнал сверху ясно обозначенные квадраты зон с вышками по углам. Просто отодвинули их подальше от глаз. А в тайге около Чуны, в

десяти минутах ходу, — заброшенные лагерные узкоколейки, прорубленные зэками просеки, в самой Чуне — памятники лагерной архитектуры: клуб, выстроенный заключенными по типовому лагерному проекту, такие же я видел в Караганде, на Урале, в Мордовии; баня с выложенной по фронтому датой «1957»; бараки лагерные есть еще, но их постепенно сносят, не оставляют почему-то потомкам в качестве исторического экспоната. И полно здесь бывших лагерников — «западников» — украинцев, литовцев, русских. Этот участок БАМа — «магистрала века» — проложен руками отечественных заключенных и пленных японцев. «А по бокам-то все косточки русские» и прочие, мы ведь интернационалисты.

Хотя в эти морозы мы работали мало, но все же достаточно для того, чтобы с объекта в зону прийти грязными и мокрыми. А переодеться мне было не во что — спецовку не выдали: «Получишь, когда придет следующий этап». Ждал я, ждал, месяца полтора ждал — не выдают. На мои и бригадира просьбы и требования офицер — начальник отряда просто не обращал внимания.

— Пока мне не выдадут спецовку, не буду работать! — заявил я наконец.

— Бу-удешь! Посажу в карцер как отказника!

На другой день я перестал работать. Выхожу со всеми на объект — и либо сижу в курилке, либо, если погода помягче, расчищу себе в снегу тропинку и гуляю. Бригадир не гнал меня на работу, он знал, что я таким путем добиваюсь «законных прав». Я был уверен, что он ставит мне в табеле отказы, и ждал, когда начальство на это сразу реагирует. И вдруг узнаю: бригадир ставит мне рабочие дни. Это значит, что в конце месяца мне начислят такой же заработок, как и другим бригадникам, я урву денежки с тех, кто работает.

Пришлось мне объясняться с бригадиром:

— Ставь мне прогулы, я ж не работаю!

— Не могу: я еще никого не помогал устроить в карцер!

Дворецкий не был похож на других бригадиров-уголовников. Его поставили на эту должность как специалиста-строителя, он тяготился ею, стеснялся заставлять работать заключенных, не угождал начальству. Недолго он и продержался в бригадирах — при мне же его заменили другим, более пригодным — Сапожниковым.

— Так не ты посадишь, а начальник отряда!

— Я ему не помощник. Я такой же зэк, как и ты. Сегодня я бугор, а завтра пошлют носилки таскать вместе с тобой!

Есть такое неписаное зэковское правило: не хочешь работать — не выходи из зоны на объект, оставайся в жилой. Тогда тебя посадят в карцер начальство, а бригадир сохранит свой авторитет перед зэками. Я не хотел дать законный повод для репрессий. Выходить на объект я обязан, так как одет «по сезону», телогрейку, ватные штаны, шапку получил еще в Соликамске. Но, не получив спецовки, имею право не работать. И без Дворецкого найдется кто-нибудь, кто доложит о моем «саботаже» отрядному.

И точно: еще через пару дней отрядный явился к нам в курилку. Он собрал бригаду и стал мне вычитывать:

— Работать не хотите! Отлыниваете! Вы, Марченко, злостный нарушитель режима!

— Сами вы злостный нарушитель режима, два месяца не выдаете спецовку!

— Вот теперь я тебя в карцер посажу за оскорбление. Тоже мне, интеллигент нашелся — спецовку ему подавай.

Он не посадил меня ни завтра, ни послезавтра. Зато он стал науськивать на меня некоторых бригадников: мол, я обдираю бригаду. Когда я с ним спорил при всех — сочувствие было на моей стороне: все видели справедливость моих требований и что я, отказываясь работать, не скрываю этого, не прячусь за их спины. Вообще при любом споре с начальством зэки всегда на стороне зэка. Но после этого объяснения нашлись такие, кто не только враждебно посматривал на меня, но и угрожал расправой; а начальство, мол, за тебя не заступится. Как-то один из зэков кинулся на меня с молотком в руках, в ответ я поднял лопату. Дело не дошло до развязки, вмешались остальные и уgomонили нас.

Лишь через две недели отрядный все же упек меня в карцер на семь суток. В постановлении говорилось, что я «одет полностью». После карцера выдали мне спецовку; за что же, спрашивается, я сидел неделю? Да с кого спросишь?

Тем временем проходила зима, а с нею и срок шел к концу. С кумом Антоновым у меня не было не только стычек, но и вообще встреч; но его угроза висела надо мной, как топор. Было несколько мелких стычек с начальником КВЧ, майором, когда мне прибыли две книжные бандероли. Он не хотел мне их отдавать:

— Вас сюда прислали срок отбывать, а не книжки читать. Мало вам лагерной библиотеки!

— Мало.

— Книжки со свободы отдавать не будем.

— Почему?

— Почему, почему! Грамотные сильно стали все, права свои знаете, как что не по вас — только и слышишь: почему, за что, на каких основаниях?

— Ну, а все же почему нельзя книжки получать с воли?

— Знаем, как в лагере книжки читают: начинают с Флобера, а потом онанизмом занимаются!

Хотел я спросить начальника культурно-воспитательной части, сам-то он читал ли этого писателя, проверил ли на себе его воздействие? Но не решился вести бой на незнакомой мне местности: я Флобера не читал. И потому спросил о другом:

— А Ленина читать в лагере можно?

Майор, помолчав, спокойно ответил:

— Ленина — это мы подумаем.

Все же отдал он мне мои бандероли, поскольку там был не Флобер, а что-то на его взгляд более безопасное.

Весной я снова угодил в карцер, и повод был аналогичный первому: я отказался выходить на работу, на этот раз не выходя и в рабочую зону. Мы в это время заливали гудроном крышу гаража, приходилось таскать носилки по узенькому скользкому трапу без перил и ограждений на пятиметровую высоту. Бывало, что с трапа срывались и здоровые парни, у меня же головокружение, «запрещена работа на высоте». Когда я сказал об этом отрядному, он съязвил: «Подумаешь, высота! Не в космос тебя запускают!» Другой работы мне не дали.

Когда я слетел-таки с трапа вместе с носилками, то решил, что, чем покалечиться на лагерной работе, лучше уж остаток срока отсидеть в карцере, пусть и на штрафном пайке. Мне к этому времени оставалось до конца всего два с половиной месяца.

20 мая кончились мои пятнадцать суток отсидки. Если я снова не выйду на работу, меня опять посадят. Но в промежутке я успею в зоне помыться с мылом (в Нырбе в карцере отбирали и мыло, и зубную щетку: «Это вам не санаторий!») и получить письма, накопившиеся за две недели.

Однако в зону меня не выпустили: объявили, что отправят на этап в другой лагерь.

Вот тебе на! За два месяца до конца срока — в новый лагерь! Что-то это не к добру, подумал я. Мне даже вещи не дали собрать, принесли прямо на вахту собранный в бараке без меня узелок. Проверяю — нет главного

для меня, моих тетрадок с записями. Было у меня их четыре, а отдают одну, в которой мои выписки из Герцена, Короленко, Успенского и других книг. Те три, в которых мои собственные записи, восстановленные после пермского шмона планы задуманных повестей, снова остались в руках главных оценщиков худлитературы.

Каши они из этих записок никакой не сварят: «Случай на выемке», «Пиковая дама» — что дадут им такие записи? Ничего ровным счетом. Впрочем, одно им полезно и приятно: то, что у меня этих тетрадок не будет.

Потом, уже на воле, у меня еще трижды отбирали на обысках все, что я успевал написать: планы, черновики. Неужели все это лежит где-нибудь в хранилище КГБ в ячейке на букву «М»? Нет, наверное, сожгли в специальном крематории для рукописей, предварительно вынеся резолюцию: «материалы могут быть использованы для написания антисоветских произведений» — именно такое заключение предъявили мне в КГБ Москвы в 1974 году. Кто же эти эксперты? Литературоведы — кандидаты и доктора наук? Или рядовые «литературоведы в штатском»? Вот интересно бы это узнать!

Владимир Максимов стыдил меня и ругал за то, что я не умею работать, как полагается советскому писателю: писать надо, говорил он, сразу в нескольких экземплярах — и сразу прятать написанное в разных местах. Он, Максимов, только так и пишет. Что-то отберут, но хоть один экземпляр останется.

Не это ли имел в виду Л.З. в своей телеграмме: «...вы можете и должны стать настоящим профессиональным писателем»? То есть, как говорит Солженицын, писателем-подпольщиком. Учусь этому, учусь. По правде говоря, этому научиться все же проще, чем научиться писать.

Меня и еще четырех эзков отправили на машине в Валай — это, как говорили, самый паршивый из всех ныробских лагерей.

Действительно, и сам дальний таежный поселок, и лагерь, куда нас привезли, вызывал уныние одним своим видом: что дома в поселке, что бараки в зоне — ветхие, гнилые, осевшие в землю по самые окна. Если кто идет мимо барака, то из окна видны одни ноги. Кажется, подуй ветер посильнее, толкни крайний домишко, и все постройки свалятся друг за дружкой, как выстроенные в ряд костяшки домино. И эти постройки стоят среди сплошной тайги, откуда идет лес на новостройки по всей стране! То

ли люди здесь живут ленивые, то ли чувствуют себя временными жителями. Зона в это время года — в мае — утопала в грязи настолько, что ни машина, ни даже трактор гусеничный не могли в нее въехать. Даже дрова для бани и столовой сваливали снаружи возле вахты, и каждый зэк, возвращаясь с работы, должен был прихватить чурку и оттащить на место. Зэки путешествовали между бараками по узким дощатым настилам, и не всегда им удавалось преодолеть без потерь грязевую преграду: бывало, оставляли в топи обувь, вытаскивать ее приходилось руками. Оттаявшие помойки и сортиры распространяли по всей зоне страшное зловоние.

Здесь я увидел остроумное приспособление для колки дров. Помню, когда мне в больничной зоне в Мордовии приходилось топить печи, я мучился, пытаюсь расколоть чурку дров: хоть зубами грызи ее, топора-то в зоне «нэ положено». На Валае в зоне топор есть, вернее, не топор, а колун без топорища. Но взять его в руки одному мужику нельзя: он приварен тупой стороной к большой и тяжелой железной платформе. Бери полено и бей его об колун! Можно подавать заявку в бюро рационализации и изобретений.

На Валае я столкнулся с явлением, знакомым мне еще по Карлагу. Мы, новички, пришли первый раз в столовую на ужин. Все столы заняты, нам с нашими мисками приткнуться негде. Смотрим, один стол почти пустой, сидят за ним трое-четверо. Сели мы за этот стол, едим; другие зэки, здешние старожилы, глядят на нас, пересмеиваются. Наконец, подходит один к нам:

— Вы, парни, за этот стол не садитесь: он для педерастов.

Вот оно что! Среди этой бесправной, униженной массы есть самые низкие, своя каста «неприкасаемых». Так было и в Карлаге. Педерасты (но не все, а именно пассивные; активные ходят в героях) — самая забитая, самая бесправная часть лагерного населения, с ними каждый зэк может сделать все, что угодно: выгнать из столовой, сбросить с нар, заставить работать задарма на бригаду. Большинство этих бедняг — молодые ребята, некоторые стали педерастами еще в колонии для малолетних. Свое унижение они воспринимают как законное, пожаловаться им некому...

Но продолжить наблюдения лагерного быта на новом месте мне не пришлось. Через неделю после прибытия меня вызвали в штаб, и прокурор из Перми Камаев предъявил мне две казенные бумаги: по ходатайству Анто-

нова, ныробского кума, против меня возбуждено уголовное дело по статье 190-1; вторая бумага — постановление об аресте, о взятии меня под стражу. Как будто я и так в зоне не под стражей! Нет — теперь меня будут держать в следственной камере при карцере.

Ну, так: Антонов слов на ветер не бросает!

Первое, что я сделал, — заявил и устно, и письменно, что Антонов намеренно сфабриковал дело, что он обещал мне это еще в первый же день в Ныробе.

— Марченко, подумайте, что вы говорите! — Камаев старается держаться «интеллигентно», разъясняет, опровергает меня без окриков. Он прокурор, он объективен, он не из лагеря, а «со стороны». Это человек лет тридцати-тридцати пяти, аккуратный, белозубый, приветливый, его даже шокирует моя враждебность.

— Зачем Антонову или мне фабриковать на вас дело? У нас есть закон, мы всегда действуем по закону...

— Да, да, лет тридцать назад миллионы соотечественников были все шпионы и диверсанты — по закону, знаю.

— Что вы знаете?! Зря при советской власти никого не сажали, не расстреливали. Заварил Хрущев кашу с реабилитацией, а теперь партия расхлебывай!

— И это говорит прокурор!

— Скажите, и вас ни за что посадили? Не занимались бы писаниной, сюда не попали бы!

— Между прочим, у меня обвинение не за писанину, а за нарушение паспортных правил.

— Мало ли что в обвинении. Книжки писать тоже с умом надо. Писатель! — восемь классов образования!

— У вашего основоположника соцреализма, помнится, и того меньше.

— Что вы себя с Горьким сравниваете! Он такую школу жизни прошел — настоящие университеты!

— В вашем уголовном кодексе эти университеты теперь квалифицируются соответствующей статьей: бродяжничество.

— Марченко, Марченко, сами вы себя выдаете: «ваш Горький», «ваш кодекс», — передразнивает меня Камаев. — Сами-то вы, значит, не наш!

— Так в этом, что ли, мое преступление? «Наш» — «не наш»? Это какая же статья?

— Знаете законы, сразу видно. — Камаев переходит на сугубо официальный тон. — Оперуполномоченный Антонов получил сигналы, что вы систематически занимаетесь распространением клеветы и измышлений, пороча-

щих наш строй. Можете ознакомиться, — он вынимает из папки несколько бумажек и протягивает мне.

Это «объяснения» заключенных из Ныроба. В каждом говорится, что Марченко на рабочем объекте и в жилой зоне распространял клевету на наш советский строй и на нашу партию. Таких «улик» можно получить не три, а тридцать три, сколько угодно.

В уголовном лагере, и на работе, и в жилой зоне идет непрерывный пустейший треп. Зэки без конца спорят на все темы, в том числе и на политические. Здесь можно услышать что угодно: от сведений, составляющих государственную тайну, и до живых картинок об интимных отношениях между членами правительства или Политбюро. У каждого, конечно, самая «достоверная информация». Попробуйте усомниться! Лагерная полемика не знает удержу, и в пылу спора из-за пустяка то и дело в ход идут кулаки. Лучше всего не ввязываться в эти диспуты. Даже когда спорящие обращаются к вам как к арбитру, остерегайтесь! Вы знаете, что все они несут чушь, но если попытаете им противоречить, опровергать их, то они объединятся против вас. Только что они готовы были друг другу перервать глотку. Сейчас они сообща перервут ее вам!

Эта картина знакома мне еще по Карлагу, по пятидесятым годам. Здесь, в Ныробе, в конце шестидесятых, я наблюдал и слышал то же самое. Иногда спорящие обращались ко мне. Я обычно отмахивался или говорил, что не знаю. На это непременно следовал ответ:

— Е... в рот, а еще читает все время!

Вот я лежу в бараке на своей кровати, читаю. В процессе несколько зэков спорят до хрипоты, со взаимными оскорбительными выпадами.. Один из них трясет мою кровать за спинку:

— Глухой, ну вот ты скажи, ведь в натуре Ленин был педерастом?

Что сказать на это?

У меня не раз, бывало, возникала мысль, уж не провокация ли это? Да только я слишком хорошо знал лагерь и его обитателей: такой треп обычен везде и всегда в тюрьмах и лагерях.

— Глухой, ты вот до х... читаешь. Скажи, ведь точно, что Фурцеву все правительство ...?

Меня выручает сосед справа, Виктор:

— Да кому она там нужна? Она только в газетах такая красивая да молодая! А Брежневу девочек приводят! Комсомолок!

— Слушай, — говорю я тому, кто спрашивал, — ты вот болтаешь от нечего делать что тебе в башку взбредет, а когда тебя возьмут за жопу, то будешь валить на любого, лишь бы самому отвертеться!

— А у меня образования всего лишь десять классов! Сейчас за болтовню сажают только с высшим образованием! — и это с полной убежденностью, что так оно и есть на самом деле.

Доказывать и рассказывать, что посадить могут любого, независимо от образования? Что я сидел с такими, у кого образование пять-шесть классов и кто угодил в политлагерь по 70-й статье за анекдоты? Вот как раз и будет с моей стороны агитация, пропаганда, клевета, измышления — весь букет хоть на 190-1, хоть и на 70-ю.

Если учесть, что уголовный лагерь живет по принципу: «умри ты сегодня, а я завтра», — то в такой атмосфере сфабриковать обвинение по ст. 190-1 оперу ничего не стоит. Всегда он может подобрать нескольких провокаторов, которые, кто за посылку, кто за свидание или досрочное освобождение, дадут любые показания на кого угодно. Главное, из-за безответственного трепача почти каждый зэк у кума на крючке, каждого есть чем шантажировать. Это было проделано Антоновым при фабрикации моего обвинения, о чем мне позднее скажут сами зэки.

Липовое мое дело, состряпанное Антоновым, оказывается непробиваемым: масса «свидетельских» показаний — «Марченко неоднократно говорил», «всегда клеветал», «я сам слышал», а других доказательств не требуется. Статья 190-1, предусматривающая как письменные, так и устные «измышления», позволяет судить за слово, за звук, не оставивший материального следа. Так что, друг, если двое говорят, что ты пьян, иди и ложись спать!

Конечно, при низком уровне общей и юридической культуры Антонова и его свидетелей (какое там низкий — нулевой! со знаком «минус»!) в деле повсюду торчат ослиные уши, а Камаев мог бы их заметить. Свидетельские показания не стыкуются между собой, то есть не подкрепляют друг друга. Один свидетель показывает, что Марченко такого-то числа января месяца говорил то-то и то-то, а другой сообщает о другом высказывании и уже в другое время. И как они помнят в мае, какого числа и что именно сказал я в январе? Большинство показаний носит общий оценочный характер: «клеветал», «измышлял», «порочил». А те, которые содержат конкретный «материал», поневоле вызывают у меня смех. Вот показания: «Марченко утверж-

дал, что Пастернак в «Докторе Живаго» правильно изобразил советских женщин, что у них ноги кривые и чулки перекручены». Мозги перекручены у этого парня или у Антонова, который, наверное, ему диктовал. Ни с кем в лагере я не говорил ни о Пастернаке, ни о Синявском, тем более не повторял газетную чушь. А свидетеля этого я помню: недавно он с пеной у рта доказывал соседу, что в Соединенных Штатах — язык американский, а английский — это в Англии, и дураку ясно.

Я указываю Камаеву на несуразность в показаниях.

— Что же, все вас оговаривают?

— Может, и не все, только в дело попали нужные Антонову свидетельства.

— Вы хотите сказать, что были и другие? Марченко, в дело вносятся все свидетельские показания, все протоколы нумеруются. Таков закон, — важно говорит Камаев.

Я объяснил Камаеву и то, что насчет «Доктора Живаго» мне приписывают ерунду — я как раз недавно читал роман, помню, что там есть и чего нет. А вот свидетель, конечно, не читал и несет Бог весть что от моего имени.

Когда месяца полтора спустя я знакомился со своим делом — стал искать там эти показания и не нашел.

— Где же они? — спрашиваю Камаева.

— На месте, конечно, где им быть. Да зачем вам, вы же их хорошо помните.

Снова листаю дело — их нет. Нет и других показаний, будто я «восхвалял американскую технику и клеветнически утверждал, что американцы переплунут наших и первыми будут на Луне». Когда мы говорили об этом с Камаевым, я сказал, что, хотя показания эти ложные, я действительно высокого мнения об американской технике и думаю, что они первыми высадятся на Луне. Разговор был в мае-июне. А ко времени знакомства с делом, в конце июля, как раз американские космонавты прошли по лунной поверхности. И вот я не нахожу в деле и этого протокола. Где же он?

— Найдем, найдем, сейчас найдем, — бормочет прокурор, листая дело и косясь на присутствующего здесь московского адвоката, Дину Исааковну Каминскую, а я уже по лицу его вижу: знает он, что ничего не найдет. — Нет. Значит, таких показаний не было. Вы что-то перепутали, Марченко!

Вот так. «Таков закон».

Между прочим, пока я сидел в следственной камере на Валае, мне пришлось узнать Камаева еще в одном воп-

лощении. Зэки в карцере и ПКТ пронюхали, что здесь прокурор по надзору, и стали требовать его посещения: были у них жалобы. Каждый день я слышал крики: «Прокурора сюда! Зови прокурора!» — и в ответ могучую матерщину надзирателей. А однажды в коридоре раздался голос самого Камаева (пришел-таки!):

— А! Раз... вашу мать, прокурора вам?!

Камаев показал класс матерной ругани не ниже самих зэков и надзирателей.

Продержав недели две в следственной камере, меня отправили в Соликамск — до Ныроба на грузовике, а от Ныроба до места везли в «воронке» под двумя запорами: «воронок» заперт, да еще тесный бокс, куда меня затолкали, тоже на задвижке с замком. В боксе темно, ни щелочки. По остановке, по тому, как идет машина, потом снова остановилась, — догадываюсь, что въехали на паром. Значит, Чердынь. Будем переправляться через Вишеру.

Неприятное ощущение охватывает при переправе через реку вот таким макаром: запертым в «воронке», да еще в отдельном боксе. Я слышал, будто по инструкции МВД при переправе двери камеры в «воронках» должны быть открыты на случай аварии. Это только слухи — про существование такой инструкции. Есть она или это выдумка, не знаю.

Сидеть в «воронке» запертым в тесном боксе, обшитом железом, — очень неприятно. Так и представляешь себя в этом железном ящике падающим вместе с машиной с парома в реку. Кто ездил в наших «воронках», тот знает, что такое здешние запоры и замки, задвижки. Их и в нормальных условиях открыть или закрыть проблема, конвоир долго возится, пока защелкнет замок. А уж в суматохе-то, да под угрозой гибели самого конвоира — не надейся, что тебя откроют, если машина скатится с парома в воду.

На память приходят рассказы заключенных, как такие вот «воронки» с зэками тонули и все зэки гибли.

Вспомнишь все трагедии, что тебе пришлось слышать о судьбе зэковской: то машина при переезде зимой через реку ушла под лед вместе с конвоем и зэками, то где-то под Свердловском загорелся вагонзак и конвой выскочил, а зэков так и не выпустили, опасаясь, что разбегутся, все они заживо сгорели. Правда это все или фантазии — попробуй узнай! Ведь если такое и произойдет — ни одна газета об этом нам не сообщит.

В Соликамске, как в каждом порядочном городе, есть, кроме пересылки, своя тюрьма. Она расположена в

бывшем монастыре. Поснимали только маковки со всех строений.

Поместили меня вначале одного в тройник, а на четвертый или пятый день ко мне поселили молодого парня лет двадцати двух. Он вошел с таким затравленным видом, пугливо поглядывая на меня, что я посчитал его «чокнутым». После он мне открылся, и мне стала понятна его настороженность: начальник режима сказал ему, что в наказание за драку посадит к такому лагерному тигру, который его живьем съест и косточек не оставит.

— Он мне такого наговорил, что я здесь две ночи не спал, боялся тебя, — говорил сокамерник, теперь уже посмеиваясь. — У тебя, мол, пять судимостей и все тяжелые, с убийствами!

Пару раз меня вызывали и водили к Камаеву. Самим делом он мало интересовался. Любил он поговорить «без записей в протокол», просто так. А тема у него одна: зачем писал, зачем суешь нос куда никто не просит! И вывод один: свободы мне не видать.

В какой-то день меня вызывают из камеры, опять за-талкивают в бокс «воронка» — куда, зачем везут, неизвестно. Но путь недолог. Привезли на вокзал, прямо к вагонзаку. Как обычно, все камеры битком набиты, а меня, прямо как короля, помещают одного в тройник. Правда, такой тройник — сверх решетки железная дверь с глазком — в вагонзаке служит карцером для особенно беспокойных пассажиров. Зато один! Впрочем, вначале нас четверо: я и трое конвоиров. Велят раздеться догола и производят шмон по всем правилам: «Присядь! Раздвинь ягодицы! Подними яйца!» Прощупывают, раньше чем вернуть, всю одежду, разламывают хлебную пайку. Что за честь, куда везут, уж не за границу ли? Чтoб не вывез буржуйам в заднице бутылку «столичной»?

Нет, всего только в Пермь. Здесь сверхбдительность продолжается. У вагона всех заключенных выстраивают в колонну — впереди малосрочники, сзади, под носом у овчарок и конвойных, особо опасные рецидивисты в полосатых робах. На удивление всей колонне, меня ставят в хвосте, позади «полосатых», и конвоир приковывает меня к себе наручниками: один защелкивает на моей руке, а второй на своей.

То ли меня сверх меры боятся — как смертника, которому нечего терять, — то ли сверх меры берегут. Для чего?

А вот для чего. В Перми меня из тюрьмы снова повезли куда-то. Привезли, осматриваюсь: ходят мимо одни

в белых халатах, другие в пижамах. Ясно — психушка. Взяли без вещей — значит, пока на экспертизу. Посмотрим, что это за процедура; четвертый раз я под судом, а на психэкспертизу попадаю впервые.

В большом кабинете мне предлагают сесть за стол, за которым сидят уже пять-шесть врачей — мужчин и женщин. За моей спиной переминаются двое: тюремный офицер и какой-то тип в штатском.

Беседу со мной ведет женщина средних лет. Она задает примитивно-провокационные вопросы: «Знаете ли вы, где сейчас находитесь?» «Почему вы здесь?», «Считаете ли вы себя больным или здоровым?»

Я отвечаю резко: меня раздражает и слащавый тон, и топтание типа в штатском, и игра во врачебную объективность, в которую хотят втянуть и меня. Я убежден, что если решено упечь меня в психушку, то и упекут с благословения врачей, а если хотят отправить в лагерь, так и на сто процентов чокнутого отправят именно в лагерь. Зачем же мне участвовать в их игре? Я решил вести свою игру, контрольную:

— Я отказываюсь беседовать с вами, так как вы все равно напишите то заключение, которого от вас потребуют.

Если вы не отвечаете на наши вопросы, значит, вы больны, вы душевнобольной.

— По указке сверху вы напишите, что я болен, даже если я буду отвечать.

— Вы что, считаете себя таким знаменитым и великим, что вашу судьбу решают «сверху»?

— Точно, так и считаю. Можете отметить сразу две мании: величия и преследования.

— Послушайте, я ведь не следователь, я врач. Со следователем можете не разговаривать, если не хотите. Но мы, врачи, не имеем никакого отношения к вашему делу!

— А какое «дело» у вас в руках? — я показываю на толстую папку, которую она листает. — И почему здесь находятся эти люди? — киваю я назад, на офицера и штатского.

Хоть я и заявил, что отказываюсь отвечать, женщина продолжает задавать вопросы (заглядывая в папку): «Как вы относитесь к событиям в ЧССР?», «Какого вы мнения о жизни на Западе?», «Есть ли, по-вашему, в Советском Союзе свобода печати?»

— Скажите, вы каждому обследуемому задаете такие вопросы. И как влияет ответ на выводы экспертизы? Например, я скажу, что в СССР есть свобода печати, — может, после этого вы посчитаете меня психом, я и спорить не буду!

— Читаете ли вы газеты? — меняет тему эксперт. — А книги? Каких писателей любите?

— Герцена, Щедрина, Успенского, Гоголя, Достоевского...

— Почему же вам нравятся только писатели прошлого века?

— Да нет, я люблю и современных.

— Кого? — вскидывается она.

— На этот вопрос я не отвечу: об этом идет речь в моем деле. (Кроме «восхваления» Пастернака, мои «свидетели» приписывали мне также пропаганду среди них Солженицына и... Аксенова. Каюсь, Аксенова я до того не читал, знать не знал, что за криминальный автор. Спасибо куму Антонову, после лагеря прочел; хороший писатель, вот только чем он Антонову не угодил? Или уже был в ГБ на учете?)

В июле, знакомясь с делом, я узнал заключение экспертизы: личность психопатическая, полностью вменяем. Таким образом, мой эксперимент подтвердил гипотезу: как бы я себя ни вел, решение было вынесено заранее. Уж я ли не косил на психа и шизика, а вот, пожалуйста: вменяем, пожалуйста в лагерь!

После экспертизы просидел я в Перми еще недели две. Между прочим, мой сокамерник рассказал мне забавную историю о себе.

У него тоже не первая судимость. За что были прежде, не знаю, а на этот раз его обвиняли в использовании казенного материала на солидную сумму для левых работ — он работал художником-оформителем при клубе. И так, у него были судимости и впереди маячил срок, а на его следователе висело нераскрытое преступление — ограбление магазина. И вот следователь решил по-хорошему договориться с моим сокамерником: тот берет на себя ограбление, а следователь обеспечивает ему (через знакомства в суде) минимальное наказание.

— Сначала я послал его на ... — говорил мой сокамерник, — а после до меня дошло, что я могу его вые... Когда ограбили магазин, я был в командировке, и у меня все бумаги были чин-чинарем. Следователь этого не знал.

На следующем допросе следователь опять ему предложил, ту же сделку. Парень для виду поломался, потом выдвинул добавочные условия: принеси поллитровку и закусить — и беру магазин; делом больше или меньше — все одно в лагерь!

В тот же день следователь снова вызвал его к себе; когда конвойный ушел, достал из портфеля бутылку водки,

колбасу, сыр, конфеты, курево и заготовленные уже протоколы допросов. Парень выпил водку и подмахнул все протоколы, не глядя. А по дороге в камеру прикинулся более пьяным, чем был. Его сразу в карцер, вызвали врача, тот засвидетельствовал опьянение. Прибежали опер и начальник режима: где водку брал?! Он все и рассказал, как было. Из карцера его наутро перевели в мою камеру. Следователя своего он больше не видел, дали ему другого.

Я вспомнил похожую лагерную историю. Там сейчас идет активная агитация, чтобы заключенные добровольно признавали свои нераскрытые преступления. Висят плакаты: «Явка с повинной служит смягчению наказания», зэки широко оповещаются о случаях, когда какой-то по окончании срока снова попал под суд за нераскрытое ранее преступление и получил новый срок — сознался бы вовремя, отсидел бы все разом. Все-таки эта агитация мало действует: большинство преступников надеется на свою счастливую звезду. Но вот один наш заключенный в Ныробе решил «сознаться»: он узнал, что его сосед по барaku взял на себя чужое дело, тоже ограбление магазина. А это было как раз его, первого, преступление, оставшееся нераскрытым. Тогда он явился «с повинной» к Антонову, написал все, что требуется, был похвален и «поощрен» лагерными наградами: то ли внеочередной посылкой, то ли дополнительными двумя рублями на ларек. Но никакого разбирательства дела не последовало: оно ведь уже списано на другого. Таким образом наш заключенный, «вставший на путь исправления», без всякого риска «очистил свою совесть».

К концу следствия отправили меня из пермской тюрьмы через Соликамск обратно в Ныроб — для проведения очных ставок и завершения прочих формальностей. То есть куда и зачем отправили, я, конечно, узнал, только прибыв на место: заключенного, хотя бы и подследственного, представляют, как предмет, не уведомляя о цели. Везли по-прежнему «с почестями» — из Соликамска в Ныроб самолетом, со спецконвоем. Самолетик маленький, трехместный, так что, кроме летчика и меня рядом с ним, поместился только один конвоир — зато не рядовой, а офицер. Перед взлетом заковали мне за спиной руки в наручники, да еще привязали их моим же ремнем к сиденью.

— Да не собираюсь я прыгать без парашюта, — пошутил я.

— Ничего! Так спокойнее!

Никто мне не мешал осматривать тайгу под крылом самолета. Крыло было совсем рядом, и я видел, как оно вибрировало то ли от работы двигателя, то ли от встречного потока воздуха. Летим низко, все внизу отлично видно. Вот пролетаем какую-то реку, она петляет и извивается над нами, то отсвечивая, как зеркало, то, наоборот, темной лентой на фоне окружающей зелени. А вдоль ее берегов видны нагромождения леса, приготовленного для сплава, но почему-то брошенного и гниющего здесь годами. Обычная картина на всех таежных сплавных реках — то же можно наблюдать, например, на реке Чуне около поселка Октябрьский. Только с самолета обзор шире, поэтому впечатление более мрачное.

В Нырбе начался спектакль «очных ставок». Одни вызывали у меня горечь и даже жалость к моим «свидетелям», другие были настолько нелепыми, что смешили и меня, и других участников. По поведению свидетелей я безошибочно определял, кто из них стопроцентный провокатор, а кто запутался в сетях Антонова.

Андреев, Сапожников, Николаев — ээки, продавшиеся Антонову кто за что. Они ведут себя развязно. Своих «показаний», записанных на допросах, они не помнят, но всё этим не смущаются. Камаев читает им их протоколы:

— Свидетель, это вы показывали на допросе?

— Точно, точно. Это самое я и говорил.

Как козырная карта идет у них Сапожников: у него значится образование десять классов. Такой свидетель выглядит приличнее. Он тужится, пыжится, пытается что-то вытащить из своей черепной коробки, но ничего не находит. Беспомощно смотрит на Камаева и Антонова, ожидая подказки.

— Ну, — не выдерживает Антонов, — говорил Марченко на работе и в бараке, что за границей жизненный уровень выше, чем в Советском Союзе?

— Да, да, — с готовностью, обрадованно подхватил Сапожников, — я вспомнил это. Он много раз говорил так, что там живут лучше, чем у нас. Я его одергивал, пробовал не раз переубедить, но он продолжал клеветать.

— А где, я говорил, лучше живут — в Эфиопии? — спрашиваю я.

— Какая разница, — неуверенно отвечает Сапожников, лакейски уставившись на Антонова.

— Марченко, вы неправильно себя ведете! — одергивает меня Камаев, — повернитесь лицом ко мне, не обо-

рачивайтесь к свидетелю! Вопросы можете задавать только через меня. Сапожников, продолжайте!

Но Сапожников больше ничего не может вспомнить. Тогда он предлагает:

— Вы пишите все, как надо, а я подпишу.

Иногда Камаев или Антонов, пользуясь моей глухотой, натаскивают свидетелей шепотом, так что я ничего не слышу, а только догадываюсь по движению губ, что они суфлируют. Чаще всего они читают по протоколу, и свидетель согласно кивает головой.

В один из таких моментов я не выдержал, поднялся со стула и вышел в коридор. Я сказал Камаеву, что участвовать в таких очных ставках не буду.

Вслед за мной в коридор выскочил Антонов. Он схватил меня за воротник куртки и, накручивая воротник на руку, второй рукой бил кулаком под ребра. Я уже задыхался, так как воротник куртки здорово затягивался на моей шее. У меня появилось большое желание ткнуть Антонову в глаз пальцем, ударить его ногой — словом, отбиваться, а не терпеть пассивно его издевательства. Слава Богу, я не успел этого сделать. В коридор вышел Камаев. Он быстро подошел к нам:

— Ладно, хватит с него, оставь!

Антонов отпустил меня и стал толкать в кабинет, шипя мне в ухо угрожающе: «Попробуй, шумни! Только попробуй шумнуть!»

Он вызвал сюда же двух надзирателей, и те стояли наготове в дверях.

— Сейчас как напаялим на тебя рубашку, так засышь-засерешь! — еще не отдышавшись, утирая пот платком, орал на меня Антонов. — Будешь как миленький не только слушать, но и подпишешь все сам!

Даже сегодня я не могу спокойно вспоминать об этом.

А Камаев улыбается: «Марченко, учтите, никто вас не трогал, не душил».

Очные ставки продолжали идти тем же порядком. Я в них никакого участия не принимал, теперь даже сам старался ничего не слушать, что было не так уж трудно. Видя мое полное безучастие и внешнее безразличие, Камаев, да и Антонов старались заводить меня посторонними разговорами, не по протоколу:

— Нет, Марченко, надо быть умнее. Книгу написал — а какой тебе прок? Слава где-то, а сам ты здесь, в лагере, и сидеть будешь, пока не сгниешь. Подумаешь, назвал од-

ного-другого. Кто этого боится? Пожалуйста, вот о нас пусть хоть Би-би-си передает, хоть даже «Свобода». Ты наши фамилии знаешь, их мы не скрываем.

К этой теме они возвращались не раз:

— Можешь о нас передавать хоть в ООН, мы этого не боимся!

Так и вижу этих верных сынов отечества приникшими к транзистору в ожидании, что вражеские голоса не забудут и их имена.

Это своеобразное тщеславие очень характерно для низшей администрации. Лариса рассказывает, что начальник Чунской милиции так же набивался на известность:

— Думаете, я боюсь, если вы передадите обо мне «Голосу Америки»? Я этого не боюсь. Моя фамилия Владимиров.

(Тогда же он спрашивал: «А кого вы больше не любите: милицию или КГБ?» И с удовольствием услышал, что к милиции Лариса относится вполне лояльно, уважает ее функции. Видно, оценка политической ссыльной все же нужна была ему для самоуважения.)

После целой череды эзков из колоды вытаскивают козырного туза: состоится опознание и очная ставка с вольнонаемным Рыбалко.

— Пожалуйста, это человек вольный, от Антонова не зависит. Он тоже дает показания против вас, — торжествуя, сообщает Камаев.

— Я никакого Рыбалко не знаю, в глаза не видел.

— Зато он вас знает очень хорошо, вы в этом убедитесь.

Опознание обставлено по всем правилам: присутствуют трое понятых (эзки), Камаев как прокурор руководит процедурой. В каком качестве участвует в ней Антонов, я не понимаю, но он хлопочет, все организует. В конце кабинета стоят три стула, на двух из них уже сидят два эзка, Антонов велит мне сесть на свободный стул. Из нас троих Рыбалко должен узнать Марченко и все рассказать об этом зловещем типе.

Антонов выходит, чтобы ввести Рыбалко. Я поднимаюсь и говорю: «Прошу пока не вводить свидетеля».

— А в чем дело? — удивляется Камаев.

— Я хочу пересесть на другое место, — заявляю Камаеву.

— Пересаживайтесь, — Камаев изображает беспристрастность, а может, не в курсе игры Антонова в этом случае.

Я меняюсь местами с одним из эзков. Потом предлагаю ему же:

— Давай, земляк, поменяемся на время игры обувкой.

Зэк довольно охотно и весело соглашается, и мы переобуваемся: я в его тапочки, он в мои сапоги. Второго, справа от себя, прошу:

— Подержи, пожалуйста, в руках мой «домик» (шапку-ушанку).

После этого говорю Камаеву:

— Я готов.

Камаев кивает надзирателю, и тот открывает дверь. Первым входит человек среднего роста, чернявый, в вольной одежде. Я его действительно не могу припомнить, ругаюсь, что никогда не видел. За ним появляется Антонов. Он намеренно не смотрит в мою сторону, стоит к нам спиной, лицом к Камаеву: демонстрирует свое безразличие. В зубах у него сигарета.

Камаев объясняет Рыбалко его обязанности.

— Вам все понятно, свидетель Рыбалко?

— Да, я все понял.

— Теперь повернитесь лицом к трем заключенным и укажите, кто из них занимался распространением клеветы в адрес партии и правительства. Опознайте среди этих трех Марченко.

Рыбалко поворачивается в нашу сторону и сразу, ни секунды не помедлив, указывает пальцем на того зэка, с кем я только что поменялся местами и обувью.

— Вот это Марченко. Я его узнаю. Это он говорил, что...

И понес Рыбалко повторять, что записано в протоколах его допроса: когда он, мастер, приходил на объект, то слышал среди заключенных споры на политические темы. Один из заключенных, а именно вот этот, Марченко (он снова показывает на моего соседа), всегда клеветал на советскую власть, перевозносил заграничный образ жизни, утверждал, что в нашей стране отсутствуют свобода слова, печати, собраний. Однажды Марченко стал называть нашу мощь чехословацкому народу оккупацией. Тогда мы с ним сцепились так, что нас еле растащили другие заключенные.

И еще он клеветал, что в вооруженном конфликте с Китаем на острове Даманском виновато советское правительство.

— Рыбалко, всмотритесь внимательней, — настораживает его Камаев, — не ошибаетесь ли вы? Действительно ли это Марченко, а не другой кто из трех?

Рыбалко воспринимает это предостережение как намек, чтоб он уверенней подтвердил. Он еще более рьяно подтверждает:

— Да, да, это он — Марченко, я его отлично помню!

— Может, вы ошибаетесь, Рыбалко? Посмотрите внимательно! Действительно ли вы узнали Марченко?

И Рыбалко старается:

— Как я могу ошибиться, я ему чуть в морду не дал, когда он клеветал! Я его на всю жизнь запомнил и никогда не забуду!

— Как мне теперь доказать, что я не верблюд? — вполголоса проговорил тот зэк, на которого так нагло-уверенно пер Рыбалко.

Тут Антонов повернул голову в нашу сторону. Увидев, что я сижу не с краю, а посередине и Рыбалко тычет пальцем не в меня, он побагровел и лишился дара речи. Сигарета запрыгала у него на губе.

— Я не Марченко, — мой сосед, видно, решил кончить игру. — Вот Марченко! — и он указал на меня.

Рыбалко растерянно моргал и непонимающе смотрел на Антонова.

— Вот так и срок наматывают, — сказал зэк справа, — и знать не будешь, за что!

— Да, — заговорил, наконец, Камаев, — ошиблись вы, Рыбалко! Указали на другого. Не узнали Марченко!

Теперь только Рыбалко окончательно понял свой промах! И он не придумал ничего другого, как под смех и понятых, и моих соседей затараторить: «Да-да, я сейчас его узнал по голосу! Это он!»

— Как же ты узнал мой голос, если я просидел все это время молча?

— Узнал я его, узнал!

Камаев кричал на всех, чтоб прекратили смех и не мешали работать. Я потребовал, чтоб он сейчас же составил протокол об опознании, и ему пришлось записать: Рыбалко не узнал Марченко, указал на другого человека.

Это был единственный документ, который подписал и я.

Под конец мой сосед справа добавил еще одну деталь. Он порывался что-то сказать, когда только ввели Рыбалко, но Камаев шикнул на него. Теперь он сделал заявление:

— Какое это опознание, если я хорошо знаю Рыбалко и он меня знает по фамилии и в лицо. Он был у нас начальником конвоя и каждый день водил на работу.

Я спросил Камаева:

— Ну, так фабрикует Антонов дело или нет?

— Вас Рыбалко не узнал, причем тут Антонов! — ответил прокурор.

По дороге в камеру надзиратель меня подбадривал: выгонят тебя теперь, у Антонова ни х... не вышло!

А в коридоре шизо выпалил дежурному офицеру и надзирателю весело:

— Вот он их вы...! Прямо кино!

Некоторые ведут себя на очной ставке не так нагло, как Рыбалко или Сапожников; вид у них затравленный, они не глядят ни на меня, ни на Антонова с Камаевым, на их вопросы отвечают нехотя, через силу, озлобленно, как лают: «Ну, говорил!», «Не помню я, может, и так»... Ясно, эти попались Антонову на крючок — то ли из-за собственного трепа, то ли еще за какую провинность. Провокаторы вроде Андреева или Сапожникова помогли им стать лжесвидетелями, и, хотя они не устояли, удовольствия от того, что врут мне в глаза, не получают никакого. Вроде даже приходится мне их пожалеть.

Но врут все. Не знаю, возможно ли в это поверить: *нет ни одного* правдивого слова, показания. Ни одного.

Мне, конечно, не удастся доказать это суду, я и не надеюсь. Но того хуже; мои друзья, вероятно, решат, что я вел себя в лагере опрометчиво и неосторожно, вряд ли они поймут, что все дело, от первого до последнего слова, — беззастенчивая ложь. Ведь в основе обвинения лежит то, что я действительно думаю, что соответствует моим взглядам и мнениям. Да, я знаю, в США уровень жизни несравнимо выше, чем в СССР. Да, я думаю, что мы сильно отстали в развитии техники. Да, я вижу: у нас нет свободы слова и печати, собраний — тем более. Да, я считаю «братскую помощь» Чехословакии в 1968 г. оккупацией, агрессией, как ее определяет международное право.

Только в лагере я никому, ничего, никогда об этом не говорил.

Вот на очной ставке мой сосед по кровати. Он москвич, бывший таксист, а нынче классический уголовник: пьяница и наркоман, готовый украсть у товарища по несчастью последний рубль на картежную игру, откровенный стукач — частый посетитель кабинета Антонова. Помню, орет он на весь барак о чехах и словаках: «Да их, блядей, всех до одного передушить надо! Мы их освободили, а они против нас! х... ли с ними возиться? Пустить тысячу бульдозеров и сровнять все с землей! Все с корнем под гусеницы!»

За эти кровожадные призывы никого под суд не отдадут. Именно такие патристы-уголовники и составляют фундамент нашего идеологического единства.

Правду говоря, большинство в бараке разделяет его «критику справа», а остальные просто не проявляют инте-

реса к событиям, происходящим дальше, чем за двести метров от их задницы.

Зиму и весну 1969 года первое, что я читал в газетах, были сообщения о Чехословакии. Судьба этой страны стала для меня такой же близкой, как и судьба моего народа. Но поделиться в лагере своими переживаниями мне было не с кем. Прочитав газету, я уходил из барака, прогуливался позади него по моей индивидуальной тропинке и переживал наедине. В барак возвращался по сигналу «отбой», чтобы сразу лечь и не видеть и не слышать окружающей мерзости.

Этот самый наркоман свидетельствует: «Марченко называл ввод советских войск в ЧССР оккупацией, я старался его переубедить, но он продолжал клеветать». Как похоже на правду! Да стал ли бы я излагать этому подонку свои взгляды не только на политику КПСС, а и на вчерашний обед в лагерьной столовой?

Однако как мне опровергать такие показания? Мол, я не такой, я не против политики партии, я все думаю правильно, как ложагается советскому человеку? Этого я не сделаю.

Вот я у Камаева оспариваю показания таксиста.

— Вы же сами, Марченко, писали это в письме о Чехословакии, — ехидно замечает Камаев.

При знакомстве с делом Дина Исааковна, мой адвокат, читая вместе со мной эти показания, смотрит на меня выжидающе: что я скажу.

— Дина Исааковна, это такая же ложь, как и все остальное.

И она осторожно мне намекает:

— Анатолий, может быть, вы все же говорили что-нибудь подобное. Не так, как здесь выражено, но по существу...

Трудно поверить, что все, все вранье. Тем более, что Дина Исааковна тоже, наверное, знает мое открытое письмо в «Руде право» и другие газеты.

Если ваши взгляды не такие, каких сегодня требует «линия КПСС», — вы попадаете в порочный круг. Советские руководители твердят всему миру: «В СССР за убеждения никого не преследуют», советский закон признает право гражданина иметь любые убеждения. Но никому о них не заикайся! Два собеседника — это два свидетеля, что ты вел агитацию, пропаганду, клеветал, подрывал и совершал прочие «противозаконные деяния».

Предположим, я согласился с правилами игры и держу свои мысли при себе, для себя. Тогда я враг не только вредный, но и коварный, трусливый. «Голосует за, а сам против», — как говаривал покойный Иосиф Виссарионович.

Как опознать такого коварного врага и обезвредить его? Вообще-то для этого все средства хороши, но в разные периоды истории СССР преимущество отдавалось то одному, то другим. Ленин с Дзержинским предпочитали провокацию: ну, ясно же, что попы, либеральная интеллигенция, бывшие офицеры — все это люди чуждые, враги в потенции, так вызвать их, заставить пойти на такие поступки или заявления, за которые прилично будет расстрелять, отправить на Соловки. Сталинская когорта не затрудняла себя подыскиванием или созданием поводов — уничтожала противную мысль в зародыше и даже раньше, вместе с ее воображаемым потенциальным родителем.

Нынче восстановлена ленинская законность, но кое-что полезное переняли от более ранних времен творческого марксизма.

На воле в 1968 году почему-то сочли неудобным судить меня за открыто высказанное мое отношение к нескольким важным проблемам — «у нас за убеждения не судят». Мое ныробское начальство узнает о них каким-то потусторонним образом — с помощью телепатии, службы информации КГБ, внутренний голос им сообщает, заодно тот же внутренний голос внушает им дать мне статью 190-1. Ну, так раз все известно, что я держу в голове своей, — провокация, фальшивка сойдет! Не отпущу же я от своих взглядов.

Так или иначе, ни одно преступление у нас не должно остаться безнаказанным.

Так что со свободой убеждений дело обстоит в точности по новейшему анекдоту: «Товарищ юрист, скажите, имею ли я право...» — «Имеете, товарищ». — «Позвольте, вы же не знаете, о чем речь. Имею ли я право на ...» — «Имеете право, имеете». — «Пожалуйста, выслушайте меня. Могу ли я ...» — «А! Нет, не можете». Вот так: право имеете, но не можете.

Забавная деталь в моем деле: никто не свидетельствует, будто я высказывался о тюрьмах и лагерях. Получается, я им вкручивал насчет какой-то Чехословакии с ее чехословацким языком, насчет свободы слова (притом, как хочется, не матерного), насчет неведомого Пастернака-Аксенова и даже не заикнулся о том, что им ближе всего: о штрафном пайке и карцере, о самоубийцах и беглецах... Вот где могла быть почва для пропаганды. Нет, информацию об этих моих высказываниях Антонов с Камаевым не доверили даже самым верным своим стукачам и провокаторам.

...А каков уровень, какова форма приписываемых мне «измышлений»! «Коммунисты выпили из меня всю

кровь! — будто бы кричал я в карцере. — Не буду работать на коммунистов!» Оба выкрика квалифицируются как «клеветнические лозунги». Надо сказать, и то, и другое довольно часто орут в лагере, в карцере, в тюрьме, это обычная формула выражения недовольства; повод может быть любой: не дали (отобрали!) курево, перевели в другую бригаду, отняли на шмоне теплые носки, не удалось достать морфий... Естественно, на такие вопли (плюс матерщина) никто не обращает внимания. Но когда надо было с чего-нибудь начать мое дело, Антонов извлек из своих мозгов единственный известный ему, прочно там засевший «лозунг»: «Коммунисты выпили из меня всю кровь!» Унизительно доказывать, что я не произносил этих слов.

Какую же позицию может занять здесь адвокат, мой защитник на суде? Ладно, я буду монотонно повторять: «Это ложь. И это ложь. Ничего этого не было». Я-то знаю, что дело фальшивое. И свидетели знают, и обвинитель. Адвокат должен опровергнуть обвинение фактами — здесь фактов нет и быть не может, одни слова с обеих сторон: «Было» — «Не было». В каком положении окажется мой адвокат перед этой бандой? И я решил на суде отказаться от защитника, чтобы не ставить Дину Исааковну в дурацкое положение. Буду вести свою защиту сам, все равно исход суда предрешен.

Суд «открытый». Чуть ли не показательный: в будний день в помещении библиотеки, где он происходит, полным-полно эзков попеременно с надзирателями и офицерами.

Я не ждал на суде ничего нового, приготовился услышать то, что уже читал в протоколах и слышал на очных ставках. Но я ошибся, переоценил срепетированность спектакля, переоценил старательность режиссера. Судебное разбирательство принесло мне несколько приятных для меня неожиданностей.

Провалился эпизод с выкрикиванием в карцере «клеветнических лозунгов». В деле он выглядел так: четыре свидетеля — дневальный ШИЗО эск Семенов, два надзирателя и эск Дмитриенко, ремонтировавший печи в коридоре, — написали четыре заявления, что такого-то числа заключенный Марченко всякий раз, как открывали кормушку, выкрикивал в нее эти самые «лозунги».

Ни одного из них я не видел на очной ставке. И вот на суде вызывают Дмитриенко. Я помню его заявление и жду соответствующих показаний.

— Свидетель Дмитриенко, вы знаете подсудимого Марченко?

— Нет, я его вижу впервые.

— Как?! А ваше заявление?!

— Да, я написал заявление по указанию Антонова. Я слышал эти выкрики, но не знал, кто кричал. Антонов сказал: «Кричал Марченко, так и пиши». Теперь я знаю, что это был не Марченко, а другой заключенный, из другой камеры. Если суд меня спросит, я назову этого человека: он присутствует здесь, в зале...

Нет, прокурор не хочет узнать имя настоящего «виновного». И судья и заседатели не задают Дмитриенко этого вопроса. Мог бы спросить я — но не стану я навлекать неприятности на голову неизвестного мне зэка, хоть бы он вопил, что не коммунисты, а я сам выпил его кровь.

— Свидетель Дмитриенко, кто еще вместе с вами слышал эти лозунги? — спрашивает судья.

— Вместе с оперуполномоченным Антоновым меня убеждал показать на Марченко дневальный, заключенный Седов. Он тоже написал такое же заявление. Недавно Седов помилован по представлению администрации и уже освобожден из лагеря...

Седов помилован! Он отсиживал в пкт (и дневалил там) за систематические и злостные нарушения, его шестимесячный срок отсидки еще не кончился — а он уже выпущен не только из пкт, но и из лагеря. Заслужил! Какую же характеристику написал ему Антонов на помилование?

Я прошу суд точно занести в протокол показания Дмитриенко. И еще я просил вызвать свидетелями тех заключенных, которые вместе со мной сидели в карцере. В деле нет их показаний — значит, Антонов либо поленился, либо не сумел обработать их.

— Кого именно? — спрашивает судья Храновский. — Назовите фамилии.

— Я не знаю их по фамилиям.

— Ну, подсудимый, как же мы сможем найти ваших свидетелей?

— Найдете легко: по журналу, где регистрируются все заключенные в пкт и в ШИЗО — и фамилия, и день, и час, даже минуты.

Суд решает удовлетворить мое ходатайство. Пока что до завтра объявляется перерыв, и меня уводят в камеру. Здесь я вечером снова вижу Дмитриенко: он раздает ужин в кормушку. До этих пор мне не удавалось увидеть раздатчика — он опасно отходил от моей кормушки, сунув мне в руки миску; я видел только его руку, которая моментально отдергивалась. Теперь я понимаю, Дмитриенко

знал, что в камере сидит Марченко — тот самый, на кого он написал донос, к тому же ложный! Как бы этот Марченко из мести не выколол ему глаза или не плеснул в лицо горячей баландой! Это старый лагерный способ отомстить врагу. А сегодня Дмитриенко увидел, что «тот самый Марченко» вовсе не тот, и, значит, мы уже не враги. Он стоит у кормушки и улыбается:

— Прости, земляк, я же вправду не знал, Седов, подлюга, и кум впутали меня: «Марченко и Марченко, пиши, что Марченко...»

Коридорный торопит его, захлопывает кормушку, и уже через дверь я слышу:

— Седов-то знал, он за помиловку куму продался!

В этот вечер у меня было отличное настроение: Дмитриенко испортил им представление. К тому же у меня в руках небывалая передача: жареная курица, виноград, пирожные, огромная сочная груша. Все это привезла мне из Москвы молодая адвокатесса, приехавшая на суд вместо Дины Исааковны. Я отказался от ее помощи, как решил заранее. Постарался объяснить ей мои причины. Мне было очень перед ней неловко, она летела ради меня в такую даль — получается, чтобы передать мне курицу и грушу. Но чувство неловкости не испортило мне аппетита.

Передали мне передачу прямо в суде, и я под конвоем возвращался в камеру, торжественно неся авоську с торчащими из нее куриными ногами, а виноград и грушу, чтобы не помять, я полбжил на самый верх. Навстречу нам попался старшина, который вез меня на суд из Соликамска и злобно издевался надо мной всю дорогу: не дал есть, оправиться заставил на виду у народа; при этом он еще страшно матерился. Старшина, толстый, как боров, моментально углядел необычные здесь предметы: курицу, грушу, виноград. Глаза у него округлились:

— Ни ...! Откуда это у тебя?

— Суд преподнес.

— На каком праве?! Не положено!

— Вез без обеда, так не спрашивал про право, а увидел у зэка курицу, права вспомнил?

— Не давай ему занести передачу! — отдал старшина распоряжение конвойному. — Я сейчас скажу, чтоб ее обратно забрали. Придержи его, пока я сбегаю!

— Пошел ты! — обозлился конвойный. — У себя в Соликамске командуй!

И он отвел меня в камеру.

На всякий случай я съел все, что мог осилить, пока не отняли. Правило зэка: хватай, что тебе досталось, и не выпускай из рук. Лагерные правила и привычки так крепко въедаются в натуру, что сказываются и на воле.

Помню, в 1967 году после десяти лет лагерей освобождился Леонид Рендель. Московские знакомые устроили встречу, ужин был со всякими вкусными вещами. Кто-то обратился к нему:

— Леня, как бы думаешь?..

Готовясь ответить серьезно и обстоятельно, Рендель тщательно облизал ложку с двух сторон — *отшлифовал*, полагерному, и сунул ее в верхний карман новенького, сегодня впервые надетого костюма. Зэк носит ложку всегда при себе, в единственном кармане лагерной робы.

В другой раз я, выходя через контрольный пост в большом московском гастрономе самообслуживания, совершенно автоматически поднял руки вверх, подставляя бока под привычное ощупывание, как на шмоне в предзоннике. Публика вокруг замерла, а я даже не сразу понял, в чем дело.

А когда мы с Ларисой регистрировали наш брак в московском ЗАГСе, разыгралась комическая сцена. Свидетелями у нас были Люда Алексеева и Коля Вильямс — он отсидел свой срок еще при Сталине. Распорядительница с лентой через плечо торжественно приглашает нас:

— Проходите вперед, по одному, пожалуйста.

И вот впереди шествует жених, то есть я, а в затылок ему бредет свидетель кандидат наук Вильямс — и оба взяли руки назад! Картина под названием «Прогулка заключенных»...

...На следующий день в суд привели «моих» свидетелей — тех, кто сидел со мной в карцере. Их прошло целое поколение двадцать. Я едва мог их вспомнить, там ведь в камере состав каждый день меняется. Ни один из них не подтвердил, что я что бы то ни было кричал там:

— Этот, глухой-то? Да он и к кормушке при мне ни разу не подходил.

Двадцать человек в одной камере со мной не слышали от меня никаких выкриков. А Седов в коридоре слышал!

После показаний этих свидетелей и Дмитриенко суд должен был усомниться в достоверности всего остального: ведь Дмитриенко ясно сказал, что Антонов велел ему написать на Марченко. Но этого, конечно, не будет. Хорошо, хоть эпизод с дурачками «лозунгами» провалился.

Среды вызванных свидетелей, моих сокамерников, вдруг появляется один, которого я раньше никогда не видел, ручаюсь: очень изможденный, типичное восточное лицо, узбек, что ли; я бы запомнил, если бы видел. Фамилии его я не расслышал. Неожиданное сразу настораживает: наверное, Антонов сунул своего человека в общую массу. Я спешу заявить:

— С этим человеком я не был в одной камере и никогда его не видел.

— Я сам скажу! Не надо за меня говорить! — перебивает свидетель.

С минуту мы бестолково препираемся, я свое — «Никогда не видел», он свое с легким восточным акцентом — «Я сам скажу!»

Наконец судья прерывает нас, начинает спрашивать свидетеля. Еще один настораживающий момент: образование среднетехническое плюс вечерний университет марксизма-ленинизма. «Уж этот скажет!» — думаю.

— По какой статье осуждены? — спрашивает судья.

— Сто девяностая — первая, срок три года.

«Что-что? — чуть не закричал я вслух. — И такой здесь нашелся! Коллега, откуда ты и за что?»

Прокурор тоже оживился. Он даже обратился к новому свидетелю с речью-призывом: «Ваши показания будут очень ценны для суда».

— Я постараюсь. Я все понимаю, — соглашается тот. — Я сижу в карцере постоянно, так как отказываюсь работать. А работать отказываюсь, потому что не в состоянии справиться физически. И я решил лучше сидеть на голодном пайке в карцере, чем на полуголодном надорваться на работе. Таким образом, я был в карцере и тогда, когда там был Марченко, которому приписывают выкрики, — я этих выкриков не слышал...

— Свидетель, почему вы говорите «приписывают»?

— Не я один говорю, весь лагерь говорит. И надзиратели тоже.

— Суду ясно, что вы ничего не можете сказать по существу дела...

— Могу сказать. По существу дела говорю: выкрики — по существу, да? Я в лагере таких выкриков наслушался, повторить боюсь. Не от Марченко, я Марченко не видел. От всех. Сначала я пробовал останавливать их, так меня оскорбляли, обзывали коммунистом и комсомольцем — в ругательном смысле. Даже били.

— Свидетель, это все к делу не относится. Идите.

Я не все разбирал, что говорил этот парень: он торопился успеть побольше, пока его не оборвали. Так и не пришлось узнать его фамилию.

Эй, приятель! Где ты? Досидел ли до конца срока в карцере? Пригодилось ли тебе твое марксистское образование?

И других свидетелей я часто не слышу. Ни слова не разобрал из показаний молоденького парнишки — солдата срочной службы, присланного служить в лагере. Он стоял совсем рядом со мной, я видел, как он едва шевелил губами. Отвечал он, опустив голову, глядя себе в ноги. Вот бедняга!

Многие другие держатся так же. Но немало и таких, кто ораторствует с удовольствием, хотя и без особого мастерства:

— Да, клеветал. Не помню, что именно говорил, но клеветал, это точно.

— Ложно утверждал, что в ЧССР танками задавили свободу, а какую свободу, не сказал.

— Я пытался Марченко переубедить, но он со мной не соглашался.

Это фраза в единственной редакции присутствует в показаниях всех «запрограммированных» свидетелей. И еще все они повторяют: «Клеветал, но никогда не навязывал своих взглядов» — это странное словосочетание, вряд ли понятное тем, кто его здесь произносит, вполне понятно мне. Оно обозначает, что мне велено дать именно сто девяностую-первую, никак не выше. И то слава Богу.

Свидетелей прошло столько, что их показаний хватит на каждый проведенный мной в Ныробе день. Такого-то числа клеветал, такого-то заявлял, такого-то выкрикивал. Словом, болтал без умолку, рта не закрывал. Притом единоклубная характеристика рисует меня как человека мрачного, замкнутого, недоверчивого, неразговорчивого.

На том, собственно и конец. Барабанную речь прокурора, если б и хотел, я не мог бы повторить. Как и на всех известных мне у нас политических процессах, она состоит из набора бессодержательных газетных штампов: «Под руководством коммунистической партии», «строительство коммунистического общества», «идейно-политическое единство», «идеологические диверсии Запада», «несколько отщепенцев» и тому подобная дребедень.

Примечательно было лишь обращение прокурора к специфической аудитории: «Хотя каждый из вас отбывает здесь справедливое наказание, все вы здесь люди совет-

ские и показали это своим отношением к поведению Марченко. Что же, как говорится, в семье не без урода...»

Я защищал себя без азарта — бесполезное дело. Но все же не упустил, кажется, ничего: ни свидетельства Дмитриенко, ни показаний моих сокамерников, ни провала Рыбалко на опознании. Говорил я и о существовании обвинения, о произвольном толковании понятия «заведомо ложные измышления». Судья Хреновский несколько раз оставивал меня, но все же я договорил, закончив тем же, с чего начал: «Дело сфабриковано Антоновым и Камаевым».

Приговор был: два года лагерей строгого режима. Мягче, чем я ожидал. Могли дать максимум, три года, а дали на год меньше, могли признать особо опасным рецидивистом и отправить на спец, к «полосатикам». Да что я говорю! Могли бы, если бы им приказали, дать с тем же успехом 70-ю, срок до семи лет. Хозяева проявили милость и гуманность. Не благодарить ли их за это?

Если бы без суда, без этой комедии, в которой тебе отведена роль и ты поневоле, нехотя вживаешься в нее, включаешься в игру, — если бы так просто, *от фени*, спустилось тебе на голову предопределение: «отсиди два года! А тебе три, тебе все семь — по щучьему велению, по моему хотению!» Право, это было бы не так обидно и не так унижительно.

В моем приговоре, в части обоснования, сказано, что моя вина подтверждается свидетелями — дальше перечислены все, кто что ни говорил, даже и Рыбалко: его показания тоже «подтверждают». Что касается моих сокамерников, то их показания «не опровергают вины» — так как они могли и не слышать «клеветнических лозунгов», которые выкрикивал Марченко.

Дмитриенко в приговоре вообще не упомянут — как бы его и не было.

Так для чего было устраивать всю эту говорильню?

Черт побери, мне-то зачем нужно все это?!

И все-таки я добиваюсь, чтобы мне показали протоколы суда. По закону полагается всем участникам процесса, и обвиняемому тоже, подписать протоколы — обычно их подписывают, не читая, обвиняемый даже не знает, что он подписывает. Потом подает апелляцию, мол, то-то и то-то суд рассмотрел неправильно, и получает ответ: «Материалы дела не содержат оснований для пересмотра». А он эти материалы подписал, не глядя!

Я не собираюсь подавать на пересмотр, но все же требую:

— Я хочу ознакомиться с протоколами.

— Зачем вам? — ворчит судья Хреновский. — Вы же все слышали. Или вам что-то неясно?

А соликамский старшина здесь же, в зале суда, набрасывается на меня с матюгами и чуть ли не с кулаками: ему неохота торчать, дожидаясь меня, в этой дыре еще день-два.

В протоколах я обнаружил то, что и ожидал. Все записано кое-как, небрежно, перевернуто все, что только можно перевернуть; это обычно, девчонки-секретарши сами не понимают, что пишут. Но вот показаний Дмитриенко нет вообще, даже его имя не упоминается — это намеренное искажение исходит, конечно, не от секретарши.

К явному неудовольствию Хреновского, я дополняю протоколы показаниями Дмитриенко, подписываю сам и предлагаю подписать судье мои дополнения.

Нет, мне кажется, психологию человека в моем положении можно понять. Но психология поведения государства в таких случаях для меня всегда загадочна.

Вот, например, в 30-40-е годы миллионы людей гонят в лагеря или прямым ходом в могилы. Гонят без разбора, чуть ли не без учета. Но перед тем колоссальная армия следователей и их подручных по всей стране выколачивает из арестованных: «Подпиши да подпиши показания! Подпиши, что ты шпион!» Зачем? Для открытых процессов нужны были десятки, а это ж из миллионов старались выбить. В конце концов, подписал — не подписал, одна судьба: какая-то тройка, пятерка, три нуля — и всех гуртом на Колыму, на Воркуту, в Норильск или к стенке. Это сколько ж бумаги перевели, сколько следовательских человеко-часов, сколько им зарплаты переплатили за двадцать лет! И кормить их, следователей, надо было все ж таки калорийно, чтоб хватало силы бить по зубам. Да и на арестованных за время такого «следствия» какой-никакой казенный харч шел — безо всякой отдачи. Зачем? Не могу понять.

Нынешние политические суды менее разорительны, поскольку их меньше числом. Но тоже пустые траты: за одного меня — Камаеву три месяца зарплата шла? Шла. Возили меня из Валая в Соликамск, в Пермь, в Соликамск снова, в Ныроб, обратно, опять в Ныроб на суд, еще раз в Соликамск: то машиной, то поездом, то даже на самолет пришлось разоряться. Конвою плата и корми его. А сколько эков сорвали с работы, дергая свидетелями то на следствие, то на суд, то на очные ставки! Небошь кварталъ-

ные планы из-за меня невыполнили, влетел я лагерю в копейку. А дали бы срок сразу, без суда-следствия, без всей этой волокиты — глядишь, какой я ни работник, хоть собственное содержание (включая охрану, амортизацию колючей проволоки и прочее), хоть эти траты оправдал бы.

С первого дня обвинения и до конца, до приговора, все, все участники дела — и я, и Антонов, и прокурор, и судья, и свидетели, и те, кто дал указание, — все знают, что плетут бесполезный узор, не имеющий к жизни, к реальности никакого отношения. И все-таки каждый старается сплести свою часть покрасивее, поискуснее.

По полтора года продержали под следствием Орлова, Гинзбурга, Щаранского — для чего? И к лету 1978 года следователи за полуторагодовую зарплату не накропали больше, чем было у них в феврале 1977-го: фальшивые доносы Петрова-Агатова и Липавского повторены в наших газетных сообщениях о судах даже теми же самыми словами.

Мне приходит в голову, что смысл всех этих действий, всех этих следствий и судов — тот же, что в каких-нибудь ритуальных плясках, — символический смысл. Повторение слов «клевета», «измышления», «шпионская деятельность» и тому подобных нужно вроде заклинания «сгинь, сгинь, пропади». Прокурор шаманит, а все прочее — необходимые декорации. Вот только не знаю, бывают ли при обычном шаманстве человеческие жертвоприношения.

Вечером мне в окошко камеры через решетку влетела записка — мелко-мелко исписанный тетрадный листок, туго скатанный в пулю. Там говорилось, что на Рыбалко было заведено уголовное дело за хищения стройматериалов с объекта и Антонов обещал закрыть дело за плату — показания против меня.

Многих других свидетелей Антонов ловил так же: не дашь показаний на Марченко — сам пойдешь под суд, на тебя хватает материалов. Другим говорил: Марченко сам во всем признался, а ты его покрываешь, будем тебя за это судить. Вся зона это знает.

Нового для меня в записке ничего не было, но приятна была доброжелательность кого-то, мне не известного, после того падения и подлости, которые я видел на суде.

Я долго в тот вечер проторчал у окна. Барак шизо стоял на бугре, и из окна хорошо видно было пространство за запреткой. За деревянным забором с карнизом из колючей проволоки — запретка по ту сторону: мотки проволоки, скрученные большими кольцами, проволока, настенная низко над землей замысловатыми узорами, с

навешенными на ней пустыми консервными банками. Дальше забор из колючей проволоки, за которым бегают на цепях сторожевые псы. Метрах в двадцати от псов находился старый полуразрушенный сарай, вокруг него и над ним резвились, носились воробьи. Они, конечно, здорово шумели и чирикали при этом, но звуков я не слышал, только догадывался.

Галки не носились, вели себя очень важно и деловито. Они расхаживали по крыше и то и дело вертели головами. А высоко над сараем в чистом предзакатном небе кружил не спеша большой каплун. На высоте трудно было разобрать цвет его оперения, но я видел, как он часто вертит головой, видно, высматривая добычу под собой. Иногда он камнем падал к земле неподалеку от сарая. Но не всегда долетал до земли, а чаще где-нибудь на полпути неожиданно распускал свои широкие крылья и начинал делать плавные круги. Постепенно он снова набирал высоту. И пока он ее набирал, я успевал хорошо рассмотреть его окраску: он был темно-коричневого цвета, скорее даже бурого, и вдоль темных крыльев ярко вырисовывалась светло-желтая полоска.

Ночью я не спал. Не Бог весть какой срок мне отвалили — всего два года. Этот срок меня не пугал нисколько (или мне только казалось так): ведь в 1967 я готовился к худшей участи. Во всяком случае, мне казалось, что, если бы я получил не два года, а семь по семидесятой, но не по ложным обвинениям, а за книгу, за открытые письма — за то, что я на самом деле совершил, — мне было бы легче, не было бы ощущения подавленности и угнетенности, как сейчас. Помимо унижения из-за всем очевидного вранья, которое невозможно опровергнуть, я чувствовал безысходность своего положения, полную свою зависимость от невидимого хозяина. Захочет — отпустят меня через два года, а нет — снова дадут такую же «говорильную» статью, 190-1 или 70-ю, на тех же основаниях. «Он говорил», «он утверждал», «он клеветал».

В какие-то моменты этой ночью я так и думал, что конца моему сроку не будет, станут мотать мне нервы, добавляя каждый раз то два, то три года в надежде добиться-таки от меня отречения, опровержения моей книги, моей позиции. И это чувство неуверенности не оставляло меня все следующие два года заключения.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово, Ю.Я. Герчук	5
МОИ ПОКАЗАНИЯ	9
От автора	10
Начало	13
Этапы	18
Десятый лагерь — 1961 год	30
Буров	38
Рассказ Ричардаса	41
Подкоп	44
ШИЗО	46
Последняя попытка	50
На спецу	56
Владимирка	69
Прибытие	69
Камера. Режим	72
Голод	76
Иван-мордвин	81
Голодовка	85
«Членовредители»	90
«Террорист»	92
Трудно остаться человеком	95
Наш сосед Пауэрс	99
Камера бериевцев	102
Прогулка	103
Ткач	105
Петр Глыня	111
Витя Кедров	112
Баня	112
Равноправие	114
Хозобслуга	116
Религиозники	117
Душевнобольные	118
Удавленник	120
Камера № 79	121
Обратный путь	123
Снова лагерь	125
Новые порядки	132
Работа	137
Зэковская экономия — двойная бухгалтерия	141
И у нас все, как на воле	145
Мордовская идиллия	148
ПВЧ — песни, пляски и спорт	149
ПВЧ: политзанятия	151
Начальники большие и маленькие	155
Хруща скинули	166

Свидание	172
Самоубийца	177
О друзьях-товарищах	181
О молодежи	190
Букет	191
Цветы в зоне	193
Больница (третье лаготделение)	194
Любовь	205
Дурдом	210
Стычка с «представителем администрации»	214
Снова в зону	217
Дубровлаг	218
Мишка Конухов	233
Очередное ЧП	238
«Перевоспитание»	239
Еще раз в карцере	242
Освобождение	246
ОТ ТАРУСЫ ДО ЧУНЫ	251
ЖИВИ КАК ВСЕ	301

Составитель Л. Богораз

Редактор Л. Еремина

Художественный и технический редактор
Е. Герчук

Корректор С. Озерская

Компьютерная верстка
Е. Подлесная, Т. Анютина

Сдано в набор: 26.01.93. Подписано в печать: 23.05.93.
Формат 60x88 1/16. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 125. Тираж 5000. Заказ 459. Цена договорная.

ПП «Чертановская типография» МГПО
113545, Москва, Варшавское шоссе, 129 А.

